

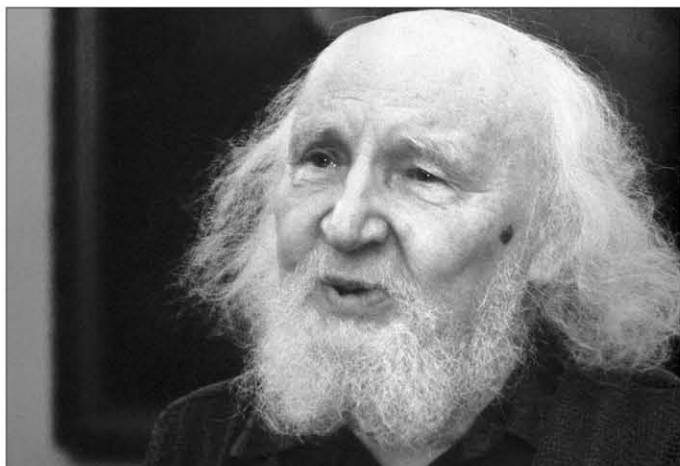
НАШ СОВРЕМЕНИК

Журнал писателей России



№ 2 2022

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ О. ДМИТРИЯ ДУДКО



Вот как говорили об отце Дмитрие наши знаменитые современники ещё при его жизни:

“Отец Дмитрий — человек интересный, неожиданный в своём космосе и своём мышлении. Он всегда говорит о сильной России, которая находится в недрах, ему не свойственно чувство светского мирского пессимизма. Батюшка знает литературу — и религиозную, и классическую, и современную, что всегда делает его интересным собеседником”.

(Юрий Бондарев)

“Знаю отца Дмитрия Дудко тридцать лет. С его светлым именем, с его кристальной личностью у меня связаны одни из самых заветных воспоминаний”.

(Михаил Лобанов)

“Отец Дмитрий во все времена — и при советской власти, и при антисоветской — олицетворял и олицетворяет собой человеческую совесть. Не просто честность, не просто стремление быть искренним и порядочным, но ещё и истинную совестливость, соединённую с последовательной гражданской позицией. Он всё делает во имя людей, во имя русского человека, во имя Отечества, в котором жил и живёт, в котором страдал и страдает”.

(Сергей Бабурин)

“Знаю отца Дмитрия Дудко, читал все его книги, вижу ту огромную роль, которую он играет в жизни многих людей. Сегодня при всех бедах России в духовности российской появился какой-то вакуум. Отец Дмитрий и старается заполнить его своей деятельностью. Он пастырь русской земли, который крайне необходим в нынешней тревожной обстановке...”

(Николай Бурляев)

“Отец Дмитрий — ребёнок, великий и сказочно чистый ребёнок. Его жизнь — это как бы все мы, люди грешные, проходящие сквозь его чистоту и отмывающиеся. Все наши грехи он берёт на себя... Он умеет сопереживать. Это светлый человек, при всей своей занятости, его проповеди читаю всегда...”

(Владимир Гостюхин)

Мы всегда будем помнить ясный свет очей и тихий, ласковый, убеждающий голос одного из самых добрых пастырей нашей Церкви, верного друга нашей редакции.



Содержание

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1956 года

Главный редактор
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

Л. Г. БАРАНОВА-
ГОНЧЕНКО,

А. В. ВОРОНЦОВ,

Т. В. ДОРОНИНА,

Л. Г. ИВАШОВ,

С. Г. КАРА-МУРЗА,

В. Н. КРУПИН,

А. Н. КРУТОВ,

Ю. М. ЛОЩИЦ,

С. А. НЕБОЛЬСИН

Д. Н. НИКОЛАЕВ,

Ю. М. ПАВЛОВ,

И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,

З. ПРИЛЕПИН,

Е. С. САВЧЕНКО,

А. Ю. СЕГЕНЬ,

В. В. СОРОКИН,

А. Ю. УБОГИЙ,

В. Г. ФОКИН,

Р. М. ХАРИС,

М. А. ЧВАНОВ,

С. А. ШАРГУНОВ,

В. А. ШТЫРОВ

Поэзия

Геннадий КРАСНИКОВ
Погаснешь ты во тьме –
и мир не устоит... .. 3

Валерий ФОКИН
Это время ледяных цветов 20

Владимир МОЛЧАНОВ
На Пикете таволга цветёт... .. 42

Сергей АРУТЮНОВ
Парусники вдали..... 99

Проза

Михаил ПОПОВ
Смирительная рубашка,
или Свет озаряющий. *Повесть* 7

Пётр АЛЁШКИН
Два рассказа 25

Роман КОЖУХАРОВ
Днепр впадает
в Чёрное море. *Роман* 44

Светлана РЫБАКОВА
Река времени. *Повесть*..... 102

Сергей СОКОЛКИН
Колыбельная для
Дедушки Мороза. *Рассказ* 152

Очерк и публицистика

Олег СТРИЖАК
Загадки и тайны 1917 года..... 160

Владимир ЮДИН
Вакцинироваться или нет? –
Вот в чём вопрос 174

Юрий ФАДЕЕВ
Россия: репатриация и
миграция 180

Память

Сергей КУНЯЕВ
Вадим Кожин 190

Вячеслав ЩЕПОТКИН
Люди на дороге жизни 210

Редакция

Приёмная —
(495) 621-48-71

С. С. Куняев —
*заместитель главного
редактора, зав. отделом
публицистики* —
(495) 625-01-81

А. Ю. Сегень —
зав. отделом прозы —
(495) 625-30-47
ns-proza@yandex.ru

К. К. Сейдаметова —
зав. отделом поэзии —
(495) 625-02-81
ns-poetry@yandex.ru

А. Н. Тимофеев —
*редактор отдела
критики* —
(495) 625-30-47
ns-kritika@yandex.ru

Е. Н. Евдокимова —
зав. редакцией —
(495) 621-48-71

М. А. Чуприкова —
гл. бухгалтер —
(495) 625-89-95

Алексей ШОРОХОВ
Русский хоровод посреди
всемирного карнавала 248

Критика

Михаил ТАРКОВСКИЙ
Озёрное чудо 252

Марк ЛЮБОМУДРОВ
Великорусский театр 261

Александр ВОДОЛАГИН
В кабале у Солица 268

Книжный развал

Ольга БЛЮМИНА
Преодолённое время
Василия Казанцева 272

Виктор МАХАЕВ
Временной круг
Константина Смородина 277

Дмитрий ВОЛОДИХИН
Движение к изначалью 280

Николай ПИРОГОВ
Биография Симеона
Полоцкого 284

В конце номера

Ярас ВАЛЮКЕНАС
Взгляд из Литвы 285

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и регулярно публикует лучшие, наиболее интересные из них в обширных подборках. Рукописи принимаются как в распечатанном виде по Почте России, так и по электронной почте отделов. Каждая рукопись внимательно рассматривается. Связь с авторами происходит ТОЛЬКО при положительном решении. Вступать в переписку по поводу рукописей редакция не имеет возможности. Рукописи не рецензируются. Журнал не публикует поэмы, сценарии, либретто. Журнал оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Адрес редакции: **Москва, 127051, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2**

Сайт в интернете: **www.nash-sovremennik.ru**, эл. почта: **n-sovrem@yandex.ru**

Журнал зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675. При изготовлении оригинал-макета журнала использованы шрифты ООО НПП "ПараТайп".

Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов. Оператор: Н. С. Полякова
Корректоры: С. А. Артамонова, Н. А. Павлова

Подписано в печать 03.02.2022. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,4. Уч.-изд. л. 22,9. Заказ №0458-2022. Тираж 3300 экз.

Отпечатано в АО "Красная Звезда", 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38.
Тел.: (495) 941-21-12, (495) 941-32-09 www.redstarprint.ru e-mail: kr_zvezda@mail.ru

ГЕННАДИЙ КРАСНИКОВ



ПОГАСНЕШЬ ТЫ ВО ТЬМЕ —
И МИР НЕ УСТОИТ...

* * *

Над бездной без ветрил и без руля
срываемся в раздрай всемирной смуты,
как крысы с тонущего корабля,
бегут недели, дни, часы, минуты...

Смех Вавилонский, ржанье о грехах,
и новый век глядит в окно бесстрастно
с отрезанною головой в руках...
Мгновенье, сгинь! Исчезни. Ты — ужасно!..

Всё новых зрелищ требуют слепцы!
И страшный цирк — распахнут к их услугам.
Там Смерть читает мрачные столбцы,
Конь Блед под хохот скачет круг за кругом!..

Но птицам здесь уже гнезда не вить,
последний час на мёртвом циферблате,
и некому ни помнить, ни любить,
и над землёю бедной зарыдати...

КРАСНИКОВ Геннадий Николаевич родился в 1951 году в г. Новотроицке Оренбургской области. Окончил факультет журналистики Московского государственного университета им. Ломоносова. В течение двадцати лет был редактором альманаха "Поэзия" вместе с Н. Старшиновым. Автор книг стихов: "Птичьи светофоры", "Пока вы любите...", "Крик", "Не убий!". В последнее время выступает в печати как переводчик, публицист, эссеист. Член Союза писателей России. Живёт в Подмосковье.

* * *

Да, парадоксы жизни — несусветны
(с ума сойти — и не найти ответ!).
Как поразительно, что все мы — смертны,
а смерти — нет!..

Душа уходит — поздно или рано —
под купол Неба, а не шапито...
Как сказано там у Тертуллиана?..
Не помню, что...

Кто логику украл, какой ворюга?!
Где свет мог быть, там не видать ни зги,
и мы могли, могли любить друг друга,
но мы — враги!

Зачем за пазухой мы носим камень,
в чём перед нами Авель виноват?
О, что творишь ты, окаянный Каин? —
ведь он — твой брат!

Покуда чистый образ идеала
искали вы в честнейшей из невест,
она от вас к шуту под одеяло
сошла с небес!..

Зачем талант готов за грош трудиться,
а наглый бездарь богатеть привык?
Зачем так хрупок Моцарт, а тупица —
здоров, как бык?!

Хайям вино прославил, а поэта
прославило вино, он чтит кругом,
а ты — хлебнувший по его завету —
ты — под столом!..

Но вы, страшась, спросить не захотите ль,
греша и предавая каждый час,
зачем на муку Крестную Спаситель
идёт — за нас?!

* * *

Пусть мы до времени безвольны и слабы,
и нам неведом жар высокой жажды,
но будь готов на первый зов судьбы:
она не ждёт и звать не будет дважды.

Полно охотников перехватить твой шанс,
полно отважных взять твою Победу,
но этот зов, запомни, лишь аванс,
всего лишь смотр готовности к ответу.

А если жалкий страх или гульбу
ты предпочёл бесстрашью дорогому, —
не жалуйся и не ругай судьбу,
не говори: “Она ушла к другому”.

* * *

Как одинокому бомжу, давно хочу,
зброшенному в тишине районной,
в протянутую руку Ильичу
по-дружески подать стопарь гранёный.

Забутый и бессмысленный такой,
по городкам бесчисленным и весям,
повсюду он с протянутой рукой
стоит один, растерян и невесел.

Собрать бы вместе их со всей страны —
гранитных, медных, асбестовых, ржавых, —
и всем раздать по кругу стаканы,
и хряпнуть без закуски за державу!..

Всяк за своё по-Божьи получи
возмездий вспышки в небесах бездонных!..
Ну, что же, запевайте, Ильичи,
у нас жалеют сырых и бездомных.

* * *

Столбовую ли, убогой —
не объехать, не свернуть, —
мы идём одной дорогой,
но у каждого свой путь.

По счетам с лихвою платим,
не поём, а жилы рвём,
над одною песней плачем,
только каждый о своём!..

Щедро жизнь нам обещает
и победу, и войну,
но пред Богом отвечает
каждый за свою вину.

Дом родной трясём, как грушу,
то взорвём, то строим храм,
только каждый свою душу
губит и спасает сам.

Но зато уж мы не рухнем,
Русь такой секрет нашла —
только грядём мы: “Эй, ухнем!..” —
и сама пошла, пошла!..

* * *

*Игорю Шкляревскому,
ушедшему 8 сентября 2021 г.*

Он ушёл. Никого. Ничего.
Завершилось последнее действо.
Я прошу — пожалейте его,
у него было страшное детство!

Ничего не скопил, налегке,
груз земной не томит и не тянет,
с золотою блесною в руке,
как ребёнок пред Богом предстанет.

Ты прости, Судия, старика,
лихолетий военных подранка,
у пришедшего издалека —
никакого другого подарка...

Веет холодом с рек и озёр,
чья-то тень там безмолвно рыбачит,
и детдомовский ангельский хор
в небе то ли поёт, то ли плачет...

12.9.21

30 АВГУСТА

Ну, вот и этот день прошёл,
один из тех, из неизбежных,
где ты из рук Судьбы прочёл
две-три строки нежданно-нежных.

Две-три строки, два-три цветка,
и свет над предосенним садом,
и за любовь два-три глотка,
и те, кто был и мог быть рядом.

Всё этот день в себя вместил,
мелькнув мгновеньем лучезарным,
хватило бы души и сил
достойным быть и благодарным.

МИХАИЛ ПОПОВ



СМИРИТЕЛЬНАЯ РУБАХА, ИЛИ СВЕТ ОЗАРЯЮЩИЙ

ПОВЕСТЬ

Пролог

В приёмном покое, стены которого были вымазаны грязно-голубой краской, находились фельдшер Ломанов, человек с узким измождённым лицом, и медбрат Гурий, здоровенный детина, который, вопросительно глядя на старшего, что-то комкал в руках. А напротив них сидел на скамейке человек, облачённый в серую долгополую хламиду, напоминавшую наматрасник, из боковых отверстий которого торчали белые руки.

Всё это доктор Выжлецов, совершающий обход, увидел разом. Но внимание остановил на незнакомце. Тот при появлении доктора поднял голову. Не откинулся на спинку скамейки, а именно поднял голову. И доктор догадался, что откинуться ему мешает горб, который топорщится за спиной, как заплечный ранец.

— Прикажете надеть? — медбрат-амбал уже обращался к доктору, развернув смирительную рубаху, рукава которой касались пола. В больничке

ПОПОВ Михаил Константинович родился в 1947 году на берегах Онеги. Окончил Ленинградский государственный университет, факультет журналистики. Работал на оборонном предприятии, в геологоразведке, служил в армии, был профессиональным рыбаком. Автор трёх десятков книг, в том числе прозы, публицистики, изданий для детей и юношества. Лауреат ряда общенациональных премий и четырёх международных премий. Живёт в Архангельске. Главный редактор литературного журнала "Двина".

буйных не было, и медбрат изнывал от безделья, не находя, куда приложить своё неукротимое здоровье.

Доктор искоса посмотрел на него и нахмурил брови:

— А почему его к нам? Кто доставил? Он что?.. — доктор свёл кулаки.

— Никак нет, — поспешно ответил фельдшер, в прошлом армейский ветеринар. — Наряд доставил. Сказали, что рыдал.

— Как рыдал? — недоуменно переспросил доктор, поправляя очки.

— Горько и отчаянно, — почти как трагик Мочалов, взмахнул руками фельдшер.

Доктор изумлённо посмотрел на фельдшера:

— А что, рыдать нынче запрещено? — спросил он, понижая голос, и тут же взвился: — А может, у него беда. Горе какое...

Он снова перевёл взгляд на незнакомца. Лицо чистое, спокойное, но под глазами тени, а в уголках губ залегла безысходная печаль.

Фельдшер на восклицание доктора пожал плечами, отчего лицо его стало ещё уже.

— А чего он требует? — спросил доктор. — О чём просит? — смягчил тон.

— Чернил и бумаги, — отозвался фельдшер.

— И что? Почему не даёте, коли уже поставили на довольствие? — кивнул доктор на журнал, лежащий на столе, где была свежая запись.

— Так ведь... — косясь на пациента, тихо произнёс фельдшер: — А вдруг... вышьет, — лицо его перекосилось, словно он сам хватил из чернильного пузырька. — А пером глаза себе выколет...

Доктор уже внимательно пригляделся к фельдшеру.

— С кем поведёшься... — пробурчал он и уже громче добавил: — Дайте, что требует, что просит, — и уже выходя из приёмного покоя, добавил: — Да поместите его в башенку. Там одиноко и больше свету...

Упомянутую башенку повелел надстроить предыдущий врач — бывший флотский лекарь, где он устроил себе кабинет. Но доктор Выжлецов, выпускник Московского университета, не пожелал возвышаться даже таким образом и занял помещение, где всегда располагались врачи — на первом этаже этого одноэтажного кирпичного зданьяца. Так, считал он, было правильно и справедливо.

ЗАПИСКИ ПО ПАМЯТИ

1

Конь о четырёх ногах, и тот спотыкается. А уж в лесу и подавно. Что сбило его с шага? Шишка ли еловая пала на узкую лесную дорожку, горностаи ли перебежал. Но только конь мотнул головой, прынул в сторону, зацепился копытом за выступ елового корня, растерянно всхрапнул и... захромал.

Что было делать? Ты спрыгнул с седла. Передал повод сестре. Велел ехать. Да вслед добавил, чтобы послали за коновалом. Сестра поехала, ведя в поводу захромавшую лошадь, то и дело оборачиваясь. Последний раз махнула рукой перед поворотом, меж ветвей ещё раз мелькнула её голубая шляпка и скрылась.

Ты постоял на месте, порываясь кинуться наискосок и опередить сестру. Улыбка тронула твои губы: то-то она изумится. Год-другой назад ты так непременно и поступил бы — прыти хватило бы... Но теперь не сделал и шага. Того, что представилось, оказалось вполне достаточно, чтобы удовлетворить минутный мальчишеский порыв. Мальчишество окончилось. Наступала иная пора.

Ты снял картуз. Поглядел в небесный прогал, где синева мешалась с облачностью. Оглядел лесную дорожку, посмотрел по краям, в двух шагах приметил каштаново-коричневую шляпку гриба — в аккурат под цвет твоего картуза и сюртука. Белый, да какой ладный! Срезал его пилкой для ногтей, которую держал в кармане жилета. Опустил находку на дно картуза, благо

тот — с высокими околышем и тульей — был вместительным. Приметил ещё одну шляпку. Подле оказалась целая семейка. Срезал только маленькие. Чуть укорил себя, что разлучил чад с родителями. Как гамельнский крысолов, мелькнуло сравнение, да тут же и пропало: грибница сохранилась — будет и приплод. Аукнулось вод-приплод. А это не забылось.

Так, бредя вдоль лесной дороги, отходя и дальше, но не теряя её из виду, ты шёл вперёд, пока не заметил, что лесная брама стала меркнуть. Вышел на дорогу. Меж вершинами елей клубились тучи. Вдруг зашумело, заволновалось. Пали первые капли, а следом хлынул дождь. Не мешкая, ты кинулся под ель, самую матёрую из ближних. В схороне было сухо. Дождь хлестал вовсю, но сюда он не достигал, только слышалось в верхах его тихое рокотанье. И от дороги ли, дальней прогулки, от воздуха ли деревенского и лесного, от музыки ли дождя ты задремал.

Сон был странный. Тебе снилось, что где-то далеко вот в таком же еловом потае дремлет человек. Со стороны будто даётся понять, что это твой далёкий потомок. Спит, не сознавая, что корни ели, будто спрут, опутывают всё его существо. Он силится освободиться и не может. Усилия его передаются тебе, юному предку. Сон мигом слетает. Ты мотаешь головой, стяхивая наваждение, на коленах выбираешься из-под ели. И... зажмуриваешься.

С высоты исходило сияние. Казалось, будто горят две еловые вершины. Треска огня нет, но они сияли, загадочно и зовуще. Тебя охватило смятение. Это не страх, что мутит сознание далёкого потомка, чудом увиденного во сне. Тебя не принуждали... Смятение от того, что ты не готов. Не сейчас... Не теперь... Потом... Вскочив с колен, ты опротясь бросился на дорогу и сломя голову полетел прочь...

К дому ты подошёл со стороны леса, переходящего в сад. Видеть никого не хотелось. Но ты забыл, что близ амбара мостится псарня. Своры тут никакой не было. Обретался один гончий пёс. Пёс все глаза проглядел в ожидании хозяина. А хозяин что? Он только делал вид, что по-прежнему охотник, большой любитель наведаться по осени в отъезжие поля. Но на деле давно отошёл от увлечений молодости и в псарню навещался, когда в доме появлялись новые гости. Ты вспомнил о собаке, когда уже поравнялся с загоном. Рогдай, обделённый общением, при появлении любого человека обычно заливался лаем. Но на сей раз не издал ни звука. Мало того, глянув на тебя, он поджал хвост и попытился.

Ты проник в дом с чёрного хода и уже достиг своей светёлки, но тут раздался шёпот сестры. Она поджидала, озабоченная твоим долгим отсутствием, и хотела узнать, не стряслось ли чего. Ты помотал головой. Но она, не поняв, последовала за тобой. Ты, скинув мокрый сюртук, со словами: “Не сейчас... Не сейчас... Потом...” — кинулся на кровать и укрылся с головой просторным пледом: “Потом...”

Спал ты спокойно. Всё ворочался. То и дело вставал пить брусничную воду. Забылся уже под утро, когда рассвело.

Очнувшись от голоса сестры, она звала к завтраку. Ты отказался, сославшись на головную боль и хандру. Она ушла, но вскоре возвратилась с подносом, на котором стоял кофейник и лежали сдобные булочки. Ты сел на кровати и внимательно посмотрел на сестру. Вы всегда жили с нею дружно, почти не ссорились, она как старшая была поверенной в твоих сердечных делах. Но то, что накануне с тобой стряслось — сестра верное слово нашла “стряслось”, — ты рассказать не решился. Только попросил разделить с тобой прогулку, а повод нашёлся сам собой: где-то потерял картуз.

То место оказалось посередке еловой брамы. Ещё не наткнувшись на потерю, ты понял: здесь. Лопатки свело вчерашним ознобом. Ты нерешительно глянул вверх, а потом задрал голову. Там, на вершинах сосен, казалось, ничего не было, но внутренним зрением ты почувствовал слабое сияние.

Картуз, точно туес, полный белых грибов, стоял возле ели, под которой ты укрывался от дождя и увидел странный сон: далёкого потомка, опутанного еловым кореньем... “В детстве меня опутывали по рукам”, — сказал ты задумчиво. “Да, — улыбнувшись, подхватила сестра. — Ты грыз ногти и тёр ладонь об ладонь. И маму...”. Договорить ты не дал: “...Связывала руки за

спиной и забывала их развязать”. Сестра растерянно присмирела. Ты помешкал. “А теперь — папá...”.

Подняв картуз, ты равнодушно высыпал грибы под ноги и нахлобучил его на голову. На околыше зеленели сдвоенные иголки. Не то буква Л, не то V, не то знак стрелы, летящей неведомо куда. Сестра, явно почуяв что-то, смотрела на тебя тревожно и выжидающе. Ты отвлёк её от воспалённого блеска своих глаз, подхватив под локоть и устремив в обратную сторону. А от ненужных расспросов — неожиданным решением: тебе надо срочно в Петербург. Сестра была огорошена. Ведь собирались в деревне прожить до октября, а ещё только август. Что скажут папенька и маменька? Как ты объяснишь им эту поспешность? На это ты ответил, что объяснять ничего не собираешься, а как брат, крепко любящий свою драгоценную сестру, поручаешь ей, родной душе, известить, что их сын, человек уже самостоятельный, уехал в Петербург по неотложным делам. Сестра, зная твой характер, отговаривать не посмела. Только спросила, когда. Нынче же, ответил ты. И дальше вы шли, не проронив ни слова.

Собрался ты споро, уложив в небольшой саквояж бумаги и самое необходимое. Сестра взялась проводить тебя. Ты согласился, но упредил: только до лесной дороги. Скоро обед, тебя хватятся.

На перепутье двух дорог вы остановились. Сестра перекрестила тебя, троекратно по-христиански поцеловала. А ещё положила в ладонь небольшой рукодельный кошелёк. Здесь немного, сказала она и виновато добавила, что у неё больше нет. Ты порывисто, не сдерживая слёз, обнял её. Что тут было говорить?!

2

Петербург открылся многолюдьем и суетой. Ты снял самое дешёвое жильё — сирую квартирёшку в трёхэтажном доме на Фонтанке, окнами во двор, где находилось и отхожее место. На другое просто не было денег.

Едва обосновавшись, ты пустился искать старых друзей и обретать новых знакомых. Все эти встречи сопровождались шумными застольями, долгими кутежами, спичами, клятвами и уверениями в вечной дружбе и преданности, а ещё ночными визитами в злачные места. Ты просыпался неведомо где и не задумываясь, где проснёшься завтра. Актрисы и балерины, светские львицы, искавшие приключений, дебелие купчихи, изменявшие старым немощным мужьям, простушки-модистки, жаждавшие любви и выгодной партии, — с кем только ты не делил ложе.

Любовные утехы чередовались мальчишниками, на которых ты постепенно становился центром внимания и вострил свой язычок не только на светских и прочих барыньках, но и на их сиятельных мужьях, носящих чины, ордена и... ветвистые рога. То-то хохоту было в молодецкой компании!

Однажды — это было уже в декабре — твои друзья-гусары угнали чей-то многоместный экипаж и, чтобы продолжить кутёж, помчались за городскую заставу в “Красный кабак”. Ты уселся на место кучера и гнал, и гнал вороных, пока на повороте дороги не возник, как тревожный маяк, всё тот же сияющий свет. Лошади вздыбились, захрапели, метнулись к обочине, и вместе с повозкой запряжку занесло в сугроб. Крики, чертыханья, хохот; ржание и шальные глаза коней в отблесках кресал — всё перемешалось и слилось в безумной коловерти. Понадобилось не меньше часа-двух, чтобы успокоить лошадей, вызволить тяжёлый экипаж из сугроба и последовать дальше. Но этого времени как раз хватило, чтобы избежать неминуемой беды. Дело в том, что в “Красном кабаке” в те часы заседал известный забияка и бретёр Т., которого ты незадолго до этого уличил в передёргивании карт. Он пил и грозился продырявить тебя свинцом или пригвоздить шпагой. Это был опытный дуэлянт, поразивший насмерть не одного противника. А ты не удержался бы от поединка, если бы получил вызов...

Да, ты становился неизменным участником самых скандальных выходов. Шутил, острил, паясничал. Зачастую не зная меры. Отчего дело едва не доходило до дуэли. Со стороны поглядеть: молодой человек, обретший

вольницу, пустился во все тяжкие. Но с тобой было не совсем так и даже совсем не так.

Юность порывиста, подчас безрассудна. От веры бежит и верит в своё бессмертие. Так было и с тобой. Только в силу твоего характера неистойивой и иступлённой. Ты словно хотел перекроить, переупрямить то, что было тебе предначертано.

Так продолжалось всю осень, почти всю зиму. Пока в феврале ты не слёг в жестокой лихорадке. Тебя знобило и трясло, как от падучей. Верный дядька наваливал пледы, перины, тулуп свой кучерский. Озноб сменялся жаром, простыни набухали потом. Снова накатывала нутряная стужа. И всё повторялось сначала.

Приходила верная няня. Приносила икону Михаила Архангела, поражающего копьём духов горячки в женском обличье. Девять или двенадцать лихоманок с перепончатыми крыльями нетопыррей — летучих мышей. Оборота икону к тебе, болезному, она шептала молитвы. Перебирала имена огневиц: Трясея, Ледея, Знобей, Огней, Сухота... и всё кышкала на них, кышкала.

Уже на родительской квартире, куда перевезли тебя, совсем немощного, навелася званный доктор Яков Лейтон, флотский штаб-лекарь. Тот для понижения жара заставил тебя лезть в ванну, набитую льдом с Невы. Страшнее, мрачно шутил ты, только плаха с топором.

Болезнь тянулась неделя за неделей. У тебя были обмётаны губы, отчего больно было даже говорить, не то что пить и есть. Ещё досаднее оказалось, что стали пучками вылезать волосы, и ты нахлобучил на голову дурацкий колпак.

Навещавшим тебя друзьям ты называл болезнь “гнилой лихорадкой”, как определил это ещё один лекарь, заполнявший “скорбный лист”. И никто не удосужился спросить, в чём причина, что вызывает эту “гнилую лихорадку”.

Несколько лет спустя, когда ты оказался на Кавказе, тебя свалила похожая болезнь. Местный врач Рудыковский оказался прозорливей. Он назначил хину, или как сам записал в своём дневнике: “вбухал хины”. И недуг как рукой сняло. Отсюда появилось заключение, что болезнь твоя называется малярией.

И опять вопрос. Малярия разносится комарами, обитающими в Африке и тропических странах. А откуда такой комар мог появиться в Петербурге? В бурнусае какого-нибудь богатого негуса, странствующего по свету? В паланкине колониального чиновника, возвращающегося из Индостана в Великобританию? Даже если так, даже если допустить, что болезнь после укуса малярийного комара проявляется не сразу, как такой комар мог выдержать петербургскую стужу? Тем более что в те поры зимы были лютые. Европу выморозило. Россия тоже зябла, сидя на печи или греясь у барского камина. Людей косила простуда. Народ страдал от дифтерии, дети — от кори, эти эпидемии зафиксированы официальными документами. Но малярии в Петербурге не было.

Что ещё можно предположить по поводу твоего недуга? Молодой, ещё не окрепший организм не выдержал петербургской гонки. Ты переутомился, прожигая жизнь на светских раутах, балах, дружеских посиделках; волочася за красотками как света, так и полусвета, не брезгуя ни теми, ни другими; неумеренно поглощая шампанское и жжёнку, тоже не чинясь разницей напитков, как и женщин. Однако такую жизнь, как было принято тогда, вели тысячи сверстников-вертопрахов, в том числе твоих многочисленных приятелей, и ни один из них не заболел ни “гнилой лихорадкой”, ни малярией.

Нет, мой дорогой! Причина твоей болезни другого свойства. Её попустил Господь. В ответ на то, что ты прынул и бежал от Его посланца, Он дал тебе наглядный урок послушания. Кому много дано — с того много и спросится!

3

Господне присутствие сопровождало тебя всегда. И если ты переходил запретную черту, тебе давалось это понять. На Кавказе повторилась, как ты говорил, телесная трясучка. Это было не случайно. В Кишинёвестряслась

трясучка земная, и ты чудом уцелел, а потом, бравирюя, продолжал жить в полуразрушенном доме. Затем открылось твоё нарочитое безбожие — ты брал уроки афеизма у заезжего британца, предшественника богохульника Дарвина, — и тебя выслали на Север. Но! Выслали всё же не в Соловецкий монастырь, как полагали при дворе, а Божьей милостью — в родовую вотчину.

Это место Господь определил тебе с изначала, как замыслил тебя. Оно было написано на твоём роду. И если бы ты отозвался на безмолвный зов этого духоподъёмного места и доверился тому начальному знаку — жизнь твоя потекла бы в иных пределах и достатках.

Приехав в заветные места, ты тотчас побывал там, где восемь лет назад произошло необыкновенное явление. Тебе казалось, ты нашёл и ту ель, под которой пережил дождь, и вспомнил тот сон, что поднял тебя из елового потая. Но сияния над вершинами, которое поразило тебя тогда, теперь не было.

Ты прожил в родовой деревне два года. Два медленных года без суеты, шума, без силетен и интриг. Здесь вольно дышалось и пелось. Век бы не покидать эти благословенные места, назначенные тебе Провидением. Почему же сорвал тебя отдалённый столичный шум? Едва услышав его, ты велел закладывать кибитку. Ты был решителен и безумен в своей решимости. Ты выехал в путь, возница настёгивал лошадей, исполняя твои нетерпеливые покрики. За повозкой вихрем клубилась снежная пыль. При таком неистовом гоне ты живо добрался бы до столицы. Но сие было чревато неизъяснимыми бедами, и упрямото твоё было осажено.

Доброхоты разных мастей потом ссылались на твои суеверия. Дескать, пересёк дорогу заяц, а потом ещё один — и ты, подверженный приметам, одумался...

Экий вздор! Цыганки-гадалки, кольца-талисманы... А тут ещё зайцы... Да будь хоть горностаи — родичи тех, что на императорской мантии, разве это стало тебе препятствием?!

Откинувшись на спинку кибитки, ты сидел с закрытыми глазами. Однако не дремал, весь отдавшись стремительным мыслям, кои летели быстрее упряжки. Помыслами ты был уже там, на Неве, в сумятице грозных событий. Что же вернуло тебя на проезжую дорогу? Внезапная тишина. Умолк колокольчик. А потом дошло, что лошади стали. Ты разомкнул веки. Окликнул возницу. Тот, темневший на облучке кулём тулуза, не шевелился. Ты откинул полость и в распахнутой шубе живо выскочил из кибитки. Ветра не было. Но впереди стояла белая стена. Словно дорогу и поле по сторонам поставили на дыбы. Кто же поднял эту пелену? Ты шагнул вперёд. Машинально взялся за недоуздок. Лошади стояли, сомкнув глаза. Тут впереди появился просвет. Ты шагнул навстречу. Просвет расширился. Ты смотрел широко открытыми глазами и не мог пошевелиться. Снежная пелена стала оседать, потом разомкнулась. Тебя озарило сиянием. Сердце, до того бешено колотившееся, умолкло. Зато всё твоё существо охватило благодатное тепло. Это отозвалась душа. Ты чувствовал, как твою душу наполняет восторгом, мешаемым с ужасом. Она томилась и радовалась, словно пришёл её час. “Много званых, да мало избранных” — было донесено тебе. А потом словно отворилось пространство...

Сколько это длилось, ты не ведал, потому что время тут — и вне, и внутри тебя — остановилось. Наступила необъятная, во всю вселенскую ширь, тишина, по которой, как по полотну, ткались видения и картины...

...Постепенно сияние стало гаснуть, замыкаясь в белую пелену. Всё внутри и снаружи вставало на привычные места. Оцепенение твоё прошло. Но ноги подгибались. Ты сделал несколько шагов назад и, чтобы не упасть, ухватился за дышло. Переведя дух, ты потянулся к лошадям. Каурая отозвалась теплом, пыхавшим из ноздрей, и трепетом губ. Соловую ты погладил по лбу и тяжёлым векам. Она тоже благодарно потянулась. Потом ты шагнул к вознице. Никита не спал, глаза его были приоткрыты, но он не шевелился. Ты коснулся его бритой щеки. Он вздрогнул. Раскрыл в изумлении рот: “Ой, барин, задремал. Что это со мной?” И перекрестился. Ты устало вздохнул, слабо прошептал: “Поворачивай домой”. На иное сил не было.

Едва вернулись, ты завалился в постель. Спал беспробудным сном. Проснулся среди ночи, выпил брусничной воды и опять заснул. И потом несколько дней был не то в полусне, не то в забытьи.

Оживился ты через неделю. Сердце и душа пришли в лад, и однажды под утро явились стихи:

*Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился;
Перстами лёгкими, как сон,
Моих зениц коснулся он:
Отверзлись вещи зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон,
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полёт,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный, и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом
И сердце трепетное вынул,
И уголь, пылающий огнём,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп, в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
“Встань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею Моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей”.*

В те зимние дни ты подолгу сидел у камина, глядя в огонь. Языки пламени, ровно летучие крылья, уносили тебя в открывшиеся тебе на перепутье сокровенные дали. И первое, что являлось, — картины всемирного потопа. Никакое полотно, никакая гравюра не могли передать и малой доли того ужаса, который охватывал земное пространство, вмиг обращённое в океан. Ты цепенел и сейчас, вжимаясь в кресло, словно это и тебя, как былинку, уносит в разверзшуюся бездну всеокрушающая божественная стихия.

В Библии о причинах потопа кратко и для непосвящённого непонятно: “И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своём. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю; ибо Я раскаялся, что создал их”.

Читая это место в Библии, ты обычно терялся в догадках. Гнев Божий казался непомерным, особенно представляя тонущих младенцев, матерей и стариков. Живописные картины усугубляли это впечатление. Неужели же они столь грешны, это шестое-седьмое колено от Адама? Хотя бы тот белокурый кудрявый младенец, похожий на твоего младшего брата? Он-то за что? А тут, словно ответ на твой вопрос, явились причины.

Часть ангелов, сынов неба, ослушались Господа. Было их числом двести. И замыслили они, говоря земным языком, заговор. Увидев, какие прелестные родились у Адама и Евы внуки и правнучки, как они расцвели и похорошели, войдя в девическую пору, сыны неба возжелали их. Девы,

уже несшие грех праматери Евы, совершили повторное грехопадение, открывшись перед ангелами-соблазнительями. Произошло зачатие. Родились младенцы. И всё бы ничего, прости Господи такое моё послабление, но росли те новорождённые не по дням, а по часам. И выросли они в исполинов, во много раз превышающих земных людей. Их становилось всё больше и больше. Великаны были непомерно прожорливы. Где год кормилась семья — нефилиму хватало на неделю. Голодные, они свирепели и разбойничали. Опустошали силой закрома, на корню объедали поля. А когда пищи не стало, принялись поглощать людей, не чинясь и не разбираясь, в том числе младенцев. Вопль ужаса, вознёсшийся над землёй, достиг Господа. Узрев открывшуюся картину, Всевышний воспылал гневом. Вначале покарал падших ангелов, бросив их в преисподнюю, а потом обрушил на землю потоп, дабы уничтожить всю новую поросль, нарушившую Его заповеди, не щадя ни старых, ни малых. И нашёл лишь одного праведника, достойного Своего промысла, а стало быть, жизни, — Ноя.

А потом тебе открылись истоки — земля Гиперборейская, как в земном бытовании называлась прародина человеческая. Именно там Господь начал устройство земного мира, там явил на Свой Божий свет Адама и Еву. Там был тот сад, что зовётся Эдемским. А в нём древо познания. Там случилось первое грехопадение. Оттуда у прародителей, изгнанных из Эдема, пошли дети и внуки. Потом случилось второе грехопадение. А следом на неразумных и несчастных обрушился тот самый всемирный потоп.

Спустя время и времена человечество вновь расплодилось. И что бы ему не жить в добре да заботе друг о друге, как наставлял Господь! Но хитроумный дьявол заразил людской род проказой эгоизма. Заповедью Всевышнего о братской любви люди стали пренебрегать, начали хладеть друг к другу, забыв минувшие беды и несчастья. И тогда Господь послал на землю новое испытание, сместив земные балансиры, отчего в благословенных землях, где жить бы и жить в любви и согласии, повеяло ледяной стужей. Люди потянулись в поисках телесного тепла в иные места, растекаясь по лицу Земли всё дальше от прародины. Они говорили на одном языке, на котором от рождения говорил ты. Но со временем многие разбрелись так далеко, что стали забывать истоки своей речи. К тому же единая прежде Земля разделилась на несколько материков, и человечество утратило своё изначальное единство.

Русским, по воле Господней, досталось самое большое пространство на земле. Тебе зримо предстали разные времена и царствия. И ты мог видеть, как жизнь, подобно морским волнам, то затихала на этих просторах, то вновь возвращалась сюда. Времена ослабления рода сменялись веками расцвета. Чужеземцы, застолбившие было уделы ушедших русичей, пеняли на несправедливость, когда то здесь, то там появлялись русские дружины и корабли, ибо не сразу понимали, что это русские витязи возвращаются на исконные, Богом данные земли.

А ещё тебе было дано понять и прочувствовать, что Россия — удел Богородицы, и всё самое важное на этих пространствах совершается по Божьей воле. И никакие внешние призывы и веяния здесь неуместны и более того — противны Богу как ересь.

4

Император, видимо, до конца не определился, как себя с тобой держать. На расстоянии, сидя за столом со львиными ножками, а ты — стоя перед ним; так ведь ты — не порученец, хотя и чин какого-то разряда. Пригласить за кофейный стол — тоже, вроде, не с руки: первая встреча и такое сближение, даром что вы почти ровесники, разница всего в три года...

Всё сложилось как-то само собой. Ты учтиво поздоровался. Дождался его приветствия. Шагнул от дверей вглубь просторного кабинета. Он тоже сделал шаг навстречу. Ты извинился, что не прибран, четверо суток в пути, запыхлился, на сапогах грязь... Фельдъегерь гнал от Псковщины до Москвы без остановок. И даже здесь, перед аудиенцией, не дал хотя бы побриться, а прямо — в Кремль и сюда, в Большой дворец.

Ты сделал ещё шаг. Поморщился от своей неловкости. Всё ещё качает, добавил, извиняясь, и зябко передёрнул плечами — в дороге продуло. Взгляд твой потянулся к огню. Это не ускользнуло от внимания императора. На твой безмолвный вопрос он кивнул и приглашающе повёл рукой. Ты прошёл к камину. Хотелось встать спиной, чтобы жаром обдало поясницу. Но встал вполборота, оставляя место у просторного камина императору-великану.

Принесли кофей на подносе и булочки. Каминная доска оказалась для тебя высоковата. И хозяин велел поставить столик. Ты сделал несколько глотков и, почувяв, как от тепла внутреннего и внешнего тягостный сгусток в груди размякает, благодарно кивнул.

Теперь можно было начать разговор. О чём? Император не был дипломатом. Он был военным. Ходить вокруг да около не умел. Потому с солдатской прямоотой спросил о главном: “Случись тебе оказаться в Петербурге 14 декабря, где бы ты был?” “На площади, государь, — ответил ты, глядя снизу вверх, но не отводя глаз, — там, где были мои друзья. Вы — человек военный, для военного предать своих — навсегда потерять честь. А это смерти подобно”. Прямой ответ на прямой вопрос удовлетворил императора. Недолго мешкая, он предложил тебе мировую, благо у него было торжество — только что состоялась коронация.

На столе императора ты приметил знакомые корешки — это была “История Государства Российского” Карамзина. Прекрасный повод переменить тему. И ты им воспользовался. Император благоговел перед этим трудом и, само собой, перед его покойным автором. О чём и сказал, лаконично и твёрдо. Ты тоже молвил доброе слово, и было видно, что император оценил, как мягко и нежно ты говорил о своём старшем друге и наперснике. Тут вы были единомышленниками. То-то у обоих заблестели глаза, когда вы заговорили о предмете, словно вручили друг другу верительные грамоты. Даже, как бывает в разговоре, заторопились один перед другим, отмечая любимые места и стараясь донести их красоту и мощь до собеседника. Труд удивительный, говорил император. Ты кивал и соглашался: титанический труд. Отыскать по монастырям и книжным хранилищам летописи, инкунабулы, фолианты, писцовые книги, прочитав их, осмыслить, воплотить в тысячи страниц рукописи — такое под силу только незаурядной, волевой личности, которая твёрдо и неуклонно идёт к намеченной цели.

Так продолжалось некоторое время. Но ты обратил внимание, что император использует только превосходную степень, оценивая труд Карамзина. А ты привык оглядывать предмет со всех сторон, отмечая не только достоинства, но и недостатки. То, что уже второе столетие русская история, как сапог, перекраивается по немецкой колодке, тебе и твоим единомышленникам было понятно. И Карамзин тут внёс немалую лепту, заложив, по сути, канон. Так было угодно романовской династии, где в четвёртом правлении царица немецкая кровь. Новый император целиком соглашался с такой установкой, любуясь династическим зеркалом, в котором видел уже и себя. Напрямую сказать об искажении отечественной истории ты не мог. Но и соглашаться и безмолвствовать тебе не пристало. В двух-трёх выражениях ты мягко перевёл внимание державного собеседника на более далёкие времена, когда правила другая династия. Вспомнил славные победы Дмитрия Донского, Александра Невского... Потом процитировал Карамзина: “Великая часть Европы и Азии, именуемая ныне Россией, в умеренных её климатах была искони обитаема, но дикими в глубину невежества погружёнными народами, которые не ознаменовали бытия своего никакими собственными историческими памятниками”.

Император поначалу насторожился, снова вытянулся во фрунт, пальцы заложив за полу мундира. Но чем дальше длилась твоя речь, тем, увлекаясь, он всё больше расслаблялся, пока не облокотился на каминную доску, подогнув колени, и едва не сравнялся с тобою в росте.

О чём ты говорил? О народе. Простые казаки, немногочисленная дружина Ермака вернула России утраченную некогда Сибирь. При этом действовали казаки не столько мечом, сколько крестом и природным разумом. Это ли не историческое деяние, достойное летописного памятника, а также

бронзового изваяния?! Новгородское вече, существовавшее ещё до крещения Руси, показало пример ярчайшей, превосходящей греческую демократии, где во главе правления становились выходцы из простонародья, отличавшиеся природной смёткой, волей и справедливостью. А поморы якобы дикого Севера! Простые мужики ладили парусники — кочи да лоды, на которых издревле, ещё до начала Московского княжества, ходили в Арктику, на Грумант, под самым Северным полюсом утверждая становища. Разве эти деяния не достойны исторической памяти?

Помянув поморов, ты тут же вспомнил Ломоносова, выходца из мужиков, ставшего академиком. На память процитировал начала ломоносовского трактата “О разностатейной задаче государства на все времена. Это ты подчеркнул особо, глядя императору в глаза. А чтобы убедить, что доверительное и заботливое отношение власти к народу окупается сторицей, привёл примеры ближние: Дмитрия Пожарского и Козьму Минина, спасителей Отечества, князя и простолюдина; Суворова, за которым его пехотинцы шли в огонь и в воду, штурмовали Чёртов мост и готовы были устремиться чёрту в зубы; Кутузова, которому армия верила безоглядно, и наконец, пращур — императора Петра Алексеевича, который выискивал единомышленников не только из знати, но и из простых людей, обладающих природными, от Бога данными достоинствами.

Развернуть перед императором тот изначальный свиток, что открылся тебе на русском перепутье, ты не решился. Однако отказать себе в том, чтобы поделиться обрётёнными знаниями, не мог. Сперва хотел поведать об исполинах и напомнить, что прообразы их появились в “Руслане и Людмиле” — голова великана, а ещё в “Сказке о царе Салтане...” — тридцать три богатыря. Да тут же осёк себя, решив, что это бахвальство, к тому же у тебя исполины — не злодеи. Потому перевёл на другое: напомнил о списке “Слова о полку Игореве”, оригинал которого сгорел здесь, в белокаменной, во время наполеоновского нашествия. Император, небольшой знаток словесности, кивнул и почему-то вспомнил, что эту находку признал как раритет академик Шлёцер. Замечание это резануло твой слух. Один из врагов Ломоносова, доживший до глубокой старости, немец по происхождению, в начале этого века был жалован русским орденом Святого Владимира и дворянством. Ломоносов, верно, в гробу перевернулся. За какие заслуги? За то, что обворовал древние книжные хранилища и перековеркал историю Руси? Мигом вспомнился Павел Каверин, друг лицейской юности, лихой гусар: до войны 12-го года он слушал лекции в Гёттингенском университете, где в своё время преподавал Шлёцер, и своими глазами видел шкафы, набитые русскими раритетами. А то, что Шлёцер признал русскую находку, так невелика честь. За жалованный орден сказал одно, а потом всё равно гнул свою норманскую теорию. Но вступать в пояснения ты не стал. Перевёл внимание на письменность. На Руси писали на берёсте, в древних школах — на грифельных досках, а ещё использовали для словесности деревянные дощечки. Вот на таких было написано и “Слово...”.

“О Бояне, соловью старого времени! А бы ты сия полки ущекотал, скача славю по мыслену древу...”, — прочитал ты на память и тут же взялся пояснять: “О чём это “Скача славю по мыслену древу”? Боян был древний — незапамятных времён — певец, творил ещё до избрания папируса, а потому, по тогдашнему обыкновению, писал на деревянных дощечках”. И чтобы не вдаваться в долгие пояснения, ты сослался на древнего арабского историка ибн-эль-Недима, который оставил свидетельство о письменности русов. Письменность здесь, на русской земле, была развита задолго до Кирилла и Мефодия. Русские начертания есть на египетских пирамидах, есть в Азии и в Америке, да едва не на всех материках. Есть они на раритетах Древней Греции. О чём это свидетельствует? О том, что среди русичей было немало образованных, понятно, по тем временам, людей. А такие были востребованы во все эпохи. Есть множество свидетельств, что среди римской и греческой знати было немало русичей, кто своим умом и доблестью достиг жизненных высот.

Тут ты вновь возвратился к “Слову о полку Игореве”, приведя слова о Бояне: “А бы ты сия полки ущекотал... рица в тропу Трояню”. Как это понимать? Карамзин заключил, что слова “в тропу Трояню” (in via Trajani) означают “в путь Траянов”. Но, спрашивается, можно ли что-то воспеть в чей-то путь? Поют в лад кому-то, но не в путь. К тому же в оригинале говорится, что речь идёт о чём-то троянском, а не Траяновом. Да и дальнейший текст “Слова...” это повторяет: “вступила девою (здесь об обиде) на землю Трояню”, то есть речь идёт об Илионе, другом имени Трои. Стало быть, в чём смысл обращения к Бояну, певцу древности? А в том, что если бы ты, Боян, воспел полки Игоревы, ты бы так же воспел их, как и войну Троянскую, то есть теми же словесными образами и оборотами, тем же своим высокими языком. А поскольку самое величественное произведение о Трое — “Илиада”, то можно заключить, что “Илиаду” написал русич Боян, а не некий там Омир, неведомо где и когда родившийся.

Император в продолжение твоего долгого монолога безмолвствовал. Он был поражён не столько фактами, сколько твоими неукротимо-вдохновенными речами, и от всего этого явно устал. Ты это почувствовал и, по сути, на полуслове умолк. Но, может, это было и к лучшему. Потому что неизвестно, как он воспринял бы твоё умозаключение о Древней Греции и всём античном мире. Ведь то, что ты постиг на перепутье снежных дорог, тебя и самого поразило. Древняя Греция и Древняя Русь, оказывается, были общающимися сосудами. Более того, русичи и стояли у истоков этого царства-государства. Услышь такое, государь, чего доброго, почёл бы тебя за сумасшедшего, а он, едва окончилась аудиенция, выйдя к вельможам, во всеуслышание заявил, что имел беседу с умнейшим человеком России.

5

Ты окончательно осознал своё назначение и старался сдерживать свои безумства. Но сердце подчас летело быстрее разума. Так произошло в тот год, когда ты отправился на Кавказ в действующую армию. На пути туда тебе был дан остерегающий знак — ты увидел гроб с телом убитого в Персии Грибоедова. Но не одумался. А достигнув передовых порядков, тут же ринулся в гущу боя. Могли ли отвести неминучую беду крылья твоего бедного ангела-хранителя?! Не иначе Архангел Михаил, воевода небесных сил, оградил тебя от гибели.

То же было и через год, когда воля провидения затворила тебя в Болдине. Близилась пятая годовщина декабрьской смуты, грозившая напастями. И вышней волей была попущена холера, центр которой пал как раз на Поволжье. Сто дней ты обретался в карантине. Стремясь к невесте, норовил пересечь заставы, но тебя всякий раз возвращали обратно. На очередном таком перегоне ты почувствовал недомогание. Заключил, что, как ни берёгся, всё-таки заболел. По счастью, на ту пору на почтовой станции оказался один опытный человек. Не лекарь, но весьма осведомлённый в различных практических делах обрусевший немец, то ли преподаватель, то ли секретарь какого-то коммерческого училища. Он-то и развеял твои худшие опасения. Пощупав лоб и запястья, он заключил, что это не холера, а обыкновенная простуда. При этом выругался: “Доннер ветер!” — тем пояснив, что попутчика где-то продуло. Мало того, он тут же и лечение назначил. Велел службе принести чаю. Из большого чайного бокала половину отлил, а долил в него золотистого гаванского рома. Тебе ничего не оставалось, как довериться этому человеку. Выпив пуншу, ты лёг, он укрыл тебя шинелью, а сверху накинул ещё одну. “Утро вечера мудренее”, — с лёгким акцентом заключил он. И действительно. За ночь пропотев, ты в утрах встал совершенно бодрым. И на радостях по случаю счастливого выздоровления закатил пир, велел станционному смотрителю метать на стол всё, что есть в закромах. Вот тогда за пирушкой ты в знак доверительности и поведал немцу-попутчику свою тайну. Это было, по сути, то, что ты прежде открыл императору.

Аудиенция у императора принесла вольную. Тебе была дарована свобода и право жить в любом месте Российской империи. Ты не выбирал: Москва, Петербург и время от времени — деревня. Выбора по существу не было. Но знал бы ты, что тебе остаётся всего десять лет жизни, может, переменил бы эту череду, сделав центром помыслов сельскую вотчину.

Счастлив ли ты был, обладая Божественным даром первого поэта?

Счастлив ли ты был, обладая первой красавицей России?

Ты сам ответил на эти риторические вопросы к своему исходу:

*На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.*

Аукнулась Святогорская ярмарка. Ты заявился на неё в алой канаусовой рубахе и казачьих шароварах с красными лампасами, заправленных в юфтовые сапоги. Держа в руке просторную шляпу “боливар”, ты извлекал из неё тёмные вишни и косточками норовил в кого-нибудь пулнуть-стрекануть, предпочитая, понятно, близких по духу мальцов-огольцов. Очередная косточка попала в белокрысого отрока, тот показал тебе язык. Ты расхохотался и оделил его щедрой вишнёвой горстью. Крестьянские дети пугливы и робки, коли чужого увидят. А этому, конопатому да веснушчатому, — хоть бы что, держится на равных. Мало того, сам задирает: “А давай, барин, в ухоронки играть”. — “Как это?” — спрашиваешь ты. “А мы с ребятнёй, — показывает он на ватажку сверстников, — ухоронимся, а ты будешь нас искать, а коли не найдёшь — вишни наши. — И уточняет, ухмыляясь: — Вместе со шляпой да... енеральскими портами”. — “Идёт, — отвечаешь ты: — Только я хоронюсь наперёд, чтобы было справедливо. Вас ведь больше. И... вместе с вашими портками. Найдёте меня — портки верну. Да с моими в придачу”. Ватажка, окружившая тебя, призадумалась: портки хоть латаные-перелатаные, а свои. А взамен что? А ну как домой придётся возвращаться беспортошными? Не миновать порки. “Стережётесь? — усмехнулся ты. — И правильно делаете. А то уже так ухоронюсь, ни одна собака не съест!”

Ухоронился...

Начало марта. Близится 40-й день. 9-го числа ты, усталый раб, предстаешь перед Всевышним.

Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего Александра и прости ему вся согрешения, вольная и невольная, и даруй ему Царствие Небесное.

И ещё, Господи, молю: дозвожь его светлой душе навещать по весне, в начале лета, в эти благословенные пределы и, облетая милую вотчину одухотворённым жаворонком, петь величальную Твоему земному творению.

И вы молитесь о том, его друзья и заединчики. И в первую голову вы, милостивый государь Василий Андреевич Жуковский, душеприказчик, коему и адресую сии записки.

Эпилог

Доктор Выжлецов сидел перед открытым шкафом. На верхней полке стояли папки с наиболее интересными случаями душевных заболеваний, а также образцы различного творчества больных. Здесь были рисунки путешествия на Марс, где преобладал красный цвет, их оставила знатная барышня, год назад покончившая с собой. Здесь покоились письма к Жанне д'Арк, деве-воительнице, от любви к которой скоротечно истаял пылкий юнкер. Здесь находились докладные записки в Сенат, как в промышленных целях использовать ледники Северного Кавказа — их оставил бывший чиновник, статский советник.

Доктор Выжлецов пребывал в задумчивости. Перед ним лежала рукопись. Стопку исписанных листов принёс фельдшер Ломанов — было это третьего дня, — а ещё он доложил, что новый больной исчез.

— Как исчез? Куда исчез? — машинально переспросил доктор, глядя на листы, исписанные прекрасным каллиграфическим почерком.

— Не могу знать, — ответил фельдшер и, точно фокусник, вытащил из-за спины какой-то серый свёрток.

— Что это? — всё ещё пребывая в послеобеденной задумчивости, спросил доктор.

Фельдшер Ломанов, загадочно тараща глаза, развернул свёрток и двумя руками встряхнул его, как до того медбрат Гурий встряхивал смирительную рубаху. Это оказался тот самый наматрасник, в который был облачён странный пациент. На лице фельдшера плавала иезуитская улыбка. И этим встряхиванием, и этой улыбкой он словно говорил, что потворствование душевнобольным, игра с ними в душевность до добра не доводит.

Беглый осмотр башенки подтвердил: в помещении действительно никого не было. Вернувшись в кабинет, доктор Выжлецов демонстративно захлопнул дверь перед носом по-прежнему ухмылявшегося фельдшера Ломанова и сел за стол.

Рукопись пациента, который назвался Александровым, доктор прочитал, а прочитав, ещё больше озадачился. Он вновь поднялся в башенку. Не заходя внутрь, снова осмотрелся, на сей раз более внимательно. Кровать без матраца, намертво привинченная к полу, в дальнем углу от входа маленький откидной столик и такое же сиденье. Ничего здесь не напоминало о пребывании исчезнувшего пациента. Но... Тут взгляд доктора снова и будто невольно потянулся к столу. На поверхности стола близ стены лежало перо. Это было не то перо, какими обыкновенно писали в больничке, — петушинные, реже гусиные огрызыши. Это было большое, белое и, чувствовалось, упругое перо, от которого — что становилось всё явственнее с наплывом сумерек — исходило слабое свечение. Доктор шагнул к окну, которое выходило во двор. Двое мальчишек, дети истопника и кухарки, обрадев оттепели, катали снеговика. Он медленно и чуть боком, держа в поле зрения стол, перешёл к противоположному окну, которое было обращено на пустырь. На подоконнике лежал снег. Слева темнел какой-то росчерк. Мелькнула догадка, и он даже покосился на стол, но тут же зябко передёрнул плечом и заключил, что это с кровли упала сосулька. Потом перевёл взгляд на забор, редко утыканный гвоздями. В прогале меж двумя штырями снег был сбит. Птица, наверное, голубь или воробей, решил доктор, не пожелав продолжать обследование, да просто, видимо, ветром сдуло.

Три дня доктор Выжлецов пребывал в задумчивости. Надо было принять решение. Он заварил свежего цейлонского чаю и тяжело уставился на рукопись. Как с нею поступить? Отправить адресату, то есть В. А. Жуковскому, воспитателю наследника престола, или передоверить это настоятелю Святогорского монастыря отцу Геннадию, под опекой которого находится больничка?

Чай был выпит. Решение принято. Доктор сделал так. Рукопись сложил в обычную папку, в каких хранились скорбные листы — истории болезни. Скрепил её бечёвкой со старыми папками, которые лежали на верхней полке шкафа. Запихал этот тючок на самый низ, а потом, пораскинув ещё, задвинул во второй ряд.

Доктор рассудил здраво. Передать эти листы по назначению или даже через посредника, описав, откуда и при каких обстоятельствах они взялись, — значит подвергнуться риску. Ведь при известном раскладе тебя самого могут принять за сумасшедшего, и тогда ты не просто лишишься казённой оплачиваемой должности, чего доброго, сам уодишь в эту богадельню. А чтобы уж совсем избавиться от наваждения, доктор раскрыл журнал приёма больных, самолично извлёк злосчастную страницу с именем исчезнувшего странника, а нумерацию последующих поменял. С глаз долой — из сердца вон, говорят в народе.

Единственно, о чём ещё подумал доктор: надо как-то поощрить фельдшера Ломанова, чтобы он помалкивал об этом происшествии. А медбрат Гурий — сила есть, ума не надо — давно уже сам всё забыл.

г. Архангельск

.....

*Редакция журнала от души поздравляет
своего постоянного автора с 75-летием!*

ВАЛЕРИЙ ФОКИН



ЭТО ВРЕМЯ ЛЕДЯНЫХ ЦВЕТОВ

ПОЗДНИЙ ЗАМОРОЗОК

На ветру не надо зябких слов:
выдюжим, ведь всё-таки нас — двое...
Это время ледяных цветов
или просто время ледяное.

И не ради красного словца
обещаю: выстоим в метели,
лишь бы наши души и сердца
в эту пору не заледенели.

И от их тепла
и там,
и тут,
словно в сказке забытой книжки,
нам на радость снова расцветут
самые невзрачные ледышки.

ФОКИН Валерий Геннадьевич родился в 1949 году в вятском селе Пищалье. Выпускник семинара Ю. П. Кузнецова на ВЛК. Автор тринадцати поэтических сборников, книги прозы "Всего-навсего" и документального издания "Вятская гармоника". Член Союза писателей России. Лауреат Всероссийской литературной премии имени Николая Заболоцкого, премии "Нашего современника"-2019. В 2014 году после речной аварии стал инвалидом. Живёт в г. Кирове (Вятке), а с апреля по октябрь — в лесном посёлке Разбойный Бор.

ВАТНИК

Устал от шумного народа,
чужой в толпе, как конь в пальто:
их пресловутая “свобода”
по сказке — “то, не знаю что”.

“Не мы, а власти виноваты!” —
ну, так ведь это всегда...
Флаг в руки им,
а нам — лопаты,
но для свободного труда.

Недоболев,
недолечившись:
“Пока!” — борьбе сказал,
и вот
я снова здесь,
где воздух чище,
где лес,
река
и огород.

Здесь снова молодею, что ли,
вдали от городских мытарств —
ведь для меня целебней воли
нет никаких других лекарств.

Надел свой ватник и не хнычу,
родной глуши абориген,
лишь песню на ветру мурлычу
про “свежий ветер перемен”...

* * *

“Не позволяй душе лениться!”
Николай Заболоцкий

Сжимала кольцами беда
так, что уже сдавали нервы.
И в вазе зацвела вода
с засохшей веточкою вербы...
Сбежал от городской тоски
я вовремя и без оглядки,
когда черёмух лепестки
вовсю метелились на грядки.
Вдыхать я полной грудью рад,
чтобы избавиться от лени,
отцветших яблонь аромат
с бодрящей ноткою сирени.
Ещё пока цветёт ирга,
ещё не процвела рябина...
И эта майская пурга —
как избавление от сплина.
И сам я, словно ей в ответ,
хандру обрыдлую нарушу,
ведь мне цветенье это в цвет:
не в бровь, а в глаз,
точнее — в душу.

Ну, а раз мы на “ты” уже тысячу лет,
говорим обо всём без запрета,
потому-то и жду от него я ответ
на вопрос, что похуже ответа.

Друг на друга глядим, ничего не едим,
чистый спирт пьём, не дуя на воду.
“Просто будет война.

Просто мы победим.

И подарим им мир и свободу.

А уж если сражаться там каждый готов,
защищая горилку и сало,
ну, продержатся, может быть, пару деньков,
но поляжет народу немало...”

Генерал, помолчав, поднял тост за отца,
эта память со временем вровень —
тот под Киевом пал,

не успев до конца
обрубить там бандеровский корень.

Друг вздохнёт тяжело

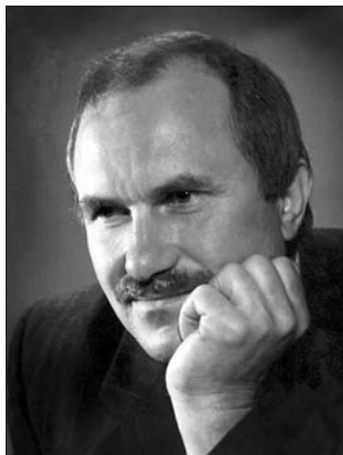
и совсем замолчит,

я ему ничего не отвечу.

Спирт недóпитый ярко в стаканах горит,
завершив символически встречу.

И, запутавшись, рвётся неровная нить
нашей трудной, но честной беседы:
дело даже не в том, как нам их победить, —
как нам жить после этой победы?..

ПЁТР АЛЁШКИН



ДВА РАССКАЗА

ТОНЯ

Если бы я мог представить, чем закончится наша с Тоней экскурсия по Золотому кольцу, то я бы все силы приложил, чтоб не допустить этого путешествия. А ведь это я сам, сам намекнул, а потом и организовал эту роковую для меня поездку, перевернувшую всю мою жизнь.

Я всегда считал, что хорошо знаю свою жену Тоню, ведь мы не только прожили вместе почти десять лет, но и были знакомы всю жизнь. В один детский садик ходили, в одном классе учились, а потом, случайно, даже в одном университете кооперации оказались, затем вместе работать стали, а потом и поженились. Впрочем, как думаю я теперь, если бы мы не поехали в то злополучное путешествие, рано или поздно это всё равно бы произошло.

Жили мы неплохо, ссор больших не было. В школе в голове моей никогда не возникала мысль, что эта спокойная, серьёзная девчонка станет моей женой. Она была симпатична, мила, но как-то холодна. Да и в институте я не особо обращал на неё внимание, а когда на третьем курсе я открыл свою торговую фирму, стал перепродавать популярную косметику, бухгалтером к себе пригласил Тоню. Она, поколебавшись, согласилась. Я забирал в оптовой фирме коробки с косметикой, грузил в свой старенький “жигулёнок”

АЛЁШКИН Пётр Фёдорович родился в 1949 году в селе Масловка Тамбовской области в семье колхозника. Работал плотником, слесарем, трактористом, шофёром, монтером пути (1966—1982), редактором (1982—1987). В 1990—1991 гг. был директором издательства “Столица”. В настоящее время возглавляет издательство “Голос”. Автор 27 книг прозы, собрания сочинений в 3-х томах. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

и развозил по палаткам и маленьким магазинчикам, а Тоня сидела в офисе, договаривалась с покупателями и вела бухгалтерию.

Не понимаю теперь, как это случилось, для меня самого неожиданно, внезапно вспыхнула страсть к Тоне. Я влюбился. Видимо, повлияло то, что у меня стало много свободного времени. Голова разгрузилась. Дела наши шли в гору, прибыль росла, я стал забирать товары не у посредников, оптовиков, а у производителей, завёл свой склад, нанял несколько экспедиторов, купил отличный “джип”. Влюбился и быстро взял быка за рога, сделал Тоне предложение. Она почему-то не сразу согласилась, хотя я прекрасно знал, что соперников у меня не было.

Поколебалась денёка три и согласилась. Я был счастлив. Жили мы ровно, без всплесков веселья или скандалов. Поводов для ревности ни у неё, ни у меня не было. Всегда вместе: и на работе, и на отдыхе. Каждый год отдыхали на море в Турции или Египте. Купили квартиру в центре Москвы. Одним словом, примерная пара средних буржуев, стремящихся выбиться в крупных дельцов. Я мечтал об этом, рвался наверх, растил капитал. Считал, что Тоня полностью разделяет мои мечты и дела. Какая московская женщина не желает быть женой богатого бизнесмена? Вон её лучшая подруга, наша одноклассница Галка Софронова, с юности мечтает выйти за богатенького иностранца и свалить из России.

Но вдруг года три назад Тоню будто подменили. Раньше она была не так молчалива, отчуждена, задумчива, как эти последние три года нашей жизни. Нет, она не была весела, шутлива, озорна, как её подруга Галка Софронова. Но когда собирались вчетвером: я со своим другом детства Виктором Перельгиным, тоже одноклассником, без ума влюблённым в Галку, и Тоня с Галкой, то жена всегда оживлялась, принимала участие в общем веселье, подхватывала шутки, смеялась. В такие вечера я с удовольствием любовался ею. Но Галка наконец-то воплотила свою мечту, вышла замуж за испанца и покинула Россию, а Виктор, потеряв Галку, подался в монахи, и Тоня после этого совсем ушла в себя и так и не вернулась за три года.

Тоня в эти годы увлеклась православной литературой, купила Библию. Я спросил однажды, почему это вдруг её заинтересовало?

— Не вдруг, — ответила она. — Давно размышляю о вере наших предков! Хочется понять их душу, чем они жили, во что верили!

Я и предложил сдур прокатиться по Золотому кольцу, побродить по древним соборам и монастырям, подышать воздухом далёких предков, пропустить сквозь свои сердца стародавний дух седой старины. Тоня, как всегда, не сразу согласилась, ответила:

— Да, идея неплохая! Но потом, потом...

Потом она сама назначила дату поездки. И вот мы катим по Золотому кольцу от монастыря к монастырю. За рулём менялись часто, чтоб каждый мог полюбоваться удивительной красоты местами, мимо которых мы проезжали.

Мы уже побывали в Троице-Сергиевой лавре, Переславле-Залесском и теперь въезжали в Ростов Великий. Мы заранее изучили по компьютеру свой маршрут и, не сговариваясь и не обсуждая, с особенной надеждой пометили для себя чудесное посещение для молитвы собора Зачатия Святой Анны и чудотворной Ватопедской иконы Пресвятой Богородицы в Спасо-Яковлевском монастыре Ростова Великого.

По пути мы много разговаривали, обсуждали увиденное. Меня радовало, что Тоня необычно разговорчива, возникла надежда, что после поездки она вернётся из своего ухода в себя. Когда въехали в Ростов Великий, она умолкла, притихла. Ехали мы по Ленинской улице.

— Смотри, — указала вперёд Тоня и прочитала вслух надпись на щите у дороги напротив празднично-весёлого, цвета весенней зелени двухэтажного дома. — Гостиный дом “Царевна-лягушка”.

Дом мне сразу понравился.

— Здесь мы и остановимся, — стал притормаживать я.

До обеда было ещё много времени, от Переславля-Залесского мы ехали всего полтора часа и, устроившись в номере, тут же отправились пешком

в Спасо-Яковлевский монастырь. Шли молча, я почему-то в душе ощущал какое-то возвышенное торжественное чувство, как перед каким-то важнейшим для моей судьбы событием. Перед воротами Тоня надела на голову одноцветный серый платок, перекрестилась и низко поклонилась. Я заметил, что была она в это время чрезвычайно серьёзна, и тоже быстро перекрестился вслед за ней.

Вошли в любовно ухоженный двор монастыря с зелёным подстриженным газоном, с молодыми ёлочками вдоль выложенных коричневой брусчаткой чистых дорожек, ведущих к пятиглавому собору меж цветущих кустов белой гортензии, алых роз, ярко-оранжевых лилий, розовых флоксов и других ухоженных цветов. Центральная глава собора, большой золотой купол, возвышалась в окружении четырёх куполов поменьше с золотыми звёздами, разбросанными по синему фону. Это и был собор Святой Анны.

Народу во дворе монастыря было немного. Из открытых дверей Дмитровского собора негромко доносилось возвышенно-печальное пение. Празднично, ослепительно-ярко белели на солнце свежевыкрашенные стены собора с величавыми колоннами у входа, внушительно возвышался над всем монастырём величественный зелёный купол. Но несмотря на ясный солнечный день, на сияющие великолепные соборы и колокольню, на яркие цветы сада, среди которых шли мы, не было в моей душе светлого чувства, показалось на миг, что в самом воздухе монастыря разлита какая-то печаль, может быть, этому способствовал резкий сладковатый запах свежескошенной травы газона, и я почувствовал непонятное томление, тревожное ожидание чего-то непонятного.

Мы прошли по дорожке мимо небольшой часовенки над святым источником посреди сада к собору Святой Анны, возле которого было совсем безлюдно. Я подёргал за ручку дверь собора. Она была заперта на замок. Я разочарованно оглянулся на Тонию. Торопились, спешили — и всё зря. Мы стояли возле двери и направились к Дмитровскому собору, откуда доносилось пение. Пока мы шли к нему, пение прекратилось, в дверях собора показались люди. Они выходили на паперть, крестились, спускались по невысоким ступеням на площадь, шли мимо нас. В саду монастыря сразу стало многолюдно, у святого источника образовалась небольшая очередь.

Тоня вдруг воскликнула радостно:

— Смотри!

Глядела она с улыбкой на монаха в чёрных подряснике и скуфье. Когда я поднял голову на него, тот обернулся к нам спиной, лицом к выходу из собора и трижды перекрестился, каждый раз низко кланяясь. Я с недоумением взглянул на Тонию — что её так удивило и обрадовало?

— Смотри, смотри! — повторила она.

Монах повернулся к нам лицом и стал спускаться по ступеням вниз. Несмотря на заросшее русой бородой лицо и длинные волосы, выбившиеся из-под чёрной скуфьи, я его узнал сразу.

— Витя! — воскликнул я.

Монах вскинул голову, заулыбался и быстро зашагал к нам. Да, это был Виктор Перельгин, наш одноклассник. Мы обнялись. Потом Виктор повернулся к Тоне, а она вдруг сложила свои руки крестом ладонь на ладонь перед ним и поклонилась ему, говоря с почтением и смирением в голосе:

— Благословите, батюшка!

Мне показалось это нелепым, смешным. Я еле удержался, чтоб не рассмеяться, поиронизировать, превратить в шутку её обращение к однокласснику. Какой Витя батюшка для Тони! Ведь он сидел в классе позади неё и не раз, играя, дёргал её за длинные косы. А Виктор переменялся в лице, стал серьёзным и перекрестил склонившуюся перед ним голову Тони с молитвой:

— Бог благословляет. Во имя Отца и Сына, и Духа Святого!

Тоня как-то торопливо схватила руку Виктора и поцеловала её в тыльную сторону ладони. Я ещё больше поразился, глядя на свою жену, и на мгновение показалось, что эта женщина в сером платке, склонившаяся для поцелуя руки монаха, незнакома мне. Я почему-то почувствовал себя неловко, будто невольно оказался свидетелем какой-то чуждой мне интимной сцены.

Когда Тоня выпустила руку Виктора, тот взглянул на меня с прежней улыбкой.

— Паломники?

Я ответил шутливо в тон ему:

— Приехали на богомолье, а храм закрыт!

— Почему? Заходите, — указал монах на вход в собор.

— Нам этот нужен, — глянул я на собор Святой Анны.

— Это дело поправимо. Идите к храму, сейчас принесу ключ. Вы где остановились?

— В “Лягушке”.

— Можно пообедать у нас в трапезной, а можно — в гостинном дворе. Там хороший ресторан.

— Если ты будешь с нами, то в “Лягушке”.

— Не могу. Дела.

— Тогда и мы пообедаем в трапезной. Посмотрим, как вас кормят.

— Тогда ждите. Я мигом.

Виктор, звали его теперь отец Михаил, открыл дверь собора Святой Анны, спустился впереди нас по крутым ступеням в подземную церковь с расписанными по синему фону колоннами и сводами и оставил одних в храме, сказав:

— Не буду вам мешать... вернусь минут через десять-пятнадцать.

Как только затихли шаги монаха на лестнице, Тоня упала на колени перед иконостасом. Я тоже опустился на каменный пол позади неё.

Потом мы молились у чудотворной Ватопедской иконы Божией матери, гуляли по чудесному саду, слушая рассказ Виктора, а теперь отца Михаила, об истории монастыря с древнейших времён, любовались со смотровой площадки на стене монастыря спокойным, поблёскивающим на солнце озером Неро, раскинувшимся до самого горизонта. Каменная стена монастыря вытянулась по самому берегу озера. Гуляли по галерее на стене, восхищаясь сверху красотой соборов и сада. Теперь в монастыре было многолюдно.

Во время разговора я выяснил, что монахам пить вино малыми дозами не возбраняется, и пригласил его после вечерней службы в ресторан гостинного двора “Царевна-лягушка”.

И вот мы вечером сидим за столом. Отец Михаил расспрашивает об одноклассниках, никого из которых он не видел уже почти три года. Мы до встречи успели побывать ещё и в Ростовском кремле, пришли в ресторан утомлённые, поэтому быстро захмелели. Чувствовалось, что и отец Михаил уже навеселе. По его словам, он только дважды за эти три года пригублял вино на большие праздники в трапезной монастыря.

Я успел похвастаться своими успехами в бизнесе и теперь рассказывал, как и чем живут наши общие друзья. Тоня в застольях с друзьями обычно весела, шутлива, а теперь серьёзна, молчалива. Я считал, что так на неё действует одежда монаха-одноклассника. Хотя сам отец Михаил был в настроении, оживлён, добродушен, улыбчив, видно было, что он рад встрече с одноклассниками, с которыми все школьные годы был в добрых отношениях, живо и заинтересованно расспрашивал о жизни в миру. Кажется, что уже вспомнили всех школьных и университетских друзей, но одно имя все трое избегали упоминать — имя Галки. Мы знали о безответной любви Виктора к Галке Софроновой, знали, что и в университет имени Косыгина он поступил только потому, чтобы быть на одном курсе с Галей. Надеюсь, что наконец-то сможет добиться её расположения, но, увы, она на третьем курсе закрутила с каким-то иностранцем, бросила учёбу и уехала в Испанию.

Тоня дружила с Галей ещё со школы и знала о её страстной мечте выйти замуж за богатого иностранца. Не раз обсуждали подруги и неугасающую любовь Виктора к Гале. Та говорила, что Витя прекрасный парень, кому-то он доставит счастье, но только не ей. Её ждёт счастье за границей, она уверена, что там живёт мужчина, который сейчас ищет именно её, мечтает о ней, и вскоре они наверняка встретятся. А Витя не пропадёт, найдёт свою судьбу.

И как видно сейчас, он её нашёл. А Галя нашла свою. Я считал, что Виктор знает, что случилось с ней, потому так тщательно избегает называть её имя.

— Ты не жалеешь, что ушёл сюда? — спросила Тоня, пристально глядя в глаза отца Михаила.

— Нисколько! — ответил тот.

Я понял, что ответил он совершенно искренне. Так оно и есть.

— Если бы я знал об этом покое и благодати ещё в школьные годы, — продолжил отец Михаил, — то непременно бы пошёл учиться в духовную семинарию. Но для нас в те годы жизнь монастыря была недосыгаемой тайной.

— За это выпить стоит, — подняла бокал Тоня. — За нашедших свою судьбу!

Отец Михаил поднял бокал, стукнулся краем с моим бокалом и бокалом Тони, пригубил вина и поставил бокал на стол со словами:

— Скорее судьба нашла меня, чем я её. — И, немного подумав, добавил: — Ведь в монастырь я ушёл из-за Гали.

— Об этом нетрудно догадаться, — сказала Тоня. — Как ты любил её, сейчас так не любят!

— Да-да, после чудесной встречи с ней судьба моя была решена.

— Ты встречался с ней? — удивилась Тоня.

Я тоже смотрел на отца Михаила с изумлением.

— Было дело, было! Я тогда даже решил, что она теперь навсегда моя, готовился предложить ей выйти за меня замуж. Ведь нам было так хорошо. Не только мне, но и ей, я это видел, чувствовал, обмануться я не мог. Да и она, как вы знаете, лицемерной не была...

Он замолчал, потянулся вилок к кусочку рыбы на тарелке, взял его и стал задумчиво жевать, не глядя на нас, и добавил:

— К тому же она сама ко мне пришла, когда я уже и мечтать о ней зарёкся. И вдруг... Такое любому вскружит голову.

Мы смотрели на него молча, надеясь, что он продолжит рассказ, но он, молча и задумчиво, продолжать есть. Мы тоже принялись за еду. Тоне, видимо, не терпелось узнать о таинственной встрече Виктора и Гали, она глянула на погружённого в воспоминания отца Михаила и, не выдержав молчания, спросила:

— Куда она пришла?

— Ко мне домой.

— Ты ждал её?

— Перед этим я видел её года полтора назад, видел мельком, на улице у метро Третьяковская. Я спускался по ступеням, а она взлетала по ним наверх. Торопилась куда-то. Промелькнула мимо меня, даже не заметив...

— А как же... — с недоумением спросила Тоня.

Я в разговор не вмешивался, слушал молча, боялся спугнуть лирическое настроение отца Михаила.

— Всё произошло внезапно... Воскресенье. Сижу дома за компом. До обеда ещё далеко. Вдруг звонок. Недоумеваю, кого несёт. Без звонка ко мне давно уж никто не приходил. Открываю дверь и застаю ошарашенный. Она! За то время, что я её не видел, она, кажется, ещё сильнее расцвела, полнеть начала. Большие груди того и гляди порвут тонкий голубенький свитерок. Загорелая, цветущая, весёлая, стоит, смотрит на мой огорошенный вид, смеётся:

— Не ждал?

Как я мог её ждать? Я никого не ждал. У меня даже тапок вторых не было.

— Заходи, заходи! — говорю я быстро, смущённо и растерянно отступая в коридор. — Разуваться не надо. Не прибрано. Ко мне никто не ходит...

“Чем же её угостить?! — думаю я лихорадочно. — Эх, знать бы... накупил бы”. И тут я вспоминаю, что ещё полгода назад купил на распродаже по дешёвке итальянский ликёр “Фернет”. Название до сих пор помню. Крепкий он, зараза! Я эту липкую сладость терпеть не мог, лучше кисленького выпить. В холодильнике, слава Богу, колбаска кое-какая нашлась, пара апельсин. Я сучусь, а она смеётся, пошучивает. В душе моей томление и страх, что это сон, что всё это мнится мне. В морозилке оказался многолетний лёд в формочке. Я сыпанул его в бокалы, плесканул в них ликёра

и уселся напротив Гали, держа в дрожащей руке свой бокал. Не знаю, как смог выдать из себя, делая непринужденный вид:

— За встречу! Ох, как давно я тебя не видел. Расцвела ты как! Встретил бы — не узнал!

Она смеётся.

— Забыл уже. Все вы, мужики, забывчивые.

Выпили мы, закусьваем. У меня вилка в руках дрожит, никак успокоиться не могу. Тороплюсь, наливаю ещё, надеюсь, хмель дрожь уймёт. Она не отказывается, пьёт, шутит:

— Спойть меня хочешь?.. Вкусенький у тебя ликёрчик!

— Итальянский, — говорю, — специально для тебя купал.

Язык у меня развязывается стал. Она смеётся и касается моей руки своей рукой. Меня словно обжигает, я хватаю её руку и прилипаю к ней губами. Она гладит меня по голове другой рукой. Я вскакиваю, мигом оказываюсь рядом с ней и начинаю быстро и неистово целовать её нежные, чуть пухлые щёки. Она в ответ обнимает меня за шею и впивается в мои губы своими губами. Очнулись мы в постели. Я гляжу на её лицо сверху. Глаза у неё блестят, чуть опухшие от долгих поцелуев губы раздвинуты в улыбке, видны кончики поблескивающих на солнце зубов. Нам было не до штор. И полуденное солнце освещает её полностью. Я люблю её счастливым лицом... Да-да, я не ошибаюсь: не только я ощущал себя самым счастливым человеком на свете, но и она была счастлива со мной. В этом я уверен, играть она не могла, да и зачем? Я принёс остатки еды и полупустую бутылку ликёра к постели, мы выпили ещё и снова оказались в объятиях друг друга. Мы вели себя, как юные молодожёны, которые, наконец, остались одни в квартире. В перерывах мы допили ликёр, что-то ели, смеялись, вспоминали прошлое, школьные годы, как она, дурочка, это её слово, крутилась от меня, но ни слова не сказали о настоящем. Я был уверен, что теперь мы вместе навсегда, что каждый день, каждая ночь будут у нас такими же сказочными, и всю свою жизнь я не буду выпускать из объятий мою милую нежнейшую девочку с самыми сладкими губами на свете. Часов в десять вечера она поднялась, глянула на часы, сказала озабоченно:

— Мне пора!

— Куда? — удивился я. — Зачем тебе уходить? Разве ты не останешься ночевать?

До этого я был уверен, что она заночует у меня, и утром мы решим, как нам жить дальше. Я уже обдумывал слова, как предложу ей стать моей женой. И она согласится. Кто же откажется от своего счастья?

Она быстро оделась, натянула свой тонкий свитерок. Я проводил её к двери. В коридоре она клоуна губами меня в нос, да-да, именно в нос, проговорила быстро:

— Я выхожу замуж за испанца. Завтра мы улетаем в Испанию.

И захлопнула за собой дверь.

Не знаю, почему я не упал в обморок от её страшных слов...

Хорошо, что спиртное теперь продают круглосуточно. Утром я еле очнулся...

И вот я здесь, вдали от тревог и таких ужасных страданий.

Отец Михаил замолчал. Молчали и мы. Я был потрясён его рассказом. Ничего подобного я не ожидал от Виктора и Галки. Не зная, что говорить, я взял бутылку и начал доливать вино в недопитые бокалы. Отец Михаил взял свой и чуточку отпил из него. А Тоня выпила свой бокал до конца.

— Да, — вздохнула она, поставив бокал на стол. — Думаю, в свой последний миг Галка вспоминала этот тоже, может, самый счастливый день в своей короткой жизни.

— Что за последний миг? — взглянул на неё отец Михаил. — Почему короткой жизни?

— Ты разве не знаешь?

Отец Михаил с тревогой смотрел на Тоню.

— Галя покончила с собой ещё год назад.

— Как? Почему? — воскликнул отец Михаил.

— Испанец её оказался ревнивцем, зверем! Ни за что ни про что бил чем ни попадя. Бил даже за то, что кто-нибудь из мужчин глянет на неё с улыбкой. Запер в доме. Не выпускал одну никуда. Она не выдержала, выбросилась на асфальт с седьмого этажа.

— Говорили, что это муж её вытолкнул в окно, — проговорил я.

— Я уверена, сама прыгнула. Рухнули все её мечты, вся жизнь, она сама поставила точку. Незачем стало жить... — как-то совсем грустно проговорила Тоня.

Я с удивлением посмотрел на жену: что с ней? Вроде бы давно между нами обговорена и забыта смерть её подруги. Галя сама выбрала свою судьбу, никто её не толкал на этот путь. Вышла бы замуж за Витю, и жили бы счастливо.

На другой день мы попрощались с отцом Михаилом и отправились в Ярославль. Тоня настояла, чтоб первым мы посетили Свято-Введенский Толгский женский монастырь, убеждая меня, что в том монастыре множество святынь.

На стоянке возле входа в монастырь Тоня попросила меня подождать её немного в машине, она скоренько вернётся. Я удивился: что за причуда, пошли вместе.

— Нет-нет, — возразила она. — Я мигом!

И убежала, скрылась в монастыре.

Ждал я её полчаса, волноваться начал, нервничать и, наконец, не выдержал, пошёл в монастырь искать её. Встретились мы у входа. Она торопливо и как-то нервно шла навстречу. Это я сразу отметил.

— Уезжай! — проговорила она быстро серьёзным тоном. — Возвращайся в Москву! Я остаюсь здесь!

— Не понял? Что случилось?

— Я ухожу в монастырь!

— Что с тобой? Ты с ума сошла! Вчерашний хмель из головы не вышел? — рассердился я, не понимая ещё всей серьёзности её намерения. Но её отчуждённый и слишком суровый вид пугал меня. Я почувствовал возникающую дрожь в душе.

— Я ухожу в монастырь, — повторила она страшным тоном.

— Кто тебя примет? Разве так эти вопросы решаются? — вскрикнул я, схватил её за руку выше локтя и силком поволок к машине. Я никогда не был с ней так груб.

— Я три месяца переписывалась с настоятельницей этого монастыря, — проговорила она по пути к машине, почти не сопротивляясь мне. — Встречалась с ней в Москве.

— Как? — с недоумением воскликнул я, приостанавливаясь, выпустив её руку. — И ты ни слова не сказала мне?

Она потёрла пальцами свою руку выше локтя, где я только что с силой держал её, поморщилась.

— Синяк будет... — и спокойно ответила на мой вопрос: — Кому говорить? Ты по уши погряз в своём бизнесе. Разве услышал бы?

— Как это можно скрыть от любящего мужа? Как? — в отчаянии я не верил своим ушам. — Чего тебе не хватало?

— Любви.

— Ты не чувствовала моей любви? Разве я мало любил тебя?

— Видела... Чувствовала... И сейчас сердце рвётся от жалости к тебе! От жалости! Понимаешь, от жалости!

— Значит... — Меня поразила ужасная догадка.

— Да-да, я не любила тебя. Я всю жизнь любила Витю...

— Виктора? Не может быть! И он знал об этом? — дрожал я. Мне показалось, что наступают сумерки, хотя солнце было прямо над нашими головами.

— Знал. У любви глаз нет. Поезжай домой... Меня приняли послушницей. Может, я ещё и не постригусь. Только Богу известны наши судьбы...

Она повернулась и неторопливо пошла в монастырь, не оглядываясь.

Я, оцепенев, провожал её глазами, пока она не скрылась за воротами. Унимая дрожь, сел в машину, посидел, пока в глазах не посветлело. И рванулся с места. Не помню, как я долетел до Москвы, не понимаю, почему не попал в аварию, почему меня ни разу не остановили гаишники?

С этого дня жизнь моя пошла под откос. Некоторое время я ещё надеялся, что послушница — это ещё не монахиня, что, может, Тоня передумает и вернётся домой. Но она не вернулась. Через год стала полноценной насельницей Толгского монастыря.

Бизнес стал мне неинтересен. К тому же по Москве и Подмосковию стали открываться супермаркеты с богатейшими косметическими отделами. Ларьки и магазинчики в переходах у метро и в Подмосковье, которые я снабжал товаром, лопались, закрывались один за другим. Вскоре я продал нашу прекрасную квартиру, где проходили безмятежные дни нашего тихого счастья с Тоней. Жутко было одному в большой квартире.

Прошло четыре томительных года, четыре гнетущих однообразных года одиночества. И вот я сижу охранником в знакомом банке, сижу без дела, молчалив, суров. Я знаю, что меня считают нелюдимым человеком, сторонятся меня. Меня это не задевает, не заботит. Мне доставляет удовольствие думать о Тоне, мечтать о поездке к ней в монастырь. Но я знаю, что я никогда не поеду туда, не встречу с Тоней. Что я ей скажу? Что я был слеп? Что мало думал о ней, когда она была рядом? Занят был чёртовым бизнесом. А нужны ли ей мои слова? Может, она ждёт таких слов от Виктора, отца Михаила? А тот сейчас молится за упокой заблудшей души Галки Софроновой...

ЧИПИРОВАННАЯ ЛЮБОВЬ

Если бы не Верочка, Ольга Николаевна не обратила бы на него внимания, и не произошла бы эта жуткая история. Но тогда не было бы в её жизни этих немислимых дней счастья!

Немыслимых для Ольги Николаевны! Она уже не молода, дни её жизни шли к закату, ей было уже под шестьдесят, а выглядела она на все семьдесят. Её и в двадцать лет красавицей назвать было нельзя: невзрачная серая мышка. Маленького росточка, конопатая студенточка, не умеющая следить за собой, всегда растрёпанная, безвкусно одетая, хоть и выросла в семье профессоров, но зато умница, отличница, серьёзный человек с большим будущим. Все эти её качества не привлекали внимания парней, впрочем, это Ольгу совсем не заботило. Наука, и только наука была смыслом её жизни.

Ольга Николаевна оправдала надежды родителей, к шестидесяти годам стала довольно авторитетным учёным, академиком РАЕН, и была уверена, что через год-другой её изберут членкором и в главную академию страны. Особенно если этот проект, над которым она работала больше десяти лет, после нынешнего эксперимента признают успешным.

Но не было в её жизни главного — любви! Бывали в жизни Ольги Николаевны мужчины, бывали, но всё происходило как-то мимоходом, наспех, между делом, не затрагивая сердца. Лет в тридцать были у неё длительные, года два, отношения с женатым мужчиной, но тоже не было особой любви. Легко сошлись после вечеринки у подруги, легко, потихоньку, незаметно и расстались. Была без радостей любовь, разлука вышла без печали.

И только теперь, к шестидесяти годам жизни в минуты одиночества Ольга Николаевна с грустью сожалела, что не озаботилась семьёй, не завела детей, печалилась, что обделила её жизнь большой любовью. Может, потому и заинтересовали её слова Верочки, когда та, приоткрыв край белой чистой занавески окна их лаборатории, выглянула в коридор на небольшую очередь волонтеров для чипирования и воскликнула:

— Посмотри, какой красавец!

Верочка — кандидат наук, работает над докторской диссертацией под руководством Ольги Николаевны. Ей тридцать лет. Она хороша собой,

жизнерадостна, поклонников у неё всегда много, и она охотно проводит с ними время. Но замуж пока не собирается, наука не пускает.

Ольга Николаевна подошла к окну, взглянула на молодых мужчин, сидевших вдоль стены на стульях, и сразу поняла, кого имела в виду Верочка. Он резко выделялся среди остальных не только правильными чертами смуглого лица с умными глазами, ухоженной причёской, ладной фигурой с накачанными загорелыми руками в коротких рукавах тенниски, но и каким-то особым мужским неуловимым обаянием.

— Хорош, хорош! — одобрила Ольга Николаевна. — Но как говорят: хороша Маша, да не наша!

— Как бы не так! — засмеялась Верочка. — Недоступных вершин не бывает.

— Ну, смотри, смотри! — усмехнулась Ольга Николаевна, взглянув на Верочку, и неожиданно почувствовала некоторую зависть к её молодости, красоте, жажде жизни. — Я направлю к тебе, если его очередь выпадет ко мне. Покорай очередную вершину!

Но она не уступила его Верочке. Когда он вошёл в лабораторию, высокий, стройный, улыбчивый, Верочка работала с пациентом, направляла зондом чип в нужный участок мозга, впившись глазами в экран компьютера. Это главная, самая ответственная процедура в проекте Ольги Николаевны. Установишь чип на долю миллиметра от назначенного места и сорвёшь эксперимент. Ольга Николаевна хотела сказать парню, чтоб он подождал, сделать вид, что занята, но при виде парня вдруг неожиданно потерялась на миг и указала ему рукой на стул перед своим столом. Парень улыбнулся ей дружелюбно и произнёс, подходя к стулу:

— Здравствуйте!

Голос у него был мягкий, приятный и какой-то тёплый.

— Ваш паспорт, — попросила она.

Он протянул ей паспорт. Она открыла и стала набирать в компьютере его имя. Звали его Селеменов Павел Семёнович, двадцать семь лет. Вспомнились её слова про хорошую Машу, сказанные Верочке, и подумалось: “Хорош Паша, да не наш... Нескладушка выходит!”

— Павел Семёнович, вы внимательно изучили соглашение? Всё вам понятно? Вопросы есть?

— Всего два.

— Слушаю.

— У меня друг в Сан-Франциско. Он там тоже ставит чип, смогу ли я с ним разговаривать телепатически?

— С чипированными можете разговаривать, когда захотите, где бы они ни находились! Просто называете имя, и он тут же подключится к вам.

— Вслух называть или мысленно?

— Как хотите. Без разницы. А с теми, у кого пока нет чипа, называете номер телефона или адрес электронной почты и мысленно диктуйте, что надо. Только старайтесь о постороннем не думать, все ваши мысли в письме отразятся.

— Понятно. И второй вопрос: можно ли будет через чип внушить мне какую-нибудь гадость, например, заставить задуть вас.

— Это невозможно! — поспешно ответила Ольга Николаевна. — Не забивайте свою голову чепухой! Программа всё запишет!

— Значит, всё, что я буду делать, отразится в программе?

— Нет, вы меня не поняли. Всё, что вы делаете, нигде не отражается. Но я обязана во время эксперимента постоянно следить через компьютер, нет ли каких сбоев в чипе, как вы себя чувствуете, и отмечать в программе ход эксперимента. Все мои действия будут отражаться в программе.

— Понятно. Вопросов больше нет. Я подписываю соглашение!

Верочка обиделась на неё, высказала недовольно, когда они остались одни:

— Почему ты того красавчика не оставила мне?

— Ты устанавливала чип, как я могла тебя отвлечь? Ставить под угрозу проект, который я с таким трудом пробила! — оправдалась Ольга Николаевна.

— Сказала бы, чтоб подождал.

— Ну да, надо было сказать: жди, тебя обслужит Верочка? Так, что ли?

— Не так... Но надо было что-то придумать.

— Я не такая выдумщица, как ты. А врать стыдно!

Вечером Павел почему-то не вышел из головы Ольги Николаевны.

Перед ней постоянно возникали то его чарующий голос, то притягательное лицо парня с чистыми серыми глазами, то крепкие загорелые руки в коротких рукавах тенниски, и не покидало грустное чувство, будто от какой-то неясной неосознанной пока потери и тогда, когда она ехала на своей машине с работы, и тогда, когда в одиночестве ужинала в привычном небольшом и тихом ресторанчике с приглушённой печальной музыкой, и тогда, когда лежала в постели перед глухо работающим телевизором, висевшим на стене.

Утром она встала с таким ощущением, что в её жизнь вошло что-то неожиданно светлое, и теперь её жизнь станет не так скучна и однообразна. На работе она в первую очередь проверила в программе, как работает чип Павла, всё ли идёт по плану. Никаких отклонений не было. И снова перед ней возникло обаятельное лицо парня, раздался в ушах его завораживающий голос. Она улыбнулась. Верочка, сидевшая за своим компьютером, заметила её улыбку и спросила:

— Чему ты улыбаешься? Сегодня ты какая-то светящаяся.

— Письмо от племянницы получила, — ляпнула Ольга Николаевна первое, что пришло в голову. — В гости просится. Хорошая она у меня!

— Ну да, хорошая! Ты недавно её ругала, говорила, что ноги её больше у тебя не будет.

— Помирились мы, помирились!

Ночью опять думала о Паше. Мелькнула мысль: не попробовать ли через программу внушить ему любовь к себе? Такой функции у программы не было, иначе комиссия не разрешила бы проводить эксперимент над людьми, мол, с мышами, с тараканами, работайте, как хотите, но с людьми категорически запрещено.

Ольга Николаевна быстро поднялась с постели, включила свет, подошла к зеркалу и долго рассматривала своё невзрачное лицо стареющей женщины, натягивала кожу на шее, на щеках, чтоб убрать морщины. Разве можно полюбить такую? Красавец и чудовище! Потом полночи рыдала она о своей никдышной пропащей женской жизни, мочила подушку своими слезами.

На другой день Ольга Николаевна была на работе грустна, молчалива.

— Племянница отказалась приехать? — скрывая насмешку, спросила Верочка.

— А как ты догадалась?

— Вижу.

И в следующую ночь Ольге Николаевне не давала покоя, терзала, мучила голову мысль влюбить в себя Павла. Но как? Как это сделать? Да и получится ли у неё? Мыши легко поддавались внушению, выполняли все её команды. Она решила попробовать задать ему какое-либо простое безобидное действие, и утром на работе ввела в программу его чипа задание приехать ровно в полдень к зданию НИИ, остановиться напротив входа на секунду и уехать.

Около двенадцати часов она подошла к окну и стала смотреть на улицу, с волнением посматривая на секундную стрелку своих часов. Ровно в полдень ко входу стремительно подкатил кабриолет болотного цвета. В машине сидел он! Паша, Пашенька! Видимо, очень торопился успеть к двенадцати часам. Кабриолет приостановился на миг и потом уже неспешно тронулся с места.

Ольга Николаевна быстро вернулась к компьютеру и удалила задание из программы. Получается, всё получается!

Ночью она снова разглядывала своё лицо, тело перед зеркалом. Фигурой своей она осталась довольна, но лицо, лицо! Куда деть такое невзрачное стареющее лицо? Надо было ещё в молодости сделать пластическую

операцию, а теперь поздно. Пока сделаешь, пока шрамы заживут, эксперимент закончится, и прощай, Паша. Надо что-то придумать, и придумать сейчас. Время уходит.

И она придумала. Вспомнила, что лет двадцать пять назад во всём мире славилась немецкая красотка, модель Клаудиа Шиффер. Портреты её были на баннерах по всей Москве. Паше в то время было года два, вряд ли он видел портреты Шиффер. Она решила ввести в программу чипа Паши портрет Клаудии вместо себя и дать ему задание познакомиться в субботу в парке с этой девушкой.

В пятницу в конце работы она так и сделала, а в субботу, принарядившись, пришла в хорошо знакомый ей парк и направилась к тому месту, где было назначено свидание.

Ольга Николаевна села на скамейку в тени под плакучей ивой, ветви которой свисали почти до самой земли, но не скрывали скамейку со стороны дорожки, открыла книгу, наклонилась над ней, но не видела букв и слов, искоса посматривала на дорожку, на которой с минуты на минуту должен был появиться он. Сердце у неё трепетало так, что хотелось прижать руку к груди, придержать её. “Как в семнадцать лет!” — усмехнулась она и глубоко вздохнула. Сразу стало полегче. И в это мгновение из-за поворота на дорожке появился Павел. Он шёл неторопливо, неспешным прогулочным шагом. Ольга Николаевна усердно уткнулась в книгу, вся превратившись в большое ухо, вслушиваясь в приближающиеся шаги. “Остановится или пройдёт мимо?” — стучало в сердце и в голове. Звук шагов затих совсем рядом и раздался мужской восхищённый бархатный голос:

— Ух ты! Какая красавица!

Она вскинула голову. Он стоял напротив и улыбался. Если бы она не знала, что он видит перед собой Клаудию Шиффер, а не её, то непременно оскорбилась бы, решила, что парень хамит, издевается над ней, над её, мягко говоря, непривлекательным лицом. Ольга Николаевна улыбнулась в ответ, растерялась, не зная, что отвечать женщины в таких случаях. Павел отметил про себя её растерянность, решил, что тоже произвёл впечатление своей внешностью, и проговорил уверенным голосом:

— Как хорошо здесь в тенёчке под такой чудесной ивушкай! Можно на минутку присесть?

Ольга Николаевна молча чуть-чуть отодвинулась на край скамейки. Павел опустился рядом, говоря непринуждённо мягким голосом:

— Жаркие дни установились... Я хотел на речку махнуть, но почему-то вдруг потянуло сюда, взбрело в голову прогуляться по парку. Я здесь никогда не был. Прелестный парк: цветы, запахи.

Ольге Николаевне стало неловко молчать, и она ответила, стараясь говорить как можно ласковее и нежнее:

— А я здесь часто бываю... Живу рядом!

— Знал бы, что здесь такие ангелы водятся, давно бы примчался. Что мы читаем? — взглянул он на книгу.

Ольга Николаевна показала обложку. Он с трудом прочитал название вслух:

— “Транскраниальная и эндоскопическая нейрохирургия”. Мудрёная книжка, а я думал, дамский роман. Ой, как мужики врут, высмеивая блондинок. Посмотрели бы они, что читают блондинки. Студентка?

— Я уже пять лет назад отучилась. По работе нужно совершенствоваться.

— Работа, видать, у вас прикольная?

— Да-а, с работой мне повезло.

— Ну да, хуже всего делать нелюбимую работу. Это я знаю по себе. Десять специальностей сменил.

— Ничего. Какие ваши годы! Найдёте ещё свою. Главное — не останавливаться в поиске. Мужчинам проще искать себя.

— Это так... Вы правы... Женщинам сложнее: дети, семья отвлекают от работы. Надеюсь, и с семьёй у вас в порядке?

— В порядке. Ни мужа, ни детей. Ничто не отвлекает.

— Не поверю! Такая прелестница — и одна! Такого не бывает, такого я пока не встречал.

— Читайте, что встретили.

— Почему так?

— Работа не даёт семью заводить.

— А где вы работаете?

— В экспериментальном НИИ на Смоленской.

— Да-а! — воскликнул Павел с радостным удивлением. — Я там был неделю назад. Мог бы встретить! Мне там чип в башку ввинтили.

— Вы, видимо, из волонтеров?

— Ну да!

— И как чип? Работает?

— Здорово! Я его навсегда оставлю. У меня друг в Сан-Франциско. Он тоже чип вставил. Так мы с ним, когда захотим, телепатически разговариваем. И в быту здорово! Надо отовариться — мысленно к программе магазина подключаюсь, заказываю, что надо, и дроны на балкон доставляют. Всё-всё можно делать мысленно: подключайся к программе и действуй!

— Как интересно! Я читала об этом. Общаться телепатически можно только с теми, у кого чипы?

— Пока да. А с другими — подсаживаешься к их смартфону или компу и мысленно чешешь то, что нужно. Ответ их идёт не на смартфон, а сразу в башку.

— Да, здорово!

— Советую и вам поставить, не пожалеете. Будем общаться, когда захотим.

— Соблазнительно! Надо попробовать. Узнаю, когда новый набор волонтеров будет, и запишусь!

— Не пожалеете! Вот смотрите, машину в любой момент куда надо вызвать можно... — Павел требовательно скомандовал: — Васёк, ко мне! — И пояснил: — Я свою тачку Васьком назвал. Тут же откликается. Во, откликнулся, говорит, что напротив нас стоянка запрещена. Штраф будет! — Павел обратился к машине: — Хорошо! Гони к ближнему от нас входу в парк. И жди!

— Вы всегда вслух с машиной разговариваете? Мысленно приказывать можно?

— Конечно, можно! Это я так... Кстати, время обеденное. Что-то я проголодался. Может, продолжим беседу в ресторане. Как вы на это смотрите?

— Положительно.

Ольга Николаевна резко, удовлетворённо захлопнула книгу и поднялась. Они направились к выходу, где их ждала машина. Когда Павел открыл перед ней дверь кабриолета, Ольга Николаевна нарочно восхитилась, чтоб порадовать самолюбие Павла.

— Ух ты, какая красавица!

Но ответ на восхищение получила она не от Павла, а от машины:

— Меня в прошлом году на салоне во Франкфурте признали лучшим авто в мире в своём классе. "Порше" обошла!

Павел, садясь рядом с Ольгой Николаевной на заднее сиденье, шутливо приструнил машину:

— Молчи, дурак! Или крыша поехала от такой пассажирки? Давай, гони в ресторан.

И назвал адрес.

Весь день они не расставались. Вечером приехали к Ольге Николаевне. Она счастливая, возбуждённая, хмельная то ли от вина, то ли от счастья, вошла в свою квартиру с большим букетом алых роз, вошла и спохватилась:

— Ой, а я где-то книгу забыла?

— Ничего, я тебе завтра новую куплю, — ответил Павел и вдруг обнял её, прижал к себе и коснулся тихонько своими губами губами её губ.

Она в ответ обняла его, закинула руку с букетом роз ему за спину и неожиданно для себя жадно впиалась своими губами в его губы. Никогда ещё

она не испытывала такого наслаждения от поцелуя. В комнате всё плыло, ноги подкашивались. Она повисла на нём и долго не отрывалась от его губ. Одна острая колючка от стебля розы впиалась ему в спину, но он не ощущал боли, всё сильнее прижимал к себе маленькое лёгкое тело Ольги Николаевны. Потом подхватил её на руки и внёс в комнату, увидел открытую дверь в спальню, кровать, быстро шагнул туда, бережно положил её на постель и стал целовать глаза, щёки, шею. Она уронила букет на пол, прижала парня к себе.

Всю ночь в большое окно с распахнутыми шторами падал свет от фонаря у соседнего дома, освещая его лицо с блестящими глазами, когда он отдышал, откинувшись на подушку, после небывалого для Ольги Николаевны неистовства, а она, ещё не остывшая от любовного восторга, дрожа от мучительного счастья, целовала, едва касаясь губами, его ещё более тёмные в полумраке загорелые литые руки, упругую бугристую грудь с редкими нежными волосами, которые ласково щекотали её губы, щёки, и думала, что вот за такую одну только страстную ночь можно отдать жизнь. Ничего подобного даже близко не испытывала она и не представляла, что такое бывает в реальной жизни.

Под утро спальню вдруг резко озарила ослепительно белым светом молния, ярко осветила всю наготу их одержимой страсти, и, словно сердясь на них, резко громыхнул гром. Сердце у неё сжалось от стыда, от мгновенной мысли, что она крадёт любовь. Она легко вспорхнула с постели, кинулась к шторам, с шумом запахнула их. Новая вспышка молнии осветила её у окна с поднятыми к шторам руками, тонкую, гибкую, стройную, и впервые она почувствовала себя красавицей, любимой. А Павел, любуясь ею при вспышке молнии, воскликнул восторженно:

— Ах ты, моя легкокрылая стрекоза!

Потом он будет часто называть её так.

Запахнув шторы, она, чувствуя себя легкокрылой стрекозой, кинулась ему в объятия, отдалась вновь неистово вспыхнувшей пламенем страсти.

Утром он потихоньку выбрался из её сиящих объятий, но она проснулась, открыла счастливые глаза, улыбнулась ему.

— Мне пора, — сказал он нежно, надевая тенниску. — Поеду на работу собираться.

Она увидела на его спине царапину, кровь.

— Ой, — воскликнула она, — я тебя до крови оцарапала.

— Жаль, простыню испачкал.

— Ничего, пусть будет, — поцеловала она вдруг кровавое пятнышко на простыне.

— Это розы! На шип напоролся. — Он поднял букет с пола. — Свидетели нашей страсти! Смотри-ка, совсем за ночь не завяли.

Он протянул ей букет. Она схватила его и уткнулась в цветы лицом, вдыхая их томный запах. Он поцеловал её в лоб, говоря:

— Я побежал, — и быстро вышел из спальни.

Она, со счастливой улыбкой слушая его торопливые шаги, стук захлопнувшейся двери, кинула букет на подушку, на которой была вмятина от его головы, и упала лицом на постель, на то место, где он лежал, с острой сладостью вдыхая его мужской запах. Возле её глаз на простыне темнело пятнышко его крови. Сердце её стеснило от нежности, и она зачем-то легонько коснулась высохшей крови языком.

Утром она опоздала на работу.

— Что с тобой? — встретила её удивлённо Верочка. — Ты как будто прозрачная сегодня, лёгкая, воздушная. Я тебя такой никогда не видела.

— Как стрекоза! — засмеялась Ольга Николаевна.

— Вот-вот! Племянница приехала?

— Да-да, встретила вчера вечером.

— Хотела бы я взглянуть на эту удивительную племянницу.

— Увидишь, приходи в гости! — радостно брякнула Ольга Николаевна, и сама испугалась своих слов: что она говорит? Зачем? Какие гости? Никто не должен видеть их вместе!

— Когда? Сегодня?

— Нет-нет, мне сейчас не до гостей. Потом, потом!

После работы она с лёгким сердцем полетела в салон красоты. Ей делали причёску, а она нетерпеливо поглядывала на часы. Скоро будет он!

И снова была до безумия жаркая ночь, снова она теряла память от бурной страсти, снова её сердце разрывалось от жгучего наслаждения, и снова за окном ослепительно вспыхивала молния, грозно сердился гром, словно напоминал ей, что счастье её зыбко, к добру эта страсть не приведёт. Но в следующую ночь грозы не было, и не было безумной бурной страсти, но по-прежнему была томительная нежность, по-прежнему охватывал обжигающий сердце пламень в миг особого наслаждения.

Верочка удивлялась её преображению. Она отлично знала по себе, из-за чего такие пертурбации происходят с женщиной, и с каждым днём разбира-ло её жгучее любопытство: кто? Кто же это превратил невзрачную старушку в легкокрылую стрекозу?

Павел пытался вытащить из дому Ольгу Николаевну, познакомить с друзьями, но она отказывалась, боялась показываться с ним на люди. Бывали только в ресторанах да изредка гуляли по парку, где прохожие принимали их за мать с сыном.

Но через неделю Павел стал приезжать за Ольгой Николаевной на работу. Она всячески отговаривала его не встречать её, но он упорно приезжал к НИИ и ждал у входа.

Ольга Николаевна ужасно боялась, что их увидит Верочка. И это вскоре произошло. Верочка, увидев, как Ольга Николаевна, выпорхнув из здания, привычно, уверенно садится в кабриолет, подскочила к ним, сразу узнав того красавца-волонтера, и воскликнула:

— Ольга Николаевна, познакомьте меня с племянником!

— Паша, — сам назвал себя парень.

— А меня все зовут Верочка. Я ученица Ольги Николаевны, вместе работаем.

— Только я не племянник, — сказал Павел.

— Значит, племянница, — засмеялась Верочка и отошла от них, пошла по улице к своей машине.

— Чудачка! — покачал головой Павел и приказал машине. — Васёк, вперёд! Адрес ты знаешь!.. Она всегда такая? — спросил он Ольгу Николаевну о Верочке.

— Всегда... Может ляпнуть что-нибудь... но добросовестная.

А изумлению Верочки от этой встречи не было предела. Она даже некую ревность почувствовала, увидев, как Паша взглянул на Ольгу Николаевну. Чем она привлекла этакое красавчика? Поначалу подумала, что старушка купила его, альфонсов сейчас много. Нет, у альфонса не будут так гореть глаза, так смотрят только очарованные женщиной влюблённые мужчины. Чем же она взяла его? Странно, очень странно!

Однажды Верочка увидела в окно, как кабриолет с Пашей подкатил ко входу и остановился, стал ждать. Ольга Николаевна всё ещё сидела за компьютером, заканчивала какую-то работу. Верочка быстро схватила свою сумочку и выскочила на улицу, подошла к Паше и, улыбаясь, сказала:

— Привет, мою старушку ждёшь?

— Какую старушку? — удивился Павел. — Я жду Олечку!

— Я про Ольгу Николаевну и говорю. Я просто с ума схожу от любопытства, что такой прелестник нашёл в убогой старушонке? Чем она тебя привлекла?

— Какая она старушонка? Я её за студентку сначала принял.

— Ну да, студенточка! Она уже академик. Ей пятьдесят девять лет.

— Хватит гнать! — рассердился он. — Если ей пятьдесят девять, то тебе семьдесят два.

— Разуй глаза, — засмеялась Верочка. Её вдруг озарило, она поняла, что Ольга Николаевна через чип внушила ему любовь к себе.

— Вот и я думаю, — заговорил вдруг кабриолет, — то я с ним возил таких красоток, а то он вдруг залип на старушонке.

— Заткнись, дурак! — прикрикнул на машину Павел.

— Молчу, молчу!

— А вот и моя легкокрылая стрекоза! — просиял Павел, увидев торопиво выходящую из здания Ольгу Николаевну. Когда она подошла к ним, Верочка сказала ей весело:

— А мы тут любимся кабриолетом... Изящная игрушка!

— Меня все любят, — заговорил кабриолет, — но я не игрушка!

— Васёк! — грозно прикрикнул Павел. — Я те сказал: молчи!

— Молчу... Куда едем?

— Туда же!

А Верочка проводила ревнивым взглядом отъезжающую машину со счастливым Павлом и решила войти в программу чипа Павла, узнать, действительно ли Ольга Николаевна внушила ему, что она молодая красавица. Но как это сделать? Для входа у них были сложные пароли. И Верочка придумала, как узнать пароль. Она купила миниатюрную видеокамеру и закрепила её на лостре, направив на компьютер Ольги Николаевны. Потом, внимательно разглядывая запись с камеры, расшифровала пароль.

На другой же день Верочка задержалась на работе, понаблюдала в окно, как Павел с Ольгой Николаевной отъезжают на кабриолете от НИИ, быстренько вошла в её компьютер и скачала на свою флешку программу чипа Павла. Дома переписала её на компьютер и, чувствуя в душе волнение, азарт и некоторые ревность, зависть к Ольге Николаевне, открыла, стала листать страницы программы и быстренько напала на фотографию Клаудии Шиффер. “Вот оно что! Вот кого он видит вместо облезлой старухи. Сейчас я вам устрою сюрприз!”. Она с удовольствием и некоторым злорадством щёлкнула несколько раз по клавишам. Фото Клаудии и задание исчезли с экрана.

А Павел в это время в постели жарко обнимал Ольгу Николаевну, целуя нежные щёки Клаудии. И вдруг юное личико блондинки с тонкой белой кожей под его губами превратилось в серое невзрачное лицо пожилой женщины с дряблой кожей, испещрённой морщинками. Павел ошарашенно отшатнулся, увидев под собой не легкокрылую стрекозу, а маленькую старушку, вскочил и, дрожа испуганно, сграбастал свою одежду с тумбочки.

— Что с тобой? Что с тобой? — вскочила вслед за ним Ольга Николаевна. — Остановись!

— Отстань! — вскрикнул Паша. — Отстань, проклятая старуха!

И выскочил из спальни.

Ошеломлённая, оглушённая Ольга Николаевна упала на подушку, почти потеряв сознание, чувствуя страшное удушье в груди. Она хрипела, жадно в страхе хватала воздух ртом и, наконец, придя в себя, разрыдалась. Рыдала вслух, громко, не сдерживаясь, чувствуя, что жизнь её кончена. Когда отрыдала, успокоилась немного, продолжая чувствовать разрывающую грудь страшную скорбь, решила, что это контролируемые эксперимент органы проверили программу, увидели фото Шиффер и очистили программу от её задания. Завтра угробят её проект, которому она отдала больше десяти лет жизни, отстранят её от эксперимента, выгонят с работы и, скорее всего, заведут уголовное дело, особенно если Паша напишет заявление. Пусть! Пусть!

Всю ночь Ольга Николаевна лежала на спине, видела перед собой то блестящие при вспышке молнии глаза Паши, то его руки, ласкающие её волосы, грудь, то засохшее тёмное пятнышко его крови на простыне, видела, как она с нежностью прикасается языком к этому пятнышку, то снова начинала вспоминать ту жаркую безумную страсть, с которой он обнимал, её ответный любовный пламень. Вспоминая это, она снова начинала задыхаться, и слёзы, слёзы лились из глаз на мокрую подушку, а жгучая скорбь разрывала душу. Вспомнилась мысль после первой ночи, что за такую ночь можно отдать жизнь. И эта мысль стала успокаивать. Будь теперь, что будет, но она познала большую восхитительную любовь. Это было в её жизни, было! Разве было бы лучше, если бы она сгасла с годами, не узнав этой безумной страсти? Нет, нет, за такую немислимую раньше любовь можно и умереть. Ведь за неё умирают даже юные девушки, а она пожила, познала

радости успехов в работе, а теперь и в любви! Эти мысли придали ей уверенности, мучительная, люта́я скорбь ушла из груди, оставив томительную печаль.

Утром, собираясь на работу, Ольга Николаевна твердила себе, что надо собраться с духом, не показать хотя бы Верочке, что она убита, раздавлена. Что делать теперь, как быть дальше, она пока не представляла, но чётко знала, что жизнь её кончена. Незачем дальше жить!

Верочка в этот день была неразговорчива, старалась не обращать внимания на Ольгу Николаевну, сосредоточенно делала что-то в своём компьютере, не поднимая головы. Ольга Николаевна тоже запустила компьютер, смотрела безучастно на экран и думала-думала-думала, но никак не могла придумать, что делать теперь? Что делать?

Перед обедом Верочка куда-то вышла, вскоре вернулась и обратилась к Ольге Николаевне:

— Там твой племянник к директору явился.

— Какой племянник? — похолодев, спросила Ольга Николаевна.

— Паша.

— А-а... мало ли у людей... дел к директору!

— Сидит в приёмной, хмурый, растрёпанный какой-то. Глянул на меня зверем. Даже “здрассьте” не сказал.

Ольга Николаевна представила, как сейчас вызовут её к директору, как начнётся скандал, позор!

Для неё стало ясно, что делать! Она отвернулась от Верочки к своему компьютеру и быстро защёлкала клавишами. Вошла в программу чипа Павла и написала:

— Выйди на балкон в приёмной, наклонись через перила и лети! Ты орёл!

Через миг мимо окна лаборатории промелькнуло тело человека, падающего вниз. Приёмная директора была над лабораторией. С улицы донёсся испуганный крик.

— Ой, что это! — воскликнула Верочка и подскочила к окну. — Человек выпал из окна! Прямо на асфальт!

Ольга Николаевна быстро поднялась и торопливо вышла из лаборатории. На улице она выскочила из здания и быстро направилась к своей машине, даже не глядя в сторону возбуждённой толпы вокруг тела Павла.

Остановила машину возле парка и неторопливо направилась по дорожке к плакучей иве, села на лавочку под ней и стал с улыбкой вспоминать первый разговор с Пашей. Посидев минут десять, встала, улыбнулась, сказав себе вслух:

— Ну что ж, пора на встречу с Пашей!

И неспешно, уверенно, со спокойной душой направилась домой. Там надела своё самое праздничное платье, в котором была на первом свидании, взяла две свежие упаковки снотворного. После встречи с Пашей она перестала ими пользоваться, выдавила все таблетки себе в ладонь, отравила их разом в рот и, схватив стакан с водой, давясь, стала жадно глотать их. Проглотила, прополоскала рот и пошла в спальню, неторопливо легла в постель, улыбнулась, глядя на подушку, на которой только вчера лежал её любимый, прошептала:

— До скорой встречи, Пашенька! Твоя стрекоза летит к тебе!

И закрыла глаза, ожидая, когда придёт её последний сон.

Но встретиться с Павлом в лучшем мире на этот раз ей не пришлось.

Верочка рассказала полиции, приехавшей на смерть Павла, что, возможно, Ольга Николаевна причастна к его смерти. А те вызвали спецов из органов. Им Верочка показала на экране компьютера своей учительницы задание Павлу лететь с балкона. Ольга Николаевна, видимо, потеряв в отчаянии память, не только не стёрла своё задание, но даже не закрыла программу.

Люди из спецорганов приказали Верочке запереть рот на замок, никому не вкаты про задание Павлу и сразу же помчались на квартиру к Ольге

Николаевне, взломали дверь, нашли её спящей в постели со счастливой улыбкой на умиротворённом лице и вызвали “скорую”.

Ольга Николаевна исчезла. Проект её был закрыт. У всех волонтёров извлекли чипы. С Верочки спецорганы взяли пожизненную подписку о неразглашении. Она считала, что Ольга Николаевна арестована, считала, что скоро будет закрытый суд. Но вскоре в НИИ прошёл слух, что следствие по делу выпавшего с балкона парня завершено, что он случайно, поскользнувшись, упал с балкона. Несчастный случай!

А куда же делась Ольга Николаевна, наша легкокрылая стрекоза? Она теперь далеко от Москвы, живёт в секретном закрытом городе, руководит делом в НИИ, относящемся к ведомству Министерства обороны, работает над своим проектом. Она просила вызвать сюда свою прилежную ученицу Верочку, но ей категорически запретили это делать.

ВЛАДИМИР МОЛЧАНОВ



НА ПИКЕТЕ ТАВОЛГА ЦВЕТЁТ...

* * *

На Алтае — крымская жара,
Будто в тигле, плавится июнь.
Поутихли горные ветра,
Лишь в низине буйствует Катунь.
А душа здесь просится в полёт!
И в священной горной тишине
На Пикете таволга цветёт
В память о великом Шукшине!..

* * *

Вспоминаются годы дальние,
На перроне — тоска людей.
Где цветут цветы привокзальные —
Кормит девочка голубей.
Не понять толпе, как ни силится,
На девчонку бросая взгляд,
Что не голуби, как им видится, —
Это ангелы к ней летят.

МОЛЧАНОВ Владимир Ефимович родился в 1947 году в станице Ильской на Кубани. Окончил Белгородское музыкальное училище и Воронежский государственный университет. Автор двенадцати книг стихотворений, поэм и переводов, двух юмористических сборников литературных баек, трёх сборников песен и романсов. Лауреат ряда Всероссийских литературных премий. Живёт в Белгороде.

Над землёй моей, что всё вертится,
Цвет небес теперь голубей.
Сам Господь узрел — в это верится —
Кормит девочка голубей...

* * *

Над землёю ветер свищет,
Беспощадно щёки жжёт.
Каждый в жизни что-то ищет,
От неё чего-то ждёт.
Горе старит, радость красит!
Ощущения пестры.
Кто-то пламя в сердце гасит,
Кто-то жжёт в душе костры.
Каждый в жизни что-то ищет:
Кто-то холод, кто-то зной.
И судьбою из кострища
Дым гоняется за мной.

.....

*Поздравляем нашего давнего автора с 75-летием!
Желаем крепкого здоровья и творческого долголетия!*

РОМАН КОЖУХАРОВ



ДНЕСТР ВПАДАЕТ
В ЧЁРНОЕ МОРЕ

РОМАН

Часть I. 49 ТЕРРАКОТОВЫХ КОРАБЛИКОВ

I. Облако

*Выпьём ещё по стакану вина,
Будьте здоровы, ребята!*
Лэутар Михайл Константин

Собаки любят больше, чем люди, когда ждут от людей собачьей преданности. Человеческая преданность не в пример необъятнее. Апостол Пётр был предан Учителю всей душой, равно как и апостол Иуда, однако один из них оказался всего лишь трижды малодушным, а другой — единожды предателем.

Мера, что простёрлась в этой триединой разнице, принуждает рассудок и сердце отступить и оступиться в пучины тщеты скудоумия.

КОЖУХАРОВ Роман Романович родился в Тирасполе в 1974 году. В 2004 году окончил Литературный институт им. М. Горького. Автор ряда книг прозы и поэзии. Составитель собрания сочинений поэта Владимира Нарбута (ОГИ, 2018). Публиковался в литературной периодике Москвы, Санкт-Петербурга, Одессы, Кишинёва, Тирасполя, в том числе в журналах “Звезда”, “Вопросы литературы”, “Московский вестник”, “Знамя”, “Аврора”, в “Литературной газете”. Лауреат “Русской премии” в номинации “Крупная проза” (2016, роман “Кана”). Лауреат литературной премии “Белый Арап — 2013” (Кишинёв). С 1999-го по 2014 год возглавлял Тираспольское отделение Союза писателей России. Ныне живёт в Москве, преподаёт в Литературном институте им. М. Горького.

Не таково ли впечатление впервые увидевшего громадину ЦИРКа, этой доминанты нистрянского ландшафта, который то ли как вымахавший до небес гигантский гриб трихолома, то ли как застывший ядерный зонтик прикрыл сирость местного бытия, продавив его ниц, повенчал своей мощью всевластие и раболепие и тем самым пригвоздил на миллион лет вперед эру Зебулова гиперолоида.

ЦИРК довлеет над пространством и временем, давая отныне форму и содержание, внешний вид и сокровенную суть свёрнутой в трубочку Нистрени.

Семь лет, на каждый ярус — по году из срока первого Зебулова президентства, телескопическим способом, без подъёмных кранов и лесов, вершилась композитносталестеклобетонная плоть исполина. Зебулов сердечный замысел воплотил гений архитектора Маноло Диаса-Янковского, а также сонм проектировщиков, тьмы покорных столпотворящей воле строителей.

Проектирование и строительство шли с опорой на парную меру, сопрягая заветы византийского зодчества с гиперболическими взлётами инженера Шухова. И ведь, как известно, новейший стиль зодчества “хай-тек” выварился в котле шуховских идей, а мастер Маноло, испанец с одесскими корнями, трудился в команде, возводившей Дворец Мира и Согласия и торгово-развлекательный центр “Хан-Шатыр” под началом не кого-нибудь, а Нормана Фостера, поборника сетчатых оболочек, а после и сам обрёл заслуженную всемирную славу непревзойдённого создателя сверхвысоких конструкций.

Рассказывали, будто Фостер удостоил своим личным посещением строительную площадку* будущей Зебуландии. Произошло это в шестой год первого срока правления Зебула и, следовательно, строительства, когда почти доведён был каркас гиперолоида до шестого, предпоследнего уровня-неба, и нижние уровни уже стеклили “умными” полимерами, и будто бы Фостер, светило всемирного зодчества, сам был ослеплён масштабом увиденного, оставив для журналистов ряд отзывов, в которых, что показательно, практически отсутствовали аналитические оценки искушённого профессионала, создателя башни Хёрст, лондонского “Корнишона” и прочего черноморова войска всесветно известных исполинов из стали, стекла и бетона.

Фостер не скупился на эмоции: “Башня растёт, как своеобразный призрак, — высокая, бесплотная, прозрачная и очень таинственная... Фантастическая!” Разве могло не потрясти увиденное последовательному адепту гиперолоидных шуховских кунштюков?

Ячейки фасеточной оболочки с подачи заказчика именовали *ноздрями* или *пóрами*. Полимерная, сложно-умная сеть, покрывавшая мегаплоть, регулировала микроклимат каждого отдельного помещения, каждого небо-яруса и в совокупности всего мегаздания. Башня *дышала* то солёно-морским, то резко континентальным духом розы ветров, просеивала потоки фотонов, неутомимо впитывала лучистые зёрна, сыпаемые вечно полуденным солнцем.

Природа неистовствовала в пеленании башни, но как бы она ни старалась — непогодой дождей, ураганов и шквалов, градом, снегом и стужей или непереносимым маревом зноя, — внутри неизменно пребывала двадцатидвухградусная атмосфера светлого праздника. Таково воцарение едва уловимого этилово-дрожжевого аромата, источаемого из кухни, где в Страстную Субботу поднимается тесто на куличи. Замешанное на яичных желтках, нещадно, без счёта раз взбитое и, наконец, оставленное на покой, в полной тишине (никому из домашних нельзя шуметь и тревожить), в темноте оно растёт виширь и вверх, словно хочет всей своей набухающей массой, без сухого остатка преобразиться в этилово-дрожжевой, пасхальный дух, заполнить всю отведённую в рост вместительную выварку, пространство кухни, дом до маковки чердака и дальше — всюду, везде, своим возрастаньем, возможно, знаменуя итог Сошествия во ад: начало восхождения вспять, в горний

* Впрочем, не площадку, а огромную площадь: только под возведение башни, с кольцевым каньоном для речного русла, платформой гидроузла и сопутствующей инфраструктурой было отведено более 200 га, а с учётом строительства Валя-Зебулуй — посадской деревни-спутника мега-ЦИРКа “Море любви” — цифра занятых преобразованием в районе гиперолоида пойменных нистрянских земель возрастала более чем на порядок.

путь — с победой, во славе Поправшего смерть, к всесветному торжеству Воскресения.

Желтки добавляли в краски иконописцы для живости образов и древние зодчие при возведении храмов, — в строительные растворы, для живучести домостроения, закладываемого с запасом прочности до Второго пришествия.

Вознесение над серостью будней оплота мегапразднства цементировала всемогущая воля Зебула, сумевшего обратить на башню взоры самых продвинутых разработчиков в области информационных, цифровых, нано-экологических строительных технологий. В списке фигурировали компании, зарегистрированные в Силиконовой долине и долине Напа, Сколково, в Гуанчжоу и Гонконге, Токио и Дохе, и даже в Пуэрто-Вальярто, столице мексиканского штата Халиско. Перечень прописанных на Кипре и Мальте, на Карибах, Антигуа и Барбудах, Барбадосе, Вирджинских, Соломоновых и прочих островах уводил за горизонт безбрежного океана финансово-экономических возможностей, к укрытому от фискального взора сказочному оффшору-Буяну.

Список был непомерен, тонул сам в себе от обилия желающих к нему приобщиться. Транснациональный конгломерат с долями турок, румын, китайцев, русских, молдаван, грузин, мексиканцев, афроамериканцев Востока и Запада, одесских, тверских, нью-йоркских и калифорнийских евреев, саудитов и катарцев, оформленный в виде хедж-фонда, открыл инвестиционные шлюзы в направлении соучастников реализации небывалого мегапроекта. И потекли изобильные реки в безбрежное “Море любви”.

Жизнестойкость ЦИРКа обусловило море политики и финансов, в пучинах которого Зебул пребывал на правах совладычества, давая свободу архитектурному и организаторскому гению мастера Маноло Диаса-Янковского, державшего в железном своём кулаке каждую из бесчисленных нитей-направлений воплощения мегамакропроекта — от рытья многоуровневого котлована посреди русла реки, закладки в сложном грунте — известняковой породе с обширными локациями песка и суглинка — фундамента, по сути, представляющего собой сверхсовременную гидроэлектростанцию, — до построения — ярус за ярусом, *небо за небом* — всей композитносталестеклобетонной махины.

По свидетельствам, зафиксированным прессой, главный архитектор и сам любил сравнивать ход строительства ЦИРКа с пасхальным тестом. “Растёт, как на дрожжах”, — бывало, говаривал он, завершив очередной обход, каковые проводил ежеутренне и ежевечерне в течение всех семи лет строительства, ни разу за весь этот срок не пропустив ни одного утра и ни одного вечера по болезни, уважительной или прочим причинам, за что у коллег-инженеров, специалистов-наладчиков по направлениям, прорабов и рабочих получил прозвание *железного механика* или *композитного Маноло*. Бытовало и более лаконичное, но применяемое изредка, не для чужих ушей: *Композитор*.

Такою заоблачную меру ответственности объясняли не только свойственной архитектурному гению привычкой к строгому режиму, но и безоглядной преданностью собственной жене Клодии, в которой Маноло души не чаял и с которой практически не расставался.

Неразлучная пара могла явиться на стройку в любое, и во внеурочное время суток, за полночь, в снег, град и дождь, причём архитектор, как правило, пребывал с супругой в постоянном общении, носившем характер некоего неизбывного говорения вслух вопросов, касавшихся ум помрачавших тьмами проблем аспектов мегапостройки, и тут же, исподволь, настойчиво-чутким эхом получаемых от супруги ответов, озвученных неизменно по делу и своей вдохновляющей сутью цементирующих за Клодией по отношению к Маноло совместительство супружеских обязанностей с не менее значимой (а в деле строительства гиперболоида, — возможно, и более) ипостасью музыки *железного композитора*.

Сам мастер часто именовал себя постановщиком, видимо, апеллируя к своему страстному увлечению театром, привитому ему матерью-одесситкой с малых лет, проведённых на берегу Чёрного моря. В многочисленных

интервью Маноло Диас-Янковский разъяснял, что архитектура для него продолжение театра, и суть этой связи определяется просто: возводя здание, он на самом деле ставит трагикомедию. Если в архитектуре используется метрическая система, то в театре единицей измерения является человек. Мастер Маноло при строительстве гиперблоида использовал театральные принципы: человек — мера всех пропорций. Посему и величавая немая музыка новейшего архитектурного стиля “хай-тек”, по аналогии с игрой великого немца, обрела в исполнении композитного маэстро неповторимые грани *хай-тека трагикомического*.

И вырос кулич, только выпеченный как бы в узкой и длинной пасхальной форме, с характерной шапкой наверху — словно застывший порыв теста, предпринявшего попытку сигануть от печного жара за предуготовленные ему пределы.

Гимнотворцы и одописцы, ревнители большого стиля, казалось бы, совсем захиревшие на безрыбье безвременного мелкотемья, восприняли духом и не преминули настроить лиры и флейты на созвучие полнящему нистрянские пойки всепобеждающему ритму грандиозного действия.

В числе прочих, в ряду с хлебом, исполненным пасхального духа, была явлена и иная развёрнутая метафора: кусок глины, взращиваемый всеильной дланью на нистрянском гончарном кругу, непрерывно вращаемом кольцом речных вод; всеискусная воля преобразует лоснящийся от нистрянского тука терракотовый ком в чудесный сосуд-водонос, где с лихвой поместятся все семь мер безбрежного “Моря любви”.

Ванты исполинского каркаса из сверхпрочного и сверхлёгкого сплава оплетают гигантскую конструкцию, вертикально ограничивают её, словно трубчатые, плавно вогнутые кости экзоскелета. Лишь отчасти, при возведении фундамента и первого яруса-неба, Маноло использовал преднапряжённый бетон и титаново-алюминиевые тросы, скорее как дань уважения к подходам и полёту зодческой мысли коллеги и чтимого мэтра по архитектурному цеху, отца Останкинской башни Николая Никитина. Но в целом из подднестровской глубины и ввысь шли всё сплошь композиты и полимеры, придавая мегастроению ажурный вид и рождая эффект воспарения.

Начиная с судьбоносного дня всенистрианского празднества и на миллион лет вперёд ветви (с подачи заказчика, по велению архитектора Маноло, шуховское слово *ветви* для опорных, несущих вантов гиперблоида переименовали в *лозы*) превратятся в натянутые тетивы, многожильной пульсацией улавливающие каждый толчок безмерного прибое жизнерадостности, денно и ночью, круглосуточно и круглогодично, праздно-празднично плещущего в мегастакане. Так вещают анонсы, денно и ночью нацеленные на разогрев аудитории перед неотступно грядущим грандиозным торжеством — открытием мегаЦИРКа.

Авторство “Моря любви”, от величия замысла до гиперблоидного его воплощения, принадлежало, конечно, Зебулу. Однажды в раннем детстве он, совсем ещё маленьким крохой, помогал маме на позднем сборе винограда в окрестностях села, в котором родился и вырос, — родной Христофоровки. Кроха устал и еле сдерживался, чтобы не расплакаться и не расстроить маму, а сбор был поздний, и почва была застужена сильными ночными заморозками, и тогда мама перевернула корзину, сплетённую из виноградных лоз, вверх дном, усадила на неё сынишку и ласково-нежной рукой утёрла его горячие детские слёзы. И хотя виноград ей пришлось собирать и носить аж до кузова в подоле, зато маленький сын напрочь забыл про детское горе, очутившись на вершине опрокинутой корзины, на самой маковке счастья.

Много позже этот прозорливый образ проектировщицы во главе с архитектором Маноло Диасом-Янковским восхищённо соотносили с архитектурным принципом “смотри наоборот”, которым, к примеру, руководствовался Николай Никитин, задумав Останкинскую башню в форме опрокинутой лилии. Полукилометровый цветок как бы вырастал из небесной тверди, едва касаясь лепестками московской земли, скорее паря, чем стоя на земле, ибо практически не имел фундамента.

“Стаканом” ЦИРК окрестили в обставшей его анонимной нистрянской массе, вернее — в её остатках от *многого стада* счастливых, повёрстанных, подобно населению какого-нибудь монограда, в многотысячный коллектив охраны, персонала и прочей ЦИРКовой obsługi.

Не принятые на борт “Зебуландии”, оставшиеся за околицей развесёлой, выросшей, как гриб после дождя, вокруг стройки века (эпохи, эры и далее — зона на миллион лет вперёд) мегадеревни Валя-Зебулуй*, из всего нескончаемого ассортимента развлечений, предлагаемых ЦИРКом, вынужденно довольствовались лишь одним: сторонним его лицемерием.

Но и этого хватало с лихвой. Разновидностью интеллектуального спорта у местных стала игра в “нареки́ что” взгромоздившегося всенистриянского исполина. Ряды словотворчества сыпались щедро, протягиваясь за горизонт, уходя в облака: “гриб”, “мухомор” (особенно распространенное), “поганка”, “ваза”, “бутылка”, “горло”, “горлышко с пробкой”, “граната”, “труба”, “горн”, “клаксон”, “кегля”, “дылда”, “дудка”, “дудочка”, “дуда”, “швабра”, “плечо”, “перекладина”, “табурет” (из-за характерного Т-образного силуэта башни), “дядя Стёпа”, “дядя Стёпа-милиционер” (с намёком на вехи биографии хозяина башни), “фуражка”, “фуражка с кокардой” (с тем же намёком, из-за характерного силуэта наверхи, схожего с тульей), “загогулина”, “штырь”, “палец”, “гулька”, “гулькин нос”, “прыщ”, “угорь”, “шангила”, “шампур”, “фонарик”, “маяк”, “маяковский”, “факел”, “шуруп”, “гвоздь”, “болт”, “гиперболтик” (приставка гипер- употреблялась и в других многообразных вариациях, равно как и приставка мега-), “шайба”, “таблетка” (по наверхию), “зрак”, “пёс-призрак” (позже, из-за славы и силу набравшего Наф-Наф Доги), “зрачок”, “глаз”, “око”, “очко”, “циклоп”, “одноглазый”, “обруч”, “колесо”, “колёсико”, “кольцо”, “колечко” (по эмблеме, венчавшей наверхие). Отдельные, ожесточённые *ОКОМ ВИДЯЩИМ*, а зубом не имущим лицемерием громадины циники хулили её “наростом”, “шанкром”, “херосимой” (с акцентом на -е) и далее — того хлеще, на минимальных и нулевых уровнях печатного словоудобования.

Чесать языки и нести всякую гиль на тему нистрянского небоскрёба практически не запрещалось, за исключением случаев, откровенно нарушающих административные нормы публичного употребления лексики. Ситуацию свободного и даже вольготного речетворчества якобы закрепил великодушный дозвол самого Зебула.

В сопряжении восхваления с осмеянием усматривалось высшее проявление всё той же парной меры, утверждающей истинное возвеличивание не иначе, как посредством низведения в крайнюю степень ничтожества. “Молвил же классик: *из топи — блат!* Кто был ничем, тот станет всем. Из грязи — в князи”, — цитировались слова самого Зебула, итожившего: “Чешут языками? Ярче будет блестеть!” — тем самым узаконивая безвариантное, при без разницы каком раскладе, приотечение для ЦИРКа одного лишь неизбывного блага.

Образцы анонимного устного народного промысла даже нашли широкое применение в предварявшей церемонию Всенистриянского Празднества по случаю торжественного открытия ЦИРКа чрезвычайно успешной тизерной** кампании, в ходе которой гиперболоид представлял перед многомиллионной аудиторией в череде ярких образов-ребусов, ненавязчиво-ироничных и легко поддающихся загадыванию.

Куратор мегамасштабной рекламной пиар-акции Клодия Диас-Янковская в интервью с журналистами откровенничала о том, что безотказно сработали парные, *амбивалентные волны*: поначалу на зрительские тьмы и тьмы накатывал первый вал тизерных роликов, использующих образы иносказательного поношения. Этот сокрушительный вал двусмысленной топи казался

* Долина Зебула (молд.).

** Тизер — от англ. teaser “дразнилка, завлекалка”. Рекламное сообщение в виде загадки, которое содержит часть информации о продукте, но при этом сам товар полностью не демонстрируется. Обычно используется на раннем этапе продвижения товара, создавая интригу вокруг него. В тизерах часто применяются двусмысленные и провокационные фразы или изображения.

неискушённой аудитории в действительности валом девятым, призванным не оставить от ЦИРКа *лозы на лозе*; но следом шёл десятый вал, даривший разоблачительную разгадку: опадая с очищающим шипением, он оставлял в приятии многомиллионной аудитории одну лишь твердыню невесомо несомого к тверди сияния ЦИРКа.

При конструировании визуальных головоломок в ход пошли в том числе “змеи” и “змеюка”. Вид башни из окрестных сёл, расположенных по соседству от мегадеревни Валя Зебулуй, — превращённого в ЦИРКовой посад предместья гиперболоида, где жили семьи эксплуатационщиков, а также obsługi и охраны мегацентра, — действительно, отдалённо напоминая потревоженного Нага или Нагайну, вскинувшуюся из днестровской поймы и зависшую в драгоценном сверкании чешуи перед смертоносным броском.

Сходство с чешуйчатым гадом гиперболоиду придавали ячеистые бока — те самые *ноздри*. Каждая из ромбовидных фасеток вмещала умное полимерное покрытие, которое регулировало микроклимат внутри башни, в зависимости от освещения меняло степень прозрачности, под ярким полуденным солнцем превращаясь в сияющий сноп нестерпимого для стороннего глаза расплавленного серебра или золота, которое, чем ближе к закату, тем ярче червонело, поначалу непроглядно-вишнёвым яписом, затем пламенея рубином, всё менее замутнённым, с заходом светила становилось прозрачным, выпуская в нистрянскую ночь токи прущей из башенного нутра праздничной иллюминации.

Прочнее прочих у местных закрепилось за ЦИРКом прозвание “стакан”. На верхотуре конструкции размещена пространственная подкосная система. Ванты крепят её радиально, служа для распределения нагрузки на ствол башни шайбообразного навершия, крыша которого приспособлена под смотровые, вертолётные и мультикоптерные площадки. Макушка, вместе с несущими каркасными *лозами*, придаёт ЦИРКу сходство с гранёным стаканом, накрытым ломтем хлеба, только перед тем как ломоть положить, опрокинули его кверху дном.

В ясный день гиперболоид просматривается за десятки километров — из Слободзеи, Днестровска, Незавертайловки, Карагаша, с колокольни Кицканского монастыря, с Бендерского КПП и выше, из Гербовецкого леса, из правобережных Копанки и Пуркар, в ночи же сияющее иллюминацией “Море любви” усматривалось в бинокль не то что из украинского Кучургана, но и из Раздельной, не говоря уже про Бендеры и Парадизовск.

Неиссякаемую лампонию венчает эмблема, вращающаяся над навершием гиперболоида со скоростью один оборот за час, — окружность, образованная троептирем; три нити, или острые серповидные лезвия, два из которых в непрерывном движении периодически перехлёстываются в эллипс с хвостиком-галочкой, а третья, таким же вольным, ларионовским росчерком ложится жаберной линией, выказывая боковые плавники.

Три нити, сходясь, словно ловят в тенёта схематичное изображение рыбы, тут же чудесным образом в саму неё и обращаясь. Говорили, что сияние в густо-чернильной нистрянской ночи так называемого *ока* (из-за схожести контуров рыбы с формой глазных век) можно было увидеть в цейсовскую оптику с крыш одесских многоэтажек и чуть ли не из Дубоссар, в которых высотки, равные по высоте одесским, отсутствовали, но которые располагались на возвышенности Восточно-Европейской платформы, скатывающейся на юг по наклонной, в просевшую часть нижней Нистрени, к логову мега-села Валя-Зебулуй и собственно гиперболоида.

Воистину, ЦИРК подчинил себе все четыре стихии: огонь электричества, землю, закоптелой вогнутой линзой прогнувшуюся под чудовищной мерой столпа, воздух, размазанный по нистрянским краям вместе с птицами, словно мухи в меду, увязшими в густом южном небе. И воду. Конечно, и воду. Элефантовы пяди наступили Днестру на самое горло, заставив ветхого змея ухватиться за собственный хвост. Каскад малых электростанций, расставленных вверх по течению до самого Могилёва-Подольского, как спиц-рутенами после бала, мочалил мглисто-зелёную речную плоть. Потом она, еле живая, ползла через стену Дубоссарской плотины, по бетонным лоткам

бендерского и парадизовского берегов, чтобы здесь, на излёте покато́й слободзейской равнины, её, вконец обессиленную, притянули в воронку Валя-Зебулуй, окончательно лишили спасения и надежды, речным узлом увязав вокруг башни.

Руслó пустили в обхват толкать лопатки турбин гигантского энергообру́ча, который опоясывал столп по всей его трёхкилометровой окружности. Поток влаги круг за кругом, как бессловесная тварь у масляного жёрнова, шестерил ток энергии, которую в сокровенной глубине гиперболоида генераторы и прочая сверхсовременная начинка преобразовывали в неизбывную выработку мегаватт электричества, в свет, фейерверк и сияние на миллион лет негасимого ЦИРКа.

Воистину, сбылось пророчество древности, явив того, кто исчерпал воды Днестра горстью своею и пядью измерил полуденные небеса, и вмести́л в меру прах нистрянского чернозёма, и взвесил на весах и на чашах весовых горы Каменки и холмы от Рыбницы до Дубоссар и до самых слободзейских окраин.

Грандиозный ЦИРК — Центр избирательно-развлекательных конструкций “Море любви” — поражал соразмерным и сообразным сопряжением невесомой ажурности с основательной непоколебимостью, хотя в проекте была заложена амплитуда отклонения наверху до семи метров под воздействием сильного ветра и непогоды.

Вид гиперболоида убедительнейше, без всяких слов утверждал, что воздушность подразумевает небесную твердь, и, следовательно, ЦИРК, столь наглядно всем своим обликом заявивший о своей принадлежности горным стихиям, воспринял атрибуты тверди, превратившись в твердьню.

Прежде чем начинить своё мегачрево разлитой начинкой — небывалым доселе средоточием праздности, развлекухи и игры, Зебулово детище оформилось пропорциями золотого сечения и числа “пи”, вобрало в свою композитносталестеклобетонную плоть счётную меру вершков, пядей, пальмладоней, локтей, аршинов, сажени малых, ростовых, больших, косых, маховых и прочих суставов.

Воплощение мегапроекта неукоснительно следовало Зебуловой установке, сформулированной им в том смысле, что мегацентр развлечений “Море любви” должен вознестись и разлиться над серыми буднями, подобно хлябям небесным, и, значит, его следует строить мерой человеческою, какова, как сказано в одной откровенной книжице, мера и Ангела.

“Се — человек” — такую меру, по завету заказчика, положил *композитор* Маноло с подручными в основу возводимого гиперболоида, спроектировав его *по золоту*, с использованием элементов древнеегипетской меры “локоть в локоть с ладонью”, античных корней из двойки и пятёрки и византийской оргии. Высота гиперболоида, равная ростовой сажени игумена Даниила, только в двести раз увеличенной, с учётом цокольного и подземного уровней, соотносится с диаметром его основания в пропорции золотого сечения φ — значения, как известно, иррационального. Окружность фундамента, объятая водным потоком, до полувершка совпадает с окружностью седьмого, наивысшего уровня-неба — огромной таблетки или шляпки мегашурупа уподобленного наверху, объятого воздушными массами.

Тем же *вервием* соразмерности намертво связаны четыре нижних и три верхних башенных уровня-неба, в математической точности уподобляясь мере любого из человеков, в коем, будь он хоть дылдой, хоть коротышкой, хоть худым, хоть пузатым, хоть качком-чемпионом, хоть хлюпиком-дохляком, большая мера — от ступней до пупа — соотносится с меньшей — от пупа до макушки в той же иррациональной (то бишь не подвластной человеческому скудоумию) пропорции, что и весь человеческий рост, от ступней до макушки, относится к большей мере — от ступней до пупа.

Тем самым последовательная соразмерность по золотой лесенке возводит на самую маковку ЦИРКа — к неподвластной уму, но доступной сердечному зрению сообразности, наглядно, всей высью нистрянской громады подтверждающая догадку прозорливцев о том, что пропорциональная связь трёх телеснодушевных мер суть триединство, сотворившее человека по образу и подобию Божьему. Отсюда и эмблема, венчающая наверху неусыпным сиянием,

гигантскою голограммой: заключенное в окружность троетирие — три отрезка, соотнесённых в неизбывном движении по кругу.

Вращается и вся башня, но только по-разному: основание гиперболоида в омении вод совершает полный оборот в течение суток, нижние четыре яруса, отделённые от верхних *обручем*, — за 12 часов, пятый и шестой ярусы-небеса — за 6 часов.

Расположенный в московской Останкинской башне ресторан “Седьмое небо”, как известно, даёт своим посетителям совершить полный кругобзор за 40 минут. Наверх ЦИРКа — седьмой ярус-небо, за Останкиным не торопится, ибо выше московской сядальни на целых 16 метров, выше глупости меряться, и оттого в осознании обладания самой высокой мечтой — высотой, очерчивает своё полнокругжие за 60 минут.

Говорили, правда, что в действительности сажень была взята не символическая ростовая — древний, иерусалимский замер игумена Даниила, — а реальная — в рост Зебула, и весь мега-ЦИРК, получается, размерен и выстроен по Зебуловым меркам.

Подтвердить это или опровергнуть возможности нет никакой. Самого Зебула толком никто не видел не только вживую, или, как принято теперь говорить, “оффлайн”, но и “онлайн”. Мимолётные кадры эфирных трансляций, где он бывал продемонстрирован, ни разу (за семь без малого лет!) не предоставили возможности соотнести указанный облик правителя с какими-либо ростовыми параметрами. То же касалось общеизвестного, единственного практически фотоизображения, где он восседал за рабочим столом, также не предоставлявшего никаких подсказок в мерном вопросе.

Говорили и другое: что мера человеческая, положенная в основание ЦИРКа, имеет соотнесённость куда более страшную своей весткостью, и что тайный вершок или ещё того меньше — полвершка, верхняя фаланга указующего перста, — хоть и крохотка, но непомерная, сродни слезинке ребёнка, которую уронил на фундамент счастья человечества один писатель, или девочке-сироте, зарытой глубоко в камне, на краю котлована другим писателем.

В ролике, анонсирующем в интернете и во множестве электронно-печатных СМИ всенистрианское празднество и приуроченном к торжественному открытию мега-ЦИРКа развлечений, в речи мастера Маноло, комментирующей итоги колоссальной работы, был процитирован третий писатель (по рангу же в сём писательском триумвирате — очевидно, первый): “Здание тяжело ступает, как на слоновых пядях, словно ширина должна исчезнуть... Никакой ширины, только высота”.

Автор-исполнитель собственных композиций Наф-Наф Дога, написавший к ролику саундтрек и обналченный в кадре, пел-начитывал, раскачивая гиперболоид, пространство и время: “Выше, выше, сколько можно выше — до надмирной гиперболы-крыши, // подобно мысли, одиноко рвущейся к небесам: бесогоны, здесь я встречу вас сам...”

Лишь немногие из сонма зрительской аудитории, видевшей трейлер*, догадались, что и зодчий ЦИРКа, и Наф-Наф Дога цитируют одного и того же Гоголя. Но те были в курсе, что Гоголь был любимым Зебулов писатель и что эти цитаты в канун судьбоносной церемонии звучали с подачи жены *композитора* в качестве чутко учённых чайний заказчика.

Не потому ли так в тему заплетал парными рифмами Наф-Наф Дога о том, что сажень от глагола “сягнути”, то есть “протягивать руку”, то бишь

* Видеоролик, предвкушающий грандиозный концерт по случаю всенистрианского празднества в связи с открытием мега-Центра избирательно-развлекательных конструкций — ЦИРК “Море любви”, — за первые сутки трансляции в интернете посмотрели 1,5 млн пользователей. В течение недели ролик набрал около 35 млн (!) просмотров. В дальнейшем, в течение месяца, предшествовавшего торжественному открытию мега-ЦИРКа, на официальный сайт мега-центра за информацией о строительстве гиперболоида, о творчестве речитативщика Наф-Наф Доги обращалось в среднем 6 млн пользователей за сутки. Общее количество пользователей, приобщившихся к будням неизбывного празднества ЦИРКа, в скрупулёзных подробностях в режиме online размещённых в облачном хранилище “Моря любви”, за отчётный период составило почти 160 млн (!). Эта цифра с каждым часом набравшего силу стрим-трансляций, пандемически разрастающегося по мировой паутине облака ЦИРКа, стремительно и последовательно прибывает.

десницу, ибо жест царской воли, повелевающий беспрекословно — непременно и безоговорочно, тотально, — и есть на всё *посягающий*. Ибо как иначе в итоге сказать: “Се пядью моею измерил я небо и землю”?

В день открытия мега-ЦИРКа “Море любви” (вернее же в ночь судьбоносного дня, которая посредством праздничной иллюминации будет обречена сгнута, погрузив мега-центр в тресветлое празднество, нескончаемое на миллион лет) исполнителя речитатива Наф-Наф Догу готовили к возведению в пожизненный титул МС ЦИРКа, в переводе с речитатива — Господаря Всенистриянского Неизбывного Празднества. Ведь МС расшифровывается как master of celebrity, то есть хозяин праздника, или же господарь вечеринки (в кулуарах гиперболоида аббревиатура МС означала также, на амеро-румынский манер, и собственно “мега-центр”; бесчисленная охрана махины носила на своей униформе вместе с эмблемой ЦИРКа нашивки с этими буквами).

Случайна ли такая высочайшая честь на самой макушке высоченного гиперболоида, в ослепительном свете софитов и вспышек была уготовлена юному речитативщику, у которого, можно сказать, молоко на губах не обсохло? Вряд ли, если учесть, что Наф-Наф Дога, автор и исполнитель собственных композиций, великий плейбой и владелец пентхауса в “Небо-Логове” — на седьмом небоярuse ЦИРКа, — грядущий его и всего Всенистрияństwa МС, по совместительству являлся единокровным сыном Зебула.

Впрочем, валить всё на папину всемогущую руку, объясняя секрет и причины небывалой и скорой славы юного автора и читчика собственных композиций исключительно несметной Зебуловой властью было бы заведомой несправедливостью, играющей на руку анонимному хору завистников, на злоречие лишь и способных, в силу (а вернее, в бессилие) их беспросветной придавленности нистриянской жабой — земноводного эндемика, известного своей неподъемной тяжестью.

В день открытия ЦИРКа (и грядущую за ним ночь) планировалась мировая премьера дебютного альбома Наф-Наф Доги “Ласковый и нежный зверь”. В поддержку альбома уже выпущен сингл в англоязычной версии, с заглавной композицией, давшей название всему альбому — “GentleBeast”. Релиз был осуществлён не где-нибудь, а на калифорнийском рекорд-лейбле самого Снуп Дога, великого и ужасного звёздного мегамонстра гангста-рэпа.

До той поры никому не известно не только на западнoм, но и на восточном побережье североамериканского континента нистриянскому читчику с его доморощенным речитативом, казалось, заказана не то что дорога, а сама мысль о попадании в калашный ряд мировых топ-чартов. Но, однако, сверчок знал свой шесток. В продюсировании творческого дебюта поучаствовали и другие мегавеличины рэп-движения, явив в этой деятельной поддержке небывалое доселе единодушие продюсеров и рэп-исполнителей Запада и Востока, ещё со времён легендарного Тупака Шакура, павшего смертью храбрых на улице Лас-Вегаса, разделённых непримиримым баттлом, порой приводившим к горячей фазе, со стрельбой и пролитием крови одарённых, неутомных и невоздержанных на язык — в силу специфики разговорного жанра — артистов.

В случае с синглом “GentleBeast” произошло доселе небывалое в мегадвижении разговорного жанра (как и всякий творческий цех, подверженном засилью стереотипов и недоброжелательных предубеждений): усмирение гнева и ярости под сенью “Ласкового и нежного зверя”, вылившееся в скоординированную на Западе и на Востоке широкомасштабную промоутерскую кампанию, через сети реализации ведущих рекорд-лейблов, в интернете и “offline”, с демонстрацией видеоклипа на песню Наф-Наф Доги “GentleBeast” в прайм-тайм эфирного и кабельного телевидения, по каналам ведущих музыкальных интернет-ресурсов, в том числе на видеоканале Snoop Dogg на YouTube, осуществлявших трансляции посредством крупнейшего облачного хранилища DropBox, напрямую взаимодействующего с облаком мега-ЦИРКа “Море любви”.

Успех релиза превзошёл все ожидания, спровоцировав бурю восторга в разноречивом стане музыкальных критиков, равно как и у зрительской аудитории. Причём эта реакция оказалась не разовым всплеском, а началом последовательного разрастания вширь и вглубь.

Буквально с первых минут появления в открытом доступе клип на композицию “GentleBeast” (“Нежно-ласковый зверь”) занял прочное лидерство в интернет-голосованиях ведущих пиратских торрентов для скачивания, в течение первой недели набрав в интернете почти 50 млн просмотров, за три дня взобравшись в горячую сотню “Биллборда”, через неделю — в десятку, и намертво там закрепившись.

“GentleBeast” на мягких лапах хищника шествовал по планете, вкрадчивой, но неодолимой силой цунами подминая под себя аудитории народов и стран, контентов и континентов. Музыкальные критики, журналисты и рецензенты наперебой гадали о причинах мегауспеха, трактуя его в русле выверенной стратегии, крайне удачно избранного исполнителем загадочного образа, всегда являвшегося публике с закрытым маской или банданой по самые глаза лицом, несомненной неиссякаемой харизмы добротолубия и отзывчивости, беспрерывно и щедро проявлявшейся на повседневном уровне, вне сцены — в общении с коллегами по цеху, с прессой, в любом из навязанных журналистами форматов, будь то развёрнутое интервью в телестудии, незапланированный пресс-подход или заранее подготовленная пресс-конференция, и, наконец, с публикой, со стремительно прибывающей армией поклонниц и фанов — в ходе работы с залом, будь то клуб на *vip*-вечеринке или благотворительное шоу в пользу детей-сирот, или стадион.

Offline-выступления Наф-Наф Доги на ведущих клубных и зальных площадках должны были состояться в течение месяца, в сверхплотном графике мирового турне в поддержку альбома “Ласковый и нежный зверь (Gentlebeast)”, выстроенного и согласованного в удивительно сжатые сроки. Старт тура даст грандиозный концерт в Парадизовске, в самом центре нистрянской столицы, а дальнейший гастрольный перечень реперных точек маршрута помрачал чаяния взыскательных фанатов: мегагеография турне, как из ячеек, в привязке к конкретной местности, складывалась из локальных туров: в России — старт в Москве, затем Питер, Краснодар (с участием Басты), Череповец, Анадырь, сездом на озеро Эльгыгытгын (с участием Николая Васильева, потомка и наследника “дедушки Никона”, великого шамана якутского верхневиллойского улуса Ньыыкана Огонньора), и завершение в Петропавловске-Камчатском, на берегу Авачинской бухты, после — Токио, в Китае — Шанхай, Чэнду, Гуанчжоу, Гонконг, по одному выступлению в обеих Кореях, в непальском Катманду (с участием Насрат Фатер-Али Хана), индийских Мумбаи и Бангалоре, на Ближнем Востоке — старт в Дамаске, затем Бейрут, Абу-Даби, Доха, Иерусалим, и завершение пляжным сетом на капернаумском побережье озера Кинерет (с участием Али Ахмада Саида Асбара, также известного как дамаскинец Адонис, в программе “Единственное в форме множественного”), в Африке — сет на территории древнего Карфагена в современном Тунисе, затем — в “африканском Париже”, столице Эфиопии и Африканского Сиона Аддис-Абебе (с участием мегадиджея Afrojack), далее — турецкий Царьград, Кипр, Ибица (с участием самого Кальвина Харриса), Париж европейский и прочие западноевропейские столицы (с подключением в Амстердаме к ежегодному фестивалю электронной музыки Amsterdam Dance Event при участии мегадиджея Tiesto), и — символическое завершение европейского тура в исландских территориальных пучинах северной Атлантики, в виду извергающегося вулкана Эйяфьядлайёкюдль (при участии диджея Снэйка, то есть “Змея”); далее — пляжный мегасет в заливе Гуанабара в виду возвышающегося поверх Сахарной Головы с распросёртыми поверх Рио-де-Жанейро дланями Спасителя (совместно с DJ Armin van Buuren), выступление в аргентинском Буэнос-Айресе, акустический Unplugged-концерт* на макушке перуанской Мачу-Пикчу (разрешение Департамента исторического и культурного наследия в Лиме получено по ходатайству Центра всемирного наследия UNESCO), затем масштабное *open-air* выступление на гаванской набережной Малекон, далее — Нью-Йорк и Лос-Анжелес.

Итожило это всепланетное мегадейство, авансом уже признанное музыкальным событием года и первым претендентом на Эмми, выступление

* Unplugged (англ.) — без подключения, *вживую*.

в Лас-Вегасе, с участием Снуп Дога, Канье Уэста, Эминема и Dr. Dre, а также повторным подключением к топ-вечеринке лидера диджейского “Форбса” Кальвина Харриса, накануне собственно презентации “Ласкового и нежного зверя”, которая должна была состояться в “Дога-Логове” ЦИРКа. О составе мегазвёздных участников венчающей вечеринки в “Дога-Логове” заранее не сообщалось, что только поднимало до запредельных высот и без того зашкаливающий градус интриги и ажиотажа, связанных с мировым мегатуром в поддержку альбома “Ласковый и нежный зверь”.

Бесспорной удачей дебюта Наф-Наф Доги называли заглавную песню, концептуально заострившую восприятие всех остальных *вещей*, собранных под обложкой. Лаконичный и резкий, выстроенный на единстве и борьбе ярых противоположностей, на великой несогласуемости, с одной стороны, ласки и нежности, а с другой — зримо явленного зверства, GentleBeast был единодушно признан новым словом не только в культуре речи и современной музыке, но в искусстве вообще.

Само слово “джентльбист” закрепилось в лексиконе обиходного общения, стремительно выйдя за рамки употребления в англоязычных странах, став не просто новомодным неологизмом, а неким понятийным поколенческим трендом, причём употреблявшимся не в пику, не в противопоставление “джентльмену”, а как бы дополняя и даже заменяя его.

Краеугольным камнем для Наф-Наф Доги в исполненном вдохновения и творческого порыва процессе выстраивания авторского концепта GentleBeast явился не кто иной, как доберман, или же Doberman, как известно, являющийся чем-то вроде тотема, сценическим образом великого и ужасного псоглавца Снуп Дога, который, как известно, является крёстным отцом Наф-Наф Доги не только в творчестве, но и по жизни.

Будучи приверженцем эфиопского православия, Снуп Дог принял участие в обряде таинства крещения Наф-Наф Доги, с наречением его именем Христофор. Поначалу обряд намеревались провести в ветхой двухсотлетней церковушке Духа Святого, расположенной в нистрянской Христофоровке — родном селе отца рэп-исполнителя. В качестве варианта рассматривался и храм соседнего села Мокра. Но в итоге лишённая пафоса, но пышная по составу участников церемония состоялась в новом храме святого Христофора, возведённом в мегаселе Валя-Зебулуй в аккурат к крестинам Наф-Наф Доги.

Визит мегазвезды уровня Snoop Dog, инкогнито прибывшего буквально на несколько часов на крестины Наф-Наф Доги в Нистрению — в дыру, забытую Богом и, в силу её отсутствия на политической карте мира, не признаваемую князем мира сего, — несмотря на сугубо частный и даже тайный характер поездки, всё же стал достоянием прессы, и, как следствие, спровоцировал брожение умов, волны молвы, всевозможных догадок и домыслов.

Как уточняли в запоздалых комментариях таблоиды, разрешение на участие в церемонии в качестве крёстного отца для Снуп Дога, исповедовавшего африканское монофизитское православие, было испрошено у владыки местной православной митрополии, и митрополит таковое разрешение соизволил предоставить, обосновывая его тем, что вера православная благословляет духовное устремление и в участи последователей прозорливцев умного делания в лике Паисия Величковского, и в лице абиссинского владыки Хайле Селасие, наследовавшего трёхтысячелетней династии создателя ветхозаветного Храма, премудрого царя Соломона и зело красотой и умом одарённой Всевышним царицы Савской.

Крёстной матерью в ходе таинства должна была стать Клодия, жена и муза *железного композитора* Маноло, ближайшая помощница и соратница Зебула в делах мега-ЦИРКа, наставница и наперсница Наф-Наф Доги с малых лет, или попросту *длань*, как именовал её, недвусмысленно намекая на роль в устроении наполняемости мегацентра, сам создатель “Моря любви”, причём эшитет *Прекрасная* в сочетании с её именем произносился как данность, предначертанная свыше и воспринятая в повсеместном вседневно-всенощном употреблении как в обиходе ЦИРКа, так и за его пределами. Но в последний момент она отказалась без объяснения причин, и в пару

Снуп Догу были вынуждены спешно взять некую Подакцизную, верную соратницу Зебула-старшего ещё с догиперболоидных времён.

Как позже признавали представители масс-медиа, именно эти крестины, событие небывалое не только для Нистрени, но и для региона в целом, по жанру — само таинство, да ещё оказавшееся облечённым в ореол сверхбогатых причуд и таинственности, во многом послужило толчком для последовавшей массивированной тизерной кампании, которая с методично-умелым расчётом, стремительно разрастаясь, сопровождала сверхуспешное продвижение релиза сингла GentleBeast и одноимённого дебютного альбома Наф-Наф Доги, ненавязчиво, но умело вступая в переключку с не менее масштабной и массивированной тизерной кампанией, параллельно и одновременно раскручиваемой в отношении предстоящего открытия мега-Центра избирательно-развлекательных конструкций “Море любви”.

Сценический образ исполнителя, которому тот неукоснительно следовал и на сцене, и перед телекамерами, уже сам по себе предусматривал загадку в виде надетого на голову капшона толстовки, солнцезащитных очков и, главное, — маски, матерчатой или, очевидно, изготовленной из папье-маше. Неизменной личиной маски являлась ощеренная клыкастая пасть, причём перекошенная от ярости морда могла принадлежать либо свинье, либо доберману или волкоподобной псине.

Впоследствии в копилку кличек гиперболоида добавилось “Логово Доги” — по названию угнездившегося в седьмом небояруссе пентхауса, места прописки и творчества рэп-исполнителя и, следовательно, пребывания его час от часу прибывающей всесветной славы.

Тут же, просклоняв, название растиражировали в “Догологово”, “Догу-Магогу” или, на амеро-румынский манер, — в “DOGO-LOGOVO” и “DOGA-LOGO”, видимо, с умыслом пограбить сонмам посетителей из-за рубежа, зафрахтовавших online на официальном сайте www.circus-seaofloff.com, равно как и на персональном сайте Наф-Наф Доги — www.doga.com — скорое посещение ЦИРКа, как и концертов стремительно набирающего всемирную популярность рэп-исполнителя, и должных вскорости потянуться в нистрянские края (как говорят местные умники, там, где заканчивается Нистрениа, начинается гиперболоид) со стороны Киева и Кишинёва, Вены и Бухареста, из Стамбула и Анкары, Краснодар, Москвы и Питера, с трапов заходящих на одесский рейд и в порт Джурджулешты лайнеров, садящихся на близлежащие взлётные полосы аэробусов зарубежных посетителей (прибытие vip-персон на гели- и квадрокоптерах ожидалось непосредственно на макушку гиперболоида), впрочем, и как следствие непомерно растущей, концентрическими кругами расходящейся по городам и весям, странам и континентам популярности рэп-исполнителя, МС мегацентра “Море любви” и Господаря неизбывного всенистрианского празднества, Наф-Наф Доги.

Славу его, равно как и пропетые и прочитанные им слова, подобно завету в ковчеге, хранило облако, или же облачное хранилище ЦИРКа. В отличие от святая святых, содержимым облака, собственным нещечком Господарь всенистрианского празднества щедро делился с каждым встречным-поперечным, не щадя личного времени (ибо не имел его вовсе), не взирая на расстоянья, запросто преодолеваемые нажатием клавиши мышки. Слава, явленная в образе ласково-нежного зверя, растекалась лозой по древу гиперболоида, струилась оптоволоконном, эфирными Wi-Fi каналами — по весям, по городам, странам и континентам, досягая каждого пользователя, каждого глаза и уха, каждого сердца...

Образ, наводивший оторопь видом столь зримо явленного пароксизма агрессии, умело эксплуатируемый самим Наф-Наф Догой и на сцене, и вне её, резонирующий со стратегией поведения и исполнения текстов, вступал в сложную, исполненную обертонов взаимосвязь с лирической мелодикой его песен, манерой, метко окрещённой музыковедами *миоритической*.

Отзывы на релиз сингла “GentleBeast” акцентировали внимание на двух глубинных свойствах исполнительской манеры Наф-Наф Доги: первое —

стойкая устремлённость к архаике мира в русле мифологически-ассоциативной манеры его восприятия, говоря же простым языком, — обращение к фольклору; и второе — трагедийность и катарсис, говоря же простым языком, — желание во что бы то ни стало довести аудиторию до слёз.

Выступление исполнитель, как правило, открывал на выбор одним из девизов — либо “Не пойман — не зверь!”, либо “Время собирать камни!”, либо “Я заставлю вас трепетать!”, или же “Тетива речитатива моего медоречива!” (или, в зависимости от настроения исполнителя и обстоятельств выступления, “...слезо-, ядоточива!”, “...велеречива!”), или “Читка! Читка! Тэча читик!”* — и, надо признать, неизменно своего добивался: ритмичный прибой, резонируя с непереносимым, как сильная боль, диссонансом бичующей из мега-динамиков декламации и оттуда же льющейся без меры шемящей мелодии превращал толпу в море, вскипающее истерикой, бульон из эмоций и ступора.

Кумулятивный эффект воздействия, так чётко сработавший, в частности, во время звучания композиции “GentleBeast”, связывали в том числе (и даже в первую очередь) с главной музыкальной лирической темой, в качестве которой Наф-Наф Дога органично использовал известнейшую мелодию композитора Доги, но только Евгения.

Вальс “Мой ласковый и нежный зверь”, написанный к одноимённому советскому кинофильму, снятому по мотивам повести Чехова, а на деле — ремейку сказочной истории про аленький цветочек, ставшей, в свой черёд, изводом сюжета про красавицу и чудовище, впоследствии снискавший своему автору такую громкую славу, что даже оказался любимым вальсом актёра и американского президента Рональда Рейгана, а авторитетнейшим в мире музыки изданием “Billboard” — *библией* звукозаписывающей индустрии — был включён в пятёрку наиболее знаковых мелодий XX столетия.

Впоследствии самого маэстро и всё его многогранное творчество, вбивавшее не только многочисленные саундтреки к кинокартинам, но и объёмнейший свод произведений классических жанров, среди прочих — симфонии и оратории, во всём мире вспоминали не иначе, как в привязке к тому самому досточтимому вальсу о зверских ласке и нежности.

И вот спустя десятилетия старые меха нетленной мелодии, благодаря безмерному таланту Наф-Наф Доги, сделанной на No Limit Records виртуозной аранжировке с использованием фирменных семплов ведущей студии хип-хопа Западного североамериканского побережья, наполнились новым вином вдохновения.

Просочилась, правда, в СМИ информация, что автор мелодии вальса, пребывающий в ореоле былой славы, якобы выказал резкое недовольство тем, как обошлись с его незабвенной мелодией, а также заявил о том, что её использовали, у него разрешения не спросив. Более того, маэстро обвинил молодого исполнителя речитатива в присвоении ни много ни мало, а своего собственного “личностного образа, воплощённого в слове”, каковым является его всемирно прославленная фамилия, и что, вкупе с бесстыдным использованием без спроса нетленной мелодии, это является не чем иным, как бессовестной кражей.

Впрочем, тут же в ряде изданий постсоветского пространства появились публикации, в которых достаточно хлётко и нелюбезно анализировались детали биографии и психологического портрета пожилого маэстро, который, как выяснилось, родом был из нистрянского села Мокра, расположенного по соседству, как выяснилось, от села Христофоровка, в котором родился не кто-нибудь, а отец читчика Наф-Наф Доги, являющийся всеильным правителем непризнанной, но непокорённой Нистрени.

Тут же в сюжет подвёрстывались прежние высказывания в прессе пожилого маэстро по поводу своей малой родины, содержащие неизменно высокий градус резкого недовольства по поводу самого фактического наличия непризнанной де-юре Нистрени, а также всемерной поддержки её великодержавной и *долгой* рукою Москвы, притом, что сам маэстро, создавший

* Тэча читик (молд.) — молчать как рыба.

нетленный вальс для советского ремейка известной сказки, постоянно проживал не где-нибудь, а в той самой Москве, которую, вкупе со злосчастной Нистренией, прихотдившейся ему малой родиной, с жаром, присущим деятелю искусства, бичевал в жанре инвективы.

Ретивые журналисты ставили ребром вопрос о глубинных причинах столь ярко выраженных аберраций сознания, явленных в речах и поведении маэстро, и тут же, выступая циничными доильцами сплетен, высказывали ничем, кроме досужих домыслов, не подкреплённую версию о не связанных ни с политикой, ни с нарушением авторских прав, глубоко личных мотивах, лежащих в основе столь резкой неприязни со стороны пожилого маэстро в отношении к Нистрени в целом и к творчеству речитативщика Наф-Наф Доги, в частности. Указывалось, что отец Наф-Наф Доги, правитель непризнанной, но непокорённой Нистрени, появился на свет в Христофоровке и рос в неполной семье, воспитываясь матерью-одиночкой, которая, живя на более чем скромную зарплату учительницы музыки, которую она преподавала в мокрянской школе, спасаясь домашним хозяйством, тем не менее сумела вырастить достойного сына. При этом она, будучи по многочисленным отзывам селян-земляков, красивой и добропорядочной женщиной, так и не связала ни с кем свою судьбу, всю себя посвятив воспитанию сына.

О том, кто же является его отцом, она так и не рассказала, унеся эту тайну на сельское кладбище Христофоровки, где покоится с миром в роскошном мраморном склепе и куда ежегодно в Родительский день, как любящий и чтящий сын, вместе с единокровным сыном, при многолюдном стечении жителей Христофоровки, Мокры и прочих окрестных сёл, приходит правитель Зебул, пусть не сделавшийся, как мечтала мать, музыкантом, но избравший опасный и трудный, тернистый путь работника силового ведомства (цитировалось даже вскользь, в светлой печали якобы оброненное Зебулом у материнской могилы воспоминание о том, как он, будучи совсем ещё юным сотрудником патрульно-постовой службы, успокаивал взгустнувшую мать: “Видишь, мама, ты хотела, чтобы я давил на клавиши и педали органа, а я и давлю на педали, но — в “уазике”, в органах”) и позже непомерно возросший в силе и власти.

Вот тут-то и указывалось, с голословным намёком, что как раз в эти годы, отмеченные появлением на свет будущего правителя Нистрени, его земляк, будучи знаменитым уже композитором, пребывал в эпицентре счастливой, исполненной творческой силы и вдохновения зрелости, в ореоле нарастающей всесоюзной славы, исподволь стремившей его к зениту, увенчанному созданием шедеврального киновальса.

В те годы маэстро ничуть не чурался посещения малой родины, наоборот, любил нагрязнуть в щемящие сладкой истомой родные места, в сиянии признания и любви, от щедрот неисчерпаемого таланта провести в местном ДК совершенно бесплатный концерт для селян-земляков в тёплой, родственной, можно сказать, атмосфере.

Смакование стародавних былей и небылей, да ещё происходивших, по допотопным всесоюзным меркам, в волчьем углу заштатной нистрянской тмутаракани, да ещё в советскую пору, безвозвратно канувшую в Лету безвременья, вряд ли могло послужить веским информационным поводом для “жёлтых” масс-медиа, но, однако же, посеявший ветер пожал бурю, и несчастный маэстро уже был не то что не рад, а безутешно раздавлен напором, обрушенным на него жадными до переплетания сплетен электронно-бумажными СМИ, и уже не мог спрятаться в обжитой им Москве от досужих гонцов телепрограммы “Рассказать всё, что скрыто”, правдами и неправдами пытавшихся выудить его в телеэфир. Показательно, что сторона Наф-Наф Доги в этом вопросе хранила молчание, деликатно, но твёрдо парируя вопросы на щекотливую тему лаконичным: “Без комментариев”.

Флёр скандала, однако, только пошёл на пользу, добавив накала и без того зашкаливающей всесветно-предпраздничной суматохе, за которой из информационного пространства и эфирного времени совсем как-то вымылось, что ведь тут же вот-вот ещё и выборы...

Более чем за месяц до открытия “Моря любви” и возведения Наф-Наф Доги в мегацентровы госпдари требовалось всенародно избрать всенистриянского лидера. Торжество доброй воли непроизвольно меркло по степени будничности в сравнении с грядой нарастающих на горизонте событий, грандиозным мега-празднеством, но, однако же, сохраняло свою календарную знаменательность в контексте текущих людских чаяний.

Выходило, что, если считать от выборов, то месяц — зазор, как раз отстоявший не только от открытия ЦИРКа, но и от инаугурации верховного правителя Нистренин Зебула в случае избрания его на второй властительный срок. А что такое случай, как не часть, соотнесённая в золотой пропорции с закономерным целым?

Не принято резать ремни из кожи неубитого змея, но, глядя правде событий в глаза, следовало, набравшись духу или просто набравшись, спросить, так же прямо, с оглядкой на образцово-показательную прямоу неуступчивого взгляда правды событий: не близится ли повод наполнить стакан до краёв и даже с горкой?

И стакан представлялся исполненным, неспешно, любовно — целым морем мерно-безбрежной, неизменно-праздничной радости. Море — целое, но цедится по капле, и нет им ни дна и ни края.

2. Роса

*Ибо роса Твоя — роса растений,
и земля извергнет мертвецов.*

Исаия, 26:19

Кассетник явился к участку ещё до открытия. Стоял у ограды, в стороне от кучки пенсионеров, собранных загодя нетерпением скорей изъязвить свою волю. С пылом не по летам общественники обсуждали своих избранников. Подстёгиваемый пафосной музыкой из репродукторов, пыл пожилых нарастал, грозил перейти за черту, проведённую избиркомом в отношении наличия каких-либо элементов предвыборной агитации в день голосования вблизи участков.

Исполнитель из советского прошлого зычно звал к лучшей доле, к светлomu завтра. Песня до краёв исполняла истоптанный догонялками двор, запружала пучком упиравшие в школу окрестные переулки, лилась по Восстания, по Труда, по Клинцовскому, по Базарной, по Свердлова, вплоть до Полецкого, до Чернышевского и Белинского, и аж до Одесской, и во всю ширь — до парка, до театра и студгородка — рвалась в поля и дальше, до самого до Днестра.

Кто знает, возможно, именно эта воздух твердившая мощь безоглядного жизнелюбия, кажется, скрытая в безвозвратное ретро, но вот извлечённая из затхлых бобин ради праздника всенародного голосования, возвала Кассетника из его беспробудного должного прозябания.

И вот он явился. Но чем ближе к участку, тем ступал неувереннее, словно трудно ему становилось одолевать напор воскрешённого баритона, как топтать встречу ветра, тронутого искусительным запахом тлена.

Или тяжело было взобраться по крутому крыльцу школы, ибо требовалось наверх, к открытым настежь дверям, а его неодолимо тянуло вниз? Постоял у ступеней, переминаясь с ноги на ногу. Как сказали бы растениеводы — всем своим габитусом выказывая как бы смущение и неуверенность. Но ведь габитус — облик внешний, всё, кроме корней. А Кассетник весь был — как бы корни.

Может, именно поэтому не понимал он, почему идти надо в школу? Что ему школа? Ему надо к урне, пусть и избирательной. А при чём же тут школа? Может, эта подмена объектов, для других очевидная, для него никак не могла совершиться? А может, не имела ни капли возможности?

Школу обратили на сутки в средоточие изъязвлений уготованных кодексом избирательных прав и обязанностей. Традиция эта, столь же исконная, как и песенное сопровождение судьбоносного дня, напоминала этапы запекания курицы. Сперва — потрошение. Общеобразовательное учреждение

опорожняли от гомона перемен, от звонков и уроков, от гвалта и топота детворы во всём необъятном диапазоне от беспримерных отличников до прокуренных хулиганствующих второгодников. Следом шла фаршировка. Пустое и звонкое бюро фойе, как какими-нибудь цитрусами, или яблоками, или блинами, набивали кабинками, урнами — стационарной и переносными, стендами, списками, бюллетенями и прочим избиркомовским скарбом.

Впрочем, некогда на многих советских кухнях предпочитали рецепт незамысловатый до крайности, но настолько же эффективный. Блюдо именовалось “курица на бутылке”. Потрошёную птицу насаживали на стеклотару, в зависимости от размера особи — пивную, винную или из-под шампанского — и в такой растопырке отправляли в духовку. Никаких тебе цитрусов или яблок, или ещё того хлеще — блинов.

Такой вот бутылкой, раскаляемой в утробе жар-птицы и жаром своим направлявшей процесс, становилась избирательная комиссия, размещённая на время кампании в школьном фойе. Коммен зи битте, избирком, коммен зи битте!..

Духовка раскочегаривалась к истечению судьбоносного дня, синхронно приливу к урнам электората. Добела накалялось к закрытию, когда от пыла сбывавшихся чаяний, от препирательств и жалоб придирчивых наблюдателей, от претензий переписанных, выписанных, в списках не значившихся и прочих-иных в правах обойдённых железные нервы членов комиссии принимались плавиться.

Гул напряжения нарастал, нагнетая взрывоопасность, но дотикивало до вожделенных двадцати-ноль-ноль, отзываясь в утомлённом сознании членов УИКов и ТИКов, во всех уголках мало-мальской Нистрении подспудным “...в Петропавловске-Камчатском — полночь”.

В полночь голос теряется, иссякает, словно вода в зажатом наглухо крапе. В права вступает безмолвная тайна. Закрытый участок, действительно, становился бутылкой, запечатанной сургучом. Внутри же её творилось бурление: из урны, как то ли из бака с мусором, то ли как из разбойничьего мешка с сокровищами, вываливали на стол листы к загребушим, готовым угли таскать из огня рукам избиркомовцев.

Метроном бытия, рождённого в недрах советской страны, выверяли сигналы точного времени. Кульминация сверки наступала в пятнадцать-ноль-ноль по Москве, когда каждая радиоточка — в каждой сакле, хате, избе, яранге, иглу, квартире, в цеху, кабинете, казарме, палате, на каждом ветру открытом полевым стане, в каждой, в недра и стахановский пот утопленной шахте — озвучивала для слуха заветную фразу: “В Петропавловске-Камчатском — полночь”.

Выверенное по произнесённому бытие представлялось беспечным, как море, ибо плескалось оно в охранительных недрах Родины-матери, ревность-любовь и просторы объятий которой, казалось, не имеют ни конца, и ни края.

А ведь дикторский голос, транслируемый всеозвонным эфиром Центрального радио, вещал как раз про края. Петропавловск-Камчатский и полночь в совокупности означали черту, за которой сходились два края — пространства и времени. На районе краями расходятся, как кораблики в море, а тут вот сошлись. Неужели этой, изо дня в день кукуемой концовкой вещей диктор накликал-таки конец — на себя, на своё Всесоюзное радио, на страну, казавшуюся нескончаемо длимой? Кто ищет, найдёт. Проруха нашлась, оставив выступившим за черту искателям одно только — кануть.

Так бы кануло в суматохе финальных подсчётов, выверке протоколов и прочей избирательной документации появление на участке № 236 одного из исчисленных в списках двух тысяч трёхсот шестидесяти шести проживающих на участке граждан с правом голоса, если б не бдительная тётя Зоя. Накануне она почти не спала. В кафе по соседству с их “сталинкой” гуляла полночь свадьба. Окно тёти Зоинной “однушки” выходило во двор, и динамики её чуткому сну докучали не очень, но старушке мешала заснуть не громкая музыка, а любопытство, к старости ставшее всепоглощающей страстью.

Преклонные годы катятся по наклонной, с ускорением, потому — какой уж тут сон, если времени как бы и нет? К тому же, после третьего года

вконец её подкосившего перелома шейки бедра лежать было больно спине, и в правом бедре, и в распухших ногах начинало ныть и неметь, отдаваясь во всём огрузневшем, тяжком к движению теле.

Как она потом жаловалась на утренних предвыборных посиделках и Мане, и Фроловне, и во всеуслышанье, ведь всякий раз, как гулянка напротив, так шастают, справляют нужду или тыркаются. Последнее её донимало особо. К полуночи, когда свадебное торжество достигало накала, разгорячённые пляской и выпивкой гости, как правило, молодёжь, начинали выскакивать к перекрёстку улиц Полецкого и Свердлова, в одиночку и парами выпскивать уголки поукромней для отправления разноплановых нужд. В том числе и любовной.

Дворики стареньких двухэтажек сталинской, послевоенной постройки, обжитых тремя-четырьмя поколениями, с обязательными беседками под обязательными акациями и такими же непременными лавочками под непременными вишнями — для желающих освежиться — оказывались как нельзя кстати. В ночь с субботы на воскресенье луна полным диском жарила прямо в закуток у окна тёти Зои и в беседку напротив, где парочка возилась почти битый час. Соседки-подружки допытывали подробностей, а Зоя, дразня, качала седой головой, кряхтя: “А потом уж ко мне в загон, под окно перебрались... Что делалось, бабоньки!.. Ни стыда и ни совести...”

Загоном называлось пространство, зажатое между косой шиферной крышей спуска в подвал и стеной балконной пристройки, самовольно притиснутой наглым соседом. Угол балкона практически начисто лишил тётю Зоину кухню дневного света. Решить проблему перманентного солнечного затмения не смогли письменные обращения ни в городские власти, ни в прокуратуру, ни даже к уполномоченному по правам человека. А после того как хмырь-сосед пригрозил замуровать и окошко, тётя Зоя попытки свои прекратила. И бабы отсоветовали связываться с нелюдимым и мутным семейством, занявшим Нюрину двухкомнатную по соседству.

Вначале-то они проживали как квартиранты. Нюрка, конечно, была пропойца, но сердцем незлобливая. Себе худо делала, а другому никому. Никому, кроме, может быть, дочери. В Кутюшке своей души не чаяла, только та росла бурьян бурьяном среди неодолимой мамашинной тяги к выпивке и компаниям неряшливых собутыльников.

С Нюркиной смертью — внезапной, от палёной водки, — шептались, не всё было чисто. Как бы там ни было, а её постояльцы вдруг оказались полноправными владельцами Нюриной квартиры, с соответствующими документами, выверенными в БТИ, договором о купле-продаже и Нюркиной подписью, и всеми необходимыми визами и печатями регпалаты.

Катька, или, как сызмальства все её звали, Кутюшка, лишённая нечаянной радости родительской ласки, в итоге лишилась и матери, и жилищлощади. Куда податься сироте семнадцати лет? Бабы говорили, Кутюшка уехала к тётке, которая в Подмосковье ухаживала за стариком. Ничего вроде, устроилась продавщицей в ларьке, при деле, в торговый центр планирует перейти. Дочка Манина дружит с крестницей Нюриной тётки. Та тоже на заработках, приезжала на праздники.

А у тётю Зои под боком остались эти хмыри. Они-то и в статусе квартирантов ни с кем не здоровались, что дети, что взрослые — мутнолицые, злые, нахмуренные. А как стали хозяевами, так и вовсе занелюдимели — шмыг туда, шмыг сюда, будто долго невмочь им бывать на свету. И соседку, гадёньши, балконом своим света лишили. Как говорится — ни себе, ни людям. Но говорится же и другое: нет худа без добра. Лишённый света с наступлением темноты вновь вступает в права обладателя.

Покойный муж тётю Зои, десять лет как почивший, некогда был заядлый рыбак и мастер ловли на запрещённые рыбинспекцией снасти “хватка”, “косынка” и “живодёр”. Сладкие парочки, укрываясь в загатник пространства, устроенный под окном тётю Зои самовольной пристройкой, и думать не подозревали, что в самый вожделенный момент угождали в ловчие сети.

Время ночью если и движется, то томительно, как сквозит пустота водной толщи в неподвижности озера. Такой же неспешной истомой отличался

рассказ тётки Зои: “Сначала курили... а юбка ейная, ну, такая короткая, что и задрать не надо... обжимались... тот что-то всё: “Бу-бу-бу...” — а та всё: “Хи-хи-хи...” — будто кто щекотит её... после лизались, шебуршали... а после... Ох, ох, ох... Вот уж досыть натыркались!..”

Итоговое причитание звучало так многозначительно, что, наверное, и психологу с опытом навряд ли удалось бы проникнуть в ход старческих мыслей и чайний рассказчицы, понять, чего в тех значениях больше — показной досады или тайного смакования, или же — всего и помножку.

Подружечки-бабоньки, сиделицы-на-скамеице и вовсе в такие глубины не погружались. Напротив — шли послушно рассказу вслед, додумывая и домысливая Зойкин рассказ с живостью необычайной. Как опытному борцу — выставь только мизинец, тут же следует через бедро. Так и им — дай штришок, да что там — искоса абрис-пунктир, тут же выгрузят на-гора холст с маслом — в полный рост тебе девочку с абрикосом.

Баба Маня сокрушённо откликнулась, что девки нынче всамделишно курят пошибче парней, что твой паровоз, а оденутся так, что прям сплошная срамота. А Фроловна вдруг захвохтала, что не сплошная, и что нечего в кучу валить, и всё, мол, Зойка придумала, потому что ни черта своими диоптриями увидеть не может. Но тётя Зоя умеючи-властно поползновения эти парировала тем, что да, мол, пусть и в диоптриях, но всё она видит прекрасно, особенно в темноте, потому что линзы её пусть толстенные, но восьмёрка со знаком “-”, а Фролины — десять диоптрий — плюсовые, потому она своими поросычьими глазками дальше собственного носа не видит.

Быть бы соре, кабы баба Маня не кинула к месту сходящимся в бранном сумо косточку выборной темы. Забыв про диоптрии, принялись за кандидатов, давай их судить и рядить. Рядить — своего, косточки перемывать — оппонентам. В разговорах про выборы предпосылок для рутани создавалось не меньше, и чем ближе к судьбоносному воскресению, тем накал дискуссий на лавочке возрастал. Ситуацию усугубляло наличие у каждой старушки среди баллотировавшихся на округе персонального предпочтения.

Фроловна отстаивала (верней же — отсиживала, в силу сильной отёчности ног, ревматизма и болей в распухших коленных суставах) избранничество молодого да раннего, энергичного Диснейленда. “Денис Диснейленд — по жизни без бед!”. Баба Маня, радевшая за кандидата Подакцизную, дразнила: “Ну, чё, Фроловна, принёс какие пайки, или хоть задрипанский какой календарик твой *Жизня?*”. Ассортиментом предвыборной агитационной продукции бабы Манина избранница, действительно, не только затыкала за пояс нахрапистого, но не шибко размахистого на ресурсы Фролиного кандидата, но и явно замахивалась на полиграфические разносолы кандидата Зебула. “Фроловна, не обессудь, но жидок малой”, — констатировала тётя Зоя. “Зато на него смотреть — по душе, — не оставалась внакладе Фроловна. — Он мне Витьку, внука, напоминает. И та же Манина кандидатша — с фасоном женщина. Повесить такую в кухне — глазу приятно”. Тётю Зою такие аргументы лишь упрочивали в своём выборе. За Зебула она стояла (верней же — сидела — на лавке) стеной. “Это вы всё от зависти. Знаете, что мой-то победит. Не чета вашим... И внешне — не сопляк, не крашенная блондинка. Солидный мужчина, при костюме, при галстук”, — убеждала старуха подруг.

— А ты знаешь, как он на галстук свой заработал? И пайки, и календари, и листовки... Смотри, сколько повсюду бумаги перевели, всё обклеили евоной физиономией, — взъерепенивалась баба Маня.

— А ты больно много знаешь? — парировала тётя Зоя, угрожающе наводя на подругу обе свои крупнокалиберные диоптрии.

— Да уж знаю... Зря говорить не будут. Вон Ленка рассказывала, как он людей со свету за жилплощадь сживал, недвижимость двигал...

— Это какая Ленка?..

— С Мира, Хмарина...

— Хмарина? Нашла кого слушать!.. Ей только помелом своим двигать... И ещё кой чем. Не зря её шпана дразнила “Шмарина”.

— Это ты зря на Ленку языком мелешь. Если б такая она была, в старых девах бы не осталась... — вступилась Фроловна.

— Знаю, чего она осталась, — по Кассетнику сохла, ещё со школы. Да только он в стакане утоп.

— Ох, Зоя, брехнёй занимаешься... — затрясла головой баба Маня. От разговора красный румянец выступил на её беззубых щёчках.

— И не брехнёй... Томка сама мне рассказывала, ещё перед смертью. Ленка к ней приходила как-то на Пасху, с пол-литрой, селёдкой... Плакалась ей и душу свою на столе по поводу сына её раскладывала.

— Не так всё было... Брешешь ты всё, — упрямылась баба Маня. — Нету теперь ни Тамары, ни Кассетника... то бишь — Лёньки, сына ейного... И нечего зря это ворошить...

— Правда, нечего... — поддержала Фроловна.

Баба Маня близко дружила с упомянутой в разговоре Тamarой. Всем трём это было известно, равно как и то, что Зоя Тamarу всегда недолюбливала, испытывая к ней необъяснимую зависть. И ведь тоже вдовица, и сын алкоголик был первостатейный. И мать толком не похоронил, и квартиру профукал, и сам сгинул спустя всего два года после смерти матери. Вроде нечему было завидовать, а и сейчас проступала застарелая зависть в словах тёти Зои.

Тётя Зоя, учуяв реакцию Мани и Фроловны, как ни в чём ни бывало, вернула разговор вояси:

— А твоя Подакцизная?..

— А что моя Подакцизная?

— А то!.. Будто с честной зарплаты своей налоговой домину отгрохала трёхэтажную? Так на паёк не жмись, с людьми делись. Я так понимаю: натискал календари — дари... Так они ж там в налоговой приучены все под себя, другим — ничего...

Зебул — представитель сил силосильных, встречь ему не перечь. Прёт по округу, что каток по асфальту. И верно, и правильно. Такие и надобны, а не тюха с матюхой. Без сомнений, ни упрёка, ни страха. Представительской власти представительный нужен. Форменный депутат. Вона сколько Зебуловы ходки нанесли. Одних только календарей: и настенный четырёхблочный формата А4, с пружинками и передвижным красным квадратиком насущного дня, и настенный формата А3, и карманный, и настольный-перекидной в виде домика. И паёк — ко Дню пожилых людей, и позавчерась — второй, с гречкой, рисом, сахаром, подсолнечным маслом.

Разговоры на лавочке и бессонная ночь накануне тётю Зою так завели, что в итоге подвигли отправиться своим ходом голосовать на участок вместо прежде задуманного, оформленного накануне телефонным звонком посещения квартиры одиноко живущей заслуженной пенсионерки торговли, ветерана труда выездной комиссией с урной.

Не пойдй — не случился б скандал на участке. Добралась еле-еле до школы, опираясь на палку, под грузные мышки влекомая наблюдателем и участниками экзитпола, еле-еле взшла по ступеням крыльца, рукавом отираясь, сидела у стола, пока член участковой комиссии отыскивала её в списках. Тут и случилось: поставила подпись напротив своих фамилии-имени-отчества, взяла уже бюллетень и увидела: “Мочкин Леонид Александрович, 1970 г. р.”, и адрес, и главное — подпись!.. И ведь только что, поутру вспоминали про Тому и несчастного её Кассетника, то есть Мочкина Леонида Александровича, 1970 года рождения. “Что вы... что это вы тут!..” — забормотала, сначала растерянно, но тут же окрепшим голосом закричала: “Что это вы покойника тут пишете?! Не живёт он по этому адресу!.. Не жилец он вообще! Кассетник год, как утоп! В Глином его выловили на ноябрьские. Из милиции приходили! И со мной говорили, и с Маней, и с Фроловной. Что вы пишете мёртвые подписи?!”

Наблюдатели подекочили, будто только и ждали чего-то такого, набежали члены комиссии. Одни угоманивают, другие, наоборот, гомонят, окружают плотным кольцом. В эпицентре — бабка, злостные списки и ответственная избиркомщица. Та, пятнея, лепечет, мол, не надо скандалить, никого, мол, она не писала, мол, пришёл человек и проголосовал, изъявил своё право по закону и конституции. Наблюдатели криком кричат, что, мол,

нечего конституцией прикрывать свои грязные делишки, что, мол, это подлог, чтоб втащить в депутаты кого не следует, а не кто достоин. Избиркомщица, пунцовая, гнёт, однако, своё — избиратель в наличии был: мол, пришёл, показал документ, расписался и законно получил бюллетень. Нашлись и такие, что факт изьявления воли сего избирателя — невзрачного и безвредного — “зуб даю!” — подтвердили.

Тётя Зоя в ответ верещит, под статью горлопанам, что нету такой конституции, чтоб покойникам голосовать и являть свою волю. Дело приняло нешуточный оборот. Началось разбирательство, подтвердившее старухину правоту и наличие покойника в избирательных списках. Леонид Александрович Мочкин, действительно, утонул в ноябре прошлого года в Днестре, недалеко от села Глиное, в которое незадолго до того прописался в заброшенный доморазвалуху. Незадолго до этого он выписался из “двушки” по Мира и заключил договор о продаже квартиры новым хозяевам.

Гражданин Мочкин был непросыхающий алкоголик. Причиной его смерти в водах реки, по заключению судмедэкспертов, явилось сильное алкогольное опьянение. Но всё же зачем человеку, пусть и пьющему беспробудно, но по многим привычкам столичному, продавать квартиру пусть в старом, но центре столицы и селиться за тридцать км в сельском сарае? На какую рыбалку, с какими радушными глиноицами мог отправиться Мочкин, если рыбалку отродясь не любил, презрительно именуя её “бычьим кайфом”? И, в конце концов, какого чёрта отправился он месить глинянскую глину, прописался в селе, где не было у него ни родственников, ни друзей, ни знакомых?

Этим вопросам разбирательство внимания не уделило, впрочем, как и год назад, когда свободзейские следователи принялись было заниматься выловленным из реки трупом. По запросу в Парадизовское УВД наводили справки, опрашивали бывших соседей, да толком никто сказать ничего не хотел или не мог, и тем дело и кончилось. Концы всё одно — на дно. Некому было за Кассетника слово замолвить — мать умерла, родных никого, друзья — кто умер, кто спился.

Кассетником Лёньку прозвали в школе. В шестом классе отец купил ему стереофонический кассетный магнитофон. “Романтик-201-стерео” — сбывшееся белое чудо, с которым Лёнька был не в состоянии расстаться ни на минуту, таскал с собой всюду, и на районе — только не дай Бог в дождь или в снег, — и по хате, брал в туалет и ставил на ночь возле подушки. Издаваемые “Романтиком” звуки сплотили вокруг Кассетника кружок вихрастых меломанов. Зачаровывающие, уводящие в баснословную даль, лишь только становилось теплее, они гнали прочь пацанву из душных и скучных классов.

Влекомые “Романтиком” Кассетник, Виталька Патрон, Марик, Стас и Жамбон сбегали с уроков на заброшенное футбольное поле бывшей школы для умственно отсталых, именуемой на районе “дебилкой”, или через забор — в дендропарк, или дальше, на Днестр, в тенистые тополиные поймы. “Романтик” дарил несказанную полноту ощущений. Стоило ли корпеть над учебниками, зубрить слова или цифры, если всё уже — вот, звучит по Кассетникову велению и нажиму на клавишу “вкл.”?

И Ленка Хмарина... И Марик, и Стас, и Виталик Патрон к ней подкапывали, а она всё-таки Кассетника выбрала. И на квартире у Ленки, когда Ленкина мать уехала на день к родственникам в село, их первый раз проишоёл под исторгаемую Лёнькиным магнитофоном песню “Либерта” в исполнении Альбано и Ромины Пауэр.

Лёня был поздним, единственным ребёнком, и родители его баловали. От отца за прогулы и неуспеваемость, спровоцированные “Романтиком”, получал портупей, но больше для формы, чем по содержанию. У матери вовсе не получалось быть с ним строгой. Потому, когда отец умер от инфаркта, наказывать Лёньку стало некому. Как-то вдогонку, вслед за отцом, в перестроечном раже ушла и романтика. Баснословная даль оборачивалась побасёнками.

Магнитофон по наводке Жамбона обменяли на бочку спирта “Рояль”. Замутка была его же — разбавлять кипяченой водой, разливать по бутылкам

из-под местной “Покровской”, которых в сарае Жамбонова бати скопилась тьма, и толкать алкашам.

Разведённый “Рояль” наполнял магнетизмом не хуже каких-нибудь клавиш с магнитной лентой. Стас и Патрон на тот момент служили в армии, и со спиртом мутили втроем — Жамбон, Кассетник и Марик, на троих и соображали, всё чаще с клиентами, тем более что товара было — залейся. А после пошло: Стас после дембеля вступил в ТСО и погиб в июне 1992-го на бендерском мосту. Через год, в ходе пьяного спора по поводу событий 1992-го и степени в них участия, был швайкой заколот Патрон.

Замутка со спиртом к тому времени была безвозвратно забыта. Кассетник и его кенты, Марик и Жаба, днём и ночью изыскивали средства, чтоб скорее отправиться до Нины на точку. Хорошо ещё, Жаба помогал матери, которая работала реализатором в торговом ларьке. Кассетник пять лет протрудился на заводе имени Кирова, пока его не уволили за прогулы и пьянку. Пока ходили на смену вместе со Стасом, работа шла в охотку, а потом Стаса призвали. Марик спецом себе вены поцарапал и лёг в дурку, чтоб от армии откосить. А Кассетник служить хотел. Отец у него всю жизнь прослужил в армии, в запас уволился старшим прапорщиком. Лена тоже была за то, чтоб его призвали, говорила, что будет ждать, и он к ней обязательно вернётся, а так он её потеряет, потому что в пьянке утонет.

Но уйти от пьянки, чтобы вернуться к Ленке, не вышло. Медкомиссия признала призывника Леонида Мочкина, по причине плоскостопия, негодным к строевой службе. Жамбон Кассетника подкалывал, дразнил ихтиандром, которому, мол, при нырянии в Днестр и ласты не нужны.

Кассетник нырять не любил, прохладным журчанием вовне предпочитая вливание огненной жидкости внутрь. Недавно необъятно наполненный и неохватный, внешний мир как-то исподволь сузился до размеров Нинкиной точки. Так, прямо с точки, а не с заглавной буквы, как когда-то выписывал в прописях, начинал Леонид отныне предложение дня. С утра накатить с горкой гранёный стакан вонючей Нинкиной самогонки, притушить внутренний огонь и смазать салазки, как говаривал батя Жамбона. Тогда, после утренней ходки на точку, в натуре, день скользил сам собой, по наклонной.

Весь этот район Парадизовска как бы скатывался в поля, упирившиеся в днестровскую пойму.

И Ленкины, и материны загрузки — надрыв, причитания с уговорами, слёзные мольбы — тогда не рвали сердце, легко скользили мимо, не задевая его сознания, с утра и на весь день погружённого в мгlisto-зелёную зыбь и прохладу, проступавшую на лице такой же мгlistой ухмылкой.

К Нинке надо было спускаться вниз, на Восстания. Шлось под гору, легко, припеваючи. А назад — с трудом и одышкой, которая, чем дальше, тем становилась сильнее. Кассетник, бывало, делился с друзьями, что крен на районе после Нинкиной сивухи по-любому усиливается. Жамбон начинал ухохатываться, а Марик, наоборот, делался хмурый и злобно шипел: “Не грузи! Что ты грузишь? Жаба, он меня грузит!”

Марик уже плотно сидел на системе, кентовался с нариками и цыганами, помогал им толкать шмаль и бодяжить раствор из маковой соломки. Когда его приняли за распространение, на нём уже не было живой вены. Из-за ломки и приступов Марика перевели из СИЗО на больничку, и он хвастался, как ментов обманул и зашарился, а потом через день умер там, на больничке. “Тромб в ноге оторвался и, дойдя до самого сердца, его закупорил”, — так живописал Жамбон.

Жамбон был в курсе, потому что тоже выступал по наркоте и общался с цыганами. Но он молоток, взял себя в руки и с системы соскочил. Вернее, мама сгребла сына в охапку и уехала вместе с ним в Подмосковье на заработки. Он и Кассетника звал к себе в Зеленоград. “Только на билет собери”. Но на билет собрать не получалось. До Нинки получалось, и то не всегда.

С Ленкой Хмариной к этому времени всё закончилось. Она часто и надолго уезжала к родственникам в село, вроде какой-то ухажёр у неё там появился.

Ещё до Кассетника Ленка встречалась с Мариком, недолго, в девятом классе. Была драка с Мариком у школьных турников, за трансформаторной станцией. Марик хорошо дрался и вообще по жизни был дерзким. Он разбил Кассетнику нос и повесил фонари на оба глаза. Но Ленка осталась с Кассетником. На похоронах Марика он ей напомнил, сквозь мглу своей ухмылки стал называть её всякими нехорошими словами. В общем, поругались они окончательно.

Мать умерла, и иссякла надежда на мамину пенсию. Всё, что можно из хаты было вынести, Кассетник загнал. Он и жил уже только ощущением тления труб и невыносимой тягой тление это хоть чуть-чуть загасить. Вместе с Аликом, обитавшим тремя переулками ниже к Днестру, часами слонялись они по району в поисках разнорабочего магарыча и малейшей возможности обусловить поход на Нинину точку. Алик, заспиртованный приколист, напевал нескончаемо и монотонно, как погонщик верблюда в мареве арабской пустыни: “Нинина... Нинину... Нинину... Нинина...”. Из подобного, зноем колеблемого миража, как чёрные всадники, явились риэлторы. Утолив беспримерную жажду Лёни Мочкина, в обмен они замочили его в нистрянскую глину.

И вот должный пребывать в глинойском нутре явился наружу. Претензии тёти Зои можно было бы воспринять как измышления выжившей из ума старушки, но в тот же выборный день на районе некоторые подтвердили, что Кассетника видели. Убедительней прочих выглядело повествование Алика. Пересказывая его на лавочке, уже в темноте, Фроловна принималась креститься, невольно привлекая к совершенно знамения и подружек-старушек, что они с готовностью и делали.

— Так и говорит: “Гляжу: Кассетник, вылитый!..”

— Погодь... Вылитый или он самый?

— Сам Алик вылитый... С утра зеньки залил. Глядит он... В обед его видела. На углу тут... На ногах еле стоял.

— В переулке и встретил. Возле школы в аккурат. Там, где проулок совсем, возле мусорки. И главное, говорит, не удивился ни капельки.

— Ага, ни капельки... Просто капельки свои он уже до того выдул. Вот потом и мерещатся кто ни попадя. Нашла, Фроловна, кого слушать...

— Всё ж не ни попадя... Томы сынок, как-никак... Этот его спрашивает: “Кассетник, ты что ль?..” А тот кивает. “Голосовать, что ль, ходил?” А тот снова — да.

— Так да или да? В смысле, сказал или кивнул?

— Так вот о том Алик и говорит: ни звука тот не проронил за весь разговор.

— Свят... Свят... Вишь, голоса подать не мог.

— Ну, так если, как Зоя говорит, что проголосовал, значит, голос свой и отдал.

— Ну, так и мы голосовали, а вот сидим, говорим.

— Ну, ты, Зинка, сравнила... То — мы, а то... Ох, грехи наши тяжкие... Спаси и помилуй...

— Ну, и куда твой Алик его подевал?

— Да не мой он... Это тот словно немой был. Сам делся. Алик на точку, до Нины шёл, а тот, говорит, дошёл с ним до угла Восстания и после свернул на Курганный, и вниз пошёл...

— Это значит — к Днестру...

— Не знаю, куда... Восвояси...

— Я бы этой Нинке глаза повыщарапала... Сколько народу извела, и ничё ей не делается...

— Ага, сделается ей... У неё, знаешь, какие связи!

— А ты больно знаешь...

— Не знаю, потому и не больно... Ты вот Зебула своего расспроси, он тебе расскажет.

— А чего это он мой? Чего это он расскажет?

— Известно чего... Ты ж за него глотку тут рвала и голосовать ходила.

— А это уж моё дело, за кого голосовать.

— Слышь, бабоньки... А я сегодня Женю возле молочного встретила. Чего она мне рассказывала...

— Это какая Женя?

— Ну, Томкина подруга... Возле парка которая живёт.

— А, Женя... Ну, и чего она рассказывала?

— Рассказывала, Наумовну видела.

— Тьфу, напасть... Так мы ж в апреле на поминках у ней были. Так, Зоя?

— Так... полгода будет вот в октябре...

— Где ж она её видела?

— В парке и видела. А она и не знала, что Наумовна померла. Говорит: “Наумовну видела”.

— Свят, свят... А та?

— А что та? Говорит, далеко шла, аж у памятника Котовскому. А Женя от фонтана под арку, на выход как раз повернула. Ну, и думает: не буду окликать. Наумовна, говорит, нарядная такая, в кофте своей белой, в платке своём пуховом. Женя ещё говорит, подумала: “Вот, Наумовна идёт. Точно на выборы, что так вырядилась”...

— Погоди... в каком пуховом?

— Ну, оренбургский её, любимый её...

— Так вот же он, на плечах. Наумовны платок... Дочка ж ейная за поману его мне дала. На поминках и дала. На память, сказала, о маме...

— Нешто Женьки не было на Наумовны поминках? Врёт она всё...

— Нет, не врёт. Она ж к сыну ездила в Ленинград, почти год там жила, внуков нянчила... Не знала она ничего...

— Ох, бабоньки... Грехи наши тяжкие...

— Свят... Свят... Спаси и помилуй...

3. Облако

*Я кланяюсь песнею,
Как волк — своим воем.
Охотник его настигает,
Поднимает ружьё и стреляет.*
Лэутар Михай Константи́н

Гости покидали Нистрению. Вернее бы было сказать: съезжали с неё, в том смысле, в каком съезжают, например, с дачи. Ведь с какой целью на дачу съезжаются? Как правило, с одной: провести время, предаваясь отдыху и развлечениям. А что может быть благородней и выше цели: *провести* время, то есть его обмануть? В этом возвышенном свете отдых и развлечения превращаются в суперигру, стремление одержать верх в которой принципиально роднило гостей ЦИРКа и дачников.

Итак, гости съезжали с Нистрению. Как *с темы*. Или, как говорят на районе, *слезали с глы*. И пусть не смущает просторечная грамматическая форма этих оборотов. Ведь в самом деле, собственно Нистрению юридически её покидавшие фактически и в глаза не видели, ибо она — сплошь будни, а они были гости праздника, расплескавшегося в безбрежную вертикаль “Моря любви”.

На бал гиперболоида многие из них угодили сходу, сойдя на самую маковку вертолётных площадок с гели- и квадрокоптеров, считай, с трапа; и прочие из высадившихся в ближайших морских и аэропортах, но добравшиеся в ЦИРК по земле, в стремительно-комфортабельном транспорте, тем не менее ничтоже сумняшеся перемахнули через мглистые нистрянские горы, долины и лес.

Мыслями все они уже были в ЦИРКе, и если и глядели по сторонам, то лишь мельком фиксируя усугубление мглы по ту сторону тонированного стекла мега-комфортабельного салона, исполненного мягкого света и музыки, и такими же, вкрадчивыми, будоражащими предвкушением голосами проводниц.

Намёк на смущение в данном случае в принципе исключался — таков был вкрадчиво-скромный, но бесценный дар принимающей стороны, адресованный каждому посетителю ЦИРКа.

Гость желает развлечься и отдохнуть, короче, оторваться по полной, так, чтобы захватило дух и кругом пошла голова. ЦИРК за это берётся, с лихвой обеспечивая искомый отрыв от времени и пространства и ум помрачающее головокружение, причём на самом высоком уровне семи своих небо-ярусов.

Всё, что происходит в ЦИРКе, сполна достаётся восхищённому гостю. Взамен, от безмерных щедрот, ЦИРК берёт скромную плату: восхищает тень смущения, избавляет каждого дорогого пользователя (а дешёвые исключались в силу самого принципа взимания скромной платы за посещение мега-башни) от бремени, с которым он сюда пожаловал: от тени смущения и сомнений.

Возвышенный ЦИРК столь исполнен света, мегабольшие и мало-мальские помещения каждого небо-яруса так хитро осиянны, что внутри гиперболоида ни предметы, ни охрана, ни обслуживающий персонал, ни, в первую и в последнюю очередь, пользователи — никто не отбрасывал тени.

Тени нет, с какой стороны ни взгляни, с какой стороны ни прочти.

Тени нет. Будто она угодила в тенёта, ускользнувшие от расширенных зрачков сонмов восхищённых пользователей, будто её чудесным образом раз и на миллион лет вперёд впитали источники света, которыми без числа и без счёта декорирована обстановка “Моря любви”.

Осиянность гиперболоида была удивительно сбалансирована: неизбывный поток электричества пропитывал каждую пору и грань крайним хай-теком убранного нутра и того, кто в нём пребывал. Этот свет, неизбывный, не резал глаза, но застил очи.

Не следует думать, что съезжались гости отяжелёнными балластом забот и закомплексованности, а съезжали якобы налегке.

Правильнее сказать, каждый покидавший пределы безбрежного “Моря любви”, находился *под впечатлением*, что предполагало наличие у пользователя, вернее же — по-над ним, некоего отныне довлеющего намерения, однако не только не скрывавшего его помыслов и поступков, а наоборот, превращённого в осознание своего полновластного права впредь соотносить свои поступки исключительно с собственными помыслами, иначе говоря, поступать, как вздумается.

“Море любви”, провозглашённое территорией творчества, в действительности таковой оказалось. Пользователь, переступая незримую, утопшую в океане света грань ЦИРКа, становился на путь, с которого нельзя было свернуть и по которому невозможно было вернуться. Под чуткой опекой проводниц он устремлялся к преобразению, возводился на пьедестал в перекрестье тысяч софитов гиперболоида, на стационарной оси и мобильных, смонтированных на квадрокоптерах, оснащённых сенсорными датчиками и телекамерами. Бесшумные, вездесущие, но не назойливые, ни капли не раздражающие, они осуществляли неназойливую трансляцию, роясь повсюду микроскопическими рачками, скрадываемыми плеском солнечных волн.

Питательный криль всеместной трансляции сам питался, без передышки на сон, отправление нужд и надобностей, ибо отдых, бодрствование и сон, отправление нужд и надобностей как раз и являлись пищей для прожорливых светляков.

Мириады микроскопических телекамер питались контентом, который производили пользователи. Пищевая цепочка, изящная, как ветви гиперболоида, безотказная, как электрорецепторы белой акулы, формировала суть преобразующей силы ЦИРКа: пользователь в одночасье и на миллион лет вперёд сбрасывал привычную для себя, но, как открывалось, чуждую личину потребителя, обретая подлинный, но до сего счастливого мига таившийся под спудом сознания облик производителя.

Пользователь покидал зрительный зал, обращаясь в артиста, поднимающегося на авансцену бытия, не прикладывая для этого практически никаких усилий, толкаемый лишь инерцией своих самых заветных чаяний.

“Море любви” безгранично, ибо это пространство без стен. Надобность в переборках отпадает сама собой, и сознание пользователя ЦИРКа лишается их как отныне и на миллион лет вперёд ненужного рудимента.

Нет стен — нет и тени, преград для инерции движения по пути слияния с безбрежным морем коллективного сознательного; говоря же языком IT-специалистов ЦИРКа, “Море любви” — производство контента. Впрочем, возможности языка в воплощении этой мегазадачи, оказывались слишком скудными, а следовательно, препятствием, потому лакомой сутью трансляции являлось обращение напрямую к зрительным образам, к зримому как первообразу человеческой меры, которая, как известно, суть то же самое, что и мера горная.

Пребывание в залитом светом нутре ЦИРКа словно бы рассекало свежим ветром разительных перемен пользовательскую грудную клетку. В разъятую клетку, взамен вынутых трепетных духа и сердца, вмещалось огромное солнце.

Магическая манипуляция с равным успехом производилась над каждым из пользователей, вне зависимости от возраста, пола, цвета кожи, набора привычек, комплексов и пристрастий.

Под *впечатлениями* пользователя подразумевались не только живые и яркие картины — зримые свидетельства о проведённом в ЦИРКе (сиречь обведённом вокруг пальца) времени, но и буквальное исполнение заветных желаний — “сбыча мечт”, впечатанная в подсознание небывальными и отныне незабываемыми обретенными для всех пяти чувств, суммирующих знаменатель чувству шестому.

В VIP-случаях судьбоносные обретенные сопровождалась обновлёнными суммами на банковских чеках для гостя или на его банковском счету или заключёнными в ЦИРКе под эгидой его устроителей соглашениями, договорами и контрактами, чреватых обоюдной, для гостя же — изобильной выгодой. Иначе говоря, покидали нистрянские поймы затаренными кто во что горазд, но неизменно — с солнцем в авоське, под завязку, кто сколько мог унести.

В немалой степени *под впечатление* пользователи церемонии открытия ЦИРКа оказались подведены концертом Наф-Наф Доги, приуроченным к презентации его “Ласкового и нежного зверя”. Действо, увенчавшееся присвоением автору-исполнителю титула Господаря Всенистрианского Празднества, поголовно повергло в шок и трепет, в нокдаун восторга аудиторию концерт-холла “Zebularium-CIRC”, вне учёта наличия или отсутствия у зрителей банковских счетов, словно судорогой, свело к общему знаменателю восхищённой контузии ударом оглушительно мощной стихии по имени “МС Наф-Наф Дога”.

А ведь появления тайфуна разрушительной силы в пределах акватории “Моря любви” ничто не предвещало. Был, конечно, подогретый анонсами и шумихой в прессе ажиотаж вокруг намеченной в рамках церемонии открытия ЦИРКа презентации дебютного альбома молодого исполнителя. Но людская молва, как морская волна, омывала это предвестие завистливой жёлчью: дескать, папаша-миллиардер, да к тому же владеец непризнанных акваторий, волен потакать прихотям папина сына, сопляка, который с детства катался в жирном нистрянском чернозёме, как сыр в масле, и, дескать, поэтому начал петь рэп, пытаясь копировать, как та обезьянка Чи-чи-чи, бормотание черномазых, что, дескать, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не вешалось, что потому, мол, и рэп, что эта заморская блажь и не пение вовсе, и выбран специально, чтобы скрыть у горе-певца отсутствие слуха, которому, мол, медведь в младенчестве на ухо наступил, да к тому же не только на ухо, а ещё на лице потоптался, потому, мол, тот лицо своё, в реальности — уродливую харю, и прячет, и так далее, и т. п.

Да, “злые языки страшнее пистолета”, даже того убойного, гангста-рэперского, от которого в лихие 90-е на улицах Вегаса пал смертью храбрых бесстрашный острослов, афроамериканский гусар-поэт Тупак Шакур, в тот самый день, вернее, в ту ночь, когда его закадычный друг, великий и ужасный дуэлянт и брэтёр Майк Тайсон дрался на поединке в “Большом саду MGM” Лас-Вегаса.

Как водится, сей с цепи сорвавшийся хор вовсе игнорировал последовательное позиционирование Наф-Наф Догой собственного авторско-исполни-

тельского стиля и мировоззрения исключительно в рамках речитатива. Выказывая безмерное уважение и безграничный пиетет в отношении рэпа в целом и столпотворящего творчества наиболее ярких его представителей, творец “джентльбиста” не уставал проводить водораздел между заморской и нистрянской традициями, первая из которых восходила к ямайским диджеям, а вторая — к сатирам Антиоха Кантемира.

Впрочем, по прозорливой мысли Наф-Наф Доги, разделение это всё равно сводилось на нет в пучине времён и пространств, приводилось к общему знаменателю, ибо солнцем русской поэзии воссиял не кто иной, как имевший эфиопские корни белый арап, он же бес арапский, к Бессарабии же, как известно, прямое отношение имел Кантемир, а к Эфиопии и светочу православия — солнце ямайской поэзии Боб Марли, а вслед ему — звезда гангста-рэпа Снуп Дог, и свершилось по заповеданному прозорливцем: эфиоп крестился и оделся белым.

Но мысли эти, изречённые нистрянским читчиком, для всесильнейшего средостения — наполнителей прайм-тайм и полос таблоидов с потребителями контента — были, как камень в болото: брось и — канет втуне и безвозвратно. Чёрнь каркала, как и присно: чёрного кобеля не отмоешь добела.

Вокруг автора “Ласкового и нежного зверя” отравленные пули злоречия роились всё гуще по мере того, как всё ближе становился день открытия ЦИРКа и приуроченных к нему презентации дебютного альбома Наф-Наф Доги и его возведения в титул МС неизбежного праздника.

Даже и выборы в непризнанной, но непокорённой Нистрени на фоне нарастающей истерии ушли в тень, прошли эпизодом, почти не привлекая внимания малозначимым штрихом истории. Впрочем, за волеизъявлением нистрянского электората наблюдали и представители профильных международных, в том числе ООНовских, и неправительственных европейских организаций, не менее профильные представители российской Госдумы, абхазского народного собрания, юго-осетинского Ныхаса, северо-ирландского Эряхтаса, германского бундестага и итальянского Parlamento, по итогам признавшие, что победу, несмотря на наличие конкурентов, безоговорочно, в профиль и в фас, одержал Зебул, тем самым ознаменовав заход на второй срок самовластного правления.

После этого чистосердечного признания международные наблюдатели безоговорочно, как по мановению, перешли в дипломатический ранг избранных дорогих гостей “Моря любви”, с головой окунувшись в предпраздничную атмосферу ЦИРКа, обильно сдобренную фейерверком скандалов, интриг, шокирующих разоблачений.

Масла в огонь, и без того бушевавший в пространстве масс-медиа, подобно таёжному лесному пожару или негасимому столпу электричества ЦИРКа, подлил новый виток публичного противостояния, с одной стороны, осенённого сединами и всемирной славой маэстро Еужениу Доги и, с другой — зарвавшегося сопливого выскочки, отпрыска всесильного богатея, папина сына, бесстыжего мажора, который, надо признать, совсем не случайно осмеливается попирать сцену в маске озверевшего пяточка, не имея за душой ничего святого, кроме папиных денег и власти, возмев наглость присвоить по собственной прихоти не только нетленный шедевр маэстро, но даже и его фамилию.

В последнее время, особенно в ходе недели, непосредственно предшествовавшей презентации альбома Наф-Наф Доги “Gentlebeast”, в медиа-пространстве акценты по адресу юного исполнителя нистрянского речитатива стали стремительно смещаться в негативную сторону, набухая грозовой тучей откровенной враждебности.

Немало способствовала этому череда серийной волной прошедших интервью и телеэфиров с автором нетленного киноальфа, в ходе которых пожилой маэстро Еужениу (что в переводе с молдавского указывало подкупающе прямо: “Я — гений!”), с саднящей в надтреснутом голосе нотой сокрушённо-старческой жалобы, с крупными планами седых прядей, в беспорядке налипших на покрытые потом попранной справедливости виски и светлый композиторский лоб, одним своим миоритическим видом внушал стремление

заступить за беззащитного вдохновенного старика, заслонить его от бессовестных хищников, рейдеров вдохновения, осоловевших от безнаказанной наглости власти и денег.

Ситуацию, мягко говоря, неприятную, а сказать по правде — всерьёз угрожающую не только репутации нистрянского певца, только-только возмнившего своим альбомом сделать первый шаг в прекрасный и яростный мир исполнительского искусства и поп-индустрии, усугубляло и то, что контраргументы Наф-Наф Дога в этом, выданном его оппонентом, промежутке гиперактивного наступления, были практически сведены на “нет”.

Наф-Наф Дога не только не отвечал на удары, буквально валом обрушившиеся на него из всевозможных электронных и бумажных СМИ, но даже и не защищался. Массированная кампания рекламы дебютного альбома и сингла “Ласковый и нежный зверь” не сбавляла темпов и лишь нарастала, но сам Наф-Наф Дога на экранах телевизоров, мониторов и гаджетов не появлялся и разгорающийся по поводу киновальса конфликт не комментировал.

Все силы и всё своё время, которое, как известно, у него вовсе отсутствовало, певец уделял подготовке к предстоящему мегатуре, а точнее — к его старту, призванному ознаменовать презентацию ЦИРКа. И готовился Наф-Наф Дога на свой манер, как к бою за титул чемпиона мира по версии ММА, проводя интенсивные тренировки в собственном мегаспортезале на седьмом небо-ярусе ЦИРКа, выезжал спарринговать в бойцовские клубы Грозного, Подмоскovie, Дублина, Лос-Анджелеса, Сан-Паулу.

Облако в реали-режиме вело трансляции того, как Наф-Наф Дога сгонял по семь потов на тренировках.

В числе консультантов спортивно-бойцовских порывов юного исполнителя журналистами упоминались прославленные имена, великие чемпионы октагона и ринга, участие которых, по мнению дотошных репортеров, якобы обуславливалось весомым финансовым участием папаша Зебула в работе Абсолютного бойцовского чемпионата и личной его дружбой с руководителем UFC Даной Уайтом.

Но кому только не приписывали дружбу Зебула? Досужие хроникёры доболтались уже до того, что правитель Нистрени и, по совместительству, владелец ЦИРКа якобы входит в число не кого-нибудь, а двенадцати друзей Оушена, и что даже способствовал мегасделке по перепродаже бренда текилы Джорджа Клуни “Casamigos”, совершение которой превратило талантливого американского артиста и начинающего бизнесмена в миллиардера.

Правда, на полях “жареных” новостей мелким почерком уточнялось, что дружил Зебул вовсе не с голливудской звездой, а с его партнёром по текиловому бизнесу Майком Мелдманом, по совместительству девелопером, и дружба его с Зебулом как раз базировалась на сотрудничестве в сфере недвижимости в ряде строительных мегапроектов в Москве, Нью-Йорке и, главным образом, в Силиконовой долине, куда финансовыми структурами, аффилированными с хедж-фондом, контролируемым Зебулом, якобы направлялся значительный венчурный капитал*.

* Захватывающие сюжеты на данную тему, озвученные в различных СМИ и призванные внести ясность в непрозрачные денежные схемы, наоборот, рождали сущую путаницу. К примеру, русскоязычный “Форбс” в дотошной журналистской попытке отследить сложный маршрут движения капитала, соотносимо со структурами, аффилированными с хедж-фондом, контролируемым структурами, доли в которых имеют акционеры, имеющие отношение к Зебулу, конечной станцией этого кремнистого пути указывал Силиконовую долину — Silicon Valley, подразумевая калифорнийскую Кремниевую долину, в то время, как американский “Forbes” в публикации на эту же тему итоговой реперной точкой подспудного хода мутных финансовых потоков называл Силиконовую долину, подразумевая, однако совсем другую калифорнийскую местность — SiliconValley, прославившуюся производством не сверхпроводников, а имплантантов для пластической хирургии и порнофильмов. Впрочем, заголовки первых полос, типа: “Ведёт ли кремнистый путь в Кремниевую долину?” — при всём внешнем эффекте, оказывались малоэффективны в поисках ответов на волнующие журналистских исследователей вопросы, а посему — исполнены пустой риторики. Следует признать, что усугублению каши в головах легавых борзописцев способствовала слуховая aberrация восприятия русским сознанием двух совершенно разных слов: “silicon”, что по-английски означает “кремний”, и “silicone”, означающее “силикон”, материал для искусственного увеличения сисек.

Мелкий шрифт никто разбирать не удосуживался, и вхождение хозяина ЦИРКа в круг друзей Оушена — в глазах миллионов не менее легендарный, чем круг рыцарей короля Артура, — стараниями шелкопёров-фантазёров было закреплено за Зебулом в его коллекции атрибутов всевластия.

Между тем, в конфликте между Зебулом-младшим и маэстро Догой, разросшемся до вселенских масштабов российских федеральных телеканалов и эфиров прайм-тайм, всеисилье отца мало чем помогало и даже выходило сынишке боком.

Сторона создателя нетленного киновальса, умудрённого многолетним стажем служенья искусству и нашедшего поддержку не только широкой аудитории, но и ряда влиятельных медийных персон, восприняла это как показатель шаткой позиции нистрянского выскочки и всерьёз обсуждала подачу многомиллионного — в долларах — иска в ходе судебного разбирательства, которое, увенчавшись неперменным торжеством правосудия, нацеливалось восстановить по отношению к прославленному композитору высшую справедливость и преподать наглядный, всесветный урок, чтобы другим неповадно было даже в мыслях холить попытку попрапия пусть и пожилого, но в своей вдохновенности не подвластного тлению гения.

Каковы же оказались шок и трепет сотен представителей масс-медиа, массы селебритиз, до отказа набившей огромный концерт-холл “Zebularium-CIRC”, когда из глубины сцены, погружённой в таинственную иссиня-пурпурную полумглу, направленный свет софитов внезапно вывел к многотысячной публике не кого-нибудь, а непревзойдённого короля вальса Еужениу Догу, сопровождаемого не кем иным, как господарём мегавечеринки Наф-Наф Догой!

Исполнитель сказал речь, краткую, но исполненную пиетета и почтения к седовласому маэстро, отметив величие “Ласкового и нежного зверя”, воплощающего в себе образ и подобие величия его создателя, и свою скромную миссию, возымевшую целью лишь придать этому мега-образу зримые черты, исполнить его.

Чудесное замирение непримиримых врагов, явленное на сцене в столь наглядном образе добротолубия, произвело на публику неизгладимое впечатление.

А тут сходу начался концерт. Выступление открыла заглавная композиция альбома, причём “Gentlebeast” исполнялся в сопровождении оркестра симфонической музыки, которым дирижировал собственноручно пожилой маэстро. И если в начале действия домнул Еужениу вёл себя несколько скованно, больше отмалчивался, пока Наф-Наф Дога толкал речь, и весь его облик выражал весомую долю растерянности, то во время исполнения композитор преобразился, буквально воспарив буревестником среди заходивших по залу тремя четвертями штормовых валов родной ему симфонической стихии.

“GentleBeast”, произведение, превратившее доходчивую простоту с омутами подтекста, мерцанием метафоричности, способной потрафить гурманам поэтических изысков, погрузило зал в причудливый мир нежной ласки и зверства, умноженный силой воображения и таланта исполнителя, умопомрачительными сценическими спецэффектами.

*Откормлю свинью, назову её Машкой,
Буду холить и лелеять, а после
суну швайку под левую ляжку.
Подло? Назовёшь меня гадом?
Но кровяной и салом будешь потчеваться рядом.
Вкусный подчерёвок моей Машки-Марии?
Так не надо вить верёвок вокруг моей выи.
Чермное чрево! Смачная свинья!
Свою вину смываю я, смываю я,
красным вином смываю я.
Моя свинья заходит в дом.
Свинья заходит в каждый дом.
Обзовёшь меня гадом?*

*Избушка на свиных копытцах, стань к лесу передом,
Ко мне — задом.
Дом обернётся атомным адом.
Ну, и кто ты после этого? Полный рот немоты?
Я тебе подскажу: гад же ты! Гад же ты!*

Пространство сцены, границы которой стёрлись, войдя в диффузию с залом, заполнили танцовщицы. Фосфоресцирующие лоскуты поверх идеально сложенных тел подразумевали сходящий на нет минимализм костюмов. Их движения, выверенные по ритму композиции, становились всё стремительней и чувственней, схлопывались в группы и рассеивались, чтобы тут же, не упуская ритма, создать новую сумму, более массовую и откровенную. Танец слаживания набухал неистовством, в такт бухающей из динамиков песне:

*Воинство свинства, животворное животное!
Потерпи, сейчас дам тебе рвотное,
Будешь бляеть, будешь блевать,
А я буду:
vine-vino, виня вино, алкать и имать...
Емлю, емля, ля-ля...
На... на... на... на...*

Хриплым стоном замиравший на губах Наф-Наф Дога финальный звук “Ласкового и нежного зверя” увенчался итоговой суммой: танцовщицы обложили его по кругу, пирамидально сгрудились, словно погрязли в хореографическом забытии, с тяжело вздымавшимися и опадавшими грудями, залитые потом самозабвенного старания, исполненные волей исполнителя, полностью отдавшие себя танцу, словно одалиски, готовые умереть за своего господина. Песня скрывалась где-то за горизонтом восприятия, откуда доносилось затихающим отголоском:

*На Днестре пасутся овцы.
Приднестровцы, приднестровцы...*

Зал ещё трепетал, оправляясь после чувственной бури, а “Джентльбиста” сменила следующая композиция — “Добрый чел”.

В манере скучающего хроникёра, переданной с замечательным артистизмом, одними голосовыми модуляциями, Наф-Наф Дога поведал байопик-историю Добермана, налогового инспектора по имени Карл. В свободное от налогов и сборов время, подобно папе Карло, он создавал своего Буратино: величественного пса, породу с гордым благородным экстерьером.

“Доберман — добрый мэн, Доберман — добрый чел”, — начитывал Наф-Наф Дога, разворачивая повествование о том, что Буратино вечно совал свой длинный нос, куда не надо. Он страдал любопытством: “spoory”, в переводе с английского. Снупи — так звали собачку доктора, милого дуррашливого спаниеля, который убежал на болота и стал жертвой собаки Баскервильей.

*Дог слопал Снупи, и сам теперь не рад.
Не ходи на болота, ибо из топи — блат!*

В этот момент в иссиня-пурпурной, клубящейся глубине то ли сцены, то ли самого бытия возник тупой клин вытянутого носа и лба, затем целиком лицо — высушенное марихуаной, красноватой белизной глазных белков оттеняющее чёрно-коричневый, чепрачный цвет кожи, обликом очень похожее на морду добермана.

“Снуп Дог!” — опознав явившегося, хором выдохнул зал. Да, это был он — великий и ужасный король блатного рэпа, МС западного побережья североамериканских штатов.

Крёстный отец Наф-Наф Доги сходу, словно бы представляясь, подхватил мотив звучащей музыки и в такт пропел: “Snoor Dog, Snoor Dog...”

Прямое online включение из Лос-Анжелеса было в тютельку состыковано по хронометражу и смыслу песни, и аудитория не сразу сообразила, что Снуп Дог, находясь на сцене рядом с Наф-Наф Догой, в то же время отстоит от ЦИРКа на 10 414 километров. Впрочем, эффект 3D мега-проекции создавал впечатление, что пространства Евразии и Северной Америки, пучины Атлантики, разделяющие Нистрению и Лос-Анджелес, вовсе отсутствуют, и Снуп Дог действительно в ЦИРКе.

Не сбавляя темпа, Наф-Наф Дога атаковал его в духе бойца ММА:

*Эй, Snoor Dog, как поживаешь?
Заплати налоги и спи спокойно,
Сердце папы Карло должно быть довольно.
Снупи любопытен, как Буратино.
Кому по зубам
стоеросовая древесина?
Собаке Баскервилей? Вот незадача:
На Гримпенской трясине опять недостача.
Дог слопал Снупи, и сам теперь не рад.
Не ходи на болота, ибо из топи — бла!*

По мановению руки маэстро Еужениу Доги из-под смычков контрабасов и альтов, затем скрипок и виолончелей, из-под неуловимо-нежных пальчиков арфисток надсадно возникли две музыкальные темы — тревожно-щемящий мотив маэстро Дашкевича из кинофильма “Собака Баскервилей” и зовуще-щемящий мотив маэстро Рыбникова из кинофильма “Золотой ключик”.

Обе темы, виртуозно аранжированные в лад с электронно-жестокими низами хип-хоп-ритма, намертво защемили аудиторию в тисках эмоций и аффектации. В этот момент зрительный зал и многомиллионная аудитория прямой трансляции с замиранием единого на всех мегасердца внимали безграничным возможностям технического оснащения сцены.

Налитый золотом и пурпуром луч выхватил Наф-Наф Догу в самом центре зрительного зала, неизвестно как там оказавшегося. Виртуозно сменив стихотворный регистр на прозу, он произнёс, широким жестом правой руки как бы распространяя своё обращение на 360 градусов: “Если рассудок и жизнь дороги вам — держитесь подальше от торфяных болот!” После паузы исполнитель добавил: “В ночную пору силы зла властвуют на болотах безраздельно!”

Зал погрузился во тьму. Из мерцающей зёрнами света оркестровой пучины ввысь вознеслись маэстро Дога и покорный малейшему трепету его дирижёрской палочки коллектив виртуозов, сведённый из числа Парадизовского симфонического оркестра, а также Академического оркестра Московской филармонии, Нью-Йоркского и Венского симфонического оркестров.

Волей дирижёра и, как уточняли, по ненавязчивой просьбе самого Зебула, распределённые по принципу американской рассадки, музыканты воспаряли на скрипично-арфических крыльях всё выше и выше над задравшими головы зрителями, словно бы восходя с каждым пассажем на новый небо-ярус.

Пространственный фон последовательно перестраивался в куб, потом в пирамиду, потом в сферу. За восхождением, сопровождаемым преобразованием зала, следил Снуп Дог. Теперь он занимал место господара сцены, в почтении уступленное ретировавшимся к зрителям Наф-Наф Догой, с предупредительным молчанием внимал тирадам своего крестника, мерно покачивая головой в такт музыке.

После проигрыша, когда виртуозы маэстро, казалось, достигли наверх, крёстный отец Наф-Наф Доги, словно опытный боец, выждав нужный момент, вдруг ответил:

*Чёрное тело, чёрные дела,
Чёрная душонка
выгорела дотла.
Таков был я — рылом и нутром эфиоп,
В чёрной топи по маковку утоп.
Но чудо свершилось, всегда помни это:
Эфиоп облачился в одежды света.
Животное рыло — ликом в калашный ряд...
Вкусна тушёнка из Снупа?
Жри,
свершай обряд!
Господарь чел Бун, МС, будь добрый чел,
Так тебе, щенок, доберман повелел.*

Наф-Наф Дога не давал слушателям продохнуть: не отправлял зрителей в полную отключку, но умело, как настоящий МС, балансировал на грани полного отрубца аудитории и коллективно-полусознательной эйфории.

“Тирас впадает в Чёрное море”, — выдохнул певец и тут же в виде речитатива, прошитого синлабическими стежками парных рифм, схожих в ритмике с накаत्याвающим в районе Ново-Дофиновки морским прибоем, объявил посвящение рэперу-шансонье Тупаку Шакуру.

По всему залу, облачённому в сферу, словно поминальные огоньки, вспыхнули и пришли в движение маленькие изображения легендарного гарлемского воина улиц и жигана чёрных кварталов, аватарки, заимствованные из его прижизненных документальных видео и фото. Визуальные проекции принялись расти, причудливо переплетаясь с электронной 3D анимацией и голограммами, но вдруг словно увязли в безрадостно-унылом виде болотной трясины.

Угрожающе-тревожный ландшафт обступал зрителей, вызывая панический ропот, который нарастал по мере усугубления топи. Резко смолкла, словно оборвалась, звучащая из мегадинамиков прелюдия — попури, искусно составленное из мелодий наиболее известных песен — как бы искусно ошкуренных хитов Шакура.

Пауза набухла тревогой и ропотом, и тут золотисто-пурпурный луч выхватил Наф-Наф Догу, вновь воцарившегося на сцене. В тот же миг по его еле заметному знаку маэстро Еужениу с готовностью, в восторженном раже взмахнул дирижёрскими палочками. Иссиня-пурпурная хлябь в глубине сцены разверзлась мгlisto-зелёным потоком. Волна, не отличимая от настоящей, смывая трясины, накрыла зрителей. Зал наводнили возгласы восторга и ужаса, некоторые в зале повскакали с мест.

Мгlisto-зелёный поток выносил из непроглядной глубины сцены горящие проекции, свёрнутые в семиаршинные свитки, напоминавшие брёвна лесосплава. Качаясь на поверхности вод, над задранными головами, они сошлись в огненные буквы: Тирас.

Польхающий бревенчатый плот, обозначавший одновременно кириллическое “Тирас” и латинское “Tiras”, заиллился изумрудным мерцанием, превратившись в галлюцинирующий мегапортрет легендарного рэпера. И тут Наф-Наф Дога запел, будто принялся играючи раскачивать неподъёмный язык царь-колокола, до краёв наполняя черепные коробки и глубины подсознания умопомрачительным гулом:

*Как на бледном кружаке
С автоматом в бардаке,
Тонированном во тьму,
Мы поехали к реке...*

“Толпа тупа, Тупак! Толпа тупа!..” — неистово бросал в зал Наф-Наф Дога, и толпа, завывая от восторга, с жадностью хватала эти обглоданные кости осмеяния, самозабвенно подпевая.

*Тирас качал мою колыбель.
Золотом вьётся змея-канитель.
Зыбку в зубах убаюкал балагур,
Парная рифма:*

*тоамна де аур.
Осень — обóлденно медный пятак,
Траур — на очи...
Так твою растак!*

*Днестр впадает в Чёрное море.
Там, на просторе, чермное горе.
Уличным руслом стань, прореки
Голос реки, голос реки.
Удар за ударом: в печень, в пятак.
Тирас — Тупак, Тирас — Тупак.
Песня свежёвана — мясо парное:
Чёрное море, чермное горе.
Парные рифмы, так твою растак.
Тирас — Тирас, Тирас — Тирас.*

По ходу звучания посвящённой Тупаку Шакуру композиции из Калифорнии снова включился Снуп Дог, который вместе с Наф-Наф Догой лирически отступил от утяжелённо-хард-рокового лейтмотива темы:

*Между Чёрным и Чермным морями,
От полей Галилеи до Гарлема,
до Москвы, до Майами
Волчковским шпагатом блазнится
Вавилонская стерва-блудница.*

Озвученный образ заполнил пространство зала плотью танцовщиц, умножаемой и одновременно собираемой воедино ритмичным извивом хореографии.

Песня уходила, как вода сходит в половодье, оставляя следы разрушительной стихии, — в ступор и смятение чувств поверженных зрителей.

Наф-Наф Дога, словно выказывая знаки сурового, но спасительного милосердия, в виде коды продолжал по нисходящей забрасывать ряды риторическими вопросами:

*Вот он, Тупак Шакур, гарлемский витязь в шкуре чёрной пантеры...
Куда река времён несёт его в своём стремленьи?
К устью, где ему уготованы мегачин и участь архистратига стихий Чорномора?*

Или, наоборот, к истоку, где встретят его иные военачальники и борцы за свободу — Тупак Амар Второй и его божественный прапрапрадедушка-тёзка?

Случайно ли последний правитель инков был жрец и хранитель тела своего отца?

Спасся бы он от погони испанских псов, шедших по царскому следу, если бы вместе с женой и малолетним сыном не поплыл на лодке вниз по реке?

В маковой, иссиня-чермной бездне сцены и зала, как в нутре ультрасовременного планетария, прокатились причудливые разливы светящихся всполохов. Голос Наф-Наф Доги обрёл эпическое спокойствие созерцателя, гипнотически услаждающего аудиторию, и без того очарованную масштабными галлюцинациями звёздных зорь:

*О чём говорил поэт, говоря: нет позора в необходимом бегстве?
Если бегство — спасение, то не зазорно ли остаться в родном городе,
когда тот осаждён взятым в кольцо потоком перегороженной реки?*

Римский император угодил в зазор: к персам в плен, вместе со всем своим войском.

Его заставляли наклоняться и подставлять свою спину царю Шапуру, когда тот садился на коня.

Судьба сполна наказала его за самонадеянность: персы казнили цезаря, содрав с него кожу.

Не за то ли, что тот в числе прочих пленных римлян не выказал должного рвения при строительстве дамбы?

Или его спина оказалась недостаточно основательной для подмётки царского сапога?

Царь царей, шахиншах Ирана-и-не-Ирана Шапур собственноручно начертал план плотины, призванной перегородить реку и объять в кольцо город.

Царь царей уготовил городу корчи от удупения — как единому телу, уготованному к уничтожению.

На торжестве по случаю падения города придворный пророк преподнёс повелителю книгу “Шапуракан” — воистину, императорский дар, соты мудрости, облечённые в ризы кожаны небывало искусной выделки.

Не есть ли созвучие имён Шакур и Шапур — подобие той древней игры слов и смыслов, которая роднит свет и кожу, в равной, облачной степени облачая героя в ризы кожаны и белые ризы славы — одежды царя, врача и пророка?

Из всполохов, звёздная пыль которых рассеивалась по залу подобно мерцающему дыму, возник Снуп Дог. Он держал вытянутые вперёд руки, словно встречал хлебом-солью, только на обращённых кверху ладонях вместо каравая на рушнике у него покоилась книга. Наф-Наф Дога посреди пурпурного всполоха принял книгу и поднял над головой, демонстрируя её залу, как олимпийскую медаль или чемпионский пояс, только-только завоеванный на ринге, ещё скользком от кровавого пота.

Витязь в шкуре чёрной пантеры пал, как шахиншах.

После кремации с анашой смешали его прах.

Тирас впадает в Чёрное море,

Вольная вода смывает

чёрное горе.

Он воскурился, он воспарил

Выше светил, выше светил,

Там все вопросы впадают в ответы.

Эфиоп крестился и оделся светом.

Траурный план выдыхал и Снуп Дог.

Снуп Дог — ты God Father. Снуп Дог — God Father...

Дог — God... God — Дог...

Тебе дадут до года... До года...

Ад? Ого! Да!

Ад? Ого! Да!

Дог — God...

После звучали другие композиции с дебютного альбома: запредельно negotичивая “Реальная Анна” и жестоковыйный “Гад же ты...”, подчинивший себе под ветхую длань и добро, и зло олдбой-мухобой “Черномор” и “Тень отца Гамлета исчезает в полдень”, вскипающий благородной отвагой “Последний бой старлея Хархалупа”. Каждая являлась девятым валом, ходила по залу посланницей океана, незримо, но яро вздымавшегося во мгле задника сцены.

А потом “Зебулариум”, на глазах изумлённых пользователей, преобразился в амфитеатр, по всему окоёму объятый водной стихией, владычеством океанских, морских, речных и озёрных созданий.

Началось венчающее церемонию эпохальное интервью Наф-Наф Доги. Аккредитованные в пресс-центре Валя-Зебулуй и размещённые там же в фешенебельных номерах журналисты, гости мероприятия ещё не успели

заполнить воронкообразный, едва заметно вращающийся многотысячный амфитеатр, как свет погас, и в центре зала, словно на цирковой арене, возникла лазурная, подобная небу субстанция в форме цилиндра, окружностью основания и вершины равная трём цирковым аренам и высотой около шести метров.

Свет субстанции загустел до синевы. Сама она, сохраняя прозрачность, стала вздыматься, как единое целое, пока не замерла на возвышении, словно на некоем пьедестале, погружённом во тьму, как и зрительный зал, подсвечиваемый бликами экранов смартфонов. В кристальной прозрачности откуда-то снизу или вообще ниоткуда вдруг возникла акула. Её туша, белобрюхая, с серыми боками и синевато-коричневой спиной, зависла в синеве, и эта хрупкая, на миг зафиксированная невесомость усилила впечатление её огромности.

Оторопь шумной волной водоворота пошла по залу, но тут же стихла, расщепившись на отдельные громогласные выплески ужаса и восторга. Одна за другой тьму зала озарили вспышки фотокамер. Зрители уже пришли в себя и спешили запечатлеть гигантскую тварь на свои гаджеты.

Вскоре световые всполохи-зёрна превратили окаймляющую тьму амфитеатра в заполненное зыбко фосфоресцирующим крилем пространство.

То ли несдержанно громкие возгласы, то ли работающие фото- и видеокамеры спугнули рыбину. Она сорвалась с места, описала круг против часовой стрелки, потом ещё один, потом резко изменила траекторию движения, стремительно пересекла пространство кристальной синевы по траектории диаметра, заставив инстинктивно отпрянуть расположившихся в той стороне, а весь зал — единодушно и громогласно отреагировать.

Теперь в этом бурном излиянии эмоций нотки страха едва проступали, а захлёстывал сплошь восторг.

Перемещения хищницы не прекращались ни на секунду, их темп нарастал, с такой же неизбывной настойчивостью демонстрируя сочетание изящной грациозности плавных, но стремительных движений со свирепостью морды, которая, то и дело задирая тупой клин носа, обнажала наводящие оторопь трёхрядные пилы разведённых зубов.

В маленьких, поросячьих глазках гигантской твари застыла ледовитая неподвижность древнего, как мир, допотопного ещё состава, вступая в тревожное несоответствие с быстротой перемещения огромной туши, которая сновала всё также против часовой стрелки и, следовательно, против хода едва уловимого, но неизбывного вращения амфитеатра, соотносимого, как утверждали посвящённые, с направлением и скоростью вращения титановых гидротурбин самого гиперболоида.

Этот *пуговичный* взгляд буравил кристальную прозрачность перегородки, словно выискивал лакомую жертву, последовательно выбирая среди сидящих в зале, за практически невидимой стеклянкой стеной.

Сапфировая субстанция вкупе с океанской гостьей заключалась в резервуаре из толстенного и сверхпрозрачного материала, сверхпрочность и эластичность которого зубастая хищница успела уже наглядно продемонстрировать. В тревожном движении она дважды с силой втыкалась в борт ёмкости, оба раза продавливая податливую стенку, которая тут же упруго восстанавливала первоначальную стройность.

Зал уже разобрался с техническими обстоятельствами явленного зрелища и весь обратился во внимание. Внимали, используя гаджеты: повально затеяли селфи, смельчаки потянулись ближе к резервуару, потом принялись щёлкать в непосредственной близости, стараясь дотянуться до сапфировой грани ладонями, и высокорослым это вполне удавалось, к их вящему удовольствию.

На рыбину эта сопровождаемая вспышками суета действовала явно раздражающе. Она вдруг практически с места, с бухты-барахты разогнавшись, как подводный паровоз, нанесла удар в стенку, причём такой силы, что та обтянула тупоносую морду осклизлым выступом жидкого стекла, которое, показалось, сейчас прорвётся брешью. Но стенка выдержала, не оставив даже царапин от жутко разинутой зубастой пасти. Остались потёки

крови, прорезавшие синеватую толщу пурпурной дорожкой — *французской ножкой*, как с удовлетворением констатировали бы дегустаторы, наблюдая подобный эффект на стенке винного бокала.

Не успела пурпурная струйка распушиться дымкой в солёной толще, как акула нанесла новый, ещё большей силы удар, причём в ту же точку, видимо, избрав в качестве прицела собственную кровь. Стенка повела себя так же, а рыбу морду буквально расплющило, словно в безоглядном стремлении нанести сокрушительный нокаутирующий удар она была поймана встречным, ещё более страшным ударом. Впрочем, рыбина устояла, точнее же — удержалась на плаву. Сама толща держала её. А кровавые потёки на стенке умножились, тут же задымившись багряной взвесью.

Это самоизбиение монстра вызвало в зале ажиотаж и экзальтацию. И в тот же миг на вершине сапфирового резервуара, в парчовом перекрестье лучей, вытканых сусальной и червонной канителью, возник Наф-Наф Дога. Он утвердил ноги на ширине плеч, словно бы попирая бесновавшуюся прямо под ним хищницу, развёл руки в стороны и вверх, а потом в микрофон, который находился у него в левой руке, сообщил:

— Вы видите? Микрофон в моих руках — мировой. И я обращаюсь к граду и миру.

Затем исполнитель сообщил, что пресс-конференция началась. В зале, озарившемся светом, тут же вырос лес рук, и Наф-Наф Дога, без всяких вступительных прелюдий, тут же перешёл к ответам на вопросы. Эта открытость и явный жест уважения к интересам собравшихся в зале тут же вызвали гул одобрения масс-медийной братии и в особенности её сестринской части.

Сексапильная представительница MTV, пышногрудым порывом откликаясь на повелевшую ей говорить длань певца, попросила Наф-Наф Догу самому в двух словах охарактеризовать свою исполнительскую манеру и назвать тех, кто повлиял на формирование его стиля.

- Стиль — это человек, а не пойман — не зверь! Наф-Наф Дога, “МС ЦИРКа и не-ЦИРКа” — трагический площадной поэт. Площадь — чаша, что полнится терпким вином гнева и хохота... — формулировал автор-исполнитель. — Архилох, Антиох Кантемир... Я наследую этим великим. Бичи своих песен плету с оглядкой на парные рифмы, набросы и сбросы Бродского, ступаю соразмерно словесной походке Снуп Дога и Чёрного есенинского человека. “Чорномор оделся белым”, — таковы слова крёстного, и, значит, “блэкфейс”, чёрный грим для бледнолицего — не повод для обвинений в расизме, ибо сродни боевому фейс-арту краснокожего. И разве не достоин респекта и всяческого внимания наглядный урок отбеливания Майкла Джексона? Та садо-мазо-мучительная оголтелость, с которой король поп-музыки сдирал бремя чёрной кожи с белой своей души?

— Замечено, что вы предпочитаете кроссовки фирмы “Адидас”. Означает ли это, что вы состоите в банде Srips? Как известно, к членству в её рядах относят вашего крёстного?.. — прокричали из зала провокационное.

Наф-Наф Дога ни секунды не мешкал с ответом, отточенным, как зюлингенское лезвие:

— “Как известно?..” Как известно, Наф-Наф Дога — свой дома, ибо проживает на своём районе! У нас на районе предпочитают цвет хаки. Или камуфляж. И толстовка ценна Наф-Наф Доге исключительно её опосредованной сопричастностью исканиям яснополянского графа, созвучным идеям ласки и нежности зверства. Что касается трёх полосок... Космополитизм — зло, интернационализм — благо! Пусть районы и континенты объединятся над общими знаменателями! Да будут кроссовки! На нистрянском районе три полоски — всего лишь причастность к прославленному отечественному бренду “Флоаре”. “Флоаре” — значит “цветы”. Да процветёт непротивление зверству насилем!..

Наф-Наф Дога выставил вперёд сначала одну ногу, потом другую, предоставляя пользователям возможность убедиться в правдивости своих слов, демонстрируя обутую обувь и попутно — отличную растяжку и ударную технику.

— Не подразумевает ли упомянутая Вами словесная походка бандитский танец C-Walk? — тут же атаковал вопрос.

— Вы сказали: “*Бандитский танец*”? Вы сказали: “Си, волк”? — парировал Наф-Наф Дога. — Как известно, бандиты не танцуют. Волки не пляшут. Хореография — утешение тел проводниц ЦИРКа “Море любви”, возводимое в степень утехи алчущих-страдающих пользователей. Коллектив “*Intellectual Dolls*”, или, попросту: “*I-Dolls*”! Поприветствуем огненно-рыжих валькирий!

По хозяйскому повелению Наф-Наф Доги битком набившие зал представители медиа оглушительно и продолжительно приветили вереницу избранниц, — действительно, рыжих, как на подбор, прямо в рядах явивших свою нежную, шоколадом и медью налитую плоть в ласкающих взор сценических одеяниях.

Эта нежность, сулящая ласку не в отдалённой перспективе горизонта сцены, а в исполненной предвкушения непосредственности, контрастировала с неистовством самоистязания, которому в такой же непосредственной ёмкости резервуара предавалась белобрюхая бестия на глазах участников пресс-конференции, прямо под ногами Наф-Наф Доги.

Пошли вопросы по творчеству, источникам вдохновения, острой социальности и выстраданной тематической концептуальности дебютного альбома. Наф-Наф Дога отвечал, словно начитывал. Ответы, умахнённые каламбурами, шутками и игрой слов, оборачивались захватывающей импровизацией, продолжением выступления. Ласковый и нежный зверь, то бишь GentleBeast, вещал Наф-Наф Дога, родился во время просмотра высокобюджетных блокбастеров, посвящённых свершениям супергероев, при знакомстве с которыми певец отметил подспудный и необъяснимый с точки зрения рациональности крен собирательного образа супермена в область животного мира. Почему подвиги совершают непременно Человек-Паук, Человек-Летучая Мышь, Человек-Муравей, наконец, Леди-Кошка и Леди-Божья Коровка?

Осенённый наитием исполнитель вознамерился осуществить миссию по устранению дисбаланса, вернув дань почтения человеку, созданному по образу и подобию Всевышнего, от лица (то бишь от морды) зверя, чересчур, на взгляд Наф-Наф Доги, обласканного и изнеженного широкоэкранный чество и голливудской славой.

Исполнитель в свойственной ему открытой и непринуждённой манере огорошил представителей масс-медиа исполненным онтологической глубины встречным вопросом: “Кто сказал, что человеку для того, чтобы обрести суперспособности, следует допустить сопряжение со зверем, стать пауком, божьей коровкой или летучей мышью? Почему этот принцип, воцарившийся во Вселенной Марвелла, был так безоговорочно принят на веру Вселенной мира сего на правах откровения?”

Далее Наф-Наф Дога чеканно и твёрдо заявлял притихшему залу и через десятки видео- и телекамер — граду и миру о своём нежелание мириться с подобным миропорядком.

С утверждённого в самом сердце ЦИРКа, “Зебулариуме”, сапфирового постамента, исполненного бесноватой яростью пилозубого монстра, Наф-Наф Дога провозглашал начало контрнаступления против тотальной практики озверения образа человека, объявлял о возложенной им на себя новой миссии, которую он будет отныне повсеместно осуществлять под знаменем обратного озверению принципа — воочеловечения зверя, принципа морды, взалкавшей уподобления лику как высшей точки осуществления в образе.

— Прекратите, в конце концов, мучить животное!.. — воскликнула вдруг совсем юная журналистка, прорвавшись к одному из стационарных микрофонов в зале, очевидно, какая-то экологиня и представительница партии защиты животных. Сублимно-кроткий её вид никак не вязался со звонким, задорным, несмотря на исполнители её страдание и надрыв, голосом.

— Это же бесчеловечно!..

Возглас был подхвачен в зале и разросся солидарным откликом.

Наф-Наф Дога, ничего не ответив, отпрянул от края резервуара, подскокил к его центру и, наклонившись, отвёл крышку люка, сработанного из

такого же кристально прозрачного материала, как и вся остальная гигантская ёмкость. Сквозь призму стекла и воды каждое действие Наф-Наф Дога в перекрестье лучей софитов было прекрасно видно зрителям.

Только сейчас публика увидела толщину стенок лока, и, следовательно, его непомерную тяжесть, с которой Наф-Наф Дога тем не менее легко справился.

Когда он открыл вход в синюю толщу, амфитеатр не выдержал, родив дружный возглас, но то, что последовало потом, спровоцировало нечто, похожее на громогласный рёв запредельного ужаса.

В мгновение ока скинув кроссовки с синими полосками, толстовку и майку с изображением кулака, из которого торчало отведённое вниз короткое лезвие, обнажив натренированный, сплетённый из мускулов торс спортсмена-бойца, Наф-Наф Дога, не дав никому опомниться, прыгнул в воду. Перед прыжком на нём остались лишь болотного цвета джинсы и маска, укрывавшая лицо автора-исполнителя образом клыкастой вепревой пасти.

Хотя шум и экзальтация захлестнули зал, это не помешало полумгле амфитеатра ощетиниться сотнями вспышек гаджетов, спешивших запечатлеть разоблачившегося исполнителя.

То, что произошло потом за стенкой аквариума, походило на трансляцию из зазеркалья. Наф-Наф Дога прыгнул, прижав руки, вытянувшись в струнку, и оловянным солдатиком стремительно погрузился метра на три, в самый центр резервуара, где с разбитой в кровь мордой, по исполненной хаоса замкнутой траектории металась вконец обезумевшая акула.

Вряд ли кто-то отважится безоговорочно утверждать, что сыграло тут свою роль: то ли дьявольский расчёт, то ли сказочное везение, но в ворохе пузырей низвергнутый исполнитель оказался в аккурат на пути взбесившейся бестии. Рыбина на долю мгновения замерла, то ли от испуга, то ли от неожиданности, и именно в этот спрессованный миг Наф-Наф Дога наложил ей на морду ладони.

Круговоротом плещущий по амфитеатру многоголосый ор осёкся, словно сам в себе захлебнулся. Мёртвая тишина окутала зал, часть гаджетов погасла (хотя большая часть продолжала исправно работать, на автопилоте, несмотря на протрацию, в которую впали их пользователи). Зал заморожено, как бандерлоги за танцем питона Каа, следил, как Наф-Наф Дога гладит акулу по щекам, и тоже, под воздействием его движений, погружался в ступор немого оцепенения.

Зубастое чудище всей своей паровозно-огромной тушей стало заваливаться назад и набок, словно ласково-нежные прикосновения исполнителя ввергали её сознание в стихию доселе неведомой неги.

Владычице Мирового океана, чьё сознание с допотопных времён эволюции опростилось до единственно верной в зверских пучинах, беспощадной жестокости и существовало себе припеваючи, кромкая и чавкая, вдруг, посредством простейших тактильных движений — поглаживаний, по силе воздействия подобных разве что пассам заморского гипнотизёра, — открылось новое море, безбрежно чудесное море любви.

Акуля туша завершила разворот на спину и, обессиленно свесив спинной плавник, застыла белым брюхом кверху, в беспомощном трансе погружения в так нечаянно щедро явленную хищнице благодать.

Наф-Наф Дога ещё несколько мгновений балансировал возле замирённого тулова, словно хотел убедиться, что оно не шевелится, и потом стремительно всплыл. Он выбрался самостоятельно, отклонив попытки помочь со стороны неизвестно откуда взявшихся на крыше резервуара секьюрити.

Зал ревел от восторга, встречая спасителя, бурей аплодисментов облекая его мокрый торс в тогу героя. Подобрал им же брошенный микрофон (никто из секьюрити не посмел притронуться к нему, будто то был какой-нибудь скипетр), Наф-Наф Дога с шумом выдохнул, всколыхнув новую волну зашкаливающих эмоций.

— Акула погружена в состояние тонической неподвижности, — возгласил исполнитель. — Теперь вам решать! Решать её участь! Ваше желание — избавить чудовище от мук — исполнено. Оно уподоблено спящей красавице,

помещённой в хрустальный гроб. Через пятнадцать минут акула уснёт навсегда, окончательно погрузившись в бездну вдруг открывшегося ей несказанного счастья. Или всё же её разбудить? Но захочет ли она, познавшая светлые воды моря любви, вернуться обратно во мрак первородного зла? Будет ли её пробуждение человеческим поступком? Итак, вам решать...

Наф-Наф Дога поднял с пола свою чёрную майку с изображённой на ней рукой: сжатая в кулак, она была одета в кожаную перчатку. Перчатка, с обрезанными кончиками пальцев, по виду практически не отличалась от предназначенных для занятий фитнесом или работы с боксёрским мешком. Единственное отличие заключалось в коротком лезвии, которое торчало в нижней части из ребра ладони, похожее на отведённый книзу большой палец. Зал залито светом, заставив зрителей зажмуриться.

— Ваше решение! — призывно вопил Наф-Наф Дога. — Свет или мрак? Ваш большой палец — вверх или вниз!.. Дать навеки заснуть или пробудить для труда и боли? Голосуйте! Вверх или вниз?!

4. В сугробе

Отец Михая был сельским кожухарём. Когда Михэицэ исполнилось семь лет, и он подросток достаточно, чтобы помогать отцу, тот вешал шкуру на сынишку и начинал кроить. Раскроив овчину на части, он потом долго прикладывал их так и этак, примеривал, а после опять призывал Михэицэ в помощь, набрасывал поверх него куски овчины и принимался шить.

Отец пел: и вечером, когда шил, и утром спозаранку, когда кроил шкуры, работая сапожным ножом. Лезвие ножа, короткое и острое, как железный зуб волкодака*, двигалось совсем близко от Михая, но он совсем не боялся.

Движения отцовских рук были точны, а пальцы, когда он принимался шить, двигались так быстро и ловко, что мальчику казалось, что они живут сами по себе, танцуют вместе с иглой, ниткой и шилом под отцовскую песню.

Эта хора не прервалась, пока отец пел свою волшебную песню, и Михай, как заворожённый, следил, как четырёхгранная игла ныряет в мездру и пробивается на свет, подхватывая коричневатыми и твёрдыми, как жёлуди, пальцами с вьезшейся в трещинки и под ногти чернотой, как шило споро укладывает выбившийся волос в шов между сметанными шкурками.

И тогда приходило то, к чему всё в душе было подготовлено.

Михай вдруг переставал ощущать затёкшие от стояния плечи и шею, томительное нытьё в ступнях и коленях. Он переставал чувствовать самого себя, словно его и не было. Покинув своё обложенное шкурами тело, он выстунал в круг хоры, которую тут же на овчине, заполняя собой весь мир, справляли с иглой и шилом пальцы под волшебный напев.

Стежок за стежком, слово за словом. У сельского кожухаря было много работы, нескончаемое множество песен сменяли одна другую.

Поначалу мальчик всё никак не мог привыкнуть к новым обязанностям. И ещё мама всё причитала: не слишком ли рано сынок повёрстан в помощники, не мается ли он в своём бесконечном стоянии? Вздыхала, еле заметно всплёскивая руками: “Оф, оф, оф! Что, мол, беденький, ненаглядный её Мицэ, измаялся?” Но делала это украдкой, чтобы, не дай Бог, отец не заметил. “Мой маленький Мицэ-Михэицэ”, — так мама напевала ему, когда её ладонь гладила перед сном его лоб, щёки, волосы.

Она была добрая, её натруженные руки были исполнены нежности. И отец был добрым, хотя во время работы был сосредоточен и строг. Как его песня, которую ни в коем случае нельзя было прерывать.

Его твёрдая, как дерево, ладонь иногда теребила макушку Михая. “И в самом деле, мицэ**!.. — с улыбкой обращаясь к матери, произносил

* Волкодак — оборотень, принимающий волчье обличие.

** Мицэ (молд.) — шерсть, руно молодых ягнят.

отец. И добавлял: — Настоящее руно ягнёнка!” — “Весь в отца! — весело отзывалась мама. — Такой же курчавый!” — “Да-а! Наша порода, от корня Константина! — с гордостью соглашался отец, названный Константином в честь своего деда. И весело добавлял: — Не зря в Христофоровке говорят: “Константиново семья и без овчины зимой не замёрзнет”. Так, Илинка?!” — “И не только в Христофоровке... И в Мокре так говорят...” — улыбаясь, отвечала мама. Отец взял её из соседнего села, из семьи мокрянского бондаря Опри. Бондарём был и папин отец, дед Михай, в честь которого был назван Мицэ.

— Не застал ты, Михай, своего деда! Тот был воистину митос*! Как пришёл в село с правого берега, все говорили: “Волосатый явился, знать, Христофоровке — к богатству”. Крепко, так, что с корнем не вырвешь, врос в эту землю. Только не успел твой дед нажать богатства. Не в добрый час попался он на пути старого пана. Не зря говорят: как завидишь барский туджуман**, беги, а не то пить тебе до дна чашу барского гнева...

Что стряслось с дедом Михаем, когда встретился ему на пути старый пан, отец не рассказывал. Затягивал песню о господаре Штефане Великом и разбойнике Миу, про то, как отважный гайдук Миу вершил свой суд по праву собственной воли и понятия о справедливости, защищал крестьян от жестоких панов, от жадных сборщиков податей, продажных судейских.

Прослышал про то владыка земли молдавской, не потерпел чьей-либо воли, помимо верховной, самовластной, и велел изловить разбойника. Но хитёр и ловок Миу, бродит он по тропкам тёмным, по лощинам спит укропным, на плечах кожух овчинный, в шапке-кушме с шерстью длинной. Не поймать его господарским арнаутам, надёжно хоронится гайдук в лесах, чтобы вновь выйти к людям и воздать обидчикам за слёзы обездоленных. И тогда вознамерился Штефан самолично покарать смутьяна, явить всесильную мощь сжимающей меч монаршей длани, ибо никто перед Богом и перед людьми не смеет противостать господарской власти.

И собрал Штефан-водэ верных воинов и наёмных арнаутов и сам повёл в леса. И напало господарское войско на след Миу-разбойника, и вели его след до самых предгорий, и настигли в лесу, загнав в самый угол, как псами ободранного, затравленного серого волка.

Всесильный господарь, перед мечом которого трепетали все стороны света: к северу и на запад — ляхи и угры, на востоке — ногайцы, к югу — татары Буджака и блистательный Стамбул, коего сам Папа Римский нарёк атлетом Христа, чуял Штефан Великий, как хищник, ни разу не давший промаха, лёгкую близость добычи, тешил себя предвкушением расправы над своевольником Миу — казни скорой, но лютой, показательной, чтоб другим неповадно было.

На самой опушке набрело господарское войско на пастуха и отару. Дед, такой же ветхий днями, как его овечий кожух, заросший седыми космами, как старая его кушма, весь в чёрных морщинах, скрюченный годами в бараний рог, пас овец на склоне. Предлагал он господарю кусок брынзы и сухой, как камень, мамалыги, и воды из лесного родника. Голос старика скрипит еле слышно, как высохшая ветка дуба при дуновении ветра. Господарь, отважный, в народах прославленный воин, всесильною волей приведший сюда своё войско, желает сам слушать чабана. Он лихо сходит с коня, бросает узду едва подоспевшему подобострастному боеру, он сулит ветхому днями пастуху серебро, дегерие вина и яства и спрашивает о беглеце. И старик с покорностью отвечает господарю, что путник просил его испить воды и что он отвёл его к роднику, и что тот остался у проточной воды на отдых, и что деться тому некуда, потому как с той стороны леса — отвесные скалы и бездонная пропасть. Но тропинка к роднику трудна, и пройти туда можно только пешком и по одному. И господарь смеётся в ответ и молвит, что не так уж, видно, труден сей путь, если по силам его одолеть старому пастуху. И хохочут угодливо боеры, и всё господарское войско — верные воиники

* Митос (молд.) — волосатый.

** Туджуман — соболья шапка с красным дном.

и наёмные арнауты. И кладёт Штефан-водэ могучую длань на рукоять своего господарского палаша и вынимает его из ножен, и дамасская сталь сверкает, как молния, и бабочка, привлечённая светом, подлетает к клинку, и крылышко, нечаянно задев его, опадает в луговую траву обгоранным лепестком. И приказывает Штефан чел Маре старику отвести его к роднику, где он самолично отделит беспутную разбойничью голову от разбойничьей шеи. С покорностью соглашается старый чабан и ведёт господаря в тёмный лес.

И в самом деле, извилист тернистый путь, и чаща всё непроходимей, и старик, поначалу еле-еле шагавший, будто бы набирается сил и шагает проворней, и идут они долго, и господарь, будто во сне, старается не отстать от исполненного молчания пастуха.

И странно: мерещится господарю, будто бараний рог скрюченной спины старика вдруг распрямляется, и чувствует он в душе, в самой бездонной её глубине какое-то небывало доселе чувство, и хочет окликнуть поводья, но в тот же миг проваливается в сердце неведомой тьмы.

Не сразу великий Штефан, всесильный господарь, осознаёт, что угодил в западню. Из глубины волчьей ямы, что пахнет сырой могилой, глядит он наверх, на свет, от которого больно глазам, и видит, что ему не выбраться. Гневается он, но голос господаря, от которого трепещут, как осиновый лист, все четыре стороны света, бессильно бьётся в ловушке, как в погребу, запертом на тяжёлый засов. И видит он над собой нависшую тень, что заслоняет солнечный свет.

Тот, наверну, в той же рваной кушме и в том же ветхом кожухе, но словно одёжка не по росту мала богатырю. Голос исходит от тени, могучий и ровный: “Зря изводишь гнев свой, господарь, не докличешься до твоих слуг, хоть век кричи”. — “Кто ты? Разбойник Миу?” — восклицает Штефан-водэ. Пуще прежнего вскипает в нём ярость. Велит он в гнев разбойнику: “Немедленно вызволи господаря из волчьей ямы!” — “Я Миу-гайдук... — отвечает тень. — Тот самый, которого ты травил своими верными псами, как волка. Не ты меня изловил, не ты меня победил. Не тебе мне приказывать. Сам попал в волчью яму. Надёжно схороню западню от людских глаз. Не найдут тебя твои верные псы — бояры и войники, и арнауты. Плохой у них нюх, чуют только смрад поживы и бесчестья. После, может, отыщут твой палаш с клинком из дамаской стали, обглоданные твои кости. Потому что волки найдут тебя раньше”. И умолкла тень. Молчал и Штефан, а после ответил: “Хитёр ты, Миу-гайдук”. — “С волками жить, по-волчьи выть”, — молвил Миу, и усмешка звучала в его ответе. Умолк господарь и после проговорил: “Вызволи меня, Миу-гайдук, из волчьей ямы”. — “А что обещаешь взамен?” — спросил его Миу. “Обещаю, что мои слуги не будут травить тебя, словно волка”. И вызволил Миу-гайдук господаря Штефана из сырой могильной тьмы на свет Божий, и молвил ему великий господарь: “Оставайся в своём гайдучестве, а я останусь в своём господарстве...”

Этой строчки, как праздника, ждал Михэицэ. Пропев её, отец умолкал, а в сердце маленького Мицэ волнами накатывала неведомая радость, такая же жаркая, как насквозь прогревающая, но не парящая овчина, что обступала его подобием шатра.

Отец во время работы всегда обращался к нему, как ко взрослому, называя полным именем: Михайл, тем самым утверждая, что сын, как и положено старшему, теперь помогает семье питаться хлебом насущным.

Пока было тепло, отец шил и кроил во дворе. Мама спозаранку и до звёзд возилась на огороде и винограднике, и по хозяйству, и младших брала с собой. Пятилетняя Даринка присматривала за Трифоном. Младший родился этой зимой, и вместо хлеба насущного мама кормила его грудью. Мицэ начинал тосковать по маме и по тому, что нельзя было бегать, где хочется, на речку и в лес.

Отцовское: “Делай, что должно!” — не помогало пересиливать исподволь саднившую, как ссадина, усталость и тоску. Когда похолодало и выпал первый снег, они перешли в дом. Тоска Михая сменилась страданием. Вот и лето позади, и осень заканчивалась, а всё он не мог пообвыкнуть к стоянию. То, что мама вот тут хлопчет у печки, прогоняло тоску, но её сменило

осознание того, что мама страдает, и он является причиной этих страданий. Всякий раз, когда она мельком бросала на него взгляд, её лицо исполнялось такой жалости, что мучения мальчика вырастали до муки.

А тут ещё младший начинал плакать. Даринка не могла его успокоить, как ни старалась раскачивать зыбку. Плач Трифона звенел в ушах, будто копошилась блестящая стальная игла в голове Михая.

Отец словно и не замечал наполнявшего дом истошного крика. Порой, вбежав со двора на крик Трифона, мама задевала корыто, громыхавшее о пол, или ударяла казаном по заслонке, и всякий раз испуг отражался на её лице. Но отец был настолько погружён в работу и песню, что не отвлекался на совершавшуюся тут же домашнюю жизнь.

А Михай, томясь под овчиной, откликался на всё. И про себя твердил, не в силах унять нарастающее раздражение, что пусть этот Трифон замолчит.

За ужином, собирая на стол, мама жаловалась, что Трифон кусается, а отец смеялся и, наполнив глиняную кружку с отбитой ручкой багряно-прозрачной струёй из кувшина, говорил, что родившийся на Трифона-Зарезана будет знатным виноградарем. Мать говорила, у меньшого уже вылезли и верхние резцы, и нижних — четыре, и что у Мицэ в девять месяцев только прорезывались нижние зубки. Отец, выпив, добавлял: если у младшего уже полон рот зубов, то будет знатным едоком.

Мама, хотя как бы и жаловалась, но не скрывала радости, как и отец, и Михай принимался усердно жевать дымящийся кусок мамалыги, словно доказывая себе самому, что он едок ничуть не худший.

Если песня отца прекращалась, а мама среди бесконечных хлопот по готовке и хозяйству оказывалась рядом, отец, словно выныривая из речной глубины, восклицал с весельем и силой:

— Смотри, Иляна, наш Мицэ стоит, как вылитый Константин-император! А как же иначе подобает сыну самой прекрасной царицы Иляны?

Это была его любимая шутка, означавшая, что он особенно доволен проделанным трудом. Мама всегда, словно застигнутая врасплох, краснела от смущения, а в груди Михая рождалось горячее ощущение чего-то радостного.

Так вышло и в тот раз, когда что-то бесповоротно изменилось для маленького Мицэ. Он, как и прежде, во всё лето и во всю уже осень томился в тоске и страдании, и ещё в животе сводило от голода. На заре он помогал отцу чистить от снега тропинки во дворе, чтобы мама могла пройти в хлев и к сараю, покормить живность.

Снег выпал ночью, невесомо-лёгкий, и весело было догонять Даринку и валять её в белом пуху, пока она не принималась звать папу на помощь. А потом мама позвала Даринку качать зыбку, а отец принялся за работу. И вот уже в животе сводило от голода, но игла всё также ныряла и появлялась на свет, оставляя за собой след тугого стежка.

* * *

Отец, весь будто в жменю собравшийся, размеренно двигал пальцами, дошивал кожушок. Детский полушубок из мерлушковой* овчины был скроен по мерке Мицэ, но шился по господскому заказу.

Три дня, как появился на свет панский сын, долгожданный отпрыск знатного панского рода. Надо было закончить ещё накануне, но мастер Константин завозился. Осторожничал с нежной, непривычной ему мездрой мерлушки, и с самой работой, небывалой доселе в доме кожухаря. Виданное ли это дело: шить кожушок для новорождённого?!

Ясновельможную волю до хаты кожухаря донёс самолично панский управляющий Ока, за глаза именуемый на селе Пугой** — из-за арапника, который он всегда носил с собой.

* Мерлушка — шкура ягнят.

** Пуга (южн.) — кнут.

Вот и тогда, когда объявлял он чудную прихоть, с хрипом, будто угрозу вырыгивающим басом, зажатый в огромной его ладони кнут тыкался в грудь Константина, словно бы довершая непреложность сказанного. Но куда уж непреложнее! Слова, будто горы, зажатые морщинистыми, неподъёмными складками. То же и веки, что выдавливали из-под низко нависшего лба и косматой папахи мрачно-свирепый взгляд, от которого, как и от каменного голоса огромного и страшного управляющего, Михэцэ делалось жутко.

Но когда этот каменный взгляд останавливался на маме, что-то другое, вытеснявшее страх, поднималось в груди Михая. Его охватывало неодолимое желание вырвать плётку из ручки страшного Оки, чтобы она не тыкалась в папину грудь, и хлестнуть по страшным глазам, чтобы те никогда, никогда не глядели так больше на маму. Но попробуй вырви плётку из камня!..

Сговорились наутро встретиться у чабана Иона и выбрать шкурки для панского заказа. Ион смотрел за панской кошарой и был нанашулом Константина и Иляны, крёстным отцом их детей Михая, Дарины и Трифона.

Но когда ещё затемно мастер Константин, захватив с собой сынишку, направился к нанашулу, дома они его уже не застали, а Галюца, маленькая дочка нанашула, оставленная на хозяйстве, прощebetала, что все побегли на кошару, и там что-то случилось.

Пока добрались до панской кошары, уже посветлело. Кум был там, также и управляющий, и собрался весь двор и чуть ли не полсела. Народ толпился за кошарой, то и дело гомоном отзываясь на сбивчивый, скороговоркой выдаваемый рассказ Нади, жены Иона. Нанашка Константина, крёстная Мицэ, говорила без умолку, словно не в силах была удержать в себе переполнявшие её вести.

Ночью приходили волки и задрали овец и барана. И Барзу — собаку, оставленную охранять кошару. В центре полукруга понуро стоял крёстный Ион, бормоча оправдания, качая тяжёлой от выпитого накануне головой.

У постолов пастуха, на порыжевшем от крови снегу, валялись куски и клочья мяса и шерсти — всё, что осталось от барашка. Тут же уложили овец, которых только что вынесли из кошары. Туши, покрытые белоснежной шерстью, были целы. Их вытянутые, загнутые книзу, как у птиц, пепельно-бледные морды были печальны и казались уснувшими. Только красно-бурые дыры на месте вырванных глоток говорили о причинах беспробудного сна.

Обе ярочки и барашек были весенние, этого года, а взрослая овца была их мать. Надя, жена Иона, нанашка Константина и Иляны и крёстная их детей, всю ночь помогала на кухне в господском доме, где не прекращался пир по поводу появления на свет наследника панского рода.

Там же оказался и Ион. Принёс он под вечер шесть кругов брынзы для панского стола, а дворяня гуляла на щедрое господское угощение, и Ион с псарём Петрей, который доводился ему троюродным братом и кумом, выпил на двоих ведро доброго вина из бездонного панского погреба, а потом пили цуйку*, и ноги его уже домой не несли, и так он и заснул на лавке в кухонных сенях, укрытый женой своим тулупом.

Надя, не сумев на заре добудиться мужа, забежала домой проведать детей, покормить скотину и птицу, а после пошла на панскую кошару доить и нашла зарезанных волками овец. Они лежали на соломе посреди кошары, почти не тронутые. Остальные испуганно жались вдоль стенок и блеяли. И крови почти не было, будто всю её выцедили, не упуская ни капли.

Барашка, вернее то, что от него осталось, нашли снаружи, на дворе, между саманной стеной кошары и плетнём. Этого выволокли через вырытый лаз и рвали с остервенением, будто для страшной потехи. Волчьи следы вели в поле, за которым по склону начинался лес. Там всё было бело от выпавшего накануне снега.

Потеря Барзы больше всего сокрушала Иона. К пастуху она попала ещё слепым щенком из выводка господской овчарки Добры. Тщедушный вид

* Цуйка (нистрианск.) — самогон из винограда, плодов груши, сливы.

и *худой* окрас обрекали последыша в многочисленном выводке на быструю смерть в кадке с дождевой водой от неумолимой руки управляющего Оки, который лично смотрел за панской псарней. Родилась она альбиносом: вся белая, с рыжими до красноты острыми кончиками ушей и носа. Ока рычал и брызгал слюной: мол, не дело собаке, да ещё такой знатной, как Добра, — любимице пана, подаренной хозяину владельческим соседом и покровителем, графом Витгенштейном в память об особом расположении того к старому пану, пороситься в приплоде свинёнком. Хотя сама Добра к кормлению альбиноску допускала.

Ион выпросил свиношку, выхаживал её и даже покармливал первый год кашем — свежей, только настоявшейся брынзой.

И Барза, словно в благодарность за спасение и заботу, выросла в огромную собачину, верную спутницу чабана во время многодневных выходов с отарой на луговой выпас. Когда ей не исполнилось ещё и полугодя, шерсть её стала темнеть и к году совсем почернела, сделалась густой, словно шуба, надёжно защищая в лютый мороз. Только на хребте, груди и лапах, как память о поросычем младенчестве, остались белые пятна. И ещё сохранился огненно-рыжий ворс на концах ушей и остроносой морды.

За чёрно-белый окрас и морду, пламенеющую в лучах закатного солнца багряным отливом, собака и получила кличку Барза*.

Батюшка Паисий на кумэтрии — крестинах средней дочки чабана Галюцы — всё приговаривал: “Благословение Божье, Ион, твоей дочери Галине и всей твоей семье. Доброе у тебя вино! Краскэ ку умэрь**! Плечи от него делаются шире, а усы под носом — красными! Смотри, Ион, у твоей Барзы весь нос красный. Не пойшь ли ты её своим чермноусым вином?”

Ион был доволен, что батюшка хвалит его вино, что тому весело на дочкиных крестинах. “Отче, Барза у меня и брынзу ест! — смеялся он в ответ. — Вот свиначий её пяточок и превратился в зубастый клев черногузки***!”

Остроухая и остромордая, собака обладала острым умом и не менее острыми зубами, на выпасе и во время загона отары умело делая за Иона немалую долю чабанской работы. Однажды при подъёме на дальний луг, что за Змеиным ущельем, Барза в одиночку вступила в схватку с тремя волками, отбила у них овцу ещё до того, как Полкан, чабанский пёс, и следом сам Ион подоспели на помощь.

А нынче не уберёт... Вчера вечером, уходя на панский двор, Ион приказал Барзе сторожить кошару. Привязи Барза не знала, лучше иного человека она ведала свои обязанности и строго их исполняла.

Да Иону и в голову бы не пришло посадить собаку на цепь или привязь. У стены, возле дубового столба, что подпирал длинную стреху кошаровой крыши, Ион обустроил собаке место, загородку от ветра, выстеленную сеном. От дождя и снега защищал длинный скат крыши. Теперь только белый пух покрывал сено в закутке, прямо против того страшного места, где рыжий от впитавшейся крови снег весь утрамбовался следами возни и борьбы. Там, где Барза в смертельной схватке с волками встретила свой последний час.

* * *

Никакое событие, даже такое из ряда вон выходящее, как нападение волков, не терпело задержек в исполнении господской воли. Подгоняемые Окой, сани с кожухарём Константином и его нанашем Ионом и маленьким Мицей полетели по снегу к дому чабана.

Добротный дом чабана, с высокой приспой и резными цветками на вершинах дубовых колонн, с натопленной кухней, пахшей токаной и мамальгой, располагался на противоположном от панской кошары, южном краю Христофоровки.

* Аистиха (молд.).

** Краскэ ку умэрь (нистрианск.) — краска с плечами.

** Черногуз (укр.) — аист.

Пешком, да ещё по навалившему снегу, долго добираться до дома Иона, в обход огромного парка, окаймлявшего панскую усадьбу, подбиравшегося вплотную к лесу. Крестьянам запрещалось заходить в господский парк. Управляющий Ока сам следил за исполнением господской воли и нещадно карал провинившихся собственной плетью, слетённой в косицу искусной рукой мастера из воловых жил и длинных, в лапшу раскроенных лоскутов свиной кожи. Ока следил за неукоснительным соблюдением запрета, и потому на него запрет не распространялся.

Чабан занимался выделкой кож. И старшего сына приучал к тому, как правильно снять шкуру, как её выскоблить от жира и мяса, как готовить рапу, вымачивать овчину до того, чтоб мездра легко поддавалась ногтю, а после стирать в уксусном растворе, а после дубить на огне, и чтоб не дай Бог, раствор не остыл, жировать и сушить. Не всегда успевал подсказать отец Ионелу, где добавить соли в раствор или не переусердствовать, нажимая слишком острым лезвием ножа на вымоченную мездру.

Недовольно перебирал угрюмый Ока шкуры, сложенные в просторной горнице каса-маре. Были в запасе у Иона и мерлушки, которых искал управляющий. Но строг и привередлив был Ока, ничего не стоило у пастуха для той прихоти, которой возжаждала панская воля.

Пришлось вместе с Окой отправиться в Мокру, к Караджи, оборотистому скорняку, который норовил подсунуть плохой товар за хороший — шкуру с ломиной* или прелую, да ещё и содрать с одной толком невыделанной мездры три шкуры, взяв несообразную цену. Отец с Караджи старался дел не иметь. А тут деваться было некуда — поневоле, вернее, по воле всесильного пана, вершимой Окой.

Пропахший уксусом и нашатырём, чернявый скорняк извивался ужом вокруг управляющего и застывшего в молчании кожухаря, не умолкая, рассыпаясь в хвалах посланцу ясновельможного пана и собственному товару, подобного которому не сыскать, где ни ищи — от дунайских плавней до днепровских порогов, не то, что в Рашкове или в Дубоссарах, хоть в Аккермане, хоть в Умани.

Ока, свирепо вращая свои выпученные буркалы, гладил-вымеривал хищной корягой-рукой мерлушки курдючных ягнят, выбирая самые нежные по шерсти, да ещё из курдючных частей ягнят, что стоили против некурдючных втридорога. Денег на этот раз не жалел, не торговался. Видно, велик был гнёт панской воли, скреплённой появлением на свет долгожданного наследника рода.

Наказывал Ока отцу выкраивать только эти курдючные части и из них набирать и шить шубку. Уже на пороге своего дома Константин, робея, прижимая к груди охапку отобранных для работы, сосчитанных мерлушковых шкурок, спросил свирепого Оку: на кого кроить?

Славился в селе и в округе кожухарь своим мастерством. И старый, и малый, и в самой Христофоровке, и в Мокре, и дальше по сёлам, и в городе носили по холоду кожухи, полушубки и шубы, бондицы**, кэчулы и кушмы***, а по лету — опинчи****, или как их называли в Мокре, на украинский лад — постолы, а в Белочах по-русски — поршни. Как ни называй, а главное, чтоб сработано было ладно, с любовью и знанием дела. Мастерски.

Работал Константин и кожухи, но ни разу не шил для младенца. Поэтому и спросил свирепого Пугу: на кого кроить? Про господский заказ Константин уяснил, что он — для первенца молодого пана, долгожданного продолжателя ясновельможного панского рода.

Но как кроить на младенца? Вот что не давало покоя, пока он вместе с Пугой и купленными мерлушками ехал в саних по дороге из Мокры в Христофоровку.

* Ломины — трещины на изнаночной стороне шкуры — мездре, вызванные сильным натяжением или резким перегибом шкурки.

** Бонда (нистрианск.) — жилетка, безрукавка из овчины.

*** Кэчула (молд.) — головной убор из ягнячьей (смушковой) шерсти.

**** Постолы, опинчи (нистрианск.) — обувь из сыромятной свиной и телячьей кожи.

Тут и спросил, у порога. Ока набычился так, что его белки, навывкате, белые и маслянистые, как очищенное от скорлупы куриное яйцо, заволокло багровым туманом. Ткнув кнутом в появившегося на пороге Михая, прорычал:

— По нему крои. А пуговиц не шей.

Не успел Константин слово сказать, как рука управляющего взмахнула рукой, и кнут, просвистев, громко, как ружейный выстрел, разорвал воздух. Мицэ вздрогнул от неожиданности. Лошадь, испуганно вздрогнув, рванула с места и понесла сани с управляющим прочь.

Отец, сдвинув шапку на затылок, чесал лоб и неотрывно смотрел, как оседает взметённая снежная пыль. А потом произнёс:

— А пугу-то ему я сработал. Знатная пуга... Ни в селе, ни в округе ни у кого нет такой пуги. Не простой кнут, а *шарпа** — без кнутовища, сплошь сыромятная кожа... Полоски длинные, что конский волос, и во всю длину истончаются, до толщины волоса. Сколько ночей ушло, чтоб накроить ту лапшу. Десять пар постолов можно было сшить из той лапши. А знатно стреляет!..

* * *

Три дня и три ночи возился мастер Константин, набирая состав кожушка, чтобы кожаный испод серебристо-серой мерлушки, вывернутый наружу, стелился ровню, как снег за окном, но тёплым тоном топлёного молока. Поделится с женой господской загадкой, переданной свирепым Пугой. Успокоила мужа Ильяна: кумэтра** Надя помогала на кухне на господском дворе и сказала, что панская госпожа в последние дни сильно мучилась и родила раньше положенного срока и что младенца кладут в овчину и кутают. Так знахарки посоветовали. Но он всё время плачет, и пани сильно недовольна, и считает, что это из-за овчины, что она негодная, и потребовала новую, нежную и мягкую, как шёлк. Потому, видать, панский кожушок и должен быть без пуговиц, что младенца будут в него оборачивать, и должен быть на вырост, чтобы недоношенный скорее набирался сил и подрастал. “Таким же удальцом, как наш Мицэ”.

“Скажи мне, Илинка, можно ли шить из шёлка кожух?” — спросил жену Константин. А сам выдохнул облегчённо, с благодарностью и любовью глядя на жену, дивясь про себя мудрому спокойствию своей ненаглядной Ильяны. В который раз своим словом, будто в сказке, развеивала она сковавшие его чары тревоги и беспокойства, насылала в душу спасительное умиротворение.

Вчера Константин шил весь вечер, и Михайл стал засыпать стоя, как жеребёнок, под мамино “оф, оф...” из-за печки, где стояла лежанка, и отец отправил сынишку спать, и шил уже сам, при лучине, напевая еле слышно тоскливую “Миорицу”.

Закончить *господский* кожушок не успел, побоялся, что испортит в полутьме работу. Мездра на серебристо-серой мерлушке, оплаченной серебром, была насколько дорогой, настолько и нежной, скорой на порчу при каждом неосторожном движении.

Чуть свет труд был продолжен, и Михайл, едва пересиливая желание спать, занял своё место. Помогать отцу в этот раз было много легче. Невесомо лёгкий кожушок кроился и шился как раз по нему, и Мицэ представлял в полусне, как выходит на улицу в господском кожушке, который на самом деле и не панский вовсе, а его собственный, Михая Константина.

А тут Трифон заплакал, да так, что совсем зашёлся от крика, терпеть и слышать который не было мочи.

Но отцу плач Трифона ничуть не мешал. Он не скрывал радости от окончания работы и встретил появившуюся в дверях жену шуткой про Константина-императора и царицу Ильяну.

* Шарпе (молд.) — змея.

** Кумэтра (нистрианск.) — кума.

“Нашёл царицу!” — отвечала вбежавшая на плач младенца мама. Она суетливо раскутывалась от платка. Даринка уже держала ковш с водой наготове, чтобы помочь маме сполоснуть над корытом руки. Утирая ладони передником, мама успела обнять и прижать Даринку, приласкать её и поцеловать в маковку. Потом посмотрела на Михая, приласкала взглядом, словно ладонью, чёрные, как смоль, волосики сестрёнки.

Было видно, что ей, как и всегда, очень приятно слышать шутливое восклицание мужа. Хотя обычно мама на шутку отца отвечала причитанием. “Император наш — с ноготок, не разглядишь под царским твоим одеянием”, — вздыхала она. А тут вдруг заулыбалась и сказала, любуясь сыном:

— Ох, и знатно сидит на нашем Мицэ кожушок.

Повернувшись к зыбке, она распахнула бонду.

— А ведь панская одёжка сшита по мерке нашего сына, — с шутливой значительностью произнёс довольный отец, разминая затёкшую шею.

И вдруг, посерьёзнев, добавил:

— Для каждого у Боженки одёжка по ножке... Не зря поётся: “Оставяйся в своём гайдучестве, а я останусь в своём господарстве”.

Бережно, как сокровище, мама вынула Трифона из зыбки, а перед глазами Михая вдруг, как живая, увиденная наяву, развернулась вся песня про хитроумного Миу и великого Штефана, и вдруг почудилось, что не кто иной, как он, маленький Мицэ, оборачивается то затравленным зверем, то чабаном, то хитрецом, отстоявшим своё гайдучество перед грозным ликом властителя, повергавшего ниц народы и страны. И властный лик обернулся покрытым каменными складками лицом страшного Пуги, но только глядит он не свирепо-насупленно, а с мольбой, из глубокой, чёрной волчьей ямы, в которую свергнул его не кто иной, как храбрец Михэицэ. И тут Трифон затих. Мама вынула ему из ворота рубахи грудь. Она была, как топленое молоко, застывшее пенкой у горловины вынутого из печи горшка, как залитый утренним солнцем первый снег, на который больно смотреть. Мицэ закрыл глаза, но успел заметить коричневую, как мёд деда Михая, каплю соска.

Отец принялся шить и с тем особым чувством, с каким довершал важную работу, запел. Это была “Илинкуца” — песня о черноокой девушке, взятую в полон и обретшей свободу от пут и турок на дне Днестра.

Так у отца всегда выходило: когда кроил, пел про доблесть воинов Йована Йоргована, Романа и сына его Копилаша, про Грую, Новака и дикую деву-богатыршу, про удадь бесстрашного Кодри, бесшабашного Кодряна и хитроумного Миу, про подвиги героев и дела господарей давнего времени, с похвалой хорошим и осуждением злым и лютым.

А как наступало время шить, заводил отец “Миорицу” или “Мастера Маноле” — песню, под которую мама всегда утирала слёзы.

Сейчас он запел любимую мамину “Илинкуцу”.

Что произошло? У Михая внутри всё замерло в готовности внимать и внимать строкам, закачавшимся, будто лодочки на днестровской волне. И ещё — в предвкушении. Вот неведомая влага волнами начнёт орошать душу, исполняя её, подобно бездонному водоносу, без меры, слово за словом, и каждое найдёт там место, и ни одно не потеряется, не выплеснется за край. Удивление сверх меры прежде всего исполнило Михая: от того, что так ясно, стезок к стезку, он всё это вдруг разом и заранее узрел.

Защемило и заныло в груди, защипало глаза, будто в них попала рапа*. Но почему так сладко стало от этой солёной на вкус ноющей боли?

Захотелось вдруг крикнуть маме, поделиться во что бы то ни стало тем, что его исполняло, и как он перестал замечать своё стояние и границу между “долго” и “бесконечно долго”, как будто само время замерло, став с ним в круг. Но это желание обожгло позже, когда песня закончилась, а пока мальчик заворожённо следил за тем, как строка за строкой, куплет за куплетом смётывалась стезжками судьба Илинкуцы в его вдруг очнувшимся сердце.

* Рапа — солевой раствор. При дублинии овчина вымачивается в рапе после того, как её выскабливают от жира и мяса. Также рапа используется для приготовления овечьего сыра — брынзы.

Неясной и сладкой истомой мечты, как сжатые в жменю ладони — струей родника, полнили грудь, текли прозрачные струи, играя золотом лучей, багряно-закатными бликами, без остатка вбирая и туманные мысли, и душу маленького Мицэ в неударимый мглисто-зелёный поток.

Плывёт по реке басурманский каик, на нём велик шатёр, снаружи весь разубранный по-царски, в зелёное платно да узоры знатны. Но внутри шатра пусто, как в утробе голодного волка. Алчет нутро нежной девичьей плоти, рыщут турки, словно волки, по берегу Днестра, ищут черноокою красавицу-Илинкуцу.

Надёжно схоронила мать свою дочку: выкопала мотыгой яму в огороде под мятой, накрыла овчиной, засыпала чёрной землёй. Точно в могиле Илинкуца: лежи смиренно, дыши через тростинку. А турки уже тут как тут, кричат, стучат в ворота, требуют черноокою добычу. Мать всплёскивает натруженными руками, ведёт басурман к Илинкиной могилке, оплакивает умершую дочь: под окном её могилка, там, где мята под окном, чтобы ветер от полудня веял мятой прямо в дом!

Безутешно горе матери; дрогнули, окропились выступившей росой каменные сердца басурман. Старший среди турок, страшный на вид, с рассечённым напополам лицом, с одним глазом — настоящий *делли*! — прячет ятаган в ножны, просит дать испить. Мать спешит угодить незваным гостям, не помнит себя от радости, боится радость свою показать. Не пьют турки вина, пьют воду. Вкусна вода. Илинка от родника с утра бадеечку принесла. Свиристый дели зыркает по хате страшным глазом, вопрошает: “Где твой Шандру?” Мать отвечала, как на духу, что, мол, в город Брашов отправился муж, купить платок для дочурки Илинки. Боли материнского сердца достало раз на обман, а тут подвела простота бесхитростной правды. И ведь и вправду, делеял отец свою ненаглядную Илинкуцу так, что и матери иной раз становилось завидно, и звал дочь не иначе, как светом очей своих.

Кровью налился страшный глаз басурмана, побагровел страшный рубец поперёк волчьего его лица. Рассвирители турки, привязали мать к припечным балясинам, стали пытать, жёстко били перевитыми плетью, стали резать ей груди кривыми саблями, посыпать солью. Белая соль становилась красной, а потом рыжей. Истекала мать криком и кровью, не выдавала, где пряталась её ненаглядная дочь. Веяло в окно дурманящим запахом мяты от куста, под которым надёжно схоронилась Илинка.

Словно мёртвая, не шевелилась, лежала та под овчиной, присыпанной чёрной землёй, дышала через тростинку. Всё громче и громче становились на вой похожие крики палачей, переплетаясь с криком, стоном и воем обезумевшей от пыток матери. Сочился этот крик вместе с воздухом по камышовой тростиночке, плетёною плетью стегал сердечко Илинки.

Не выдержала она, выбралась из могилки, кинулась к матери, да не сразу признала её, изувеченную басурманами. А турки с гиком и воем Илинку накрепко путами вязали, да каик с драгоценной добычей в шатре к самой середке реки направляли.

Дважды обмануть турок матери не достало, Илинкуце пристало. Илинка плачет, что пути тути, что руки и лицо черны от земли. Сулит туркам нежность и ласку, пусть только ослабят верёвки, дадут юнице заплести черны косицы, умыться речной водицей. Развязали хищники Илинкуцу, а та говорит: чем быть рабыней в басурманах, чем служить прихотям поганых, лучше кормить рыб и раков, пусть пируют девичьей плотью жители в подводных странах.

Да тихонько пошла Илинка на дно, да и турок с собой увела заодно. Лишь один не утоп, тот, что в хате стоял и руки на Илинкину мать не поднял, а в шатре деве в чёрные очи глядел и ни слова сказать басурман не умел, а как выплыл, вернулся на берег, как тать, и родным Илинкуцы сумел рассказать, что и турок, и их черноокою дочь прибрала в свою бездну днестровская ночь. От того, что звали девушку, как маму, ещё острее щемило внутри. И ещё от того, что себя, обряженного в шкуры, Константин представлял тем самым, плывущим по реке страшным шатром, который вместе с Илинкой и схватившими её басурманами отправился на корм рыбам и ракам.

Когда мама, покормив утомившегося Трифона, прятала грудь под рубаху, искусанный младшим братом сосок был красен, как кровь на снегу возле панской кошары.

* * *

— Отнесёшь отцу, скажешь: от нанашула подарок.

Крёстный снял с уложенных стопкой овечьих шкур верхнюю, с густой шерстью.

— Хорошо, дядя Ион, — с готовностью кивнул Михай.

Шкура была с одной из тех овец, что задрали волки. Шерсть уже не выглядела такой белоснежной, как тогда, на пропитанном кровью снегу: стала светло-коричневой, даже сероватой. Совсем не тяжёлую, мягкую, мальчик взял её в охапку и бережно прижал к груди.

— На что эту шкуру Константину даёшь? — раздался из кухонного придела голос тётки Нади. Недовольство звучало в её голосе. Они между собой говорили совсем не так, как отец с мамой. Тётя Надя как бы всегда ругала дядю Иона, а тот как бы всегда оправдывался. Мама никогда не говорила с отцом так, как крёстная с крёстным.

Крёстная и дядя Ион были добрые. Как только Михай ступил на порог, тётя тут же заставила его съесть кусок ароматной плацинды с луком, яйцом и укропом, дала запить глиняную кружку молока. Да его и заставлять не надо было. Пока добирался до дома крёстного по глубокому, навалившему за ночь снегу, надыхался морозным воздухом, весь запыхался. А тут на подходе к дому дяди Иона так вкусно запахло тётки Надиной выпечкой, что заурчало-заворчалось в животе, будто оживился прикорнувший там шаловливый щенок.

Дядя Ион махнул рукой в сторону кухни, откуда доносился голос крёстной.

— Кум найдёт, на что, — откликнулся он и, заговорщицки подмигнув Михаю и подкрутив длинный ус, добавил:

— Не пропадать же добру...

— Это добро волчьей слюной порчено... Было добром, да не добром обернулось...

— Глупости говоришь, Надя... — не сдавался крёстный, не оставляя свой ус. — Овца она и есть овца. Разве может добро стать не добром?

— А ты послушай, что баба Параскева говорит. Негоже волком порченную шкуру в хозяйство пускать. А тем более — на одежду...

— Будет тебе, Надя... Константин не глупее нас с тобой и бабки Параскевы. Любит она сказки баять.

Тётя Надя появилась в проёме между кухней и припечным пространством комнаты, где лежали навалом и в стопках шкуры, а две сохли, растянутые на стоявших у стены рогатках.

— Сказки?.. — строго и с осуждением переспросила она. Дядя Ион враз подобрался и оставил ус, в тот же миг потеряв игривую на лице усмешку.

— А когда жена Пуги, твоя кума, напугала маленького Ионела, и он исходил по ночам криком, кто снял сглаз с нашего Ионела? Не ты ли бабке Параскеве с поклоном отвозил ягнятину, и брынзу, и яйца, не она ли не взяла ничего и молвила, что сами, мол, ешьте, набирайтесь сил и деток кормите лучше?

— Она и твоя кума... — только ответил Ион, шумно выдохнув. — Тут вот жизнь такое преподнесёт, что ни в какой сказке не услышишь. У меня, Надя, всё Барза не выходит из головы...

— У тебя лучше бы не выходило из головы, как хлеб починить, а то прореха в полевины, а всё никак хозяин не заделает. А ему всё собака его из головы не выходит...

— Да погоди ты, Надя... Я, вишь, место её смотрел. Кровь там, под сеном, на досках...

— Ну, так и ясное дело, что кровь, против волков-то...

— Да погоди ты... Кровь-то не та... Течка у неё началась. А я и посмотрел. В хлев надо было её, под замок, а я, вишь, на дворе оставил.

— Так чего уж теперь, коли всё одно бедняжка отмучилась... Волки-то всё одно задрали...

— Так вот ведь дело-то какое. Задрали... Останков каких, вишь, нет как нет... Вот я и думаю... Может, она...

— Что ж она, с волками, что ль, сбёгла? Думает он! Так ведь это ты, Ион, сказочник!.. Тебе не овец стричь, а дитям байки сказывать. Вон Михэичэ уши развесил, аж глазёны горят.

— Эх, Надя... Оставить мальчика-то... Ладно, Михай, пора тебе в путь. А то совсем тут взопреешь...

Дядя Ион поднялся с лавки с готовностью проводить крестника за порог.

— Овчину домой отнеси, а отцу скажи, что домнул Христофор* выехал с паном и с гостями господскими на охоту. А как у них там пойдёт? К полудню пусть справится на псарне. А всего лучше — ко мне пусть идёт. Будем с Ионелом на панской кошаре...

* * *

Затем, чтобы узнать, где сейчас домнул Христофор, собственно, и послал сына Константин к своему нанашу. На сегодня был уговор с управляющим по поводу панского козушка. Корпел Константин, три ночи не спал, чтобы успеть к сроку, не подвести с барским заказом.

А тут оказалось, что пан со своими гостями и собачьими сворами на охоте. И с ними — Пуга. Устраивали облаву на волков, посмевших разорить господскую отару.

Управляющий Христофор Ока ведал, помимо всего необъятного панского хозяйства, и панским псарным двором, вернее, двумя псарнями: меньшей, для пастушьих собак, сопровождавших многочисленные панские отары. Вторая — плод неустанной заботы дворовой челяди, где в холе содержались борзые и гончие для устройства излюбленной панской потехи и страсти — псовой охоты.

За лето и осень псарный двор значительно расширился. Для приобретённых паном прошлой осенью щенков гончих — трёх сучек и трёх кобельков — псарню расширили, выведя постройку с собственным хлевом. На Пасху барину подарили годовалых борзых, что позволило отделить вторую свору, для которой пан распорядился построить отдельный хлев.

Пан, отныне обладатель собственной стаи гончих и целых двух свор борзых, едва дождавшись первых заморозков, выезжал несколько раз за охотничьим счастьем. Полежал немного вдруг выпавший рано снег, а потом сошёл. В побуревших от холодов и дождей полях, на оголившихся опушках гончие зорко высматривали белеющих на зиму зайцев, один раз выгнали из осинника лису, но это всё было забавой, едва тешившей сердце барина, а вовсе не стоящим делом, от которого дух захватывает и забываешь обо всём, забываешь себя.

И вот — благословенье судьбы! — такой повод явить перед гостями, перед самим сиятельным графом, почтившим со своей молодой женой усадьбу пана визитом по случаю рождения наследника, новую совершенно езду! Не как прежде — *в одну свору*, из одних лишь борзых, а стаей и двумя сворами выйти на настоящую добычу — стаю волков, матёрых серых хищников. Вот когда без лишнего слов убедятся соседи, что не зря панский род связан кровным родством с самими Любомирскими. Не иначе, над Станиславом, наследником рода, восходящего к вишневецким корням, взошла счастливая звезда!

И пусть пани Анна изводит себя и окружающих, и прежде всего — своего супруга неизбежной тревогой и беспокойством по поводу здоровья новорождённого. Напрасное переживание! Шляхетская кровь не ждёт

* Домнул (молд.) — господин.

благоприятного случая, а берёт сама то, что ей принадлежит по праву! Ибо так наречён Станислав, сиречь тот, кому уготовано добывать себе и своему роду немеркнущую славу, сжимая сталь в воинской длани.

И ведь совпало, что и съехались гости, и сиятельный граф с молодой супругой (исполненной непревзойдённо изящных манер и очаровательного кокетства), и волки, и первый снег, и именно он, ясновельможный отец новорождённого наследника, первым в округе открывает езду по белой тропе.

В ведении хозяйства и быта поместья Христофор Ока был карающей панской десницей. Так же выстроилось и на охоте. Капризно-изменчивая панская воля не могла обойтись без лютого кнута своего управляющего. В качестве ловчего тот забирал бразды правления охотой в свои каменнотяжкие, но скорые на расправу длани: намертво удерживал и узду всей езды, и арапник; уверенно сидя в седле в своём тёмном кафтане борзятника, неотвратно вёл барскую свору борзых на добычу.

Самолично следил Ока за ростом гончих щенков. Барин всё лето выказывал нетерпение, настаивал на начале нагонки. Пуга медлил, как мог, умерял панский пыл, понимая, что рано ещё начинать натаскивать неокрепший выводок, что дожждаться надо хотя бы октябрьских, когда им исполнится год. И потому больше натаскивал псарей, чтобы знали дело, чтоб на псарном дворе и в хлевах, и в чулане, и в домике ловчего каждый угол сиял чистотой и порядком.

Когда барским гончим исполнился год, вдруг выпал снег. Негоже нагонку начинать по снегу. Следовало дожждаться, пока ранний снег сойдёт, чтоб натаскивать гончих по чёрной тропе.

Но пан был неумолим. Не смея нарушить до гнева охочую панскую волю, взялись за нагонку щенков по снегу. Через несколько дней снег действительно растаял.

Барин наконец-то вывел стаю молодых гончих на первое поле, причём по чёрной тропе. Собаки уверенно взяли зайца. Барин первым полем остался очень доволен.

Пуга в душе не разделял панской радости. Не зря говорят: нельзя о собаке судить по первому полю. Много ли требуется ума высмотреть в чистом чёрном поле беляка, уже примерившего зимнюю шубку? Гончая должна полагаться не на глаз, а на чутьё, которое нагонкой, с самых азов и закладывается. А если нагонку начинать по белой тропе, когда запахи зверя укрыты под снег, откуда же гончей проведать, что полагаться следует не на глаз, а на нос?

Так и вышло нынче: облава на волков не задалась. А ведь делалось всё, как следовало. Только барин распорядился готовить выездку на заре, а всё уже подготовлено загодя — охотничья одежда и кафтаны для гостей, лошади взнузданы, к седлам старательно приторочена амуниция.

Накануне Пуга сам выезжал с псарями к лесу. Искали след. Нашли за лесом, на той стороне от села, на самом краю занесённого снегом оврага. Всего в двух часах езды вокруг, если с южной стороны. Это если скорым шагом, а рысью и того быстрее. Когтистые следы были матёрого зверя, явно указывавшие на укрытое в чаще волчье гнездо.

Видел, как вспыхнули чёрные зрачки барина, как только услышал он про след и про волчье логово. Читал Пуга по лицу своего барина, как в открытой книге, чуял: нынче же барин распорядится готовить выездку на заре. Не обмануло Пугу чутьё. Засидевшиеся в нескончаемом пиру, отяжелевшие и разгорячённые, мужчины с радостью поддержали предложение хозяина развеяться псовой охотой, затемно переоделись и вскочили в седла, предоставив своих жён чаю, беседам и прочим дамским развлечениям.

Поначалу выездка представлялась захватывающим, но исполненным сплошной приятности развлечением, с ездой до ближнего леса, с лёгкой добычей вблизи поместья. Охота складывалась удачно. Всмотренные накануне следы явно указывали на то, что волчье логово расположено в ближнем к Христофоровке лесу, обширно вытянувшимся в форме яйца, основанием повернутого в сторону села, а остриём упиравшегося в пустынное пространство.

Редкий, иссечённый балочками перелесок тянулся вдоль глубокого оврага, а после, верстах в трёх, переходил в пологую, заросшую ельником сопку.

Ока вершил ход выездки, во всём для проформы согласовывая действия с паном. Обложили лес со всех сторон. Сам Ока со сворой борзых стал на обратном краю леса, под прикрытием взгорка, от которого начинался глубокий овраг. Именно тут, у оврага, накануне обнаружили волчий выход.

Чуял Пуга звериным своим нутром, ни разу его не подведившим, что именно здесь должны будут появиться волки. Тяжёлая рука его накрепко удерживала на ремнях нетерпеливую свору борзых, всё панских любимцев: Репрева, Перуна, Аврору, Кару. Чуть в стороне от своры — собственной ясновельможной персоной находился и пан, похлопывал и поглаживал по шее свою кобылу Виору, словно бы её утомонивая. Но на самом-то деле ловчий Ока прекрасно знал повадки хозяина, который сейчас вот тщетно старался не выдать захлёстывающий его восторг, подступавший от предвкушения предстоящего галопу и зверя, которого пан непременно постарается принять от собак первым.

Уж на что непомерно пилося в усадьбе, и сколько опустошено бутылок, извлечённых из панского погреба, а только пан оказался в седле, так будто и протрезвел, весь собрался, сосредоточился и немало взбодрил и настроил на серьёзный лад своих поначалу не в меру шумливых и безалаберных сотоварищей. Тут же, вместе с паном — его лучший друг и соратник по кутежам, ольгопольский сахарозаводчик Белина-Бржозовский, а также помещик Антонович, пожаловавший на грядущие крестины новорождённого аж из Парадизиопольского уезда, с супругой и тремя дочерьми, две старшие из которых были на выданье, а также с целым возом даров его обильного парканского хозяйства, включавшего не только маслобойню и сыродельню, но даже плоды возделываемого в поместном саду собственного шелкопрядения.

Остальные гости были распределены вокруг леса, приставленные к соответствующим борзятникам, исключая Выбодовского, отставного офицера, воевавшего под началом самого каменского владетеля, сиятельного Витгенштейна (нескончаемыми устными свидетельствами сего героического факта гости уже были немало за прошедшие дни утомлены), а ныне помещика из Белочей, который вызвался сопровождать выжлятников в лес. По сему поводу и в поощрение героического порыва господина Выбодовского пан наделил его почётным званием доезжачего, к вящей гордости титулованного. Впрочем, всю действительную работу старшего гончей стаи и над доезжачими должен был исполнить псарь Петря, в семь согнанных шкур собственноручно вымуштрованный Пугой. Миссия же белочинского владельца призвана была ознаменоваться лишь тем, что он, заслышав звук ловчего рога, должен подать ответный сигнал из торжественно вручённого ему рожка. По этому звуку стаю гончих и должны были запустить в лес.

Окантованный серебряной насечкой полумесяц ловчего рога находился в полновластном владении Оки. Наконец, расставив всех по пути, добрались они до своего места: под балочкой, на опушке, там, где начинался отвесный край глубокого оврага, уходивший к правому краю погружённой в серую мглу сопке.

Вид земли, оголившейся тёмно-бурыми проплешинами, исчертившейся облогами и буграми балок, будил в ловчем тревожные мысли. Ветер, не утихавший всю ночь, не оставил следа от волчьих следов, продул перелесок, точно мглой, сметая с него весь снег в овраг. Не к месту эта тревога за самый миг до того, как протрубит ловчий рог. Гнать её в шею, эту тревогу! Трубить! Ну, что там, барин, ясновельможный отче?

“Ту-то-о-о!.. Ту-то-о-о!.. Ту-то-о-о!..” По нетерпеливому кивку пана протяжный позыв огласил мертвящую тишину морозного серого утра, словно огрел лесную чащу триединым ударом неотвратимого бича.

Белочинский помещик не сплеховал. Добрался с той стороны звук рожка доезжачего, и следом покатила на них, разом выдавив из леса тишину, нарастающая, шумная волна криков, гиканья и улюлюканья.

Это приближающееся нарастание передалось лошадям и собакам. Ремни натянулись и заходили в руке Ока, как готовые вот-вот лопнуть струны, заходила под ним, замотала мордой, заставив натянуть поводья, Стелуца*. Норовиста была кобыла, но не пуглива перед зверем. А тут вдруг шарахнулась, всем крупом, неодолимо, с такой животной силой, что Ока едва удержался в седле, во многом из-за того, что удерживал на натянутых ремнях борзых.

Что-то серое, большое мелькнуло из-за спины. Волк, огромный, с густой, тёмно-пепельной с грязно-чёрными, смоляными подпалинами шерстью выскочил из бурелома прямо на охотников. Пока усмирили обеспамятовавших лошадей, пока Ока разжал, наконец, каменную свою длань, спуская бившуюся на ремнях свору, зверь уже успел отбежать по перелеску. Серая тень стлалась вдоль оврага, в свинцовой дымке, почти неразличимая на фоне выметенной ветром от снега пустоши. Пан, щёлкнув плетью, первым бросил свою Виору следом за борзыми, за ним устремились остальные.

Репрев, стремительный, как стрела, нагнал зверя первым и, несмотря на то, что волк был почти вдвое его крупнее, бесстрашно пошёл на сближение. А зверь словно замедлился, расчётливо подпустив пса, и вдруг, резко развернувшись, мотнул страшно оскаленной пастью с задранными, как носок турецкой туфли, носом. Словно бритвой, хлестнули клыки по вытянутой в струнку шее Репрева. Хриплый визг брызнул из раны, заклокотал кровавой слюной, и борзая, кувыркнувшись, покатила по мёрзлым кочкам, сбиваясь в бурый ком. Пан, несшийся галопом впереди, обернулся. Скакавшие следом Ока, и Антонович, и Белина-Бржозовский увидели застывшую на лице его жуткую гримасу, сведённую судорогой ярости и боли.

Борзые меж тем настигли добычу. Кара, Перун и Аврора приблизились к волку почти одновременно, с левой стороны и сзади, взяв его в полуклещи. Зверь жался к кромке занесённого снегом оврага, тем самым как бы защищая себя с правой стороны. Кара метнулась наискосок, атакуя зверя в задние лапы. Но волк, словно выждав момент броска, вильнул, и собака, промахнувшись, вылетела в овраг, утонув в снежном море.

Нечленораздельный крик, больше похожий на рыканье, исторг пан, нещадно нахлёстывавший арапником и без того летящую во весь опор Виору. В этот миг Перун, стрелой выбросившись вперёд, вонзил клыки в волчье подбрюшье с левой стороны. Зверь тут же скрутился калачом, вцепившись борзой в переднюю лапу. Наскочившая Аврора, умная и надёжная борзая с мощными лапами и грудной клеткой, и пастью, крепкой, как железный капкан, слёту вцепилась в волчий загривок. Удар её тела был настолько силен, что борзые и волк, сбившись в насмерть сцепившийся, остервенело хрипящий, визжащий и брызжащий розовой пеной ком, покатались влево, в снежный намёт. Чёрно-смоляная, серая, пепельно-бурая, тут же ржавеющая круговерть взметнула белую взвесь и вдруг канула. Провалилась, будто в темноводный омут проруби, вдруг разверзшейся посреди, казалось, накрепко сковавшего реку льда.

— Стойте, пан!.. Стойте!.. — не помня себя, заходясь от крика, исторг Ока. — Там овраг! Убьётесь! Стойте!..

Словно выстрел кнута, огрел пустошь истошный вопль управляющего. На самом краю снежной замети осаждаемая ездоком Виора взметнулась на дыбы. Казалось, она вот-вот обрушится на спину и раздавит наездника в гневе за то, что вот только тот безжалостно стегал её бока, ведавшие лишь нежную холу, заставляя лететь вскачь, и вдруг сам же оборвал полёт. Но пан, искусный лошадиник, словно прирос к лошади, намертво обלאив её стройную шею, и ловко повёл поводьями в сторону, увлекая и усмиряя неистовую и прекрасную животную ярость.

Не успели охотники приблизиться к пану, неистово гарцевавшему у заснеженной кромки оврага, как эхо оглушительного хлопка донеслось со стороны леса. Как будто кто-то сильный в гневе и ярости разорвал резко холстину.

* Стелуца (молд.) — звёздочка.

— Выстрел?! — вдруг замерев вместе с лошадью, воскликнул пан. И следом, обращаясь к Оке, прокричал с тем господским нетерпением, которое требует незамедлительного ответа:

— Христофор, кто стрелял?! Почему стреляли?!..

* * *

Поначалу Михэицэ нёс овчину в охалку, прижав к груди, но руки быстро устали, и он накинул её на плечи и голову. Сразу стало и легче, и теплее. Ветер, тянувший со стороны дальнего леса, гнал по полю позёмку, пробирая до косточек. Пока мальчик шёл к крёстному, совсем замёрз, хотя и кутался, прятал уши под кушму и шею в воротник коужуха. А теперь дуло в спину, да ещё защищала шкура. Папа сказал бы: “Как у Христа за пазухой!” Всегда так говорил, когда заказчик одевал пошитый тулуп, или коужух, или бонду. Сытость от тёти Надиных обжигающих плацинд и парного молока растекалась по телу сонным теплом, и Михай оцүтил себя под шкурой так уютно, будто пребывал он в каком-то волшебном шатре, исполненном сладкого забытья.

По господскому парку селянам ходить запрещалось, и попасть на панский двор разрешалось только по липовой аллее. Но он дважды этот запрет нарушал, правда, с другими мальчишками, чьи родители трудились на панском дворе, да и то бегом, по самому краешку пересекли рощу высаженных ещё прадедом пана дубов, выходящую в поле.

Неодолимая нега и лень вязали каждый шаг, каждый взмах руки, и путь в обход панского парка, которым следовало идти, показался Михаю непомерно, нескончаемо длинным. К тому же дядя Ион вот сказал, что и пан, и все гости, и главное — страшный Ока со своим лютым кнутом сейчас на охоте. Вот и сошлось в голове маленького Михэицэ, что можно срезать путь через дубраву, как сделали они летом с Матеем, Васькой и Дариной — бегом, так, что пятки мелькали, боясь обернуться от восторга и ужаса, что вот выскочит из-за неохватного ствола страшный Пуга и схватит, и выстрелит своим жутким кнутом.

Теперь-то Пуга был далеко, а Михэицэ был, и в самом деле, у Христа за пазухой.

В такой же сладкой неге засыпал он вчера на припечной лежанке, возле мамы и сестрёнки. Отец заканчивал работу над панским коужушком за печкой, при лучине.

Его голос тихо пел о Миорице, овечке, оплакивающей своего пастуха.

Ныли уставшие от стояния ноги, и спина, и шея, волнами отдавали свою усталость разливающимся в материнском тепле отдохновению. Это чувство ноющего после работы тела вдруг соединилось с щемящей жалостью, лившейся из отцовской песни, и окатило Михая таким тоскливым счастьем, что он зажмурился в темноте, пытаясь не выпустить слёз, забивших горячими родниками.

Мицэ и не заметил, как свернул к заметённым снежными сутробами дубам. Папина песня прорастала в нём из вчерашнего сна, разворачиваясь щемящим таинством счастья.

Чабаны возвращаются с горного пастбища вместе со своими отарами. Вдоволь напаслись овцы под зорким пастушьим оком на сочных лугах, отучнели предвозвестьем жирной и белой брынзы, лоснящимся руном. Не нарадуется чабан-молдаван: точно белые облака по изумрудно-зелёным склонам, спускается его отара, отары добрых его спутников-пастухов — унгуриянина и врынчанина. Не чует чабан злого умысла, но ведает про то вещь овечка его Миорица. Весел и полон надежд, прилёт молдаван, разметался на коужухе, следит в лазурном небе белые облака, представляет ту ненаглядную, что живёт в долине, ресницы её и косы, блестящие, как ночная смола, а вся она невесомо-белая, как овечки, плывущие над головой.

Застит свет лазурного пастбища чабану Миорица, шепчет тёплыми, словно материнские руки, губами в самое ухо, словно щиплет изумрудную траву.

Недоброе замыслили другие два пастуха, унгуриянин и врынчанин: сговорились убить молдавана, зарезать его, когда он заснёт.

Долго молчит чабан, всё так же лежит на пастушьем своём козле, следит облака, что плывут над самым склоном, задевая шумливые кроны высоких буков. Вот, кажется, протяни руку — и вырвешь клочок овечьей шерсти...

— Послушай меня, верная моя Миорица... — наконец обращается к овечке чабан. Внимает овечка каждому слову из наказов своего пастыря, а тот, пока говорит, провожает взглядом каждое облако в небе.

Просит её, истомлённую непомерной тяжестью вешего горя, чтоб поведала матери: не умер он, а женился.

Пусть убийцы похоронят его возле кошары, хочет быть он рядом со своей отарой, слышать лай своих собак.

Пусть унгуриянин и врынчанин положат у изголовья его могилы три его флуэра — костяной, из бука и из бузины. Ветер сыграет на них, собирая овец. Сойдутся они, вспомнят его и прольют свои слёзы.

Самый строгий наказ Миорице: сохранить убийство его в тайне.

Пусть скажет она: прижился, мол, у чужих, женился на всесветной невесте.

Небывалой была его свадьба. Лучезарно упала с неба звезда, луна и солнце держали её свадебным венцом. Чёрная гора венчала жениха и невесту, дружками были деревья, свадебной музыкой — птичий свист. Горели венчальные свечи-звёзды, до дна пили чаши-гнезда.

Но не каждому пусть поведаёт она о небывалой свадьбе. Коли встретит вдруг его горем гонимую, льющую слёзы, донимающую всех расспросами о сыне старушку-мать, пусть скажет ей Миорица только одно: женился он на всесветной царице у пределов рая. Но пусть умолчит об упавшей с неба на свадьбе лучистой звезде, о нанашулах солнце с луною, о венчавшей молодых горе, о дружках-деревьях.

Не сразу осознал Мицэ в своём укрытии, что неясный шум — не отголосок чудесной пастушеской свадьбы, что долетает он вместе с ветром со стороны серевшего за полем леса. Ещё раз на ходу развернувшись, глянул он из-под овчины в сторону леса и стал, как вкопанный.

Тёмная жирная точка неровными скачками двигалась по полю. Стремительно набухая чернотой и размерами, она бежала от леса в его сторону. “Волк!” — прошло догадкой, и волна горячего жара окатила мальчика с головы до постолов, старательно увязанных матерью поверх шерстяных носков. Следом, откуда-то из самого сердца и живота, выступил ледяной пот, сковав всё его тело. Но тут хватка незримой, но неодолимой гигантской пасты страха, сжавшей всё его тельце, разом ослабла, точно нехотя выплюнув.

— Барза! Барза!.. — закричал он, захлёбываясь от небывало радостного облегчения, всё ещё не веря своим глазам.

Теперь, когда она подбежала совсем близко, стало ясно: это в самом деле она — овчарка дяди Иона, соучастница всевозможных игр и проделок, и попросту бесконечной, никогда не надоедавшей ни ей, ни ему возни с Михаицэ.

Собака вдруг словно споткнулась, вильнув задними лапами и хвостом. Следом оглушительный раскатистый грохот накрыл поле. На белое поле, словно пригоршня колокольчиков, высыпала стая собак. Растянувшись в ряд, захлёбываясь от лая, они бежали в сторону господского парка.

Барза была уже совсем близко, когда повернула вправо, мимо Михая, оставляя на белом снегу красные, тут же буревшие кляксы. Она сильно исхудала, шерсть свисала клочьями, но морда с огненно-рыжим носом была её — его любимицы Барзы! Её золотисто-коричневые глаза на миг встретились с его глазами. Что-то новое, неведомое прежде глянуло на него так, что будто ледяная рукавица сжала на миг сердце. И тут же отпустила. Взгляд был — её, исполненный ума и благородства. Она всё-таки его узнала. И даже успела что-то сказать.

На опушке появился всадник. Весь чёрный, на чёрном коне, он отчётливо выделялся на границе серого леса и белого поля. Он бросил поводья и, перехватив ружьё обеими руками, вскинул его к подбородку. И тут в голове

Мицэ огненно-рыжим пламенем вспыхнуло то, что сказала ему Барза. Одно только слово:

“Беги!”

Мицэ бежал по беснежной прогалине между полем и дубовой рощей. Заметённые стволы скакали и раскачивались впереди в заливающем солёным потом, застязем глаза тумане, словно перепившие вина плясали дикую пляску на излёте разгульной свадьбы.

Он уже проскочил выступившие к полю дубы, когда что-то ударило его возле шеи и швырнуло в высокий сугроб. Словно мать-волчица схватила и тряхнула непоседливого, заигравшегося щенка за загривок. Или лютый Пуга всё-таки выследил из укромной засады нарушителя строго запрета?

Нестерпимый грохот, сопроводивший толчок, оборвался вдруг оглушительной тишиной. Горячая, как мамин живот, к которому Мицэ прижимал под одеялом озябшие ноги, она облекала его, погружая в спасительный, до мучительной радости белый, всесветный свет.

(Продолжение следует)

СЕРГЕЙ АРУТЮНОВ



ПАРУСНИКИ ВДАЛИ

* * *

Неужели ж она единственна,
И другую не узнаём,
Эта... как её... в общем, истина,
Что не сыщется днём с огнём?

Та, на чей вопрос, что есть комната,
Или свечки за окном,
Я отвечу, что блики золота,
Синий паводок в золотом.

Позабудешь про буйство рации,
Если прежде тебя загнут
Васнецовскую статью Абрамцево
И поленовский там же пруд.

Эта вера ещё имперская,
От родительского угла,
От страны, что, никем не брезгуя,
До погоста доволокла.

Там и лечь, видно, всем до срока нам,
Чаркой горя друзей пьяня,
Окружёнными только золотом
Несгорающего огня.

АРУТЮНОВ Сергей Сергеевич родился в Красноярске в 1972 году. Поэт, публицист, руководитель семинара поэзии в Литературном институте им. А. М. Горького, автор нескольких поэтических сборников. Живёт в Москве.

ЖАВОРОНОК

Дядька-слесарь, что пеплом оброс,
Да мальчишка, в ком пела отвага,
Командир да француз-горбонос —
Вот и весь экипаж того танка.

С полигона машину угнав,
Заграждений сминая осоку,
Не боясь ни кнутов, ни облав,
Потянулись к родному востоку.

Им устраивали Рагнарёк,
Посылали которую роту.
Только тридцать четвертый конёк
Прорывался к далёкому фронту.

Всю-то жизнь то нарыв, то прорыв,
Русский путь и тернист, и колдобист,
На земле наказание отбыв,
Мы прорвёмся, не так ли, герр оберст?

На ту сторону выйдем к своим,
Серебрённые вещим знаменьем,
На ту сторону выйти сумеем,
Рядом с Господом, следом за Ним.

* * *

Когда, души моей не зная,
Притягивая, как магнит,
Над головою птичья стая
И кружится, и гомонит,

Бужу я чувство, что зачало,
И, как пристало королю,
Приветствую весны начало
И улыбнуться норовлю.

* * *

Буркнут — мистика, фыркнут — глупости,
И пойдут от меня гурьбой
Пассажиры, которым кур пасти
Обязательно по кривой.

Только если и есть в безмолвии
Хоть намёк на открытье рта,
Что мне с полночами и с полднями
Изнурённая чехарда?

Кто вы мне, пугачёвцы, разинцы,
Коль, от смерти не отстраним,
Я давно уж не вижу разницы
Между светом одним с другим?

Предъявите же мне инсигнии,
Междустенны, как сволота,
Двери узкие, двери синие,
Что распахиваются туда,

Где и эхо звучит стократнее
Крика малого, как ни дли...
Ни печали, ни вздыхания.
Только парусники вдали.

СВЕТЛАНА РЫБАКОВА



РЕКА ВРЕМЕНИ

ПОВЕСТЬ

Глава 1. “Не бойсь...”

Экран телефона высветил номер племянницы Кати из Саратовской области, тихо свистнул и погас. Дальние родственники привыкли, что Марина сама перезванивала. У неё и тариф хороший, да и зарплата у москвичей побольше. Она набрала далёкий номер, послышался взволнованный голос:

— Тётя Марина, помолитесь обо мне. У нас несчастье! — Трубка заплакала.

— Что случилось?.. Катя!

— У меня пятый месяц беременности, а врачи нашли у ребёнка патологию и требуют сделать аборт. В общем, ёлки-палки, роды собрались вызывать, преждевременные. Как это можно?! Он живой, прыгает уже... Я его люблю, а они хотят, чтобы я его убила, — всхлипывала племянница. — Как я после этого буду жить? И вообще, родятся ли у меня тогда дети?

Марина обмерла. В памяти замелькали картинки: маленький гробик на колёнях... Ямочки на щеках Катюши... Свадьба... Красивые молодые...

РЫБАКОВА Светлана Николаевна родилась в Саратове. В 2003 году окончила Литературный институт им. М. Горького (семинар М. П. Лобанова). Автор сборников рассказов “Круг жизни” (2004) и “Живут такие люди” (2016). В соавторстве с Мариной Анашкевич были написаны книги, посвящённые святыням нашей столицы: “Самые знаменитые храмы Москвы” (2007) и “Москва Златоглавая” (2008). Публицистические статьи печатались в журналах “Наш современник”, “Москва”, “Русский дом”, “Московский журнал”, “Держава” и многих других. Лауреат IV Славянского литературного форума “Золотой Витязь”. Работает библиотекарем в Синодальной библиотеке Русской Православной Церкви имени Святейшего Патриарха Алексия II. Член Союза писателей России.

Подумала: “Почему у нас на застольях кричат: “Горько?” А вслух спросила:

— А муж как?

— Саша — молодец. Во всём меня поддерживает. Врачи консилиум собрали, а мы с ними сражались за своего ребёнка... Тётя Марина, они такие гадости о мальчике говорили, а ведь он ещё не родился... — Катя снова заплакала.

Марина подумала, как всё это безумно и жестоко. Саша с Катей, сами ещё дети, им же чуть за двадцать. Люди не думают, что их зло против них самих и обернётся. Как они потом встанут перед Богом и что Он им скажет? Это здесь, на земле: верю — не верю, а там уже все верующие... и последствия.

— Не плачь, а то ребёнок нервный родится. Видишь, какой у тебя супруг хороший.

Марина опять вспомнила: родня судачила, что Катюша дома капризничает... Как все хорошенькие женщины.

— Муж познаётся в беде, — продолжила она. — У тебя есть повод радоваться — надёжный тыл.

— Помолитесь, пожалуйста, о нас всех... о моём мальчике, — умоляюще просила Катя.

— Безусловно, мы с мамой о тебе будем молиться, но ты и сама должна это делать, — озноб сердца у Марины уже прошёл. Она заговорила спокойно и размеренно. Откуда взялась уверенность — загадка природы. — Думаю, когда происходят несчастья — это Бог напоминает о Себе. Пойми, Он создал человека красивым и умным, а в придачу сотворил для него вселенную — от избытка любви. Размах такой у нашего Бога, понимаешь? А Ему в ответ надо совсем немного: чтобы мы Его тоже любили. Всё... Такая малость, сказать Ему: “Люблю Тебя, Господи, и благодарю за этот, так чудно созданный Тобой мир”. Мне кажется, что Бог сейчас хочет, чтобы ты о Нём вспомнила. Говорит: “Катя, посмотри, Я есмь. Иди ко Мне, расскажи о своих бедах”.

Молчавшая Катя тяжело вздохнула.

— Может, Он немного отошёл от Тебя, поэтому и началось... Бог не наказывает людей, так как не делает зла, а просто тихо удаляется, а мы без Него проваливаемся во тьму и ужас. Если Он и отошёл, то для того, чтобы ты обратилась к Нему. Пойди в храм на исповедь, причастись — стань с Ним Одной Крови, и твоя порушенная жизнь начнёт восстанавливаться. Мы грубы душой и без несчастий вспомнить о Нём не можем...

Теперь уже вздохнула Марина:

— Знаешь, я когда-то смотрела программу “Русский взгляд”, где рассказывали: бывает такое, врачи настаивают на аборте из-за патологии плода, а младенцы рождаются здоровыми...

— Вот, — перебила её Катя. — И хирург, который должен нас оперировать, говорил, чтобы я не слушала врачей и рожала. Вот... ёлки-палки. Говорит, приходят ко мне зарёванные, а потом получается, что патология-то исчезла. Если даже она есть, то операции всегда проходят хорошо. Зачем аборт-то? А ещё велел, если врачи опять начнут страшилки рассказывать, звонить ему.

“Свой человек”, — подумала Марина, а племяннице ответила:

— Правильно говорит, его и слушай. Все под Богом ходим. Попрошу помолиться своих батюшек: отца Святослава и отца Петра. Уверена, что у тебя всё будет хорошо. Главное, не плачь, пой мальчику песенки, а то он весь перепугался. Его жизнь в твоих руках.

На том и порешили. К концу разговора голос Кати стал заметно спокойнее. Зато Марина, повесив трубку, оробела. Дала племяннице обещания, которые может исполнить только Господь Бог. Надо было быстрее посоветоваться с батюшками.

Внезапно её, словно тяжёлым одеялом, накрыла хандра. “Говорили ведь, что в одну воронку бомба два раза не попадает... А вот и накрыло”. Она легла на диван, лицом в угол.

Пятнадцать лет назад... Марина, будучи уже с небольшим животиком, прислушивалась, как в ней сотворяется новый человек. Больше никогда

в жизни — ни до, ни после этого времени — Марина не испытывала такого чудного состояния безмятежности. В первых движениях малыша она почувствовала мягкое плескание крылышек бабочки. Молодая женщина ушла в себя, и началась двойная жизнь: внешняя — в привычных заботах, и внутренняя — радостнотворная. Хотя окружающие даже не предполагали того, какая сокровенная работа происходит в её субстанции. Словно Некто властно и нежно созидал в её утробе прекрасную новую сущность, и от этого таинственного процесса по всем клеточкам тела разливалось чувство любви и блаженства. Когда Марина оставалась одна, ощущение радости и покоя наполняло душу до самых краёв. Казалось, что сердце тает от сладкой истомы, охватившей всё её существо. Эти переживания были новы, прекрасны и ни с чем несравнимы. Появились они вместе с зародившимся в её естестве младенцем и вызвали к нему ответное, трепетное и в то же время мощное, даже чуть безумное чувство материнской любви. Токсикозов и прочих осложнений она не испытала, ребёнок дарил только упоительный восторг. Никогда и никто на земле не был Марине так близок, как это её создание. Ребёнка ещё не был на свете, а она уже жила для него. Если что-то ела, то заботилась о нём. Если смотрела что-то или слушала, то думала, а хорошо ли ему, приятно ли? Младенец тоже, в свою очередь, преобразил для Марины весь мир. Давно знакомые предметы и лица вокруг виделись и воспринимались по-новому, с замиранием сердца.

Муж Роман часто приходил с работы с огромными букетами цветов. Марина, несмотря на ощутимые траты, не протестовала. Она любовалась цветами и радовалась, понимая, что всю жизнь такое продолжаться не может.

В эти месяцы Ромка тоже был по-настоящему счастлив. Пять лет он упорно, но ненавязчиво добивался её привязанности. В детском хоре при доме культуры знаменитого московского завода, где они всё детство и юность с удовольствием пели, а также ходили вместе со своим руководителем—дирижёром Александром Михайловичем в походы, справляли дни рождения, ездили отдыхать на море, симпатизантов у Марины было немало. Ведь юношам нравятся жизнерадостные, добрые и милые девушки. Посмотришь на такую, и мир краше становится, и мужественность чувствуешь рядом с хрупкостью.

Марина была уверена, что сама выбрала Рому из старшей группы хористов, отдавшись романтическим впечатлениям: он был похож на Есенина, сочинял стихи и пел тенором. К тому же Роман умел слушать и давать дельные советы, хорошо чувствовал и понимал людей — сказывалось увлечение психологией.

Однако Марина и предположить не могла, сколько страдания он претерпел за пять лет их “пионерской” дружбы. Вокруг этой девушки всегда путались взрослые хористы. И когда Марина на кого-то засматривалась своими чуть раскосыми глазами, доставшимися от бабушки-татарки, Рома, чтобы перехватить её внимание, начинал совершать экстравагантные поступки. Он постоянно вычислял, кто может оказаться более удачливым, и уводил Марину от потенциального соперника.

“Борис — красавец, породистый, но его рефлексия вряд ли обрадует, — размышлял Рома, — с Олежеком они просто друзья, а Серёга яркий, подлец, может...”

Вопреки его предположениям, Марина обожала танцевать именно с Борисом. Она вихрем кружилась по залу с Борей, так похожим осанкой и поворотом головы на белого офицера. От безумной круговерти Марина наполнялась незнакомым чувством странного влечения к этому человеку, кровь приливала к голове, становилось весело, она негромко смеялась, а после танца бежала к Роме с глазами нашалившей ученицы. Боря же с грустью смотрел на предмет обожания своего друга.

Марина была младше Ромы лет на пять, и он потихоньку её воспитывал. Доставляло удовольствие из такого мягкого податливого материала лепить себе “невесту”. Он незаметно прививал Марине свои взгляды на жизнь, иногда доверял сокровенные мысли либо старался увлечь тем, что любил сам. Однако тут и проявлялась их душевная несхожесть.

— Меня “Битлы” прикалывают, — говорил Рома. — Послушай: свобода и радость. Жили ведь люди...

— Хи... Кому нужен этот антиквариат? — морщила носик Марина.

— Мне! Буду всегда включать магнитофон, и ты их полюбишь.

Вместе они посещали “консерву” на Никитской. А после концерта шли по старой улочке и пели на два голоса “Грёзы” Шумана.

— Сейчас читаю Бодлера “Цветы зла”, — сообщал он, наблюдая реакцию Марины.

— Да? А я — Толкина “Властелин колец”, — отвечала она, улыбаясь. (В разгар “перестройки” было что выбрать почитать). Но Роман на её слова презрительно усмехался.

Он “болеет” французом-импрессионистом Матиссом. Водил Марину в Пушкинский музей, где они долго сидели, созерцая светящихся “красных рыбок” и дикие танцы с настурциями. Рома смотрел на картины, задумавшись, а Марине казалось, что эти рыбки — яркие леденцы, и хотелось их съесть. Затем у обоих от соприкосновения с прекрасным появлялся дикий аппетит. Возможно, энергия жизни уходила от сопереживания высокому искусству... Этого феномена они объяснить не могли и бежали в вареничную, стоящую почти напротив музея, а затем перебирались в кофейню. Восстановив равновесие души и тела, рассматривали за окном залитую солнцем ли, дождём ли, но всегда шумящую Москву.

Когда школа выплеснула Марину в “Плешку”, Роман впервые осторожно спросил о том, хотела бы она выйти за него замуж... Услышав в ответ смущённое “Я об этом не думала...” — и сделав печальный вывод, что его не любят, сменил тактику. Он уже не мог контролировать её друзей в институте, но зато сделал всё, чтобы Марина стала без него как без рук. Вскользь Рома рассказывал истории, как часто браки без любви, например, на Западе, по расчёту, становились счастливыми. Марина, привыкшая слушаться его советов, наконец, тоже решила, что раз они уже долго вместе и привыкли друг к другу, то, наверное, Роман прав: надо пожениться.

Родители, Владимир Петрович и Лариса Викторовна, были огорчены таким ранним браком: дочери необходимо закончить институт (Рома уже отучился в техникуме). А свекровь, Инна Сергеевна, не полюбила Марину-тростинку с первого дня их знакомства.

— Ты мне скажи, как эта субтилка потянет хозяйство? — раздражённо спрашивала она сына.

Поэтому молодые, чтобы создать свою семью, отправились на выселки. Сразу после свадьбы, отделившись от предков, они по инициативе Романа сняли квартиру в ближнем Подмосковье и зажили спокойно. Он был счастлив, обретя близость любимой, а Марина неожиданно познала ни с чем несравнимую окрылённую радость будущего материнства.

Хожение по мукам началось, когда Марину повезли рожать. Свекровь её предупреждала, что врачи и роженицы хитрят друг с другом о временах и сроках, и прибавить к своему урочному часу недельку-другую необходимо. Как в воду смотрела. Местная пожилая врач, возможно, ошибаясь, поставила срок родов месяцем позже. Хотя Марина вычислила все день в день, но убедить её не смогла. В роддом она поехала по своим расчётам, но там, посмотрев карту пациентки, решили, что это преждевременные роды, и стали их останавливать...

Сделать это было невозможно — время пришло, маленький неистово рвался наружу, но когда врачи с этим согласились, у измученной Марины сил на разрешение от бремени не осталось.

В предродовой, куда её привезли, уже находилась роженица. Как потом выяснилось, там работала её родственница, поэтому к ней собрались все сестры, приходила осматривать врач. На Марину никто не обращал внимания, но ей уже стало всё равно. Частые схватки обжигали огнём всю её утробу. До этого было ни сесть, ни лечь, ни вздохнуть, а тут началось такое... Впрочем, дальше она плохо что помнила: тишина исхода и сплошная темнота. Правда, на секунду в наступившее небытие прорвалась санитарка, сказавшая: “Ну, что кричишь, хочешь, чтобы тебя пожалели?” Хотя Марина не

слышала своих криков. Затем из тьмы её пытался извлечь строгий голос, приказывающий сжимать руку, и стук шприцов о дно железного стерилизатора. Дальше наступил абсолютный мрак.

Сколько это продолжалось, Марина не знала...

Яркий свет прорвался через платок, спущенный на глаза. Под ней — дребезжание каталки.

— Быстро!.. Быстрее-е-е... — услышала встревоженные голоса пришедшая в сознание Марина. Её куда-то перетаскивали. Впоследствии, хотя она тогда и умирала, Марина думала, что это напоминало сказку “Али-баба и сорок разбойников”.

— Очнулась? Тужься! — кричали на неё.

Марина напряглась. Тело вновь пронзила невыносимая жгучая боль, ну-тро будто обожгли раскалённым железом.

— Шею зажало... — рывкнул кто-то совсем рядом. — Режь!

Вдруг её словно разрубили пополам. Марина взвыла, как раненый зверь.

Наступила неожиданная тишина, а потом послышалось слабое чихание.

С Марины сдёрнули платок, она зажмурилась от ударившего в глаза света операционной лампы:

— Посмотри, какой у тебя сынок. — Марина распахнула ресницы. Над ней висел красновато-синеватый маленький живой человечек. Он склонил голову и жалобно пищал и чихал. Марина заплакала вместе с ним.

— Пришла в себя? Ишь какая, перепугала народ! — врач унесла ребёнка. — Сейчас помоем. Всё позади. Живи и радуйся, перепетуля! — Марине казалось, что от её тела ничего не осталось, кроме головы в косынке.

Вдруг раздался грохот подлетевшей каталки. Крик. Какая-то суета. Марина машинально натянула платок на глаза. Опять надрывный вопль, а за ним понеслось звучное и басистое: “Уа!” На свет появился новый человек.

— Ещё один мальчик. — констатировала родильная сестра.

— Уа... Уа! — громко и раскатисто неслось по родовой.

“А моего-то мальчика не слышно, — испугалась Марина. — Жив ли он?”

Вдруг откуда-то из угла отозвалось тихое и невнятное: “Миу... Миу...”

Родилка грянула взрывом хохота.

— Слушай, ты кого родила?! Котёнка, что ли?

— Уа... Уа... — неслось победоносно по больнице.

И словно эхо, тут же ему вторило жалостливое:

— Миу... миу...

Марина, наконец, решила сдёрнуть с глаз косынку.

Рядом, на соседнем столе, возвышалось тело компаньонки по проблеме. Оно соответствовало реву её младенца, который продолжал басыть.

“Не перевелись ещё богатыри на Руси”, — думала Марина, глядя на неё, и вспомнила свои шестьдесят семь на девятом месяце.

Рожище переложили на каталки. Марину стало трясти мелкой дрожью, даже зубы застучали, отчего было очень стыдно. Санитарка накрыла её одеялом, потом ещё несколькими и успокоила, что такое бывает со всеми. Марина же продолжала дрожать.

Ей разрешили позвонить домой, подвезли на каталке к телефону.

— Аллю, — отозвалась больничная трубка на радостный призыв Марины странно-грустным голосом мужа.

На слово “сын” он как-то вяло обрадовался. Марина едва различила печальную музыку, идущую из трубки. “Ромка почувствовал, что я умираю”, — подумала она, но продолжила разговор на мажорной ноте. Беседу они закончили вполне оптимистично. В тот радостный миг никто не знал, что в их жизнь пришла беда.

На следующий день соседка в палате рассказывала, как Марина потеряла сознание.

— Перестала подавать признаки жизни. Лежала вся белая, как простыня, нос заострился, словно не живая. Все сбежались, насовали кучу уколов в вену и повезли. А меня следом. — И добавила задумчиво: — Они тебя спасали, а ребёнка забыли...

— Маршалова. — вошедшая в палату врач назвала её фамилию. Глядя

куда-то в пол, она сказала, что ребёночек очень слаб, и стала спрашивать Марину, чем она болела в детстве. Ещё врач добавила, чтобы к ней зашёл кто-нибудь из родных. А швы, наложенные ночью, снимут через несколько дней.

Роман сидел в вестибюле роддома с отстранённым, невидящим взглядом. Она приковывалась — нормально ходить ещё не могла — и попыталась отразиться в его глазах, но муж отводил их в сторону.

— А что тебе сказала врач? — Марина огорчённо вздохнула.

— Ничего особенного. Никитка слабым родился, и вам надо ещё побыть в санаторном отделении больницы.

— Побудем... — ответила она удивлённо. — А почему ты грустный? Что случилось?

— Да на работе неприятности. — Рома потер лицо руками.

Врач не велела говорить жене, что у их ребёнка тяжёлая болезнь — гидроцефалия. Ведь от переживаний могло пропасть молоко.

Марина, впервые оставшись наедине с сыном, боялась, что он закричит, а она не сможет его успокоить. Опасалась взять Никиту на руки или перепеленать, казалось, обязательно у этой крохотули что-нибудь сломает. Вдобавок она испытывала некий священный трепет перед своим младенцем и даже готова была преклоняться перед ним, словно перед живым чудом.

Скажите... Как? По сути, из ничего, из взаимного безразудства, и вдруг живая душа: эти пальчики, крошечные пятки, носик... Лицо — миниатюрная копия Маршалова, один в один, только с её губами. Потрясение — видеть свои губы со стороны, на другом... твоём сыне. Марине становилось даже страшно от непостижимости тайны человеческого сотворения.

В санаторном отделении палата оказалась на первом этаже, они с Никитой были одни в боксе. Белый, в трещинках потолок, крашеный скрипучий пол, стена в коридор — наполовину из стекла — словно в аквариум посадили. В огромное окно, как из картины, смотрел на них пёстрый осенний сад. Рядом, за стеклом — рябина раскраснелась, как застенчивая девушка.

Роман сразу сообразил: раз первый этаж, значит, можно влезть в окно. Сумеречным вечером они, вытянув ноги, сидели на полу под столом — так их не было видно в стеклянные стены палаты. Марина прижалась к мужу, и наконец-то за дни больничных безумств и потрясений ощутила покой. Возможно, впервые она чувствовала, что становится с ним одним целым. Хотелось совсем влиться в Рому, чтобы он забрал её из этого горького места и спрятал от необъяснимого страха, который начал поглощать Марину.

— Приходила новая врач, Роза Моисеевна. Она сказала, что нам надо отдохнуть, и главное — не волноваться.

— Это правильно, — согласился муж.

Прозрение пришло на следующий день. Марина пожаловалась молодому врачу (наверное, вчера из института), делавшему обход, что у сына появились на небе белые пятнышки.

— Ничего страшного — это молочница, — ответил он. — Сестра помажет рот зелёнкой, и всё пройдет.

Зелёнка оказалась для Никиты назначением роковым. После всего случившегося врач уверял, что зелёнка практикуется во всех родильных домах у отказных детей и ничего страшного не бывает. Вероятно, этот ребёнок оказался необыкновенным.

Татьяна Фёдоровна, пожилая медсестра, принесла с собой в палату лёгкий аромат лекарств, открыв Никите рот, стала мазать небо ватой с зелёнкой. Лицо Никиты сначала выразило непередаваемое словами изумление, а через секунду он испустил ультразвуковой визг, отчего задрожали перепонки.

Татьяна Фёдоровна ушла. А Никита продолжал громко кричать, затем его вырвало зелёным. Он никак не мог успокоиться — и через час продолжал плакать. Марина кружила своего младенца по комнате, пытаясь петь, обычно он прислушивался, а сейчас рыдал в ответ. Отказался брать грудь и есть. Личико сына покраснело, а потом стало синеть, и вдруг Марина увидела, как его глыбное яблоко стало уходить под нижнее веко. У неё похолодела спина, а пол начал качаться под ногами. Марина бросилась к медсестре, та опять пришла в их бокс.

— Что это он так раскричался? — удивилась Татьяна Фёдоровна. — У отказников зелёнка — обычное дело, и ничего такого не бывает.

“Бедные отказники... Дети-то ведь все разные”, — подумалось Марине, но тут же вспомнила о своём ужасном открытии.

— У него с глазами что-то происходит...

— А что ты хочешь? Симптом заходящего солнца. Это же гидро-це-фа-ли-я, — сказала она по слогам.

— Что это такое?.. — ошеломлённо переспросила Марина.

— У твоего сына будет расти голова, потому что вода из мозга не уходит. — Татьяна Фёдоровна, говоря это, засмотрелась на деревья за окном. Все словно сговорились прятать от неё глаза.

— А дальше что будет? — Марина затравленно посмотрела на старую женщину, бесстрастным голосом сообщившую страшный приговор.

— Это Один Бог знает.

Они с Никитой не спали до глубокой ночи. Маленький плакал, не брал грудь, а Марина металась по боксу, как раненая тигрица, требуя к себе хоть кого-нибудь.

Наконец пришла незнакомая врач.

— Эта зелёнка ему все сожгла! — чуть ли не плакала Марина.

— Видишь, что у него со зрачками? При чём тут зелёнка? Это болезнь такая, — ответила медик сердито.

— Он три кормления уже пропустил. У вас зонд есть?!

— Нету зонда. Пробуй его из пипетки кормить, не могла додуматься, мамаша. Пипетка у тебя есть? Рожают в пятнадцать лет, куда торопятся? — сказала она, строго глядя на Марину, а та в ответ вздёрнула упрямый подбородок:

— Мне уже двадцать два. Пипетка есть.

— Ну, давай, действуй.

С большим трудом удалось-таки покормить маленького из этой самой пипетки. Но сын ещё время от времени громко всхлипывал и даже постанывал. Спал он тяжело, иногда вскрикивал и начинал тихо плакать.

“Жизнь у него только началась, а уже такие страдания”, — с тоской думала Марина, глядя на сына. Ненадолго забываясь тяжёлым сном, она вдруг просыпалась, вскакивала и бежала к младенцу, послушать, дышит ли он. Её сводила с ума мысль, что мальчик может умереть. А под утро стало казаться, что у него действительно несколько увеличилась голова. Наконец Марина изнемогла и крепко уснула. Днём Никита успокоился и начал есть, осторожно захватив её грудь. Было видно, что ему больно глотать. Однако ночные кошмары ушли вслед за тьмой.

Когда вечером Рома постучал в окно, Марина даже испугалась. Она чувствовала себя почти преступницей. Оказавшись под столом, Ромка загадочно сказал:

— Закрой глаза.

Через секунду на пальчике Марини появился золотой перстень. На витиевато переплетённой золотой решётке, поднимавшейся вверх пирамидкой, светился, как аленький цветочек на клумбе, сиренево-розоватый самоцвет.

— Смотри, как изменился. Днём камень был изумрудным. Это александрит, — пояснил Рома, — выбрал к твоим коловратным глазам. Ты не знаешь: они у тебя постоянно меняют цвет.

Марина недоверчиво покачала головой.

— Я же вижу. Они у тебя бывают жёлтые, зелёные, как у кошки, карие... Сейчас почти чёрные, — он поцеловал её глаз. — Ты, наверное, колдунья? Мужики вокруг тебя ходят, как заворожённые.

Марина тяжело вздохнула:

— Потому что они дурачки...

Было совсем не до смеха, но она всё же пошутила в ответ:

— Мужчины — хвастуны и фантазёры, в кого только они нас не превращают...

— Вспомни, мы с тобой сидели тогда, вечером, ты говорила и смотрела на стакан с чаем, а он поехал по столу, — не унимался Ромка.

— Это у Тарковского стаканы взглядом двигают... А у нас стол неровный, мой дорогой. — Марина обняла мужа. — Мне очень нравится твой подарок.

— Это тебе за Никиту.

Она опустила голову и едва слышно произнесла:

— Наш сын болен.

— Я знаю, — ответил муж. — Тебе кто это сказал?

— Медсестра.

— Понятно. А мне врач... Это тяжко.

Заметив, что у Марины задрожал подбородок, покачал головой:

— Девочка моя, плакать нельзя... А болезни должны лечиться.

Марина встрепенулась и подумала: “Маршалов умный, он наверняка всё узнал”.

— От тебя нужно, чтобы он быстро рос. Ну... опережая свою голову. Бывает, они её перерастают. Если это дрянь неокклюзивная... — Рома вздохнул. — И чтобы развивался умственно. Поняла? Молоко береги, корми его больше.

— Это он любит, — улыбнулась Марина, с уважением глядя на мужа. — Едим весь день напролёт.

— Мы придём к счастливому концу, — сказал он и вдруг, криво усмехнувшись, добавил: — Не бойсь, со мной не пропадёшь, но горяхватишь.

Марина терпеть не могла эту ухмылку, словно кто-то чужой проявлялся в дорогих чертах. Но сейчас не обратила на неё внимания. Получив инструкцию к действию, она почувствовала, что свернёт горы: “Мы выздоровеем!”

— А родителям что скажем? — глаза Марины испуганно округлились.

— Не бойсь. Это я беру на себя.

Глава 2. “Что же вы, голубушка...”

Утром светло-сиреневый цвет перстня превратился в изумрудный. Марина стирала пелёнки в раковине, прикреплённой к стене палаты, и любовалась искристыми ответами ровных граней драгоценного камня. Стирка с дивным украшением на пальце оживляла большую серость и даже приносила удовольствие. От родителей-”семидесятников” Марина с младенчества усвоила, что золото — презренный металл. В их доме предметы “мещанства” — хрустали, дорогая бижутерия, ковры с марокканскими узорами — не водились, и стенка была только шведская. Однако подарок мужа пришёлся Марине по душе. Подобного ей, кроме обручального кольца, никогда не преподносили.

— Здравствуйте! Как вы себя чувствуете? — В палате бесшумно появилась Роза Моисеевна.

Марина вздрогнула от неожиданности.

— Мы пережили катаклизм. — Она выключила воду и непроизвольно стала нервно крутить свой перстенёк.

— Что же вы хотите? — развела врач руками. — У вас такая болезнь... Знаю, вам Татьяна Фёдоровна уже всё сказала. — Тут она обратила внимание на драгоценность, посмотрела Марине в глаза и чуть усмехнулась.

Марина, глянув на камушек цвета изумруда, смутилась его неуместностью, и тихо спросила:

— Как вы будете нас лечить?

Врач подошла к кровати, велела взять ребёнка и перенести на пеленатор. Там Роза Моисеевна обследовала Никиту, который от различных манипуляций тихо покряхтывал и с удивлением всматривался в неё.

— Мы назначим мочегонные, противовоспалительное, разумеется, диакarb, ну, и витамины... Пролечим, а потом вы пойдёте домой, — улыбаясь, отвела Роза Моисеевна.

— Почему домой? А что мы там будем делать? Без лечения мы ведь можем умереть... — Марина в сильном волнении вновь стала энергично вращать на пальце кольцо.

Роза Моисеевна несколько вопросительно переводила взгляд то на её руки, то в испуганное лицо, слово задумавшись. За последнее время Марине впервые смотрели прямо в глаза.

— Не волнуйтесь так, дорогая. Я зачем вас сюда направила? Отдохнуть... А вы нервничаете. У вас должно быть молоко — это для него лекарство. Умереть с таким диагнозом и здесь не мудрено.

И добавила, делая ударение на слово “можем”:

— Но мы можем отправить Никиту в наш областной институт на обследование. — Тут она выразительно посмотрела на золотой перстень.

Однако Марина ничего не заметила и, протянув к ней руки с самоцветом, сказала с мольбой:

— Мы очень хотим в институт. Помогите нам...

— Договорились. — Врач, полюбовавшись перстнем, удовлетворённо посмотрела на молодую женщину. — Позвоню туда, когда вы перейдёте в детское отделение. А сейчас отдыхайте, дорогая.

Роза Моисеевна тихо вышла. Оставшись одна, Марина растерянно собрала постиранные пелёнки и засунула их обратно в пакет с грязным бельём. Прошла несколько раз по комнате, стала рассматривать в окне “костёр рябины красной”, затем, словно опомнившись, подошла к детской кроватке. Её сын радостно взмахивал руками.

— Никита! Ты слышал, что они про нас говорят? Мы должны победить. Ты меня понял?

Младенец вскинул белёсые бровки и стал прислушиваться. Марина взяла на руки тёплый живой комочек и почувствовала — это её счастье. Врачи и свои собственные слова о смерти сразу забылись: “Разве может с нами случиться что-то страшное? Никогда”.

— Ника! — Неожиданно для себя позвала она сына. — Справимся! Ника — это победа.

Пожилая санитарка привезла обед. Увидев на руке Марины перстень, сказала удивлённо:

— Это что, александрит? Вдовый камень, сними. Его в паре носить надо.

Марина промолчала, но в душе обиделась на старушку. Когда она пошла дальше, гремя своей тележкой, Марина тяжело вздохнула, поцеловала кольцо и положила его в бархатный футляр.

Вечером она пожаловалась мужу:

— Знаешь, наша санитарка сказала, что александрит нужно носить в паре.

— А я тебе присмотрел кулончик в виде сердечка. — Рома широко улыбнулся.

— Большое спасибо. — Марина провела рукой по его пепельным кудрям. — Знаешь, будет лучше, если кольцо полежит дома. Сам понимаешь, тут общественное место... Подари мне сердце золотое.

— С твоим ничто не сравнится... — Он поцеловал её ладонь. Марина с благодарностью обняла мужа, и ей опять захотелось в него спрятаться.

Поздно ночью они с Никитой, как всегда, питались. Малыш сосредоточенно, словно совершая важную работу, сжимал губами её грудь, иногда чмокал, стараясь втянуть в себя больше молока. Он стал набирать каждый день по сто граммов веса и расти буквально на глазах. А у неё делалось легко на душе: “Всё у нас будет хорошо и отлично”.

Марина подняла голову, бросила рассеянный взгляд в окно и похолодела. Она бы крикнула от ужаса, но боязнь испугать ребёнка заставила молчать. С запотевшего стекла, покрытого тонкими струйками капель, на неё смотрели два глаза, вставленные в лицо с искривленным полуоткрытым ртом. Когда их взгляды встретились, образина за окном вытянулось, как от испуга, и вдруг расплылась и исчезла, словно её размыло.

Подобный страх Марина испытывала, читая в детстве сказки братьев Гримм. Она боялась снова поднять ресницы и смотрела на своего младенца. На эти глазки, носик, пухленькие щёчки; над переносицей между бровями заметила голубую жилку, — кажется, раньше её не было, — и так немного успокоилась.

Когда Никита уснул, Марина выключила в палате свет и пошла к медсестре. Дежурила опять Татьяна Фёдоровна.

— У нас кто-то в окно заглядывал... — Марина напряжённо ждала ответа.

— Это дядька больной подсматривает. Бродит тут по вечерам, — ответила медсестра. — Он безобидный, не тревожься, — продолжила она нарраспев. — Ничего страшного.

Марина тут же, из медсестринской позвонила мужу и просила принести верёвку, чтобы повесить простынку — на окне не было занавесок. Ночью она долго не могла уснуть, прислушиваясь к шуму ветвей ночного сада.

В выходные приехали родители. Свекровь внимательно смотрела на спящего Никиту. Было заметно, что ей приятно такое сходство внука с сыном. Однако она не утерпела сказать:

— Мне говорили, что у него шеи нет, одна голова. А ребёнок нормальный.

Все напряжённо замерли. Папа ободряюще смотрел в глаза дочери, и лишь мама вымученно улыбнулась и проговорила:

— Марина, наверное, вам лучше вернуться в Москву...

— Не думаю. Врач пообещала, что отправит нас в областной исследовательский институт. Мы ещё здесь побудем.

Дальше бесстрастная память начала со скоростью киноленты прокручивать перед глазами больницы. Марина с порога детской палаты, куда их перевели, стала знакомиться с молодой женщиной в густой шапочке рыжих мелких кудрей.

— Надя! — приветливо улыбалась она. — Это твоё место... А здесь, — она указала на другую койку, — слава Богу, никого нет.

Марина положила спящего Никиту в железную, схожую с люлькой кроватку и побежала за вещами.

Вечером женщины пили чай с молоком, очень полезным для лактации. Надя, оказавшаяся смешливой, домовитой хозяйской, эмоционально рассказывала, как они с мужем-офицером живут у самой китайской границы. Когда повезли рожать, то Вова появился в машине “скорой помощи”. Всё произошло тяжело и неудачно, поэтому сынок получил в родах церебральный паралич: совершенное отсутствие каких-либо рефлексов (трудно было даже покормить), часто его всего выгибало, и по ночам он много плакал. Свекровь привезла их лечиться к себе домой в Подмоскowie.

Выслушав этот рассказ, Марина от печали решила доесть курицу. Кормящей матери всё время хотелось что-нибудь пожевать, особенно когда разволнуется. Рома каждый день приходил в больницу с неременным куриным бульоном и часто с цветами. Утром он ездил в Москву на работу, затем возвращался к жене и сыну, а по ночам варил бульон. От перенапряжения ему становилось легче — мозг уже ничего не генерировал. Лишь иногда с удивлением подмечал, что жена стала чудной: сама некрещёная, но то и дело восклицает: “Боже мой!” — или же начинает тьфукать через левое плечо и стучать по дереву.

Однажды он не выдержал:

— Девочка моя, ты чего барабанишь по стулу, как заяц?

В ответ она испуганно смотрела мужу в глаза: чувствовала себя виноватой. Она только сейчас начала ценить благородство этого человека: Рома ни разу не попрекнул её случившимся.

Марина за день тоже сильно уставала от процедур, обходов, кормлений, гуляний, а по ночам — стирки пелёнок. В то же время чувствовала, как в ней просыпаются неведомые силы. С детства привыкшая слушаться родителей, сейчас она всё решала сама, иногда реагировать приходилось мгновенно. В ответ на невзгоды Марина не юнилась, частенько они с Надей обменивались шутками и тихо смеялись. Надюша ещё и петь любила. По вечерам, баюкая Вовчика, она раскачивалась на панцирной сетке кровати и вместо колыбельной тянула: “А нынче нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим!” — младенец мгновенно засыпал.

Марина слушала её душевное, но очень домашнее исполнение и ни разу не сказала, что умеет петь профессионально. В последнее время она открыла в себе много нового. Так, после очередной “опечатки” судьбы, с удивлением замечала, что с каждым разом становится спокойнее, даже, можно сказать, умиротворённое.

Некоторые мамочки, узнав про болезнь её сына, начинали жалеть, примерно так: “Ну, если даже умрёт, ты же молодая, ещё нарожаешь”. Марина внутри холодела от таких “утешений”, она ни на мгновение не допускала мысли, что ребёнок может умереть. “Ведь они сами недавно рожали! А если бы про их ребёнка сказали такое?!.. Но, конечно, я вспыхнула, — осаживала себя Марина. — На самом деле они добрые, сочувствуют мне, не понимая, что этими словами делают больно. Зато пелёнки полощут или гладят. А медсестра старается найти иглу потоньше, у нас болочные уколы”. После таких мыслей она больше не обращала внимания на обидные слова и неловкие взгляды. Словно поднялась над всеми этим вздором, обретя силы и понимание иных смыслов бытия.

Лишь иногда, “в минуты роковые” её душа проваливалась во тьму. Однажды, идя после ночного кормления в душевую с тазиком грязных пелёнок, Марина подняла глаза от пола и увидела, что впереди идёт некто в белых развевающихся одеждах. Похолодев, она быстро отвела взгляд и вдруг с ожесточением, даже злостью подумала, что если ребёнок умрёт, то им с Ромкой нужно расстаться — не судьба. А когда вновь вскинула ресницы, в коридоре никого не оказалось.

Утром, поднявшись с постели, она с тоской и страстью стала всматриваться в своего спящего мальчика. В душе Марины зашевелился хаос: из бездны неосознанного поднималась не подвластная ей тёмная сила. Она чувствовала, что готова пойти за сына на любую жертву, если надо, то умереть, и даже, наверное, сделать нечто ужасное, лишь бы осталось жить её последнее слово. “Как я без тебя буду?! Не уходи!” — задышалась она в безмолвном отчаянии.

Никита, словно почувствовав безумство матери, вдруг тихо вскрикнул и заплакал.

— Не смотри так на него, мне страшно! — Надя шла к своему сыну с бутылкой детской смеси, но, увидев лицо подруги, на мгновение испуганно остановилась посреди комнаты и заговорила твёрдым речитативом:

— У нас здесь очень душно... После завтрака мы все пойдём на улицу... Проветрим палату.

Марина опустила глаза и отошла от колыбельки.

Рома купил им коляску, и они ездили в “собственном экипаже” по больничному саду, к сожалению, стремительно теряющему былую красоту. В эту ночь случились первые заморозки. Пожухлую траву и опавшие листья покрывала бахрома инея. Прощай, осень... На прогулке Никита катался с Вовчиком наперегонки, Надя смеялась и пела.

Когда, нагулявшись, они вернулись обратно, оголодавший Никита сразу заверещал. Это был его коронный ультразвучковой визг, от которого в голове начинался звон.

— Ой, Никитка, не пищи так, я оглохну. — Надя закрыла уши. Тут громко заплакал Вовчик. Поднялась суматоха.

Марина заметалась по палате. Перед кормлением надо было вымыть грудь, и она решила успокоить Никиту соской. Хотя маленький никогда не признавал её и обиженно плакал, когда Марина пыталась засунуть ему в рот пустышку. Оберегая сыновью свободу, она не настаивала, тем более соска и не пригодились, ребёнок был спокойным. Получив вместо молока обманку, Никита завизжал ещё сильнее. А через миг выхватил её изо рта и возмущённо кинул на пол.

— Марина, ты видела? — Надя расхохоталась.

— Ага! А нас в идиоты записали.

Она крутанула ручку крана, находившегося в палате. Вода радостно полилась, а Никита вдруг перестал верещать, страшно удивился и повернул голову в сторону шумящего потока, внимательно его разглядывая. Раскричавшийся было Вовчик тоже затих: в палате снова воцарились мир и спокойствие.

Марина сообщила об этом случае Розе Моисеевне, но та покачала головой: — Дорогая, это ваше сугубо личное мнение. У таких маленьких детей ещё нет рефлексов. Уверяю вас, что брошенная соска — это случайность.

Марина в ответ пожала плечами. Опять её огорчили. Вдобавок любезная Роза Моисеевна никак не могла дозвониться в обещанный институт. Она загодично улыбалась и разводила руками:

— К моему великому сожалению, дозвониться никак не могу. Всегда занято...

Эти безнадёжные слова наполняли Марину тревогой. Надюша, всё время массирувавшая Вовчику ручки и ножки, подсказала, что надо постоянно учить Никитку бакать и букать.

— Он будет развиваться, — объясняла она, — а ты при деле.

— Ба... Бу... Ма... Па... Да... — нараспев повторяла Марина, склонившись над младенцем.

Никита удивлённо прислушивался и внимательно смотрел на маму. Его глазные яблоки иногда, как солнце, уходили за горизонт, потом появлялись вновь; малыш молчал.

Марина продолжала тихо повторять:

— Ма... па... да...

Под вечер его губы вдруг сложились неуверенной трубочкой и выдали звук:

— У-у-а... — А потом выдохнула: — п... п...

— Ты моя радость, ты моя сладость, — возликовала Марина и стала кружить младенца по палате. — Мы с тобой горы свернём!

Никита, глядя в повеселевшее лицо мамы, сделал попытку повторить его выражение и с усилием разводил губы. Вдруг в первый раз в жизни так хорошо и открыто улыбнулся во весь свой беззубый рот. Сердце Марины наполнилось ликованием.

Вечером подруги по установившейся традиции пили чай с молоком и обсуждали свои маленькие победы.

— Вы обязательно выздоровеете, — проговорила добрая Надя, — я в это верю. — Глаза её увлажнились.

Больничное время проходило быстро. Марина спокойно переносила все испытания, потому что её поддерживал сам младенец. Красивый мальчик, о чём говорили все вокруг и улыбались, излучал тёплый свет, отчего, посмотрев в его колыбель, мама сразу успокаивалась, и грустные мысли уходили прочь. Таким покоем веяло от этого ребёнка...

Между тем время шло, курс лечения приближался к концу. Роза Моисеевна временно ушла на повышение квалификации и почти не появлялась.

Главная медсестра отделения Марья Дмитриевна, следившая у них за порядком, часто спрашивала и вздыхала:

— Когда же вы поедете в институт? Время-то идёт. Операцию нужно делать.

Марина обмирала от её слов. Но кроме пожатия плечами, ответить ничего не могла. Однажды к ним в палату вбежала взволнованная Марья Дмитриевна:

— Марина! Я сама дозвонилась в институт... Собирайся, на всякий случай. Они уже к нам едут.

Марина с Надеей охнули и закружились по палате.

— Так... Ты все вещи не бери, а только необходимое, — как всегда, командовала Надежда — офицерская жена.

— Сумки Роме вечером отдашь, — согласилась Марина.

В сестринской тоже начался переполох, потому что врача нет, историю болезни найти не могут, а из Москвы уже выехала "скорая помощь".

Когда всё более-менее было собрано, в палату плавно, как бригантину по лону вод, вильнула крупная, привлекательной внешности блондинка в белом халате и громко назвала её фамилию.

— Это я! — отозвалась оробевшая Марина.

— Меня зовут Екатерина Павловна, я — консультант. Мы приехали из Москвы по вызову вашей больницы.

После осмотра Никиты врач пригласила Марину в кабинет заведующей. Вдруг на пороге палаты появилась встревоженная, кажется, даже запыхавшаяся Роза Моисеевна. Для неё это событие стало полной неожиданностью. Роза Моисеевна отозвала приехавшую великолепную даму в коридор, где у них произошла короткая беседа.

В кабинете заведующей в просвете неплотно задернутых штор было видно, как короткий осенний день переходит в вечер. На столе горела казённая лампа с железным колпаком. Блондинка воссела у стола рядом с лампой, а Марина опустилась на краешек табурета напротив неё.

— Вы наркотиков не употребляли? — спросила она, чему-то улыбаясь.

— Нет. — Марина опустила глаза.

— Курили, выпивали?

— Если только бокал шампанского, но это не возбраняется.

— Что вам сказать, Марина Владимировна... — Врач опять улыбнулась. — Вы сами знаете диагноз своего сына... — Тут она замолчала и посмотрела Марине прямо в глаза, а затем медленно проговорила: — А вы никогда не думали сдать его в специнтернат?

Неожиданный вопрос был задан в лоб. Мать смотрела на врача в упор и молчала. Удивительно, но у впечатлительной Марины ни одна черта не дрогнула на лице, возможно, она впала в протрацию и была убийственно спокойна, как изваяние.

Выдержав паузу, Екатерина Павловна продолжала мажорным тоном:

— У вашего сына скоро станет вот такая голова! — показала она, разведя руки на метр. — И вот такое тело... — Тут она свела ладони почти вплотную. — Если он останется жить, то вырастет дебилом. Помочь мы вам ничем не сможем. Зачем вам всё это надо?

Слова специалистки не укладывались в сознании Марины. Она отрешённо смотрела на накрашенные губы блондинки. Затем её внимание сосредоточилось на золотом зубе сидящей перед ней красавицы. При каждом слове или улыбке в нём отражался свет железной лампы, отчего зуб вспыхивал ярко, как прожектор. Марина в застывшем недоумении следила за этими золотыми вспышками. Вновь повеяло страхом историй братьев Grimm... Чтобы как-то защититься, она тоже машинально стала улыбаться.

Переведя взгляд с искрящего золотого зуба в васильковые глаза врача, Марина подумала: “За что эта женщина так меня невзлюбила? — Но тут у неё появилась догадка: — А может, она считает, что предложением подлости делает мне благо?... Мир сошёл с ума”.

Блондинка напряглась:

— Вы меня поняли? — спросила она немного обиженно. Врач ожидала по крайней мере хотя бы слёз, скорее всего, истерики, возможно обморока, но странная мамаша, глядя на неё, тихо улыбалась.

Вдруг Марина услышала свой собственный спокойный голос, словно это кто-то другой произнёс:

— Поняла. Это всё мне уже говорили, — на самом же деле такое предложение она получила впервые. — А лечить мы его как будем?

С удовлетворением заметив промелькнувшее раздражение на красивом лице врача, Марина почувствовала себя совсем взрослой.

— Так вы что же, поедете в Москву? — уже с видимой досадой спросила Екатерина Павловна.

— Ну, а как же иначе? Нам лечиться надо. Болезнь тяжёлая...

— Договорились. Собирайтесь, сейчас отправимся.

В палате, не отвечая на вопросы собравшихся мам, Марина, отрывав накатившее отчаяние, начала быстро пеленать Никиту.

К ним заглянула Роза Моисеевна. Увидев её заплаканное лицо, веско проговорила:

— Да, там не церемонятся. Это я тут с вами нянчусь. Ну, теперь вы всё узнаете. — Постояв с минуту, она удалилась.

Марина, умывшись холодной водой, молча взяла сына, Надюша подхватила сумки, и они пошли к выходу из больницы.

У дверей стояла Роза Моисеевна, консультант уже сидела в машине. На прощание, как всегда, обворожительно улыбаясь, она сказала.

— Ну что же, голубушка, поезжайте, конечно. Но я знаю, что вы всё равно к нам вернётесь.

— А я не знаю... — отозвалась ей эхом Марина.

Глава 3. “Почему ты все время уходишь?..”

В машине “скорой помощи” Марина смотрела на спящего Никиту и думала, что нужно всеми силами потерпеть эту странную блондинку: “Нам необходима операция”.

Областной институт вмещал в себя большое количество серых зданий, где изучались и лечились особые случаи патологий. Оказавшись в дверях очередной больничной палаты, только с более высокими потолками и широкими окнами, она обвела быстрым взглядом её обитателей, улыбнулась и представилась:

— Марина.

— Наталья, из Подольска, — отозвалась женщина лет тридцати двух с синими глазами и чёрными волосами с короткой стрижкой, слегка взбитой начёсом. На руках она держала такую же голубоглазую девочку-тростинку, как потом узналось, — Алёну. Взгляд малышки рассеянно блуждал по комнате, и было непонятно, видит ли она вас, когда смотрит в упор.

— Оля, — улыбнулась в ответ молоденькая русоволосая женщина, видимо, ровесница Марины.

— Это ваша кровать, — плавно указала она рукой на место дислокации Марины. — Точнее, она для ребёнка, матерям койко-место не полагается. Однако ничего, мы вместе с детьми спим. А у вас с младенцем вообще не будет проблем. Тут есть только одно “но”: иногда надо полы мыть по вечерам в холле.

— Мы обязательно созвонимся с вами, — продолжила она прерванный с Натальей разговор.

“Чудеса в решете: институт большой, а спать мамашам негде”, — думала Марина, раздевая Никиту и раскладывая в тумбочке свои вещи.

Вдруг в палату быстро вошла новая врач с порывистыми движениями, казалось, что она куда-то торопилась и заскочила на минутку.

— Вы Марина Маршалова? — спросила она быстро.

— Да.

— Я ваш лечащий врач Галина Сергеевна. Завтра мы вашего ребёнка посмотрим и всё расскажем.

— Благодарю вас. — Марина улыбнулась как можно приветливее, она понимала: начальница у неё блондинка, и надо быть осторожной.

Институт остался в жизни Марины беспробудным страшным сном. Здесь она повидала виды. В соседней палате лежал мальчика лет девяти с чудными глазами и доброй улыбкой, но скрюченными руками и ногами. Ей рассказали, что Дима до недавнего времени был здоровым ребёнком: отличником. Папа — большой начальник. Однажды мальчику сделали прививку в школе, наверное, при температуре — результат оказался ужасен.

По коридору ходила другая женщина с девочкой лет четырёх. Малышка беспрерывно взмахивала руками, словно хотела улететь. Марина узнала, что им с сестрой-близняшкой в садике одновременно сделали прививки. Одна девочка — как ни в чём не бывало, другая перестала узнавать родных.

Марине всю жизнь делали прививки, но она ни в садике, ни в школе никогда с такими метаморфозами не встречалась. “Неладно что-то в датском королевстве...” Какие странные начались времена, и почему всё так плохо в нашей медицине?” — сокрушалась молодая мама.

Соседка по кровати, Оля, в тот же день ушла домой, вместо неё появилась другая женщина — Тамара с малышкой Лерой, у которой выгибались ножки в коленках.

— Всё было нормально до трёх лет, — басила мама Тома. — А потом смотрю: хромать стала. Ни фиги себе, твою дивизию...

Марина, услышав про дивизию, вспомнила свою Наденьку из подмосковной больницы и поинтересовалась:

— У вас муж офицер или в военной части работаете?

— Да ты чё? Я в универмаге “Москва” пашу. Хотя там точно, как на поле боя, — расхохоталась Тамара.

Глядя на институтских мамочек, Марина поняла: бед на всех хватает, и вновь приготовилась к борьбе.

На обходе Галина Сергеевна сказала, что Никите сделают ряд обследований, возьмут пункцию и покажут нейрохирургу.

При слове “хирург” Марина напряжинилась.

— И, собственно, мы вам ничего больше сделать не сможем. Помочь тоже, — покачала головой Галина Сергеевна.

— Нам нужна операция? — Марина, словно подсказывая, вопросительно подняла брови.

— Скорее всего... — неопределённо ответила Галина Сергеевна.

Она тут же перешла к кровати мамы Тома, заговорив о Лерочке. После их беседы грузная Тамара вдруг, как огромная кошка-пантера, мягко и плавно выскользнула за вращаемым в коридор.

— Не подмажешь, не поедешь, — сказала она, возвратившись, и подмигнула Марине, но та смущённо отвела глаза.

Она уже слышала, что здесь в институте за лечение необходимо подносить врачам дары. Однако, во-первых, она не умела этого делать, а во-вторых, казалось, что сие выглядит неэтично. Да и к слову, возможно ли за мзду получить здоровье? Если только привилегию в очереди на приём...

Марина собралась подумать об этом в свободное время, но его не было. В конце концов, она решила оставить эту проблему Роману: “Маршалов всё сделает”. Но на просьбу Марины передать врачам дары он ответил: “Поживём — увидим, девочка моя”. Родителей они решили в эти дела не посвящать. Отец Марины сильно заболел (от неё скрывали, что это был обширный инфаркт), а мать Ромы на всё происходящее реагировала резко, слово Марина нарочно устроила такую нервотрёпку.

Марина с удивлением замечала: в институте мамы, несмотря на тяжесть их бытия, приветливо улыбались миру и друг другу. Сама она уже научилась спокойно принимать удары судьбы и, отстраняясь от происходящих событий, смотреть на них словно бы со стороны, но не печалиться при этом не получалось. Однако, попав в “заговор улыбок” теплого женского “братства”, заботливого и сочувственного (зачастую в страдании в женщинах проступают лучшие черты натуры), Марина непроизвольно и сама стала улыбаться. Это вовсе не было порывом отчаяния: “Всем смертям назло!” Нет, всё получалось органично и непринуждённо, возможно, в ней, как в озере, отражались чужие приветливые взоры, и она тихо радовалась им в ответ, хотя сердце и томилось болью.

Тут время летело, как ужаленное. В один мало прекрасный вечер подошла очередь мыть полы. Они с мамочкой из соседней палаты сначала навели чистоту в огромном холле. Затем принялись отмывать швабрами высокие ступени массивной лестницы, поднимающейся вверх квадратной спиралью. Далеко за полночь увидели, наконец, долгожданную вершину — небольшую площадку, где начиналась пожарная лестница, конец которой терялся высоко в темноте. Марина, еле неся большое ведро, стала спускаться, тяжело преодолевая высокие ступени, мысленно заставляя себя идти. Затем поплелась мыться, где под душем с удивлением заметила, что вместе со струями воды по телу небольшими прядями стекают на пол её роскошные волосы.

Утро выдалось хлопотливым. Никиту унесли делать пункцию. Марина сидела, вжавшись в железную сетку кровати, и с тоской смотрела, как облетевшие деревца за окном покорно гнутся под напором холодного осеннего ветра.

Лерочка пыталась отобрать плюшевого мишку у Алёны, но та стала громко протестовать и грузно села на свою игрушку. Лера, недолго думая,

укусила Аленушку, и малышка громко заплакала. Мамы бросились к своим девочкам. Наташа стала успокаивать дочь, а Тамара выговаривать:

— Ты что же это кусаешься? Ты её старше, понимать должна. Твою дивизию...

В дверь постучали и внесли в одеяльце спящего Никиту. Марина замерла: личико сына стало белым, словно у него вышла вся кровь. Взяла руку: она была холодной и безжизненно упала на подушку. Не вынесла этого ужаса, зарыдала, целуя сына.

— Ника, проснись! Ты меня пугаешь? Я так устала... Что же это?.. Как неживой.

Её страдания вызвали цепную реакцию: в палате начался великий плач.

Наталя причитала над ошеломлённой Алёной:

— Ты только начни ходить, я за тобой поползу... Бабы аборт делают, а потом рожают. Хоть бы хны... Я ни разу. И это почему же... А?..

Мама Тома рыдала о своей незадавшейся жизни:

— Ведь одна я на свете!.. Родила себе до-чень-ку — и на тебе! Твою дивизию... — Лерочка, глядя на маму, тоже заплакала.

Продолжалось это безумие недолго. Иногда так бывает в природе: налетят вдруг тучи с порывами ветра, хмарь опустится, всё вокруг заволнуется, зашумит, дождь начнёт лупить по взбаламученной листве. Но через несколько минут тучи разойдутся, как не бывало, и в мире опять наступает тишина.

Первой опомнилась Наталя:

— Хватит! Девки, замолкли!

А потом грозно обернулась к Марине:

— Чтоб больше ты не смела завывать! Поняла? Нам нельзя... Поняла?! Детей пугаешь, они и так... — Наталя остервенело смотрела ей в лоб.

Марина вжала голову в плечи. Мгновенно всё вокруг успокоилось. Врача палата встретила в полной тишине. Галина Сергеевна даже не взглянула на спящего Никиту.

— Диагноз ваш подтверждён. Лечение проводилось правильное. Больше помочь, как я уже сказала, мы не можем.

— Мальчика хотел осмотреть нейрохирург, — парировала её слова Марина.

— Да. Но нам сначала надо поговорить с вашим мужем, — возразила врач.

Марина удивлённо подняла свои красивые брови, но кивнула в ответ и спросила:

— Когда?

— Завтра в одиннадцать, — ответила Галина Сергеевна и повернулась к ней спиной.

Вечером Марина передала их разговор Роме. Они, пригорюнившись, сидели рядом с вешалками гардероба.

— А зачем я ей понадобился? — удивлённо спросил муж.

— Я тебе говорила, что тут полагаются врачам дары. У нас ведь ещё остались деньги от свадьбы?

— Милая моя, ну, я так не могу, противно моей натуре. То, конечно, не комсомольская дурь. Понимаешь, маманя не приучила взятки втюхивать... В нашей семье не принято...

— А у нас так вообще золото — презренный металл, — согласилась Марина. — Но мы должны спасти Никиту.

— Понимаешь, не денег жалко. Тут принцип. Меня просто тошнит. Представь, ты купила билет на поезд, а тебя проводница в вагон не пускает: взятку подавай, вишь ли... У врачихи-то зарплата есть, а ей ещё — дары борзыми щенками. Денег мало? Меняй профессию, тётенька.

— И как же клятва Гиппократата? — поддакнула Марина.

Рома погладил её по голове:

— Девочка моя, я тебя и люблю за наивность.

В палате Марина опять подняла этот вопрос.

— Люди не думают, что всё бумерангом возвращается... — ответила Наталя.

— А что тут такого? — возмущённо недоумевала громогласная мама Тома. — Врачи тоже люди. Почему им нельзя делать подарки? Они работают, стараются, зарплата у них маленькая, надо поддерживать.

Потом добавила нравоучительно:

— Профессия врача очень и очень тяжёлая, им витамины нужны, белки, жиры и углеводы. Иначе с делом не справятся.

Марина, вздохнув, подумала, что потом они подарков от всех подряд ждут, а что делать, если человек дать не может, но промолчала. Ночью она увидела сон, впоследствии свершившийся.

В палату струился яркий свет луны. Никита вдруг спрыгнул с койки, где они спали, открыл дверь и побежал в холл.

— Никита, куда ты? — испугалась Марина и бросилась за ним.

Младенец, быстро семеня ножками, устремился вверх, подскакивая, по самым ступеням лестницы. Марина неслась за ним: “Куда ты бежишь от мамы? Не пугай меня”. Но мальчик уже достиг верхней площадки, забрался на пожарную лестницу, с проворностью циркового акробата стал по ней карабкаться и скоро потерялся в тумане, клубившемся в вышине. “Ника! Ника! — рыдала Марина. — Почему ты всё время уходишь?”

Она подняла с подушки заплаканное лицо. Огромная луна излучала в окно свой холодный свет. Рядом спал Никита. Ручки у сына были тёплые, маленький кулачок он подложил под щеку и тихо посапывал.

“Как же здесь тоскливо, и сны такие же... — подумала Марина. — Быстрей бы домой”.

Утром она сообщила Галине Сергеевне, что муж придёт к ней, и с нетерпением ждала Маршалова.

Они встретились после одиннадцати. На её вопросы муж развёл руками:

— Прости, дорогая. Получилось, как в том анекдоте про лошадь: “Ну, не шмогла я...”

— Ты что, Рома? Как так?! — Марина едва сдерживала слёзы.

— Мне чуть не в лоб сказали, что надо платить, и я растерялся. Пока приходил в себя, появилась роскошная блондинка в мехалате, и передо мной вполне цинично произошёл разговор мимики и жестов. Она глазами спрашивает: “Даст?” — а наша мотает головой: “Нет”. Красавица исчезла... Меня злость взяла: девки обалдели, и я промолчал.

— В отпуск собираются на море... — заключила Марина и прибавила: — Бизнес на чужом горе — это омерзительно.

— Какие ты слова знаешь... — присвистнул муж.

— А я где учусь-то? — фыркнула она в ответ.

— Думаю: нейрохирург должен к вам придти в любом случае. Ты же говорила, что это входит в обследование. Так проси у него направление на операцию.

— Легко сказать, я их так боюсь. Кажется, они на меня смотрят, как на потенциальный труп для анатомического театра. — Марина поежилась.

— Ради нашего ребёнка тебе придётся постараться. Всё получится: твоим просьбам отказать невозможно. — Маршалов положил ей руки на плечи. — Дерзай, малыш.

Нейрохирург пришёл после обеда. Женщины готовились к его визиту всей палатой.

Пока молоденький врач обследовал Никиту, Марина смотрела на него в упор, пытаясь заглянуть в глаза.

— Нам нужна операция, вы же знаете, — жалобно проговорила она, наконец.

Хирург безмолвствовал, стараясь не смотреть на Марину.

“Накрутил бедолагу серпентарий”, — подумала она тоскливо.

— Ребёнка лечить надо, не так ли? — бесшумно появилась за его спиной Наталья, врач даже вздрогнул.

— Он такой хорошенький, улыбается всем, — подала голос из своего угла мама Тома и заулыбалась, изображая Никиту.

Нейрохирург отмалчивался.

— Мы видим, что это нормальный ребёнок, — грозно приступила к нему Наталья.

— Да. Нужна операция, — тихо согласился врач. — У нас таких не делают. Вам нужно в институт Бурденко. Сейчас выпишу направление.

Марина боялась верить происходящему. Она уже приготовилась, что их катапультируют назад впустую, и вдруг — чудо. Врач оформлял направление в знаменитый институт.

На следующий день их выписали домой. Марина решила, что события жизни её подбадривают, и она вновь стала победительницей в единоборстве с судьбой. Остальные женщины, получив полное моральное удовлетворение от всего случившегося, счастливо улыбались: знай наших!

Вечером дома устроили небольшой праздничный ужин. Два месяца Марина не была в их квартирке. Никита с удивлением знакомился с новой обстановкой. Запрокинув большую голову, долго рассматривал пёструю гардину на окне, затем переводил любопытный взгляд на шкаф, обои, потолок. А потом стал размахивать руками и “петь”: “Ба... ма... ау...”

— Весёлый парень! — Маршалов поставил для него пластинку с моцартовским “Юпитером”.

— Какие у него длинные пальцы, смотри. — Рома, держа Никиту на руках, показал его ладошку. — Он будет пианистом.

— А может, у него тенор? Как у папы? — Марина прищурилась. — Иногда он так визжит — и впрямь неповторимый альтино. А если серьёзно, он очень нежный, с тонкой организацией и камертоном отзывается на все наши эмоции.

За ужином Марина призналась, что волнуется из-за института Бурденко.

— Возьму все наши деньги и отдам им, только бы сделали операцию. Я устала бояться, что у мальчика голова станет огромной. Кажется, у меня самой на плечах вырастает кочан капусты.

— Здорово, скоро у нас будет два головастика, — отшутился Маршалов. — Завтра схожу с направлением в институт и всё тебе расскажу.

На следующий день он докладывал, что их направление приняли и записали к доктору медицинской наук Эльнеру Александру Матвеевичу.

— Плохо только, что приём назначили на 6 ноября. Это перед самым праздником, значит, будет короткий день. — Маршалов потёр переносицу. — Да ещё в этом году семидесятилетие Октября. Москва кипит, круговерть всякая, иллюминацию делают, к огромной демонстрации готовятся.

Услышав это, Марина нахмурилась.

— Ладно, не горюй, малыш, — успокоил её муж, — на всякий случай поедем пораньше.

Через неделю Никита в красивом чепчике, Марина в кожаной жилетке, а Ромка в новых джинсах adidas явились в кабинет пожилого доктора.

Александр Матвеевич посмотрел на них поверх округлых стёкол очков и мягко, по-доброму улыбнулся.

— Садитесь, пожалуйста, рассказывайте, — сказал он и стал что-то писать.

Марина изливала свою душу, Рома поддакивал, а доктор кивал головой и записывал.

По ходу рассказа она ободрилась, потому что не задавались обычные в последнее время вопросы: курила ли она, пила, кололась, а ещё про бедных кошек и собак, что вызывают токсоплазмоз, пагубный для плода.

Доктор только слушал и улыбался. Потом позвал свою ассистентку Татьяну, и они вдвоём стали обследовать Никиту. Марина внимательно смотрела на белые большие и мягкие руки врача.

— Он у нас любит музыку, — сказал вдруг Рома. — Особенно “Юпитер” Моцарта.

— Подумать только... — заметил доктор.

— А мне кажется, что ему больше нравится Песня ангелов из его Шестой симфонии, — возразила Марина. Ещё она хотела добавить, что Никита совсем не принял Высоцкого: слушая “Коней...”, сын закинул голову, сморщился, и страдание проскользнуло в его гримаске недовольства, но не решилась.

Доктор согласился с обоими родителями, а его ассистентка Татьяна заулыбалась.

Закончив осмотр Никиты, который тот выдержал со спартанским хладнокровием, доктор вернул младенца и попросил родителей немного подождать, стал что-то записывать, а потом заговорил тихим, успокаивающим голосом:

— Это, безусловно, наш пациент. Операционное вмешательство ему необходимо. Эти операции мы делаем уже пять лет, вполне успешно. Только не в самом институте, а в нашем филиале, в детской больнице, метро “Сходненская”. Мы сейчас напишем вашему Никите туда направление.

Марина вскочила со стула и от радости ринулась пожимать доктору руку. За эти страшные месяцы впервые ей сказали ободряющие слова и ни в чём не обвиняли. “Напьются, обкурятся, а потом идиотов рожают...”

— Я думаю, что всё у вас совершится благополучно, — ответил на этот детский порыв радости доктор Эльнер.

Тут Марина и вспомнила о деньгах.

— А больше нам ничего не надо сделать? — спросила она, выразительно глядя доктору в глаза.

Он немного призадумался.

— Надо. Самое главное, вам нельзя заболеть простудой. Тогда операцию придётся отложить, — ответил он серьёзно, развёл руками и покачал головой.

Приём был окончен.

Пока Роман ловил такси, в коридоре перед кабинетом ассистентка Татьяна утешала Марину:

— Не переживайте, Марина! — восторженно восклицала она от избытка эмоций. — Ваша операция пустяк, если посмотреть, на те, которые у нас делают. Подумайте, что легче: нарыв вскрыть или палец отрезать. Так вот, у вас просто нарыв. Всё очень даже хорошо получается.

Марина, чуть не плача, любовалась этой доброй девушкой.

— А я сейчас на свидание иду! — объявила Татьяна. — Решили погулять перед праздником.

Однако время быстро текло, а мужа всё не было.

Быстро смеркалось. Рабочий день закончился. Мимо них, попрощавшись, отправился домой доктор Эльнер. Марина волновалась:

— Я спущусь в вестибюль и подожду там.

— Не надо. — Татьяна удержала её за руку. — Он подождёт. Пусть привыкает. Ведь я же врач.

Роман, наконец, вернулся раздражённый.

— Не поймал такси. Все — мимо, как сговорились. Придётся в метро ехать.

— Досада... — отозвалась Татьяна.

— Нам не так далеко, — спокойно заметила Марина. Они договорились, что после института на праздник поедут в гости к её родителям.

На улице было прохладно, между фонарей на проводах подмигивали разноцветные лампочки, а под ними спешил по домам повеселевший народ. Марина чувствовала себя чужой среди этих праздничных лиц. В метро Никита спокойно спал. Это был тихий и радостный ребёнок.

Пока в больнице на “Сходне” не было свободных мест, Марина занималась собой и Никитой. Овальное зеркало в прихожей рассказало, что от неё остались только большие погрустневшие глаза и огромная грудь. Молока было много, оно лилось ручьём, приходилось подкладывать полотенце, чтобы не вымокал халат. Никита с удовольствием дакал и букал, всегда улыбался и уверенно предвзял жизни свои права.

Однажды в дверь позвонили: на пороге стояла соседка Анна Петровна.

— Мариночка, здравствуй. Я хотела с тобой поговорить. — Она всегда была подвижной, много шутила, и при всей чувствовавшейся твёрдости характера, и даже порой грубоватости, в ней то же время сохранилось какая-то искренняя детскость.

— Проходите, Анна Петровна, — увидев её, Марина сразу заулыбалась.

Она зашла в комнату, посмотрела на спящего Никиту.

— Хороший у вас мальчик.

Потом окинула взглядом Марину и проговорила твёрдо:

— Я пришла сказать тебе, что Никиту надо крестить.

Марина растерялась:

— Зачем?

— Ребёнок же сильно болен. Ему ангел-хранитель нужен в помощники, сама молиться будешь.

— Простите, Анна Петровна, а я неверующая и даже некрещёная... — Марина смущённо развела руками.

Старушка тепло смотрела ей в глаза, казалось, в самую душу.

— Да это понятно. Времена у нас такие, но бывает, что они меняются. Возможно, скоро ты придёшь, а нынче твой ребёнок должен встать под Его защиту.

— Сейчас это никак невозможно, дорогая Анна Петровна.

Марина взялась за голову. Разумеется, на всякий случай, крещение бы не помешало. Но так сразу это дело представилось ей невыносимо тяжёлым. Она подумала, что не сможет его осуществить, а вслух сказала:

— Понимаете, нам предстоит операция. А вдруг он простудится на крещении? И тогда всё сорвётся. А в больнице свободные места быстро занимают.

Эта неожиданная мысль не на шутку перепугала Марину.

— Нет, нет... Мы никак не можем креститься до операции. Когда наши дела закончатся, мы обязательно к этому вернёмся, дорогая Анна Петровна. Большое спасибо за участие в наших бедах.

Анна Петровна грустно покачала головой:

— Ох, девонька, как бы потом не пожалеть. Но ничего не попишешь. Будем верить, что всё обойдётся.

— Поставьте за нас свечку.

— Да уж помолось, как смогу, за оглашенных.

Марина слабо улыбнулась:

— Мы точно все оглашенные.

— Дай-то Бог... — печально проговорила Анна Петровна, повернулась и ушла.

У Марины после этого разговора осталось в душе смущение: она сделала что-то не так. “Но мы никак не можем рисковать, — оправдывалась она перед самой собой. — Крещение сейчас никак невозможно”.

Глава 4. Мир на глазах преображался

Наконец, появилось свободное место, и Рома повёз их в больницу. Издали она напоминала огромный корабль со множеством окон-иллюминаторов.

“Сколько же здесь несчастных детей?” — горестно подумала Марина. Они простились с Ромой до вечера. Муж, вздохнув, сказал, что, кажется, из-за частых отпрашиваний начальство его уволит.

— Неужели у них сердца нет? — воскликнула жалобно Марина.

— Пока стучат, вроде все живые, — пошутил он уже на бегу.

Новая больница была отнюдь не медицинским институтом, куда поступали сугубо несчастные случаи. Пациенты нейрохирургического отделения оказались вполне нормальными детьми. Оправившись, мальчишки носились по коридорам, медсестры их утихомиривали. На её глазах привезли нового младенца с сотрясением мозга. Здесь в основном все лежали с этим же диагнозом. Ничего страшного Марина сначала не увидела.

Поместили их в палату, где совсем не было кроватей — одна стальная колыбелька для Никиты. Марина растерялась и спросила об этом ходившую по палате женщину с больной девочкой на руках.

— Здесь матерям ночевать не положено, — ответила та. — Они должны сцеживаться, оставлять молоко у медсестер и уезжать домой, а утром обратно.

— Как? — потерянно спросила Марина. Она, конечно, могла ночевать у родителей, у свекрови её вид вызывал раздражение. Но оставить Никиту одного на ночь — трагедия. В утомлённом мозгу понёсся мысленный вихрь. Из-за долгого плача у него могла увеличиться голова, ребёнок мог один испугаться, оголодать, заболеть...

— Но это такой бесчеловечный распорядок, а по жизни матери младенцев остаются на ночь, и начальство закрывает на это глаза, — успокоила её соседка, а потом добавила: — А вот спать приходится на стульях, в лучшем случае — на диванчике в холле.

Марина подумала, что всё стерпит, лишь бы Никита стал здоровым. В эту минуту в палату вошёл огромный человек в зелёном халате, с бородкой земского доктора, а ещё — с карими большими и добрыми глазами.

— Виктор Александрович! — представился он. — Я ваш врач и буду делать операцию. Не тревожьтесь, пожалуйста, дорогая мамочка, — говорил он ровным и спокойным баском, — у нас всё благополучно. За пять лет операций ни одного летального исхода. У вас есть вопросы?

Марина стояла, запрокинув голову, и смотрела в доброе лицо своего освободителя. Этот человек должен снять с неё ужас опрокинутой жизни. “Он такой большой и сильный, он справится”.

— Мне не объяснили, в чём суть операции.

— Как бы вам проще сказать... У младенцев постоянно происходит циркуляция воды из головы в организм и обратно. Кстати, у взрослых уже такого не бывает. — Марина слушала доктора и думала, что он немного похож на Чехова, если бы тот чуть поправился. — И если случается нарушение, то жидкость застаивается, соответственно голова начинает увеличиваться. Во время операции в артерию вставляется катетер, который способствует оттоку жидкости. Самочувствие ребёнка нормализуется.

— Как вы меня поддержали, благодарю! А то буквально все, вплоть до института Бурденко, говорили, что это не лечится. У меня ещё просьба: пожалуйста, разрешите мне ночевать в больнице. Я кормлю грудью, трудно будет сцеживаться, оставлять молоко...

— Мда... — проговорил доктор. — У нас регламент такой нескладный. Постараюсь что-нибудь придумать.

— Благодарю вас, Виктор Александрович. — Марина, за последнее время отвыкшая от доброго отношения врачей, смущённо улыбнулась. Она шла тропой войны, и вдруг, при встрече с душевным человеком, расчувствовалась, и сразу захотелось заплакать.

В коридоре, когда она шла в поисках кухни, где хотела заварить чай, её окликнули две мамочки в разноцветных халатах.

— Как тебя зовут? — спросила симпатичная молодка с длинной русой косой.

— Марина.

— Меня Катя, а это Лена. Ты сегодня пришла. Мне на посту Верочка рассказала, у вас тоже гидроцефалия? — говорила она, рассматривая Марину.

— Да, к несчастью. — Марина сразу потемнела лицом.

— Не убивайся, здесь это лечат. У нас через неделю операция. А вас еще помурьжат, обследовать начнут. Так что будь готова к труду и обороне. — Девушка энергично и напористо выплёскивала из себя брызги оптимизма.

— А операции не повлияют плохо на развитие наших детей? — напряжённо спросила Марина.

— Нет. Я слышала, они очень даже умненькие становятся. Когда вода уходит, мозг расширяется и становится больше, чем у обыкновенных людей, — авторитетно заявила Катя.

А Лена пояснила менторским тоном:

— Гидроцефалами были Тургенев, Пушкин, Ленин... И... и кто-то там ещё.

Марина в смущении покачала головой.

— Не веришь?! Сомневаешься?! Посмотри на их черепа! — Катя даже возмутилась Мариной недоверчивостью.

— Да я на днях видела девочку, — продолжала кипятиться Катя, — ей

пять лет назад сделали операцию. Ну, это... их здесь обследуют через время. Головка у неё, конечно, большеватенькая, но зато она уже по-французски вовсю шпарит. Мамочка старается, развивает ребёночка.

— Правда, эти дети нервные. Девочка эта громко плакала в коридоре, — добавила Лена, вздохнув. — Поэтому мальчиков в армию не берут.

— Что здесь такого ужасного? У нас у всех пацаны. — Катя вздёрнула свой носик.

— А я и не против! — нервно хохотнула Лена.

Марина вспомнила о своей заботе.

— А вы здесь не ночуете? Как с этим дела обстоят?

Катя с Леной переглянулись.

— Ночуем. Я-то в предоперационной палате, мне положено, а Лена в холле кантуется. Медсёстрам не хочется по ночам вокруг наших скакать. Они ничего не знают и не видят. Но договариваться с ними надо.

— Они-то не видят, — добавила Лена. — Зато недавно за полночь грянула проверка, так я в шкафу со швабрами пряталась. — И она опять истерично расеялась.

— Да, любому слабб ночью под фонарём оказаться. — поддакнула Катя.

Марина после этого разговора забыла, куда шла, и вернулась обратно в палату. Ника уже проснулся и пытался рассмотреть игрушки, развешанные перед ним Мариной, но глаза его не слушались. “Неужели всё будет так хорошо?” — не верила себе Марина. Вдруг обратила внимание, что за окном сыплются белые хлопья новорождённого снега. Мир на глазах обновлялся, преображался; она обрадовалась, словно это было впервые. Сверху казалось, что деревья, облепленные снегом, — это блестящие кораллы, а земля внизу превращалась в дно воздушного океана.

— Маршалова! — в дверях показалась полненькая медсестра. — Вас переселяют в предоперационную палату.

Марина догадалась, что это та самая Верочка, рассказавшая мамочкам о её прибытии, и бросилась укладывать в сумку разобранные на стуле пелёнки и вещи.

— Пойдёмте, посмотрите, где это. А потом будете собираться.

Марина помчалась за шустренькой Верочкой. Палата, как и везде, была с прозрачными наполовину стенами — тот же аквариум, к которому давно пора было привыкнуть, но зато с кроватью для мамы, детской колыбелькой, с собственным туалетом и раковиной, где можно стирать подгузники, и даже каким-то чуланчиком для их просушки — красота.

— У нас пелёнки больничные дают, прачечная есть. Зачем себе жизнь усложнять? — недоумевала Верочка на её высказывание о палате.

— Так спокойнее. — И Марина и побежала за сыном.

Они переселились очень быстро. Никита не заметил перемены мест. Он проявлял другое качество: наступило время кормления, а мама — столовая — к нему ещё не пришла.

— И-и-и... — Тишина маленькой палаты наполнилась визгом.

— Мы своё дело знаем, — удовлетворённо проговорила Марина, вынимая сына из кроватки. — Ника, по тебе можно часы сверять.

Вечером Марина восторженно передавала Ромке больничные новости. Услышав про Ленина-гидроцефала, он расхохотался.

— Разве ж можно так-то о вожде мирового пролетариата?

— Зато гигант мысли получился. Опять же они все нервные бывают, вот он и бесился. Но наш Ника очень спокойный, — улыбнулась жена.

Букет огромных шапочек белых хризантем источал запах весенней свежести. Марина смотрела на витиеватые лепестки цветов и представляла то время, когда сделают операцию, и они с сыном, наконец, пойдут домой, и она купит ему деревянную лошадь, которую недавно видела в магазине. Коник был совсем, как живой, с густой гривой и выющимся колючками хвостом. Мечтая, она прослушала, что говорил Маршалов о своей работе.

Вдруг оба с удивлением заметили, что, оказываясь, в их сторону кричит уборщица, мывшая вестибюль. Она катилась со шваброй, как таран, требуя визгливым фальцетом:

— Ноги... Убрать ноги!

Молодые вскочили и пошли на другое место.

— Рожают детей в семнадцать лет, а они нездоровые получаются, — не унималась старушка.

— Не обращай внимания, — тихо проговорил Рома.

Однако Марина ответила:

— Вы ошиблись, мне двадцать два года.

Старушка осеклась.

— Да, тут вас разберёшь, — ответила она миролюбивее. — Детишек жалко. Вон сколько их больных, потому что у родителей мозгов нет... — под конец фразы она вновь перешла на фальцет и огласила им вестибульное пространство.

С букетом цветов и большой сумкой продуктов Марина весело возвращалась к себе в палату. Вдруг замерла на месте, сердце болезненно сжалось. Навстречу по коридору шла Елена с сыном на руках. Его огромная голова с непомерно увеличенным лбом лежала на узком плече матери. Это был очень крупный ребёнок; оставалось загадкой, как такая хрупкая женщина могла его нести.

— Цветы? — спросила Елена удивлённо.

— Муж любимый подарил. Он такой умница, каждый день нас посещает.

— А мой не заходил даже в прежнюю больницу, хотя она была напротив его работы. — Елена подняла глаза к потолку, вздохнула и пошла дальше.

Марине вспомнился медицинский институт, стало стыдно, что она невзначай похвасталась перед человеком в горе, и, погрузившись, пошла дальше.

Начались обследования, дни тянулись медленно. Долго пришлось ждать ультразвука. Тогда на всю Москву аппаратов УЗИ было раз-два и обчёлся. Однако в их больнице такой хоть и один, но имелся. Очередь на него выстроилась громадная. Надо было ждать, время ползло черепашьим шагом. Хорошо, что можно было самой стирать; когда Марина трудилась, печаль приглушалась.

Однажды в палату зашёл Виктор Александрович.

— Марина Владимировна, у меня к вам большая просьба.

— Что случилось? — Марина, как всегда, при разговоре с врачами, внутренне напряглась.

— Вы у нас вызываете особенное доверие, поэтому мы просим присмотреть за отказным ребенком. У него приключилось сотрясение мозга, он временно поступил к нам на лечение. Мы уверены, что вы его не обидите... — В конце своей длинной речи он покачал головой.

— Да, — растерянно согласилась Марина, — не обидим.

— Благодарим вас, душечка. Знаете, жалко таких детишек.

— Жалко. — опять согласилась Марина, и у неё заболело сердце.

Сразу после этого разговора в палате появилась ещё одна кровать, и вскоре принесли младенчика.

— Его зовут Миша, — сказала всегда сосредоточенная и немногословная постовая медсестра Валентина. — Вот пелёнки, бутылка, смеси. Желая сил и бодрости.

— Спасибо.

Марина стала рассматривать мальчика восточной внешности: худенький, смугленький, носик широкий. Два чёрных внимательных глаза так и впились в неё. Миша сразу заплакал: ему хотелось любви и внимания. Она взяла младенца на руки и почувствовала в этом завёрнутом в полотно живом жгутике силу и упругость мышц. Он всё время шевелился, словно стараясь вырваться из пелёнок. Движения Никиты всегда были размеренны и даже вялы, он, как ни пытался, но из-за “солнечного затмения” никак не мог её рассмотреть. А Марине так хотелось увидеть себя в голубых глазах сына и встретиться с ним взглядом.

Покормив Мишу смесью, Марина с Никитой занялись своим собственным ужином. За этим занятием их застала Катерина.

— Ты что, грудь кормишь? — удивилась она. — Молодец какая.

Катя одобрительно посмотрела на Марину.

— У меня молока не было, после двух месяцев перешла на смесь, сейчас вот опять закурила. Бориске не нравится запах сигарет, он морщится от моего халата, даже после нескольких затыжек на лестнице. Не знаю, что и делать. Бросить-то не могу.

Марина смотрела на неё молча.

— Я пришла сиротку увидеть. Думаю, может, взять его себе? Ой, это перусский ребёнок! Надо же, какой вертлявый. Натура такая, надо же.

Марина подумала, что эта девушка комментирует всё, что увидит: сто слов в минуту, и ещё промелькнуло в сознании, что у детей нет национальности, ведь они об этом не знают.

— А твой Никита совсем не похож на гидроцефалика, у него вид ребёнка, получившего сотряс мозгов. А у Ленки малец большеголовый... — Она на секунду болезненно сжала губы. — Мужик ей не помогает совсем. Бедная она.

Катюша продолжала строчить словами, как из пулемёта.

— У нас уже через три дня операция — боюсь немного.

— И я тоже нервничаю, — призналась Марина.

— Мы прорвёмся, мы пскопские...

С появлением Миши больничная жизнь семейства Маршаловых изменилась. Новый жилец палаты часто кричал, требуя к себе внимания. Медсестра Ирина Петровна, с солидным стажем работы, пояснила, что надо постоять у его кровати, но не брать на руки, и он успокоится.

— Если их всех качать, то у нянечки в приюте сил не хватит. Она падёт там же смертью храбрых. Поэтому их не приучают к рукам, — пояснила Ирина Петровна.

Всегда спокойный Никита, почувствовав неладное, тоже стал нервничать и плакать. Чаще всего малыши кричали, соблюдая очередность: сначала один, через несколько минут другой. Хотя иногда она принимались реветь дуэтом, тогда Марина металась между их кроватками. Брала Нику на руки и стояла над Мишей, а тот заливался криком. Марина даже немного сердилась, сколько в нём было требовательности и воли к жизни, чего она не замечала в Никите. Миша был здоровый ребёнок, хоть и худой, все рёбрышки видны, но такой живчик. А хорошенький Никита, напоминавший пухленьких ангелочков с “Сикстинской Мадонны”, всё-таки был вялым и не сосредоточенным. “Это болезнь”, — объясняла себе Марина.

— Давай усыновим Мишку, будет у нас двое мальчишек, — однажды предложил Роман.

— Я не смогу это вытянуть! — в отчаянии возразила Марина. — Один с головой больной, другой слишком активный, и оба кричат. Я с ними с ума сойду.

К этому разговору они больше не возвращались.

Однажды мальчики расплакались, но как-то тихо и жалостно. А на Марину, стоящую в комнатке с умывальником, вдруг нашёл ледяной ужас, даже спина покрылась мурашками.словно в палату вошло нечто отвратительное и страшное. Дети, вызывая её, тоскливо всхлипывали, но Марина не решалась взяться за ручку двери. “Это нервы”. — успокаивала она себя, и когда, пересилив страх, вышла из подсобки, в палате, конечно, никого не оказалось. “Как жаль, что нет Бога. Не у Кого просить помощи. Тоска зелёная, а не жизнь”.

Вскоре она заметила, что с появлением Миши иногда в голосе Никиты стали проявляться требовательные нотки.

— Набрался манер, — бурчала Марина, развешивая бельё.

Когда она взялась заклеивать окна — очень похолодало, зима окончательно вошла в свои права и грянули морозы, — Никита вдруг разорался диким басом.

— Уа... Уа-а-а! — рычал её ребенок, до этого момента обычно мяукавший по-кошачьи: “Ми-у... Ми-у...”

— Не кричи на меня. Не видишь, я делом занимаюсь? — оправдывалась Марина, пропихивая вату в щели рамы. — Иначе мы все замёрзнем.

— У-а, у-а... — прямо-таки ревел в ответ Никита, словно чужим голосом, даже Миша молчал и, часто мигая своими чёрными агатами, удивлённо прислушивался к этим новым звукам.

— Если ты будешь грубить, я к тебе совсем не подойду, — объясняла сыну Марина ровным голосом.

В палату вбежала Лена.

— Ты чего? — спросила она удивлённо. — Я думала, тебя нет, а ребёнок надрывается. А ты, оказывается, здесь?!

— Воспитанием занимаюсь, не подхожу, чтобы он больше так ужасно не орал. Мне кажется, если один раз в такой момент подойдешь, он всё время так вопить начнёт.

— Нельзя ведь, он у тебя больной. Не понимаешь?

Но Никита неожиданно замолчал. Больше таких криков она не слышала. Всё возвратилось на круги своя, и эта история осталась для Марины загадкой: “Что на него нашло?”

Подошла очередь делать ультразвук. Марина узнала, что их гидроцефалия окклюзионная — операция неизбежна. На экране монитора Марине показали некое маленькое пятнышко, перекрывшее канал, по которому шла вода.

— Что это? — спросила она.

— Возможно, гематома, — ответил врач. — У него не было травм?

Марине сразу вспомнился чей-то крик в родилке: “Шею зажало, режь!” — и тихо ответила:

— Наверное, родовая.

В этот же день у Миши поднялась температура. Из опасения, как бы не заразить Никиту перед операцией, его переселили в соседнюю палату. Марина успела к нему привыкнуть и чуть загрустила.

Женщину в палате, куда переселили Мишу, недавно положили с сыном с обычным сотрясением мозга. Марина с ней не успевала познакомиться, всё время приходилось бегать с Никой по разным кабинетам. А через несколько дней она увидела за стеклом картину, поразившую в самое сердце.

У Миши начались опрелости, и врач прописал ему ванночки. Мама по соседству взяла обыкновенный детский горшок, что-то туда насыпала и стала сажать на него Мишу. Марина испугалась, как бы у мальчика не случилось беда со спиной, ведь ему было всего месяца три. В это время к соседке зашли две другие мамы, но она продолжала свои манипуляции. Маленький голенький человечек жалобно плакал, голова его, ещё не державшаяся шей, свисала, как у тряпичной куколки, а женщины весело это обсуждали. Марина из-за стекла не слышала, о чём они говорят, но вид худенького Миши с дёргающейся головой так её потряс, что она залезла под стул, дабы не быть заметной в прозрачных стенах, и там рыдала, не зная, чем и как ему помочь.

Катя, рассуждавшая о его усыновлении, уже выписалась домой, и рассказать это было некому. “У них здоровые дети, они не пережили ужасов... Нет жалости. Сытый голодного не разумеет...” — изливала она своё горе холодному полу.

Вскоре Мишу перевели в другую, отдалённую от них палату. В последний раз она видела его, когда ватага ребят бежала с ним по коридору. Марина остановила мальчишку, державшего младенца на руках.

— Ведь ты можешь его уронить. Положи обратно в кровать, это тебе не игрушка.

Но сорванец увернулся, заявив, что он из многодетной семьи и знает, как обращаться с детьми. Медсестра по просьбе Марины забрала у озорников Мишу и куда-то с ним пошла. Больше Марина его никогда в жизни не видела. Уже после всего случившегося она иногда думала, что, возможно, если бы взяла себе этого ребёнка, то её жизнь пошла бы по-другому. Может быть, в лице этого сироты была её судьба?

Но в тот момент на неё накатывали другие волнения. У ребёнка Лены неожиданно начались послеоперационные осложнения. И хотя всё разрешилось благополучно, однако грядущее испытание начинало вызывать у неё безотчётный страх.

Приближался Новый год. Операция намечалась на днях, а затем их должны были выписать накануне праздника. В последнее время они полובила ходить с Никитой по палате и всё вокруг разглядывать. Марина объясняла ему, что это за вещь, или напевала нежные мелодии.

В тот вечер она вдруг вспомнила: “Как прекрасен этот мир, посмотри”. Они подошли к огромному больничному окну. За ним раскинулся великий простор: кружащая за стеклом метелица, далеко внизу пробегала широкая, занесённая снежком дорога, горели яркие фонари, весело подмигивали разноцветные светящиеся огоньки.

От представшей перед ним феерической картины поражённый Ника выдохнул: “Ах!” — прижал ладошки к груди и так замер с приоткрытым от восторга и удивления ротиком и вскинутыми вверх бровками. Марина представила, как он обрадуется, увидев новогоднюю ёлку. Таким он остался в её памяти навсегда.

Глава 5. Все было, как во сне

Накануне операции Роману дали пропуск в палату, чтобы он посмотрел на сына. Это входило в больничные правила. Дело было в воскресенье. Поэтому вместе они могли пробыть целый день. Рома пришёл печальный. Посмотрел как-то отстранённо на сына, сказал, что он заметно вырос, сел у окна и задумался. Марина сначала весело щебетала, но, заметив, что муж её не слышит, спросила:

— Ты чего такой?

— А какой? Обыкновенный... — пожал он плечами.

— Мне показалось, расстроенный.

— Дрянь в дороге случилась. Ехал к вам. На станцию подошла электричка, двери открылись, а в тамбуре лежит мёртвый, и мужик попросил, чтобы помог его вынести.

Наступила тишина. Марина за последнее время научилась отгораживаться внутри от ужасов бытия. Она не вняла этому рассказу, а стала расчёсывать примятые кудри мужа.

— Ты просто устал... Мы все ужасно устали.

Дальше события понеслись, как в чёртовом колесе.

В понедельник пришёл Виктор Александрович, опять подбодрил её:

— Не тревожьтесь. У вас такое испуганное лицо. Здесь опасность только в возможном отторжении. Но на моем веку такого ещё не было.

Марина не поняла, о чём речь, но у неё тоскливо сжалось сердце.

Пока продолжалась операция, она прибирала в палате. Надо завтра встретить сына в полном порядке и чистоте. Медсестра Верочка сказала ей, что поскольку ребёнка нет в палате, она не может быть в больнице.

— Всё равно его после отправят в реанимацию, — пояснила она. — Приходите завтра часам к двенадцати. Всё будет хорошо.

Когда она пошла в гардероб, то в коридоре встретила Виктора Александровича. Их врач-богатырь выглядел ужасно уставшим и, как показалось, похуевшим, у него даже морщины появились под глазами. Будто сдутый воздушный шар.

— Всё прошло успешно, — сказал он, устало улыбнувшись.

— Благодарю вас, — поклонилась ему Марина.

“Сколько же у него сил и здоровья ушло на эту операцию? Тяжкая работа, когда жизни человеческие в руках, — думала она, спускаясь пешком по лестнице. — Что же ему подарить при выписке? Только не коньяк, говорят, хирурги от этого спиваются. Он чудесный”.

До её ухода из больницы успели сговориться, что они с Ромой придут ночевать к Инне Сергеевне. Маршалов пояснил, что мать обижается, думает, что её всё время обходят стороной. В этот день на работе была не её смена, она оказалась свободной. Марина, предупредив маму, немного волнуясь, отправилась к Инне Сергеевне.

— Признаться, не ожидала, что ты начнёшь горы сворачивать, — говорила свекровь, наливая чай.

— Ничего я не сворачиваю, просто борюсь за ребёнка, — ответила обрадованная Марина.

— Родить его надо было нормально. Я ж тебе советовала прибавить недельку-другую. — Инна Сергеевна не сдержалась, хотя настраивалась обойтись без упреков, понимая, что невестка и так хватила тяжкого.

— Что же теперь об этом... — тихо проговорила Марина, разглаживая на столе скатерть.

— Ладно. Быстрее бы всё это прокатило, — тяжело вздохнула свекровь.

На следующий день Марина с утра была в больнице. Спящего Никиту привезли к обеду на каталке.

Когда проснулся, они впервые посмотрели друг другу в глаза. Марина испугалась его требовательного взгляда. Это был не прежний милый, всегда улыбающийся Ника. Он будто стал другим, повзрослел за эту ночь. И словно неумолимый судья смотрел в её душу.

— Никита, это я — твоя мама. Ты узнал меня? — растерянно спросила Марина. В ответ мальчик заплакал.

Дальше события стали развиваться стремительно. Никита не хотел брать грудь, пил только клюквенный морс. К вечеру у него поднялась температура. Марина позвонила мужу на работу, чтобы он не приходил, потому что сын очень слаб. Врачи часто заходили к ним в палату и осматривали Никиту. Виктор Александрович сказал, что началось то самое отторжение, которое никак не предполагалось.

— Что это такое? — испугалась Марина.

— Организм не принимает вживляемое в него чужеродное тело. Происходит иммунологическая реакция, они начинают бороться с неизвестным, что сейчас и происходит. Но мы будем спасать вашего ребёнка.

Ночь они не спали. Никита кричал, Марина раскачивала его на руках. Она так мечтала, чтобы ребёнок видел её без всяких затмений. Но сейчас его взгляд был невыносим. Никита сурово смотрел на мать и плакал навзрыд, а она ничем не могла помочь, всё время хотелось от него спрятаться. Температура тридцать девять не опускалась, хотя врачи прилагали много сил, чтобы это переломить.

Днём прямо в палате произошёл небольшой консилиум. Медики решили, что нужен сильный укол, Марина не услышала названия. Появилась медсестра Ирина Петровна и сделала этот важный укол. После чего из соседнего бокса к ней зашла новая соседка, мама травмированной девочки. Его обитательницы менялись быстро, только они с Никитой перемогались здесь уже больше месяца.

— Здравствуйте, вижу, что у вас тяжело, врачи всё время ходят...

Никита несколько утих.

— Да, у нас всё очень плохо. — У Марины не было сил заплакать. Внутри всё окаменело.

— А ребёнок у вас крещённый?

— Нет, — покачала головой Марина.

— Сейчас я попробую вам помочь, — заволновалась соседка.

Взяла стакан с тумбочки и набрала в подсобке воды под краном. Затем она встала над Никитой, который в этот момент перестал кричать, окропила его с ног до головы водой и спокойно с расстановкой троекратно перекрестила. Потом склонила голову, словно задумалась. Марина почему-то решила, что она молится. Через несколько минут женщина выпрямилась.

— Надеюсь, это поможет вашему ребёнку.

Вскоре температура спала, и Никита впервые после операции уснул. Марина заглянула к соседке и сказала, что у мальчика спала температура.

— Видите, — ответила она, улыбаясь. — Я очень рада.

Но сама Марина мучилась сомнениями. Что на самом деле помогло? То ли, что его перекрестили троекратно, или укол? Для неё это было важно. Если простой крестный знак так помогает, то можно предположить, что Бог есть, а если всё-таки укол?.. До того, что могли помочь оба действия — божественное и человеческое, — она не додумалась.

Никита проспал ночь спокойно, а утром всё пошло по очередному кругу: температура... взрывной плач... отчаяние... Виктор Александрович просил её не давать сыну лежать в кровати, а носить на руках, чтобы не получилось воспаление лёгких.

Затем их отправили сдавать кровь. Врач сидела в кабинете переполнённая.

— Представляешь, — чуть не плакала она в трубку телефона, — прихожу на работу, а на моём халате лежит мёртвая птичка. В форточку, наверное, влетела. Какой ужас... Очень плохая примета.

Марина вся сжалась в комок и почувствовала себя этой птицей.

Состояние Никиты оставалось стабильно тяжёлым, у него случилось воспаление лёгких, а в довершение всего начался сепсис. Последние две ночи они совсем не спали. От усталости и безысходности Марине стало казаться, что её голова — это куриное яйцо. Она представляла, как стукнется ею об стенку, и по ней, как желток, польются мозги, но зато станет легко.

Никиту вновь забрали в реанимацию. Марина пришла к маме и, ничего не говоря, рухнула на кровать. Утром они вместе отправились в больницу. Она боялась ехать туда одна. По дороге в её воспалённом мозгу стали появляться звуки равеллевской “Паваны”. С ней случалось подобное в минуты сильнейших потрясений. Вероятно, это была защитная реакция души, интуитивная потребность перевести внимание от переживаний на музыку. Приходило это само, без участия её воли и желания. Когда потекли первые тихие, медленные, чуть глуховатые звуки струнных, хрипловатые фаготы, всхлипы флейты, Марина стала вслушиваться в музыку, и скоро она заполнила всю её субстанцию. Сознание уплывало, она словно забыла, куда едет и зачем. Мысль не могла зацепиться за реальность. Она силилась думать о Никите, но тревожные всплески арфа, трубные гласы поющего гобоя и визг кларнетов, заглушая проблески памяти, становились громче, поднимались всё выше, закручиваясь в спираль...

У Марины не было пропуска в их отделение. Когда она позвонила туда, ответили, что Виктор Александрович просил подойти к нему в кабинет. Пропуска выписали на обеих. Поднимаясь по лестнице, Марина склонила голову, её давил оглушительный музыкальный хаос песни, воя и плача. Они прошли в кабинет Виктора Александровича, поздоровались, сели на стул. Врач молчал несколько минут, а потом сказал дрогнувшим голосом:

— Марина Владимировна, я должен вам сказать, что сегодня ночью, в три часа семнадцать минут вашего сына Никиты не стало.

Марина внимательно смотрела на него с застывшим выражением лица, в ушах стояла какофония звуков, и сознание никак не могло сквозь них прорваться. Она видела, что доктор говорит, но слов не осознала.

Рядом зарыдала мама, тогда Марина поняла — это конец. И, глядя на неё, тоже тихо заплакала.

— Невероятно прискорбно... в нашей больнице первый случай после этой операции... — оправдывался перед ними огромный добрый поникший Виктор Александрович.

“У него будет гроза, — подумалось Марине, — все несчастны, а я погибла”. Хотелось лечь на пол, и чтобы её не трогали, а нужно было идти в палату, собирать вещи.

— Сегодня католическое Рождество... — говорила кому-то по телефону медсестра Верочка. Увидев Марину, кивнула и, перестав улыбаться, опустила глаза.

Дальше происходящее напоминало сон. Рома взял все хлопоты на себя. Ходил за необходимыми справками, близился Новый год, нужно было торопиться с формальностями.

Бурливая, радостная Москва готовилась к своему семейному, самому светлому в Союзе празднику. Люди ходили с восторженными лицами, на фонарях опять сверкали гирлянды, а на Красной площади и в домах украшались ёлки. Марина с недоумением смотрела на кружение приближающегося праздника. Веселились даже работники похоронного агентства.

— Подожди меня на улице. — Муж выпроводил растерянную Марину из “Ритуала”.

Он собирался сам ходить по инстанциям, но Марина не могла одна оставаться дома и плелась по улицам и конторам следом за мужем, как при-вязанная. Она три месяца ни днём, ни ночью не расставалась с их сыном и хотела ещё ему послужить. Да и не знала, куда себя пристроить и что делать дальше. Словно провалилась в чёрную дыру.

Марина мыслью стремилась в морг, за три дня она безумно стосковалась по своему младенцу. Никита со светлым лицом, но с таким сосредоточенным видом, словно взрослый человек, раскрывший тайну смысла нашего бытия, лежал на маленькой кружевной подушке. Марина, наконец, убедилась, что это всё: Никита больше никогда ей не улыбнётся. Сын всё-таки ушёл, оставив за собой звенящую пустоту и бессмысленность.

Холодный автобус, маленький гробик у неё на коленях. Совсем не так она собиралась встретить новогодний праздник. Когда первые комья земли упали на крышку, она подумала, что хоронит свою самую большую любовь.

Сразу после поминального обеда они уехали в подмосковную квартирку, где Марина, наконец, могла выплакивать своё чёрное горе. Она долго держалась, поскольку не хотела мучить родителей. Так пришёл Новый, перестрочный год.

На девятый день, уже несколько успокоенные, они сидела на заметённой снегом скамейке у могилы её любимых бабушки и сына. Рома прервал долгое молчание:

— Когда ты позвонила мне из роддома, я слушал романс “Не уходи, побудь со мной”, и на душе кошки скребли. Ты сказала: у нас сын, а мне вдруг стало так тоскливо, что захотелось взвыть на лампочку.

— Наш ребёнок был очень тонкой натурой и больше всего любил свободу. Он не смог жить сшитыми трубками. Ему необходимы были красота и естественность. — Она тяжело вздохнула. — Лучше бы он потерпел.

Глава 6. Я желаю вам счастья

Она не ушла от Ромы, как в минуты больничного отчаяния рисовала это в своём воображении. Наоборот, Марина за время борьбы с судьбой стала испытывать к мужу чувство безмерной благодарности и нечто сродни собачьей преданности. Горе её сильно изменило. Не потому, что “привычка свыше дана, замена счастью она”, тут было иное. Два человека, хвативших лиха, становятся родственными по-особому.

Марина стала бояться потерять Романа и усыхала от тоски по ребёнку. Продлив академический отпуск в институте, залегла в постель. Утром не хотелось вставать, и она поднималась, только чтобы приготовить ужин к приходу мужа. Не было желания ни наряжаться, ни красить ресницы, ни принимать гостей. Однажды друзья-хористы нагрянули к ним, желая поддержать. Марина, не выдержав весёлых песен и беззаботных разговоров, поздно ночью ушла во двор и, сидя на качелях, громко плакала, думая обиженно: какие бессердечные эгоисты. У меня ребёнок умер, а они радуются. Ничем она не интересовалась в то время, никуда не ходила и ничего не хотела.

Зато Маршалов был, кажется, доволен. Наконец Марина принадлежала только ему одному. Жена тихо сидела дома, с тяжёлыми мыслями, отчего сердце его сжималось от сострадания и нежности. Всегда хотелось её чем-то порадовать: купить, что она хотела, повести на концерт. Марина, улыбаясь, смотрела ему в глаза (они даже привыкли общаться взглядами, сохраняя молчание) и беспрекословно исполняла все советы и пожелания. Роман с удовлетворением чувствовал, что она искренне к нему привязана. Однажды даже поразился, насколько это было сильно. Летом, когда отдыхали на море в Крыму, он решил залезть на осколок башни Генуэзской крепости. Будучи уже у вершины, Ромка вдруг услышал за собой тихое пыхтение. Обернулся и вздрогнул. Марина, вжавшись в камни, как напуганная кошка, медленно ползла вслед за ним.

— Ты что, малыш, делаешь?!

Он протянул руку жене, мало что соображавшей от страха, и помог взобраться. Они вместе сидели под облаками на пике выступа стены. Марина с ужасом смотрела вниз, где волновалась морская бездна, плохо понимая, как здесь очутилась и спустится ли обратно. Она немного заскучала, стоя одна под башней, и полезла вслед за мужем. Потом сильно испугалась, но спуститься назад казалось ещё страшнее, и она продолжала карабкаться вверх. Ромка, обнимая жену, громко смеялся, другие стихийные скалолазы с интересом смотрели в их сторону.

— Да вы шо?! — возмутилась хозяйка их съёмной комнаты, услышав, куда они забирались. — Сколько народу поубывалось на второй башне, нехай вона паде.

Марина вздрогнула. Втихомолку, не посвящая в это Рому, она уже сроднилась с мыслью, что скоро умрёт. Однако уйти в мир иной она должна крепёной. Сколько потом ни силилась, не могла вспомнить, откуда появилось это убеждение или, точнее, призыв. Пришёл он непонятно как и заполнил всё её сознание, лишь об этом и думалось. Однажды она пошла к старой соседке.

— Здравствуйте, Анна Петровна.

— О, Мариночка! Проходи.

Марина встала у порога, вздохнула и произнесла, как в воду холодную нырнула:

— Мне надо креститься.

— Да, надо, — заулыбалась Анна Петровна. — За Никитушку будешь молиться, он этого ждёт.

Марина вопросительно посмотрела на добрую старушку и продолжала:

— Честно скажу, я не пойму, верю ли в Бога и есть ли там что-то... — Она вздохнула. — Но точно знаю, что мне надо креститься.

— Да, там всё есть, не сомневайся. И тебе надо креститься, — подтвердила Анна Петровна.

— Только, если можно, подальше от Москвы. Мой папа занимает должность декана в институте.

— Разумеется, в Москве это делать не будем. У меня есть знакомый батюшка, прозорливец. Скоро поеду к нему посоветоваться о своих делах, и о тебе договорюсь.

— Благодарю вас. — Марина облегчённо вздохнула.

Крещение совершилось в небольшом посёлке. Церковь оказалась просто домовым храмом: обыкновенное невысокое строение с маленьким куполом на крыше.

Во время таинства она впервые услышала “Символ веры”, рассказывающий о Боге Отце, Сыне и Святом Духе, об этом она никогда не думала. Священник читал много разных молитв, и вдруг спросил, отрекается ли она от сатаны и всех дел его. Марина подтвердила, что отрекается, но подумала: “А какие у него дела?” В самом конце батюшка надел на неё крест, а затем вынес красивую чашу и причастил Святых Таин: дал ей из маленькой ложечки вина с крохами хлеба. Она знала, что это — Божественные Тело и Кровь.

После завершения крещения батюшка сказал много добрых слов, заметив обручальное кольцо, немного помолчал, а потом вдруг произнёс: “Не будьте рабой у мужа”. Марина удивлённо посмотрела на убелённого сединами старца и ничего не ответила. Впоследствии, правда, пришло на ум, что вид у Марины понурый, и батюшка решил, что это муж её затюкал.

Незаметно пролетело два года. Марина готовилась к защите диплома и часто приезжала домой поздно. Роман цедил сквозь зубы слова недовольства. Иногда вздыхал, что она его не любит.

— Я так устаю, забочусь о тебе: готовлю, стираю, мою. Что же ещё надо? — отвечала Марина в сердцах.

Мама прозрательно намекала, что муж хоть чем-то должен помогать по дому, она так похудела и вид имеет замученный. Марина отмалчивалась. “Да, у него мать-агрегат на тыщу киловатт, горы для него сворачивала. Куда мне за ней гоняться. Ромчик не привык трудиться по дому. Да и на работе уморился, кормилец”.

— Усталость — это не любовь, это обязаловка! — продолжал страдать Маршалов.

— А может, жертва? — обижалась Марина.

— Ой, только вот не надо, пожалуйста, шекспировских трагедий! Ты всё так легкомысленно делаешь, в куклы играла, теперь в жену играешься. Не семья, а детский сад какой-то.

— Здравсьте, я ваша тётя! Ты хочешь, чтобы я ходила в драном халате, шаркала тапочками и била тебя по голове поварёшкой? Изволь! — Марина повышала голос, давая понять, что разговор окончен. — Начнём настоящую семейную жизнь! Счас как возьмусь за скалку!..

Мелкие ссоры обычно разрешались смехом, правда, немного грустным. Ведь детей у них по-прежнему не было. Однажды им позвонила Надя, с которой они лежали в детской больнице. Рассказала, что Вова умер, но у них с мужем родилась девочка. Заполнять пустоту семейной жизни становилось сложно, особенно Маршалову, который не знал, куда себя девать одинокими вечерами. Однажды от тоски он принялся выпиливать из реек цветочную подставку — в честь Матисса, объясняя: “Разведём тут настурции и будем вокруг них танцевать”. В Пушкинский музей они больше не ходили. Марина уставала в институте, да и настроение было совсем не поэтическим.

Маршалов обречённо чувствовал, что бытовуха его засасывает и давит. Он больше не видел радости и особого смысла в жизни, творчество ушло, словно не бывало. Появилась хандра и раздражительность даже на жену: он привык к своей музе, она вдохновляла его уже не так, как в ушедшие годы. Работа удовлетворения не приносила, трамбовала, вокруг среда была явно не его, немного душевно покорёжила и забирала все силы и время. Веселило, когда пивка с ребятами выпьешь, покуролесишь немного.

Когда муж задерживался на работе, Марина пила чай с Анной Петровной, которая её теперь опекала и не давала грустить. Беседы за чаем о жизни и кулинарии породили в Марине желание поговорить. Приближался Рождественский пост, поэтому старушка так и сыпала всякими обворожительными постными рецептиками: “дёшево и сердито”. В последнее время с продуктами стало совсем напряжённо, приходилось долго торчать в очередях, и на этом фоне так завлекательно выглядели блюда Анны Петровны. Один гороховый кисель, медовая коврижка или сбитень чего стоили! Да и все вокруг говорили, что для здоровья это необыкновенно полезно. Марина спросила совета у мужа.

— Попробуй, — согласился Ромка. — Когда мы заходили в храм, у тебя лицо просветлело. Только, чур, меня кормить по-человечески.

Однако надолго готовить по два супа и всего прочего Марины не хватило. Перепробовав всяческие постные изыски, она поняла, что устала от стряпни, и на третьей неделе поста решила завершить неудавшийся эксперимент. Как вдруг...

Под вечер в их магазин точно по заказу завезли множество разных вкусокостей, весть быстро разнеслась по округе. Все словно окунулись с головой в доперестроечные времена. Марина обрадовалась, что её пост кончился. Выстояв долгую томительную очередь, набрала “ножек Буша”, костромского сыра, молочных сосисок и, чуть не пританцовывая, пошла домой. Что случилось потом, сразу даже и не поняла. Марина не заметила, как сзади к ней подскочил паренёк, лишь с удивлением почувствовала, что пакет с продуктами вдруг стал лёгким. Через мгновение послышался хлопок лопнувшего целлофана, громкий противный хохот, и Марина уже лежала в снегу, а её ушибленная рука, сжимала ручки от пакета, который скрылся вместе с налётчиком за углом дома. Незнакомая женщина закричала и погналась было за ним, но потом махнула рукой и стала помогать Марине подняться. Дома Рома положил на большую руку лёд: похоже было на растяжение.

— Радуйся, что по голове не стукнул.

Марина только сейчас почувствовала неосознанный страх, почему-то подумалось, что всё это произошло не просто так.

— Это я постовать бросила, поэтому у меня сосиски отняли, — проговорила она серьёзно.

— Не городи чушь! — ответил Маршалов. — И чё тебя понесло в этот магазин?

— Да! Чего ради?! Мы ведь святым духом питаемся... Тебя же этот вопрос совсем не интересует.

Она долго молчала и напряжённо о чём-то думала, а потом заявила строгим голосом:

— Пойду на исповедь — это был знак.

— Сходи-ка. Проветрись. — Маршалов вздохнул.

С этого момента жизнь Марины развернулась на сто восемьдесят градусов.

Рядом с домом храма не обреталось, и нужно было ехать на автобусе в другой городок. После злопамятного дня Марина, продолжив держать пост, под руководством Анны Петровны собралась причаститься. В субботу вечером они отправились в храм.

— Ты будешь исповедоваться у отца Святослава, к нему вся молодёжь ходит, — поясняла на ходу старушка.

Уже на пороге церковного дворика Марина почувствовала, что переходит в другое измерение, а душу наполнило умиротворение. В церкви пребывал уют и покой, как дома. Марине понравилось, что с огромной иконы на неё приветливо смотрела Богородица, по всему храму переливался живой трепет свечей, в воздухе стоял тонкий аромат ладана, где-то вверху пели негромко и душевно. Слов она не понимала, но на сердце так потеплело, что, сев на скамейку, Марина унеслась мыслями в тихие воспоминания всего самого хорошего.

Вдруг перед ней материализовалась Анна Петровна и повела, как она объяснила, в правый придел, куда вышел исповедовать отец Святослав. Марина увидела молодого, радостного батюшку, вокруг которого, как у медовых сот, собралась симпатичная молодёжь. Правда, юношество стояло молча, кто — улыбаясь, а кто — сосредоточенно глядя в пол, но все в направлении к одной точке притяжения — отцу Святославу.

Они с Анной Петровной пристроились к ним в самом конце. Слушая исповедников, батюшка время от времени поглядывал в их сторону, а потом позвал к себе. Марина, отвечая на его вопросы, успела в нескольких словах сказать о своих мучениях и страхах. Вспоминая первую исповедь, она размышляла, как после неё стало легко, и мир вокруг оказался добрым и приветливым. Впоследствии, когда всё вошло в привычное русло, столь яркого света в душе уже не отражалось, но легче становилось всегда.

Вечером Маршалов, посмотрев на эйфоричное выражение её лица, спросил:

— Полегчало? Ну, и хорошо.

Он с довольной миной вырезал подставку для её зеркальца.

Однако, когда по выходным дням женушка зачастила в храм, Маршалов начал сердиться и подозревать неладное, да и одному-то скучно сидеть. Однажды в субботу он отправился вслед Марине, посмотреть происходящее на этой самой исповеди.

— Что у вас там за тэт-а-тэтство делается? — говорил он, смеясь.

Стоять в храме Маршалову было трудновато, мутило от запаха ладана, тело стало тяжёлым, как намокшая вата, вся его левая сторона онемела, словно на неё положили каменную руку. Один неотвязчивый вопрос сверлил мозг: “Чего ты сюда припёрся?” Ответа он не находил. Одним словом, на душе у него было скверно. Лишь заметил, что когда перед иконостасом появлялся молодой красивый священник и тенором произносил что-то на своём “птичьём” языке, Ромка вздыхал с облегчением.

Потом, когда жена отдала своё пальто и отвела на скамью, как она сказала, в “правом приделе”, Маршалов с удивлением увидел, что этот “батёк” (так он про себя называл священников) вышел на амвон перед группкой молодёжи, состоящей в основном из девиц в юбках до полу и некоторого количества молодых с короткими бородами. Отец Святослав был подтянут, высок и строен, с живыми голубыми глазами, русые волосы длинные, как это часто водится у священников, лицо обрамляла окладистая борода.

Батюшка улыбнулся исповедникам, прочитал молитву, а потом сказал, что надо проделать работу над ошибками, и с мягким юмором принялся описывать состояние некоего студента-неофита, который, переступив порог храма, начал меняться не в лучшую сторону: одеваться как попало, волосы нечёсанные, штаны с оттянутыми коленками или, огорчая маму, объявлять голодовку, которую называл постом, и на устах у него одно лишь стенание: “Объядохся, опихся и без ума смеяхся”, — чем напугал родных и близких.

Некоторые слушающие, узнавая себя, тихо хихикали.

“Опаньки, что творят... — с удовольствием слушал Ромка. — Надо Маринку заставлять есть побольше. А то запостилась, дурочка”.

В этот раз на исповеди отец Святослав то ли по наитию, то ли увидел её вместе с мужчиной, выразительно посмотрел на Маринино обручальное кольцо и спросил:

— Вы замужем, а где же супруг?

— Да вот он, сидит в углу с моим пальто.

Батюшка даже руками всплеснул:

— Да что вы! Подумать только, какое благородство! — Вдруг он обратился к ожидавшим его людям: — Простите, друзья, я сейчас вернусь.

Стремительным шагом он направился к Роману. Марина увидела испуганное изумление на лице мужа. Батюшка что-то спросил, тот кивнул в ответ, пошёл быстрый, оживлённый разговор, и скоро епитрахиль накрыла Ромкины кудри. А отец Святослав уже спешил обратно к исповедникам.

Из церкви Маршалов вышел ошеломлённый, после исповеди у него даже руки дрожали. За несколько минут этот Святослав перетряс всю его жизнь, залез в такие глубины, куда он и сам не заглядывал, заставил признаться в том, что стыдно вспомнить. “Чего я вдруг так ему открылся? Вам нужен духовный отец... Нет уж, я выбираю свободу”, — рассуждал он про себя. Марина шла рядом весёлая, ласкалась, преданно заглядывая в глаза. “У всех там улыбки юродивых, чудные какие-то, и эта туда же...” — думал Рома, оглядывая по-хозяйски жену.

На следующий день муж всё же причастился. За время поста он стал замечать, что Марина повеселела, появились признаки своеволия, то есть, несмотря на его неудовольствие, продолжала бегать в храм. Радостное лицо жены Маршалов воспринимал болезненно, ему больше нравилась её меланхолия. Очень быстро вокруг них собралась команда “платочков”. Студентки Маша, Даша и Наташа стали забегать на чашку чая, поболтать. Вроде бы ничего эксцентричного — две художницы и одна — с физмата МГУ, даже весёлые, но всё равно, на взгляд Маршалова, какие-то малахольные.

“А Марина за ними потянулась: обзавелась длинной юбкой, косынку напялила и не снимает. Ладно, наиграется и бросит”, — успокаивал он себя.

Маршалов даже не догадывался, что батюшка, во избежание разлада в семье, вздохнувши, сказал, что если муж против, то в пост ложа не разделять. “Всё должно быть по любви и согласию. Невольник — не богомольник. Господь да явит над вами милость. — И ещё добавил: — Надо вам повенчаться”.

Марина было попробовала заикнуться о постовом воздержании супругов, но Маршалов её просто не понял.

— Ты о чём, красота ненаглядная?

— О посте и молитве. Мне сказали, что так надо.

— Зачем?

— Я ещё не совсем разобралась. Даша говорила — это борьба со страстями. Но, откровенно говоря, мне непонятно, как можно жареной картошкой бороться с моей хандрой. Однако решила, что нужно довериться двухтысячелетнему опыту святых отцов.

Маршалов молча улыбался.

— А ещё я подумала, что пост спасает от пресыщенности, а значит, от недовольства жизнью. Когда человек попостится, то потом радуется даже самой обыкновенной пище. Знаешь, как я о кефирчике мечтаю... А то человек привыкает к своей еде, она, в конце концов, надоедает. Постоянно хочется чего-то “эдакого”, экзотики подавай, а иначе он ноет, что жизнь не удалась.

— Ты о чём, малыш? Выпей кефира и успокойся.

— Я просто рассуждаю. Или вот муж пресыщается своей женой, ему начинает ещё кого-то хотеться. А когда они воздерживаются друг от друга во время поста, то потом муж рад своей жене, она ему. И больше им никого не надо.

— Мне и так не надо, что за комплексы? — Маршалов погладил её по голове и притянул к себе.

Марина не привыкла дерзить мужу. Вдобавок боялась, что Роман начнёт надирать свою душу её “нелюбовью”. Однако она всё глубже уходила в приходское дружество. Новые знакомые не были похожи на привычных хористов и студентов, здесь она чувствовала к себе общее участие. Правда, ни на студенческие пирушки, ни на чайные посиделки прихожан она не ходила — надо было всегда спешить домой к мужу. Но тут её знакомые барышни засобирались в Пюхтицы, женский монастырь, и позвали с собой.

Маршалов скрепя сердце разрешил эту поездку. Проводил девчонок до Ленинградского вокзала и сам посадил на таллинский поезд.

Марина впервые переступала порог монастыря. Первое, что поразило в обители, — это гармония природы и архитектуры. Прекрасный каменный собор, деревянные терракотовые домики под зелёными крышами словно выросли из окружающих их лесов и полей. Радовало глаз и сердце обилие цветов, пение птиц, наверное, как в раю, и что вокруг так много неба и света. Марина подумала, что реально перешла в мир инобытия.

В один из вечеров, задержавшись на всенощной службе, она возвращалась в их домик. Любуясь звёздным небом, Марина перевела взгляд на землю и... остановилась. Она не могла пошевелиться, увидев перед собой взывшийся ниоткуда тёплый голубой свет и чувствуя тонкое благоухание, словно из огромного цветущего сада.

Дома хмурый Маршалов сразу это заметил:

— Тебя что там, кастрировали?

Скоро по друзьям и знакомым разнеслась весть, что Марина сошла с ума, ездит в монастыри, надела траур по своей жизни. Насочиняли, увидев её в черном, когда они с Маршаловым приходили на общий хоровой капустник. А в реальности Марина, отстояв в “Весне” три часа в огромной очереди, купила себе чёрное пальто — ничего другого там не оказалось.

Ромка начинал заметно комплексовать и нервничать, время от времени устраивая сцены:

— Святослав сказал, Святослав посмотрел, Святослав чихнул. Ты о чём-то другом можешь вещать?

— Надо говорить — отец Святослав. Я задаю батюшке вопросы о моей жизни, правильно ли поступаю. Кажется, что мы не так живём.

— Он мне не отец! Поняла? У тебя чё, свои мозги усохли? Или ты в него влюбилась? Пристаёшь всё время, — Рома зло рассмеялся.

Марина выразительно покрутила пальцем у виска.

— К твоему сведению, у батюшки красавица жена на клиросе поёт. Она всегда ждёт его после службы.

— Да неважно, батюшки-матушки. — Маршалов раскипятился не на шутку. — Поклонницы всегда носятся за артистами. Святослав-то большое дело совершает, а вы там, дуры... Стоят, рот разинув, мешаются только.

Марина ничего не поняла из его слов, но оскорбилась в своих лучших чувствах.

— При чём тут артисты? Запомни, больше всех на свете я люблю Бога. А батюшка о Нём рассказывает. Если ты меня любишь, то поймёшь это и поделишь.

— Ха! Бога, значит?!.. — Маршалов хмыкнул. — Я тоже, птичка моя шизокрылая, люблю распрекрасные истории, но не шизую! Христос — это лишь красивая сказка. За-по-мни, мне нужна сво-бо-да, а не отцы. Поняла? Дурочка...

— А я как раз освобо-ди-лась от страха смерти.

Марина последние несколько лет мучилась от кошмарного наваждения. Она была так потрясена уходом Никиты, что тоже, как уже говорилось,

собралась умирать. Но когда глубоко задумывалась об этом, её подавляли безумная тоска и ужас и терялся смысл всего окружающего. Жить для того, чтобы тебя, в конце концов, съели черви?..

Когда Марина крестилась, а потом стала исповедоваться и причащаться, то вопрос этот перестал стоять перед ней тёмной бездной. А потом и вовсе исчез, словно дым. Остались отголоски безутешной боли, особенно оттого, что не может поминать своего младенца в записках и на панихидах, но животного страха смерти она больше не испытывала.

— Фух! Я тебя, конечно, поздравляю, но об этом мы поговорим позже. — Маршалов развернулся и ушёл с тёмным лицом. В последнее время он часто ходил именно такой. Он видел, что между ними появилась пропасть и расстояние растёт, надо что-то делать, но ему всё не нравилось в жене. Такая классная герла была, юбочки — короткие, кофточки — завлекательные, фигурка — точёная, коленочки, грудь, глазки светятся... Пройтись с ней — все мужики оборачиваются. А теперь — чучело в широкой юбке, баба на чайник, появиться вместе стыдно, так бы и удрал на другую сторону улицы.

Марина пыталась к нему приласкаться, пригладить кудри или растормошить, но слышала только:

— Отстань!

Минутами было тяжело смотреть на отчуждённого и мрачного мужа. Таким она его раньше никогда не видела. Маршалов лежал на диване, свернувшись в позу эмбриона, и не пускал её к себе. “Боже, о чём он думает? Как любить такого?” — тосковала Марина.

Романа одолевала хандра, возможно, совесть нашёптывала: что-то он делает не то. “Ну, чё я с ней в храм пойду? Стоять там, как истукан?! Скучно, тошно и матюкаться хочется... Это Марина офанатела. Батёк кадиллом машет, она млеет, а я с какой стати там мучиться должен? Не верю я, театр всё это”. Распалаясь от этих мыслей, Ромка сердился на жену. Марина со страданием заглянула в глаза, а ему хотелось крикнуть: “Оставь меня в покое!”

— Я устал. Ты притягиваешь несчастья! — проговорил муж сквозь зубы.

— А может, это твои цветы зла распускаются? — тихо ответила жена.

Марина сильно утомилась от такой обоюдоострой жизни. Иногда по вечерам она стояла у дома, уныло смотрела на горящие окна их квартиры и собиралась с силами, чтобы отправиться туда. Зато потом начинала молча, но яростно молиться о мире в семье и чтобы муж пришёл к вере. Однажды Ромка всё-таки добрался до Литургии. Отец Святослав причастил его после покаяния, даже без “приготовления”. Но Рома этого поощрения священника не оценил и продолжал язвить по поводу “сёного батька”. Марине так и хотелось пропеть ему: “Тёмные силы нас злобно гнетут”, — но, опасаясь обострения, она не шутила.

Однако и рук не опускала: упорство было главной чертой её характера. Марина стала ездить по святым местам и молиться о своей семье, пытаясь вовлечь в это действо и Романа. Однажды подружка Маша рассказала, что в Печорах-Псковских живёт известный старец, и он расскажет всё, как есть. Марина загорелась идеей попасть к нему.

Отец Святослав благословил съездить помолиться, передал поклоны и гостинцы знакомым монахам. Как на аркане, она потянула за собой Маршалова, тот отбрыкивался всеми силами, но Марина купила билеты в Псков и слушать ничего не хотела. Был вечер накануне 8 Марта, выпавшего в этом году перед воскресными выходными. У них было целых три дня, чтобы побыть в монастыре.

В Печорах Рома будто и не заметил мощных крепостных стен монастыря-крепости, и парящих над ними, словно вышедших из русских сказок, куполов Успенского храма. Не удивили его и таинственные Богозданные пещеры с песчаными узкими и тёмными коридорами, непонятно какой силой удерживаемые без всяческих опор. Глядя на все эти чудеса, Ромка криво усмехался: управлять жизнью должен мужчина, и роль ведомого его не устраивала.

Единственное, что его заинтересовало и смутило, — это кликуши, которые прямо в храме ни с того ни с сего то хрюкали, то гавкали. Становилось не по себе, так искривлялись в эти мгновенья их лица.

— Это они притворяются, — сказал Маршалов жене с ехидством. — Ломают комедь, чудики.

— Главное, нам с тобой не закукарекать. А то вылезет вдруг неуправляемое “подсознательное”, и запоёшь басом, как эта тётка, — в тон ему ответила Марина.

Её волновал только один вопрос: где найти старца? Марина на проходной у братского корпуса умолила дежурного пропустить к нему. Тогда идущий мимо послушник повёл их в какой-то длинный дом, где на цокольном этаже закрыл в белой, отделанной кафелем комнате. Марина и Роман молча смотрели друг другу в лицо. Вдруг распахнулась дверь, на пороге стоял невысокенький старый монах в чёрной до полу мантии. Большие карие глаза под огромными очками прошлись по ней как рентгеном, у Марины даже озноб по спине пробежал. Потом старец так же осмотрел и Маршалова. Вдруг, глядя прямо ей в глаза, спросил: “Расписанные?” На Маринин согласный кивок произнёс тихой скороговоркой: “Ты живёшь одной жизнью, одним духом, он живёт другой жизнью, другим духом, как вы вместе будете, я не знаю”. Марина изумилась этим странным словам. Маршалов, видимо, их не расслышал.

— Какие у вас вопросы? — продолжил разговор батюшка.

— Да вот она не жрёт ничего, и так малосильная, — пожаловался вдруг Маршалов.

— Сейчас пост, есть надо щи, макароны, ну, картошку там, салаты, — как-то очень просто сказал старец.

— А я все это и ем, — растерялась Марина.

На этом аудиенция закончилась. Она не поняла, что это был за ответ старца на её молитвы и слёзы.

В конце паломничества по просьбе жены Рома на улице вылил ей на голову ведро святой воды из родника Иоанна Предтечи, чтобы мысли просветлели. Марина тут же заболела, температура подскочила за тридцать восемь. Домой она отбыла в полусознании.

Ромка уложил жену на вторую полку общего вагона, других билетов не было, и стал с тоской смотреть в окно. Дома приготовил ей макаронный суп и сказал сердито:

— Ешь... Но варю тебе в последний раз в жизни.

Марина не узнавала своего мужа. Это был какой-то другой, не знакомый ей человек: Может, его стройка изломала? Там все страдают и матом ругаются. Зачем он пошёл в прорабы? Лучше бы музыку детям преподавал. Вечером навестить её приехала мама. Маршалов сразу отправился домой, повидаться со своей родительницей. В последнее время они подолгу говорили по телефону, после чего муж становился задумчивым и грустным. Глядя на него, Марина чувствовала нелюбовь к себе свекрови.

Зато в другой, церковной жизни происходили глобальные перемены. Отцу Святославу дали восстанавливать разрушенный храм. Вся ватага молодых и задорных повалила вслед за ним. Они быстро разобрали перекрытия второго этажа, сделанные ещё после войны, очистили здание от хлама и мусора. Над его восстановлением трудилось много людей. Не хватало денег, автомашин и строительных материалов. Прихожане работали благотворительно, а рабочие — за очень низкую зарплату. Когда привозили кирпичи для ремонта стен, нужно было разгрузить машину. Собирались люди, и даже детшки становились в цепочку и передавали друг другу по кирпичику. Затем их отправляли лебёдкой в ведре наверх: подъёмник отсутствовал.

Вскоре дыры в стенах были заделаны, купол укреплён, но в общих чертах храм всё же напоминал римские катакомбы. Полинялые стены, разбитый мраморный пол, а из тёмного свода вместо паникадила на длинном проводе из патрона торчала огромная лампа в сто ватт. В неотапливаемом храме царил лютый холод. Батюшка ходил в валенках, мальчишки-алтарники рассказывали, что даже теплота в алтаре замерзает. Однако постепенно жизнь стала налаживаться, было проведено отопление, храм наполнялся людьми. Марина вспоминала это время, как лучшие годы молодости.

А Маршалов отстранённо наблюдал, как у жены началась своя интересная и независимая жизнь. Когда она приходила из храма, его всё в ней уже откровенно раздражало и отторгало: и тихий вид, и свет в глазах, и чудился неприятный запах ладана. Ему стало казаться, что Марина день ото дня хорошеет, взрослеет, умнеет, проявляет характер. Вдобавок ко всем несчастьям жена удачно устроилась на фирму и стала зарабатывать больше него. Маршалов, которому на стройке часто задерживали зарплату, воспринял это как личное оскорбление. Вечерами он полюбил сидеть в кресле, как нахолившийся воробей, и молча погружаться в мир всё тех же любимых импрессионистов. “Она должна меня слушаться. Пусть выбирает: Святослав или я. Или идёт, куда хочет. Коза-попрыгуншка”.

Если бы Рома допустил мысль, что жена могла сначала чересчур увлечься церковной жизнью и нужно немного потерпеть, пока это войдёт в спокойное русло, или хотя бы предложить ей альтернативу, но только не ругаться, тогда бы их тандем выскочил на правильную дорогу. Возможно, он уже устал от жизненных потрясений и плохо соображал, что делать, или, действительно, к сожалению, начал превращаться в жлоба. Марина тоже порядком утомилась от всего происходящего в семье. Выстраивать их отношения по-новому, объясняться она боялась из-за грубостей мужа, и от собственных переживаний часто забывала, что Рома тоже имеет право на понимание, на свою жизнь и собственное мнение, что надо друг друга видеть, ценить в ближнем свободную личность и уважать её. К прискорбию, супруги уступать не хотели.

Однажды между ними произошёл знаменательный разговор.

— Марина, ты должна найти себе другого батька! — требовательно начал Ромка.

— Почему? — испуганно спросила жена.

— Ты перестала меня слышать. Скачешь в разные стороны.

— Я вернулась к жизни. А тебе хочется, чтобы я и дальше сидела взаперти, а ты надо мной чах? Ты царь Кощей? — пыталась отшутиться она.

— Хватит дурдома! — крикнул Маршалов.

Она нахмурилась.

— Духовника так запросто не меняют. Это не перчатки. Чего ты к нему привязался? Даже если найти другого, всё равно же в храм ходить буду.

Она посмотрела Маршалову сердито в глаза.

— К тому же, кроме отца Святослава, у меня появились хорошие друзья, которые могут стать и твоими.

Марина воодушевлялась.

— Мы возрождаем храм восемнадцатого века. Тебе бы там нашлось дело, как строителю. На клиросе мог бы петь, ну, мы вместе... Да и руки у тебя золотые, вон какие орнаменты вырезаешь. Научился бы делать киоты для икон. Это чудо как хорошо — самим святыню восстановить. Храм — основание России, всей нашей государственности...

— Меня это не интересует, — перебил он восторженные слова жены. — Я человек маленький и ничем не примечательный. Мне дети нужны. Займись семьёй, иначе мы разведёмся. Мир не может всегда вращаться вокруг тебя.

Она обмерла, в следующий миг, придя в себя, стала оправдываться:

— Ты же не голодный, дома чисто, свитер тебе вяжу по дороге в электричке. Ты же знаешь, было обследование: я здорова. Детей Бог даёт. — Марине хотелось сказать, что ему надо и на своё поведение посмотреть внимательно, но она опять промолчала.

— Кажется, в деле деторождения от нас тоже что-то зависит. А у тебя то пост, то золотуха, — насмешливо ответил Маршалов.

— Да какие посты? Только перед причастием...

Она совсем сникла. Стало понятно, что муж сейчас высказал свои “думы потаённые, мысли окаянные”.

— Прости, Рома, но я тоже, как ни странно, человек, поэтому имею право на радость в жизни.

— Да, конечно, но тогда без меня.

Однако продолжения этот разговор не имел, всё осталось по-прежнему. Марина чувствовала, что они на всей скорости несутся в тупик, и ничего не могла придумать. Близкий человек её не принимает. Трудно укреплять отношения, когда смотрят сквозь тебя. Она решительно не понимала, то ли надо всё время сидеть с мужем дома, то ли наоборот, уводить его в гости, театры и концерты; и, уже порядком утомлённая невзгодами, ничего не предпринимала. Только с болью замечала, как Маршалов всё больше отдаляется душой, становясь непонятным и злым. Словно что-то для себя решив, Рома тоже стал возвращаться поздно, иногда не ночевал дома, объясняя, что был у мамы, которая скучает.

Жизнь Марины становилась невыносимой. Кто бы мог подумать, что всё так обернётся. Она привыкла, что её любят, слушалась мужа, но сейчас он часто оскорблял её или нёс чепуху. Нельзя же сидеть дома и всё время разглядывать одних и тех же декадентов. И не надоело? Должно же что-то в жизни меняться!

Лишь исповедальные беседы у отца Святослава успокаивали и утверждали Марину в вере, что мир наш хороший, светлый и добрый. Однажды на её слова о невыносимом отчаянии батюшка сказал: “Всё вокруг нас пронизано Господом и лучится Небом. Но чтобы это видеть, нужно иметь в себе Христа. По мере этого приобретения мы будем видеть землю как чудо, как сказку... — при этих словах он посмотрел на Марину и улыбнулся, — как Литургию”. Своим светлым взглядом батюшка вдохновлял её жить.

Сердце Марины в этой борьбе за Рому всё изранилось. Она была искренне привязана к нему, но в то же время, глубже узнавая Бога, чувствовала Его не отвлечённой идеей, а живой радостью и высшим смыслом. Марина теперь по-новому любовалась закатами и восходами, небом с облаками, добрыми людьми, щебечущими птицами, прекрасными цветами и согревалась любовью к Богу, создавшему вокруг неё такое чудо. Ему можно было рассказать о своих горестях, и Он слышал, жалел и помогал. Поплачешь перед иконой Спасителя, и сердце успокоится, а там, глядь, и дело к лучшему пошло.

Только в семье не ладилось. Насильно-то человека не переделаешь: Бог дал ему свободу. Марина рвалась душой. Муж требовал внимания только к себе, но она не могла предать Христа и совсем не хотела возвращаться к прежней жизни. Боялась, что затянет житейское болото, она перестанет видеть дорогу в Небо, и жить вновь станет скучно. “Маршалов предлагает выбор: или он, или Бог, и как я пойду за ним в никуда?”

В том году на Пасху Рома после долгих уговоров пришёл на службу, но отца Святослава в упор не увидел, а о том, чтобы исповедоваться и причаститься, и слышать не захотел. Когда батюшка и отец дьякон, меняя разноцветные облачения — красные, синие, зелёные, золотые, — обходили храм, радостно восклицая: “Христос Воскресе!” — Роман ещё стоял и смотрел. Затем притащил себе в притвор стул, лёг головой на стол, где писали записки для поминовения, и проспал всю пасхальную заутреню. На рассвете, открыв глаза, отёкший и замёрзший, Маршалов, выйдя после окончания богослужения на улицу, накричал на жену и сказал, что ноги его не будет в этой руине.

Подавленное настроение пасхальных дней оживил неожиданный приезд Бориса с сыном Павликом. Боря после музыкального училища уехал в Орёл, там женился, а сейчас хотел, чтобы Марина стала крёстной матерью его сына.

Марина, улыбаясь, смотрела на симпатичных отца с сыном: оба светловолосые, в белых рубашках, и галстуках-бабочках. “Никита был бы сейчас такой же. — думала она. — Слава Богу, что у других здоровые дети”. Павлик, широко открыв голубые глаза с огромными ресницами, слушал, как тётя Марина рассказывает о Боге. Она уже договорилась в ближайшем храме о его крещении.

Сидели до трёх часов ночи, вспоминали хор, говорили о предстоящем таинстве.

— Вот я крестился, — выступал подвыпивший Роман, — думал, приобщусь мудрой, красивой сказке. А эта дура, — он указал на Марину, — взаправду верит и к батькам бегаёт.

Пока Маршалов произносил эту тираду, Боря с Мариной грустно посмотрели друг на друга.

— Ты всё сказал?! — вспыхнула она.

— Да. — Маршалов пьяно улынулся.

— Садись: неуд!

Он удивлённо и обиженно посмотрел на свою обычно кроткую жену.

— Ты чего так смотришь? Звезду у меня во лбу увидел? — не унималась она, но Маршалов опять промолчал. Не затевать же при друге ссору.

На следующий день случилось непредвиденное: на крещение ребятам попасть не удалось — проспали. Они бежали, ехали на такси, прошли полосу препятствий, но когда оказались в храме, тамошний батюшка уже сидел в машину, чтобы ехать на требы.

— Миленькие-родные, давайте в следующий раз. — успокаивал он привыкшую компанию.

— Они сегодня уезжают далеко. — печально сказала Марина.

— Это значит, что надо креститься в своём городе, — ответил батюшка.

На этом грустном решении они и расстались с Борей и Павликом.

Летом всё пошло вкривь и вкось. Маршалов, видимо, в знак протеста повадился ещё чаще уезжать домой к маме, обижаться на любую мелочь и скандалить.

Отец Святослав на её исповеди о семейной жизни однажды сказал:

— Пусть делает, что хочет. Сам и будет пожинать.

Родители просили Марину меньше быть в храме, потому что это ведёт к распаду семьи. Приступили к ней штурмом со всех сторон. Даже Анна Петровна сурово попеняла: “Что это ты по монастырям носишься? Замужняя женщина. Неофитство всё это”. Марина никогда не рассказывала, что у них происходит дома, все вокруг считали Романа жертвой.

Она, по послушанию родне, некоторое время пробовала не ходить в храм, но Роман, словно ничего не замечая, по-прежнему отпускал по её поводу саркастические шутки.

— Ты глупая женщина, Марина... Растолстела, посмотри, на кого похожа... Юбка длинная, платок намотала — маразм крепчал...

В конце концов, она не выдержала и опять стала по выходным уезжать от семейных сцен в разные восстанавливающиеся монастыри, где на безопасном расстоянии всё время молилась о себе и муже, который уже остался где-то за поворотом.

Роман в такие ночи лежал один в холодной постели, думал с тоской: “Ребро, говорит, я твоё... — И тяжело вздыхал. В груди болело, как будто, действительно, сломали ребро или под дых дали. — И чё она о себе воображает? Баб, что ли, мало вокруг?”

Однажды, возвратившись из очередной монастырской поездки, Марина с ужасом увидела, что на кухне вместе с Маршаловым сидит незнакомая, довольно миловидная женщина, и они пьют пиво.

— Привет! — развязно сказал Ромка. — Приехала? А мы тут с Наташей день ребёнка отмечаем.

— Простите, я, кажется, вам помешала.

— Заходи, пивка попьём. Присоединяйся, — ухмыляясь, ответил Маршалов. Ему казалось, он был отомщён за свои страдания и сейчас празднует победу. Подумать о последствиях Рома забыл.

— Когда-нибудь в следующий раз, — выпалила Марина и бросилась вон из квартиры.

Дальнейшие события понеслись лавиной. Наташа оказалось девушкой упорной и отпускать Рому не собиралась: “А почему, собственно? Жена сдаётся без боя, значит, он ей не нужен”.

Развод, разъезд и всё, с этим связанное, ушло из памяти. Осталось только, как однажды позвонил пьяненький Маршалов и сказал, что им можно было бы опять попробовать пожить вместе.

— А как же Наташа? Ты о ней подумал?

— Она пуленепробиваемая. Даже не почувствует.

— Хорош, ничего не скажешь. — Марина посурела. — Меня сделал несчастной, а теперь её хочешь припечатать. Не слушается, что ли? Так люди ведь не роботы, ты на себя сначала посмотри...

— Да я по тебе соскучился, Маринка. Дурака тогда сваял... — Голос его дрогнул.

Она на миг замерла.

— Нет, Маршалов, прости: на чужом несчастье счастья не построишь. Это прописная истина, но работает она железно. Да и я не изменилась и не собираюсь...

Трубка молчала. У Марины горло сжал спазм, и она быстро закончила:

— Я желаю вам с Наташей счастья, насколько оно возможно на земле. Прощай, дорогой.

Глава 7. Приносите людям радость

После развода залечь снова в постель и предаться унынию Марине не удалось. В день Преображения Господня грянуло: страну потрясло, когда случилось ГКЧП. Вместо новостей по телевизору закрутилось “Лебединое озеро”, а на Тверской появилась военная техника. Союз замер в напряжённом ожидании и страхе. За отчаянной и безнадежно проваленной попыткой чекистов сохранить советско-социальное государство начался его развал. Привычная жизнь рушилась на глазах, и всё летело кувыркком: экономика, армия, медицина, система образования, а за обесцениванием денег приполз голод.

Отец этих ударов молота по наковальне не пережил. Владимир Петрович без ума любил свою страну, гордился ею, искренне считал, что советский строй — лучший в мире. Когда вдруг всё постепенно стало катиться под откос, а жизнь единственной дочери наполнилась страданиями, он всё больше начал уходить в себя. Тут случился первый инфаркт, а через несколько лет последовал другой. Сначала Марина и мама с тревогой начали замечать, что он впадает словно в короткие обмороки. Лицо Владимира Петровича становилось совершенно белым, он опускался головой на спинку кресла и лежал какое-то время недвижно, а через несколько минут приходил в себя.

— Давай вызовем “скорую”, — умоляла его Марина. — Вдруг тебе на работе станет плохо...

— Не надо. Так пройдёт. Нужно просто отдохнуть.

В эти последние его дни Марина спросила отца-атеиста, заглядывая ему в глаза:

— Папа, почему ты не веришь в Бога? — Этот вопрос она стала задавать близким людям, которые в ответ сердились или ехидно улыбались. — Ведь Он всё нам дал, начиная от дыхания и кончая бесконечным космосом.

— Я не знаю Его, — тихо ответил отец.

Марина замолчала, потом начала молиться в своём уголке, где когда-то играла в куклы.

На следующий день все вместе пили чай. Отец неожиданно сказал:

— Вот ты говоришь, что я против Бога. А я не против Него, мне ваша Церковь не нравится.

— Не продолжай, папа, не надо, — заволновалась Марина. — Мы ничего не знаем. — Она обняла его за плечи. — Я так рада, что ты не против Бога.

Вскоре после этого разговора поздним вечером отец упал и, наверное, не слышал её крика. Марина позвонила в “скорую”. Приехала она, на удивление быстро, врачи констатировали инфаркт. Часа два отца возвращали к жизни, потом, сидячего, несли в машину. Мама поехала с ним в больницу, при прощании они договорились днём увидеться. На следующее утро позвонили из приёмного покоя и сообщили, что Владимира Петровича не стало.

Марина в немом оцепенении сидела на полу и, не отрываясь, смотрела на икону Спасителя. Вопросов “За что?” и “Почему?!” не было. Произошедшее не укладывалось ни в уме, ни в сердце, но она верила, что Бог всё устраивает во благо: отцу, вероятно, пора было уйти. “Может, он устал

мучиться?” Этот очередной непоправимый удар судьбы она вынесла более стойко, чем прежние: хоть и гнулась, да не ломалась. Укрепляло осознание, что надо довериться Богу и жить дальше, работать и приносить миру радость. В душе Марины уже давно происходили удивительные процессы. Любовь к сыну и его быстрый уход словно переродили всю её хрупкую натуру. Даже с психикой что-то произошло. Она стала видеть во взрослых людях младенцев, которых когда-то давно любили мамы. Она начала относиться к окружающим с необъяснимой материнской нежностью. Стало всех жалко, и сердце Марины болезненно сжималось при виде чужого горя. По мере сил старалась утешить встречавшихся на её пути несчастных. А их становилась всё больше и больше: в стране наступил бардак.

Кровавые события октября 1993 года Марина почти не заметила, потому что несколько месяцев сильно хворала. Момент штурма Белого дома она провела в больнице. Потом ей рассказывала подруга-челночница, которая в эти дни находилась в Турции. Как она набрала шмоток, приехала в аэропорт, где узнала, что самолёты в Россию не летят. Бросилась звонить домой, но связи не было, от ужаса она выпила коньяку и долго плакала. Когда русские пассажиры, наконец, прорвались на родину и на подлёте к Москве внизу на одной из дорог увидели колонну танков, тогда по салону прокатился выдох ужаса. Потом танки начали стрелять по безоружным людям, сидевшим в Белом доме...

В тот момент наше народовластие истребили ещё в зачаточном состоянии. Это до сих пор аукается. Страна долго приходила в себя после очередного потрясения.

Марина сильно страдала от того, что личная жизнь у неё развалилась. Лаврский старец на вопрос о семье ответил, что можно думать о втором браке, но не лишь бы выйти, а только за очень надёжного человека. Эти слова её сильно озадачили: где же такого встретить?

Время от времени за спиной Марины появлялись безмолвные тени. Повторялась одна и та же история. Человек подходил молча, становился рядом, а затем двигался следом, что походило на преследование. Марина отстранённо наблюдала, недоумевая, что́ бы это значило. Если это знаки особого внимания и расположения, то она считала, что мужчина сам должен проявлять инициативу, и упорно молчала. Однако развития действия ни разу не случилось, и Марина начинала сторониться таких недоразумений.

У неё был приятель, физик, добрейший человек, вдобавок сразу спешивший Марине на выручку. Иногда они встречались, чтобы попить вместе чайку на её кухне. Однако, когда друг начинал говорить много, медленно и долго, с аргументами про и контра, ей хотелось стукнуться головой о стенку. Марина, с юности заражённая вирусом творчества, привыкла видеть вокруг себя людей ярких, фонтанирующих, а с мужчинами обыденными томилась. Изредка приходило чувство, что в её жизни не хватает светло-русых кудрей и голубых глаз, и когда она их вдруг встречала, то сердце тихо замирало.

— У тебя пожизненная ария героини. Но, сама понимаешь, таким женщинам с дуэтом сейчас туго. Мне вообще кажется, что идеал бывает только в книгах и кино, а в жизни у каждого свои закидоны, — сказала однажды Полина, подруга детства из хористок. — Неси крест гордого одиночества или смирайся и выходи за простого смертного.

— А если мне с ним скучно? — грустно спросила Марина.

— Сиди одна, — резонно ответила подруга.

Однажды на исповеди Марина решила выплакать батюшке своё недовольство судьбой. Отец Святослав внимательно слушал, а потом неожиданно сказал:

— Вы мало благодарите Бога.

— У меня, к сожалению, не так много поводов, — тихо возразила Марина.

— Вы в этом уверены? — Отец Святослав посмотрел на неё искоса. Марина вдруг увидела себя в стильном (работа на фирме обязала её следовать моде) итальянском пальто и кожаных немецких сапожках на фоне бедно одетых женщин. “Не это главное”, — мелькнуло у неё в сознании.

— А за солнце над головой? — добавил батюшка и перевёл разговор на другую тему. — У меня будет к вам просьба передать лекарство одному нашему прихожанину. Он болен, в храм не ходит. Ему нужна помощь.

— Схожу, батюшка, с радостью.

Забрав упакованную небольшую коробочку, Марина побежала по указанному помощницей отца Святослава адресу. По дороге она накупила фруктов, печенья, зефира в шоколаде и всяческих вкусностей. Дверь открыла женщина, очень обрадовалась лекарству и тут же отворила соседнюю квартиру.

— Олечек, к тебе пришли. Принимай гостью.

Марина вошла в прихожую.

— Кто там? Заходите! — услышала она здоровый бодрый голос.

— Здравствуйте, меня зовут Марина, — сказала она, снимая пальто.

— А меня — Олег.

Когда прошла в комнату, её сердце болезненно сжалось. Перед ней на длинной узкой кровати лежал, опершись на локти, симпатичный молодой человек. Над его головой висела шведская стенка с разными спортивными приспособлениями. Очевидно, он лежал упряжился.

— Какие красивые люди к нам пожаловали, что ты! — шутивым голосом приветствовал её Олег.

— Отец Святослав кланялся и прислал вам лекарство.

— Дорогой мой человек, я благодарен! У нас ведь нет такого, что ты... Батюшка его в Америке достаёт. Видишь, я тут загораю, мне горючее необходимо.

Марина выложила на стоявший перед кроватью журнальный столик фрукты со сладостями. Олег по случаю их знакомства объявил банкет.

Вскоре они пили чай и беседовали, словно были сто лет знакомы. Как-то само собой получилось, что рассказали друг другу о своей жизни. Как поняла Марина, он был милиционер — рубаха-парень.

— Что ты, не знаешь? — Олег удивлённо распахивал глаза. — Вологодские — заводные ребята.

Но однажды на задании ему перебили ноги. Жена предложила переехать в дом инвалидов, пообещав, что сын будет навещать, но Олег отказался. Когда мать привезла его на коляске из больницы домой, жена молча выстала на порог чемодан и закрыла перед ними дверь. Олег было отчаялся, но Бог пропасть не дал.

— Сперва жили в семье брата, в квартирке четырнадцать метров. Друг-милиционер сказал, чтобы заезжал в пустую квартиру в этом же подъезде. “Если что, мы прикроем. Действуй”.

— Въехали мы туда с маманей, а сосед настучал в ЖЭК. Пришли оттуда, как полагается, вызвали милицию. А криминала-то не было: я — на коляске, да мать старуха. Милиция постояла, да и ушла. Потом наш участковый с ЖЭКом договорился.

Дальше Марина узнала, что семья прихожан познакомила его с отцом Святославом. Он благословил Олега искать помощи у святого Даниила Московского, устроителя квартирных дел, и писать о своей беде во все инстанции, и сам за них Бога просил.

— Вырулили, — торжественно объявил Олег. — Высокий милицейский чин откликнулся на мои жгучие просьбы. МВД обменялось с муниципалитетом жилищным фондом, нас прописали в той квартирке. Наконец-то сделали ремонт. Мама наша вдруг умерла, брат с семьёй меня опять поддерживать стал. Потом ветхое жильё под снос. Нам позвонили и сказали, что в новом доме мне и брату дадут квартиры на одном этаже. Инстанция сама ужасно поразила такому совпадению. Теперь брат с женой меня бьют.

Марина смотрела на живое, с выразительными карими глазами лицо Олега, на его светло-русый ёжик и грустно думала, что она, хоть и на ногах, но в сравнении с этим человеком — каракатица, размазня и хлюпик.

— Батюшка учил меня просить у Бога радости и благодарности. Теперь благодарю Бога за то, что сегодня утром открыл глаза. Ведь этого могло не произойти...

На протяжении всех этих лет отец Святослав почти каждый месяц приезжал исповедать его и причастить.

— За счёт чего и держусь, он мой спасительный круг, — закончил свой рассказ Олег. — Как станет немого, зову его. Хотя учусь внимание с себя переводить на других. Дорогому батюшке низкий поклон.

После этого “банкета” началась их многолетняя дружба. Часто “в минуту жизни трудную” Олег утешал и подбадривал Марину:

— Посмотри на меня: видишь? У тебя всё хорошо, а будет ещё лучше. Что ты, что ты... — растягивал он по-северному свою присказку.

Однако Марина перво-наперво вняла совету Олега и тоже стала просить у Бога радости и благодарения. Вскоре душа пришла в равновесие, показало: мир на девушку смотрит более приветливо, и она стала отвечать взаимностью. Река Мариной жизни вошла в полноводное русло, и многих страждущих стало приводить к её приветливым берегам, искать утешения.

Когда внезапно умер руководитель хора Александр Михайлович, у его воспитанников появилась традиция однажды в год собираться всем вместе. Марина и там, если доводилось, утешала и помогала. Кому-то устроить венчание или посидеть с детьми, креститься...

Однажды из Орла вновь приехал Борис и попросил, чтобы она устроила крещение теперь уже ему самому. Павлика в этот раз не было: Борис развёлся с женой. Стоял перед ней печальный и растерянный, но такой же красавец писанный. Марина, как всегда, им залюбовалась.

Крещение в подмосковном храме происходило по субботам. Они поехали с Борисом туда рано утром, по дороге вспоминая старую хорошую жизнь. Марина мечтала стать Бориной “восприемницей от купели”, чтобы потом, молясь о крестнике, узнавать о его жизни. Однако отец Святослав, посмотрев на них внимательно, увёл Борю за собой и задержал занавеску, отгораживающую место крещения, оставив Марину с родителями крестившихся детишек. Она с огорчением и недоумением пыталась сообразить, почему её туда не взяли.

Когда Таинство было закончено, штора распахнулась, батюшка быстро ушёл по своим делам, а Марина вручила улыбавшемуся Борису свидетельство о Крещении. Борька развеселил своими шутками мамочек, стоявших у свечного ящика, вышел из храма в радужном настроении и повлёк Марину в кафе. Слушая бурную речь новоявленного христианина, Марина коротко рассказывала ему о духовной жизни. Между прочим, сообщила, что у Ромы недавно родилась дочь.

— Ты так спокойно об этом говоришь? — удивился Борис.

— Жизнь научила меня сочувствовать чужим радостям, а я любила этого человека. В этой девочке всё утешение его жизни. — Марина смотрела на него и улыбалась.

— Если любила, то почему оставила? — не унимался Борис.

— Тогда он меня обижал, и я огорчалась... Перечила... Это был его выбор, а я уважаю чужую свободу. Насильно милой не будешь.

Счастливым день промелькнул быстро. Они немного погуляли по скверу со столетним дубами. “Огромные, как баобабы, — думала Марина, рассеянно слушая Борю. — Кто выпалывал баобабы? Маленький принц... — Кокетничала она сама с собой, но словно спохватившись, серьёзно подумала: — Экзюпери — христианский писатель. “Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь”.

Путь обратно в Москву пролетел незаметно. На Ярославском вокзале Марина начала прощаться.

— И что, мы с тобой вот так опять расстанемся? — изумлённо спросил Борис.

— Нет, когда-нибудь увидимся на нашей общей встрече. Я буду хранить память об этом чудном дне твоего духовного рождения.

— Зачем же вспоминать, когда его можно продолжать вечно? Ты же говорила, что мы не умрём.

У Марины ещё в электричке промелькнуло в голове: неужели Борис приехал к ней с ещё одним серьёзным вопросом? К этому она была не готова.

Решила: “Выдумки всё это... Такой яркий мужчина не мог бы её полюбить... Совсем не хочется блёкло смотреться на его фоне и... Второго предательства я не вынесу...” Из этих сумбурных отрывочных мыслей Марина сделала открытие, что не верит мужчинам.

— Не надо, — покачала она головой. — Другого лучше видишь на расстоянии. Как там: лицом к лицу... не разглядишь. Иди, я тебя перекрещу на дорогу. Прощай, голубчик. — Борис с грустью поцеловал её руку. В глубине души женщине всё-таки хотелось, чтобы он нашёл предлог и остался, но Борис ушёл, не оглядываясь. Марина стояла растерянная, смутно чувствуя: опять сделала что-то неправильное. От напряжения даже голова разболелась.

Через несколько лет она услышала, что Борис сошёлся с юной не то фотомоделью, не то балериной. “Молодой мужчина должен быть женатым. Хоть бы они расписались...” — покачала головой погрузневшая Марина и начала молиться о друге из детства.

Река жизни текла дальше. Со временем Марине, перегруженной бременем забот и работы, стало тяжело постоянно ездить на богослужения в Подмоскowie, тем более отца Святослава иногда посылали в миссионерские поездки и его не бывало на месте. Вокруг него постоянно собиралось так много людей, что не всегда удавалось переговорить, спросить о самом важном. Тогда она стала приходить в храм поблизости от дома к отцу Петру. Туда уже много лет ходила её мама.

Этот батюшка был совсем иным. Если у отца Святослава, ещё довольно молодого священника, в его пастырском служении всегда была импровизация и неожиданность, а на исповедях он сам выбирал людей из толпы, то у отца Петра, спокойного седовласого старца, во всём чувствовался порядок, определённая, и к нему на покаяние стояли строго по очереди. К отцу Святославу духовные чада относились душевно, даже чуть дружески, а выслушивая их грехи, он часто вздыхал, качал головой, иногда делая замечания, или наставляя с улыбкой, говорил: “Прости нас, Господи”. Отец же Пётр был отечески строг. Марина всегда соблюдала с ним почтительную дистанцию, и перед тем как подойти к батюшке, вытягивалась в струнку, а на исповеди могла получить энергичное внушение. Но слова священника были столь справедливы и сказаны так бесстрастно, что она никогда не чувствовала обиды, а соглашалась с ними и глубоко задумывалась о неправде в своей жизни. Даже хотелось взгляда со стороны, услышать замечания, дабы исправить свои душевные изъяны.

Однажды на проповеди отец Пётр произнёс строгие слова. “Нужно всегда стремиться к Богу. Хотя бывает, что прихожане очаровываются священником, а как известно: всяк человек — ложь. Поэтому случается, что кто-то со временем вдруг разочаруется в этом батюшке, да так, что даже снимет крест. Стремиться ко Христу, и тогда вас никто и ничто не смутит и не сойдёт с толку. Бывает и другое, когда люди впадают в маловерие и ропот, если о чём-то молят Бога и не получают, не понимая, что просят это себе во вред или срок не пришёл. Доверьтесь Ему и примите мысль: если сейчас жизнь так складывается, значит, это для нас самое лучшее. Ведь часто случается, что горести и неприятности со временем обращаются в радость. Тогда стыдно становится за ропот на Бога и людей”. Сначала услышанное вызвало у Марины огорчение, она вспомнила своего младенца: что же тут лучшее-то? Но потом подумала, что мы не знаем, почему так произошло, и согласилась с батюшкой.

Глава 8. Сколько людей, столько судеб

— Ты чего лежишь в темноте? Заболела, что ли? Дай, я тебе лоб пощупаю.

Лариса Викторовна задёрнула шторы и включила свет. Марина зажмурилась от ударившего в глаза электричества. Оказывается, она долго лежала в полусне, и за это время словно вся жизнь мелькнула перед глазами.

— У нас несчастье. — Она тяжело вздохнула.

— Что такое? — Мама замерла посреди комнаты.

— У Катюши вроде бы у ребёнка нашли патологию, врачи на пятом месяце требуют аборт.

— Патология, это точно? — Лариса Викторовна с тревогой посмотрела на дочь.

— Вилами по воде! Человек предполагает, а Бог располагает.

В субботу Марина, подойдя на исповедь к отцу Петру, рассказала о Катюше и её младенце.

— Аборта делать ни в коем случае нельзя — это будет убийство, — ответил отец Пётр, строго посмотрев на неё.

На следующей неделе она поехала в Подмосковье. Хотя у Марины был номер телефона отца Святослава, и он отвечал на СМС, но ей хотелось услышать батюшку глаза в глаза. Ответ священника на её записку о семейном горе, переданную в алтарь, прозвучал во время елеопомазания, как всегда, в живой манере:

— Это у врачей патология мозга. Помолитесь о здравии младенчика, — сказал отец Святослав и крестообразно помазал её лоб освящённым маслом. — Дождитесь меня после службы, передам Катерине свою книжку о воспитании детей. Её только что привезли из типографии.

— Благодарю вас сердечно, — улыбнулась Марина.

Успокоенная мощной поддержкой отцов, она, воспрянув духом, начала свою борьбу за жизнь младенца. Вместе с мамой по вечерам она молилась о непраздной Екатерине и благополучном разрешении несчастья. Иногда поздно ночью Марина начинала плакать и просить о высшей милости к ещё не появившейся на свет, но уже обречённой на несчастье крохе. Слово смысла её существования сосредоточилось в этом ребёнке: “Он должен жить, радоваться, и быть счастливым — за Никиту”.

— Катюша, как ты себя чувствуешь? Как у вас дела идут? — Марина, позвонив племяннице, старалась говорить бодрее.

— Хорошо, тётя Марина. Я теперь хожу в храм, исповедуюсь. Правда, получается не как у людей. Подойду к нашему батюшке, скажу два слова и начинаю плакать, а он меня епитрахилью накрывает.

— Молодец, Катюша. Вместе мы несокрушимы, всех одолеем. Мои отцы тебе передали: аборт ни в коем случае не делать.

— Наш отец Виктор тоже это говорит. А ещё я икон накупила, святую воду пью и маслом от лампы мажу и лоб, и живот. Мне теперь не так страшно и тоскливо, — торопилась с рассказом Катя. — Скоро поведу мужа на исповедь, и маму надо, а папаша пока не верит, ёлки-палки. — И лихо закончила: — Прорвёмся!

— Правильно. Бог не выдаст, свинья не съест. Молиться будем, — поддержала её обрадованная Марина. А поздно вечером опять принялась класть поклоны о больном ребёнке.

На следующий день, придя на работу, она увидела в своём рабочем кабинете нового сотрудника. На фирме Марина заведовала отделом маркетинга. Они в тандеме с сотрудницей Надеждой Юрьевой напряжённо трудились. Но её подчинённая была уже пожилой дамой и в прошлом месяце ушла на заслуженный отдых. Теперь Марина, мягко говоря, “зашивалась” и просила у друга-начальника, Димы Скворцова, нового работника.

— Сделаем, Мариночка, — отвечал он устало. — Потерпи ещё чуть-чуть.

Димка, её сокурсник по “Плешке”, начинал закручивать бизнес помаленьку. Однако ему повезло угадать нужное направление, и дела быстро пошли в гору. В свою фирму он пригласил работать некоторых старых друзей по институту. С Мариной за несколько лет они уже притёрлись и понимали друг друга с полуслова. В минуты потрясений она успокаивалась на мысли, что хоть с работой повезло.

— Вадим Сергеевич, — выйдя из-за стола, представился её новый подчинённый, — прошу любить и жаловать.

Марина, обожавшая всё красивое русское, не могла не отметить мягкие волны светло-пепельных кудрей, серо-голубые глаза и ладно скроенную фигуру спортсмена. “Князь Серебряный”, — пришло ей на ум, душа встрепенулась, а щёки вдруг зарумянились.

— За честные труды почему бы не пожаловать, — пошутила она. — Хотя сразу скажу: работы выше крыши.

— Дмитрий меня предупреждал, — ответил Вадим Сергеевич.

— Вот как? Вы, оказывается, знакомы. — Марина стала рассматривать бумаги на столе.

— Да, друзья по охоте, — улыбнулся новый сотрудник.

Марина удивлённо на него посмотрела.

— Дальше не продолжайте. Я эту тему не люблю.

— Как изволите, сударыня, — он церемонно поклонился.

“Очарование, — Маринина мысль кружилась вокруг нового сотрудника, — сама любезность и бездна обаяния, таких вроде бы сейчас не бывает. Только глаза у него холодные. Вот сейчас улыбается, а взгляд жёсткий и внимательный; видимо, форма с содержанием не сливаются. — Таковы были первые наблюдения, говорят, что они самые верные. Но человек этот был столь симпатичен и мил, что Марина невольно начала его дорисовывать. — Ладно, надумываю на бедного. “Ах, вы, очи голубые...”

Через несколько дней утром у неё на столе появился огромный и, видимо, дорогой букет цветов.

— Что это? — Марина вопросительно посмотрела на Вадима Сергеевича.

— Хризантемы, — ответил он. — Вы что, не любите?

Она их обожала: “Но откуда он узнал?”

— Женщинам странно не любить цветов. Но я не понимаю, к чему эта роскошь?

— Предположим, у меня было хорошее настроение. Почему бы красивой женщине да не преподнести букетик хризантем?

— Теперь всё ясно, — ответила Марина и переставила подарок на подоконник. — Пусть эти белые облачка порадуют всех к нам приходящих, — пояснила она, чтобы не обидеть коллегу.

Часто пёстрые коробочки всяческих трюфелей, “Рафаэлл”, шоколадных “Mergé”, “Комильфо” и прочих “Коркунов” впархивали теперь в её рабочий кабинет, но Марина ставила дары Вадимовых щедрот на общий стол в комнате, где сотрудники обедали или пили чай и кофе. У неё было чувство, что принятие подарков — это уже несвобода. Да и с чего это вдруг...

Однако они уже перешли на “ты”, отбросив рабочие формальности, стали друг для друга Мариной и Вадимом. Часто из кабинета слышался их смех. А Марина подолгу застывала, глядя в оконный проём и мечтательно улыбаясь.

Вечером, стоя на молитве, она снова и снова горячо просила о благополучном разрешении от бремени Катерины, и тут же вспоминался Вадим. На душе становилось тепло оттого, что этот человек посетил её жизнь. Именно таким грезился ей любимый мужчина в мечтах и снах. “Подарок судьбы?” — думала она.

Однажды Вадим спросил, улыбаясь, но взгляд его был, как всегда, несколько циничен (если бы он догадывался об этом, то, наверное, поработал бы над собой):

— Что ты делаешь сегодня вечером? Мы могли бы пойти после работы в один чудный ресторанчик.

Марина немного растерялась. Коллеги никогда не задавали подобных вопросов. Во-первых, она — “лицо, приближённое к императору”, а во-вторых, ореол церковной женщины, к тому же её шуточные заявления, что она музейная редкость, невидимо отделяли её от мутных помыслов окружающих.

— Нет, не могли бы. Я не хожу в злые места. — Она нервно рассмеелась. — И мне есть чем заниматься вечерами.

— Ах, я забыл: у нас же пост. Ночь перед Рождеством ещё не скоро.

Марина озадачилась этими странными словами. Потом, как у неё часто в жизни получалось, завертелось одно за другим. Зина из бухгалтерии за чашкой кофе, когда они остались вдвоём, вдруг сказала тихо:

— Ты поосторожнее с этим Вадимом. Ко всем кобелится, бабник сине-глазый.

Марина рассмеялась, но, наверное, глаза у неё в этот миг стали печальными.

— Зин, у меня другие задачи. Мы просто сослуживцы — и всё, никаких проблем.

Она зашла в свой кабинет. Вадим только что вернулся из поездки по работе, видимо, отдыхал.

— Мариночка, у меня к тебе творческое предложение.

— Я вся внимание, — ответила она, напряжённо улыбаясь.

— Мне говорили, что ты в детстве пела в хоре. К нам французы приехали, национальный оркестр, Равеля играют, Дебюсси, Эдгара Вареза... Вилла-Лобоса. Друзья ходили и получили полное удовлетворение. Ты же любишь классику? Посмотри программку.

Марина пробежала её глазами и похолодела: “Павана на смерть инфанты”. Посмотрев на Вадима тоскливо и выдавив из себя: “Я не люблю Равеля...” — она поспешила уйти из кабинета. Вадим озадаченно смотрел на хлопнувшуюся дверь.

Марина шла без цели по длинному коридору фирмы и боялась, что в голове опять начнут змеиться звуки флейты. Она не могла слышать без содрогания музыку, напоминавшую об уходе сына. Удивило открытие, что свою “Павану” Равель сочинил на смерть ребёнка: “Никогда бы не подумала”. Марина резко остановилась, вдруг словно озарение нашло: этой “Паваной” Бог спас её от сумасшествия! Наверное, это было искушение, точнее, иступление, но Он попустил, предупреждая о горе на близком ей языке музыки.

С этого дня в дружеских отношениях с Вадимом наступило охлаждение. Марина установила между ними дистанцию, а он, усмехаясь, продолжал откровенно ловить её ускользающий взгляд. Всё стало Марину раздражать, будто что-то потерялось и никак не может найтись, отчего она впала в меланхолию и даже похудела. словно к душе прилепилась невидимая пиявка и по капле высасывала её жизненные силы.

“Предположим, мы сойдёмся. Ну, поживём немного, повеселимся, возможно... А дальше что? — думала Марина, глядя на его красивую шевелюру, склонившуюся надо столом. — Жениться, конечно, не будет. Он же охотник, дальше пойдёт трофеи собирать, а я раны зализывай? Даже если он и женится (во что не верится), зачем мне нужен курятник? Он же собой останется, за бабами носиться будет. Нет, дорогой, мне одной жить хорошо и спокойно”, — уговаривала себя Марина.

Однако красота и сила Вадима влекли её к себе с неотвратимой силой, как кролика к удаву. Иногда словно слышалось тихое: “Иди ко мне”. Марина чувствовала неведомые ранее токи, жгучими волнами разливавшиеся по телу и сводившие с ума. “Плоть бунтует: похоть мозг дырявит”, — замечала она раздражённо. В этих отношениях ей виделся полный тупик: он не собирался меняться. Даже ничего не стал выяснять, видимо, догадался сам, в чём заковыка. В конце концов, такая бешеная душевная брань “подарила” бессилие и сердечные приступы. Любовь окрыляет человека, а это навязание тянуло камнем на дно.

“Всё это страсти, — думала Марина, — а с ними надо бороться. Мучила других, снегурочка, теперь сама пострадай”.

Перво-наперво она направилась в больницу к кардиологу. Врач назначила ей ЭКГ и всевозможные анализы. Марина даже ходила сутки с аппаратом, который время от времени самопроизвольно начинал тарыхтеть, пугая окружающих. Наконец, отправилась получить заключение всех этих обследований.

— Можно? — Марина приоткрыла дверь.

Врач посмотрела на неё поверх очков. От набежавшей тучи в кабинет спустился полумрак, кардиолог включила настольную лампу, и золотая оправа её очков вдруг стала посверкивать. Марине показалось, что это уже было в её жизни.

— Здравствуйте, заходите. — Врач взяла её карту. — Можно вас поздравить: с кардиологией всё более-менее хорошо.

— А как же одышка, пульс? — удивилась Марина.

— Скорее всего, вам нужно обратиться к неврологу, а ещё эндокринологу. Видимо, вы о чём-то сильно переживаете.

Врач посмотрела на неё внимательно и неожиданно продолжила:

— Молодая женщина, и так себя доводить? — Она покачала головой.

— Человек должен получать от жизни удовольствие, тем более с вашей красотой и фигурой... — врач осмотрела её поверх очков с ног до головы. — Заведите себе любовника, украсьте серость бытия — и повеселеете!

Марина с изумлением всматривалась в эту полную и не очень привлекательную, но ещё сравнительно молодую женщину и чувствовала перед ней даже некоторую вину за свои гармоничные формы. Но всё же подумала с сарказмом: “Да, эта дама знала бы, как управиться с моим телом, будь оно её... Возможно, поэтому она такого не получила. И чего она ко мне пристала?”

Вслух же произнесла:

— С чего вы решили, что я несчастна? У меня много друзей, интересных занятий...

— Да не придумывайте. Всё это иллюзии: вид у вас понурый. — Врач победоносно смотрела на растерянную пациентку.

Дома Марина, бросив сумку, не раздеваясь, села в кресло и стукнула рукой по журнальному столику.

— Марина, что случилось? — встревоженная мама вышла из кухни.

— Мне кардиолог посоветовала для вящего удовольствия завести любовника! Это что, карманная собачка, да? — Марина опять стукнула по столику, а потом крутанула его вокруг оси. Столик всхлипнул и завертелся всеми колесиками.

— Прекрати ломать мебель, — Лариса Викторовна всплеснула руками.

— Все сошли с ума. Могла бы пожелать, ну, хоть замуж выйти. Нет, любовника займай. Что у людей в головах? Опилки? Ведь это судьба человека, как такое можно советовать?.. С этим осторожно надо... А то заведут любовников и любовниц, а как похоть утихнет, начинают ненавидеть, орать, вены резать, сигать из окон. Любовь — это красота, а меня все в грязь толкают...

— Тебя никто не заставляет, что ты придумываешь? — Мама подобрала с пола брошенную сумку. — Чтобы выйти замуж, надо появляться на людях, ходить на концерты, выставки. А ты носишься по болящим и ревматическим.

Марина с изумлением смотрела на маму:

— Ещё посоветуй на кладбище побывать, как в том фильме, может, я вдовца встречу.

— Ах ты злочка! — мама покачала головой.

— Вся в тебя.

— Мужчины тебя боятся. Ты не железная, ты бронированная леди. Такая жёсткая стала.

Марина обиженно смотрела на мать, признавая в душе, что и вправду в последнее время даже своих униженных и оскорблённых стала рассматривать и оценивать, а так ли это на самом деле.

— Чего бояться-то?! У меня звезда во лбу или уши на затылке?! — Марина начинала раскаляться, как печка, чуть искры из глаз не сыпались. — Придёт такой потерянный, встанет рядом, как столб, и молчит. А мне что прикажешь делать? Я должна его учить, как за женщинами ухаживать? Цветы дарить, в парке гулять... — Тут она вспомнила Вадима и осеклась. — А лучше путешествовать, дорога всё прояснит.

Марина скинула пальто и наконец стала разуваться.

— Нет, он сядет рядом на лавку и рассматривает тебя, как натюрморт. Со-зер-ца-тель. И так может сидеть годами, больше ему ничего не надо. — Тут опять вспомнились светлые кудри Вадима, и она замолчала.

— Ты же из себя строишь музейную редкость. Они и робеют. С тобой невозможно жить! — резко ответила Лариса Викторовна, поднимая её сапоги и пальто.

— Это потому, что не даю тебе телевизор смотреть день и ночь? Пупей дальше, пожалуйста, — мне-то что! — Марина развела руками.

— Ой, можно подумать... — мама пошла с вещами в прихожую. — Да я только православно смотрю. Зато ты у нас святая. Смотри, крылышки уже растут, равноангельная...

Лариса Викторовна возвратилась в комнату и выпалила:

— Ты никого не сможешь сделать счастливым. Тебе Бог не даёт мужа, потому что ты его замучаешь. — Признаться, случаются такие скорбные мгновения, когда в гневе человек выговаривает злые слова и мысли, о которых никогда и не думал. Откуда чего берётся?

— Угу... Мне даже отец Святослав сказал, что он не может меня выдать замуж за телеграфный столб. Вокруг одни столбы! — Перед мысленным взором опять встал Вадик, захотелось плакать.

— Отец Святослав намекал, что ты обзываешь мужчин столбами, презирая их, — ядовито ответила мама.

Марина на миг онемела. Она никогда не думала о такой интерпретации батюшкиных слов. У неё перехватило дыхание, а дальше она уже собой не владела. Шарахнула кулаком по шифоньеру и крикнула:

— Я всегда знала, что ты меня терпеть не можешь. Уходи, не хочу тебя видеть.

— Перестань крушить мебель. — Мама ужаснулась и заговорила тихо-тихо: — Ну, прости, если я тебя обидела. Я всегда молюсь о твоём счастье.

Марина вновь вспомнила причину своих мучений и почти простонала:

— Да не надо, сделай одолжение. Мне и так хорошо живётся.

Она быстро ушла в свою комнату, хлопнула дверью, легла на постель и стала рассматривать стену. Её била нервная дрожь. Она решила позвонить Любаше и рассказать о вероломстве врачей, о ссоре с мамой... Такого скандала у них ещё не бывало. “Чего, собственно, мы разругались? Нападение бесовское со всех сторон”, — с тоской думала Марина. Нужно было кому-то излить душу.

— Люба, у меня столько несчастий, — начала она свой жалобный рассказ.

Подруга выслушала её, не прерывая. Потом, вздохнув, проговорила:

— Знаешь, у меня мама умерла давно. А я до сих пор в этот день плачу. Мы с ней жили душевно.

— Да, мы, наверное, впервые так поссорились. Это я с ума сошла.

— Сама понимаешь, с мамами нужно обращаться бережно... А по поводу врачей... Знаешь Иришку?

— Какую?

— Такая маленькая, рыженькая...

— Да. Ну и что?

— У неё был случай. Её муж, Андрей, сильно пил. Он одно время старался завязать, но сорвался. У Ирины тут же случился ужасный приступ астмы, она стала задыхаться. Андрей сразу протрезвел, вызвал “скорую”. Ирина была в полусознании. Приехали две врачихи. Сначала первая энергично что-то делала, но движения, которые она совершала своими большими руками, ещё больше перекрывали в гортани тоненький проход для кислорода, и сознание Ириши стало уходить. Лишь в последние секунды увидела, как Андрей упал на колени перед иконой Богородицы и просил у Нёе прощения, признавая свою вину в этой болезни. Молился со слезами, чтобы Она сохранила Ирину, и дал зарок, что больше пить не будет. Ирина волей обстоятельства стала свидетельницей этого.

Марина напряжённо слушала подругу.

— Знаешь, очнулась она одетой в пальто, в ванной с горячей водой. Рядом с собой увидела хрупкую женщину, второго врача, которая потихоньку вливала ей в рот горячую воду. Это сняло отёк гортани, она опять обрела спасительную струйку воздуха и начала потихоньку дышать. Тут же стоял муж. Когда Ирине стало лучше, врач сказала, что больную надо отнести в машину “скорой помощи”. Сначала её поднял на руки Андрей, но у него не получилось нести правильно: кислород перекрывался. Вдвоём у врачей тоже не выходило. Тогда эта тонкая, маленькая женщина, которая была, наверное, худее Ирины, взяла больную, как берут маленьких детей, и приложила её голову к своей. Это было самое правильное положение

для поступления воздуха. Затем она вышла с ней из квартиры. Живут они на верхних этажах, войти в лифт врач со своей ношей не смогла. Единственный выход был нести больную на руках, спускаясь по лестнице.

Люба перевела дух и продолжала:

— Знаешь, для меня, с больным позвоночником, это было бы не по силам. Но какой бы ни был позвоночник у этой хрупкой женщины, представить себе такое невозможно. Ирина только помнит, что время от времени врач была вынуждена её переключать, и тогда струйка воздуха прекращалась. Но она вновь находила положение — дыхание возобновлялось, и несли больную дальше, всё время читая “Отче наш”.

— Она была православной?

— Наверное. По крайней мере, Господню молитву знала. Ирина рассказала об этом в палате больницы, и многих оттуда привела в наш храм. Вокруг Ирины всегда так происходит. Люди к ней идут, потому что она очень чистый и светлый человек. Помню, с какой спокойной улыбкой она рассказала всё, что с ней произошло. Знаешь, после Ирина нашла своего врача-спасительницу, и у них началась дружба. Потом Андрей опять запил и вскоре умер. Я это рассказала, чтобы ты не сердилась на врачей. Чем сильнее будем молиться о них, тем лучше станут нас лечить. Жизнь очень разнообразна и не однозначна.

— Не возражаю. Сколько людей, столько судеб. Спасибо тебе, Люба.

После этого разговора всполошённая Марина всё равно не могла успокоиться. Последним способом восстановить мир души обычно становился звонок Олегу, закадычному другу. Он, прикованный к больничной койке, никогда не говорил, что жизнь ему надоела, всегда был весел и спокоен, а она, здоровая, ходила ногами по земле и занудствовала.

— Олег, меня никто не любит, даже мама, — голос Марины в трубке готов был заплакать, но Олег её опередил.

— Почему? Я тебя люблю.

— Разумеется, я тоже люблю тебя, как брата, но я про другое, — Марина вздохнула.

— Я тебя намного больше люблю, а ты ко мне в гости не едешь. Я готов... к труду и обороне.

Вместо того чтобы заплакать, Марина рассмеялась.

СЕРГЕЙ СОКОЛКИН



КОЛЬБЕЛЬНАЯ ДЛЯ ДЕДУШКИ МОРОЗА

РАССКАЗ ИЗ ВРЕМЕН ПЕРЕСТРОЙКИ

На вопрос, почему люди пьют и иногда до совершенно изумлённого состояния, никому ещё не удалось ответить более исчерпывающе, чем “потому, что пьют... Простите, что немного не по-русски, — пьём...” Шутка!

30 декабря ближе к полднику прилетел с Большой земли долгожданный новогодний вертолёт, доставив истомившимся родителям, вкальывающим дено и ночью на трассе, детишек на праздники. А ещё, естественно, апельсинов, мандаринов, конфет, шампанского и прочей водки с коньяками. Дети тут же разбежались по счастливым папашам и мамашам. И наступило под холодным северным небом счастье тёплое семейное — пара часов почти полной тишины. Предки поквартирно любовь свою на чад родненьких, как из

СОКОЛКИН Сергей Юрьевич родился в 1963 году в Хабаровске. Окончил механико-машиностроительный факультет Уральского политехнического института. Работал инженером в Уральском научном центре Академии наук СССР. Публиковался в местных газетах. В двадцать два года приехал в Москву, специально чтобы показать свои стихи Юрию Кузнецову, общение с которым (а также с Борисом Примеровым и Николаем Тряпкиным) в дальнейшем оказало сильное влияние на его творчество. После окончания Литинститута в 1992 году Соколкин устраивается работать заведующим отделом критики, а потом поэзии и культуры газеты “День” (“Завтра”). В 1994 году стал первым лауреатом Международной литературной премии имени Андрея Платонова “Умное сердце”. Песни на его стихи поют более 60 российских исполнителей, среди них Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Александр Малинин, Лев Лещенко, Валентина Толкунова, Ирина Салтыкова и другие. 3 ноября 2021 года пришло трагическое известие — Сергей Соколкин скончался от коронавирусной инфекции.

вёдер, выплёскивали, наглядеться всё не могли, пылинки сдували. А тем временем и лавка продуктовая вовсю заработала. Неделю потом сугробы в ближайших окрестностях оранжевого цвета были — от шкурки цитрусовых. С фантиковыми вкраплениями. И казалось, что даже тайга суровая сибирская мандаринами запахла.

Красавица ёлка, раскидистая, густая, два метра семьдесят в высоту, впритык под самый потолок, была выставлена в “Национале”, общежитии нашем, в актовом зале. Самую верхушку даже наклонить-согнуть пришлось, чтоб вошла, когда ствол смолистый в крестовину воткнули и водрузили лапушку кудлатую посреди помещения. Запах тут же установился такой ядрёный, чуть не с покальванием в носу, словно из тайги на свет белый и не выходили. Лапы махровые пушистые, упругие, почти без просветов, даже иголки, скажешь — не ошибёшься, сочные, упитанные, хоть и чуток покороче, чем у ёлок-подруг из европейской части. Городским всяким разным, кто у нас не бывал и не видел, и не понять вовсе... Ещё и почечки выпустила сразу, нежные такие, светло-зелёные... Словно пасту из тюбика выдавили. Эх, была бы я игрушкой ёлочной переливчатой, жила бы там, в этой сказке непроходимой с удовольствием душевным. Но не могу, живая...

Меня уговорили быть Снегурочкой, ну, кто бы сомневался. Я ещё со школы всегда всех подобных персонажей изображала. То Снегурочку, то Мальвину, то принцессу какую-нибудь субтильную...

А Дедом Морозом назначил сам себя очкарик наш — активист-затейник из профсоюза, Евгений Васильевич. Ну, как раз старик, маминого возраста, в прошлом году тридцатник исполнился. Он разведённый был и, поговаривали, давно уже себе пару подыскивал. Достойную...

Он сразу начал клинья ко мне подбивать, мама-то занята, а остальные, ой-ё-ё, и не обхватишь... Их можно назначать играть только дирижабли... Дышал неровно и дрожал при встречах, как вертушка при посадке. Плёл несуразицу всякую. Но шёл напропалую. То в кино звал, то тянул к себе по делам, ну, прямо государственной важности... То есть, как в кино шутили, путал личное с общественным... Все варианты испробовал. Он, как только со мной познакомился, когда мы с маманей сюда явились-приземлились, всё про чудеса какие-то неземные стал говорить, намёками общался, всем восхищался, утомил, одним словом.

Я, помню, брякнула в ответ как-то:

— Я уже большая девочка и в чудеса не верю, не бывает их, болезней, — а когда увидела плакат на общаге нашей, то заржала, — разве что, говорю, мне Рейган предложение сделает... Хоть я и девушка нашенская, отечественная... Социалистическая.

Ещё он несколько раз вызывался проводить меня с работы. Ну, жалко, что ли, проводи, хоть поболтаем, идти не скучно будет!

Но после того, как бандит этот, Сталкер, узвечил нескольких моих провожатых, я уж стала опасаться пользоваться чьими-то добрыми предложениями... Не хотелось грех брать на душу. Отказывать стала всем, очкарику, в частности...

Но опять придумал он, неугомонный наш, как сделать, чтоб мы вместе несколько дней провели, порепетировали, попоздравляли и прочее... Кудесник.

И вот настает сам Новый год, 31 декабря. У нас куча работы впереди, причём оплачиваемой... Вечером нужно будет поздравить всех взрослых, но самое главное — детей. С утра, значит, приступать будем. Договорились за час до начала, ровно в одиннадцать, встретиться в общаге у ёлки, проверить всё, порепетировать...

И вдруг он в комнату к нам припёрся утром, в полдесятого, на полтора часа раньше намеченного времени. У мамани бигуди на голове, она в халатике, бегаёт, суетится. От Клавки с Зинкой поздравления принимает через стенку, проснулась уже общага, гудит, радуется. А у меня накрашен ещё только один глаз, о переодевании и не думала даже. А тут этот. Дёрнулась я от его прихода внезапного, непрошеного и размазала всё снизу, под глазом. Фингал, можно сказать, получился. Мать-то была уверена, что это соседка зашла,

открыла. А он и вбежал-вкатился... С бородой, посохом и в шубе расписной. Не по годам весёлый, как подарок на новоселье. Я векочила, стою, словно дура, с тушью для ресниц, смотрю разными глазами, хоть оба и вытаращенные, то на него, то на своё отражение. Моргаю. Страшная, как жизнь Гитлера в сорок пятом. Он, дедушка-очкарик, вначале подумал, что дверью ошибся. В полном шоке. Такой страхолюдной он меня, естественно, никогда ещё не видел.

Я спрашиваю возмущённо (другая бы разревелась):

— Чё припёрся-то раньше времени, фашист переодетый?! Я ж не готова, мешаешь только...

Молчит, понять, видимо, пытается, что это... Понял, принял, как должное... Чему-то обрадовался. И уже торжественно:

— Та-да-да та-а-а-а!!! — как будто фокус показывает, выдёргивает на свет Божий... бутылъ шампанского,

— Вот! — говорит. — С новым счастьем!

— Ты чё, блин, — культурно так, как могу, к совести призываю, — очумел, Морозко таёжное?! Более подходящего времени найти не мог?!

Еле выперла его взащей.

— Жди, — говорю, — где договорились, дедушка-затейник! И не хрен к молоденьким одноглазым девушкам приставать-вламываться, смущать попусту. Да ещё и спаивать. Рабочее время ещё не наступило...

И дверь захлопнула. Плюнула звонко в коробочку с тушью и продолжила... заново всё рисовать.

В одиннадцать тридцать, усталая, но выправленная, с двумя глазами, пришлёпала к ёлке, в актовъй зал. Он с осторожностью так на меня зыркает, видимо, опять боясь увидеть чёрт-те что и с боку бантик, не оправдывающее его надежды далеко идущие. Но увидел, выдохнул. Страхи, как говорится, не подтвердились. Опять достаёт своё шампанское, неунывающий весь такой, деловитый, словно тут же его и производит. И опять предлагает,

— Давай теперь-то...

— Ты опять, — напрягаюсь, — с этой бутылкой?! — имея в виду шампанское как таковое...

— Нет, — отвечает. И смотрит так лучезарно, словно похваляется, — это другая. Ту я тогда ещё оприходовал...

— У нас же, — возмущаюсь, — куча работы.

— Не бойсь, Анька, сдюжим. Помогай давай лучше! Праздник всё-таки. И ты будешь не такой скованной.

— Ладно, — отвечаю, — наливай.

Выпили по бокальчику, он уже по четвёртому наполняет. Глаза блестят. А я ж не знала, мне уже потом сказали, что он с утра ещё и водочки для храбрости накатил. В общем, допили мы бутылку, он достаёт какую-то коробочку и суёт её мне под нос,

— А вот тебе и чудо долгожданное!

— Какое? Кем, — спрашиваю, не открывая, — долгожданное?

Подбоченился,

— Хоть я и не Рейган, но тоже ведь начальник, — а язык уже заплетаться начал, как кружево вологодское, видно “Северное сияние” (водка с шампанским) в башку, сверкнув, долбануло. То есть чувак к норме своей приблизился, улыбается уже, как балбес, во всю косоглазую.

Открываю коробочку, а там кольцо золотое обручальное. Смотрю на него изучающе, он ещё больше лыбится,

— Довольна?! — вопрошает гордо. — Есть чудеса на свете?! Кому из твоих подруг Дед Мороз предложение делал? — и тут же целоваться полез, протезы свои растопырил.

— А кого, — спрашиваю, — из твоих друзей Снегурочка на хрен в Новый год посылала?!

Он опешил, вылупился,

— Ты что, — выдавливаю, — не счастлива, что ли?

— А с чего бы вдруг? — отвечаю. — Я ж тебя знать не знаю, дедушка. Совсем крыша поехала? К тому же я тебя спасаю от Андрюши-Сталкера...

Знаешь, кто это?! — Он плечами пожимает, не знает, то есть. Отвечаю: — Ухажёр мой долбаный, урод один, катала-бандюган... Многих уже тут побил-покалечил. Так что спрячь-ка, дедушка-балбес, подарок свой и никому не говори, что предлагал его мне. А то пришибёт он тебя ещё, малахольного. Пропадёшь ни за что, — и зачем-то добавила: — Как говорится, ни за понюшку...

Он вначале фыркнул, физию обиженную скорчил,

— Я ж к тебе со всей душой, — но потом подумал-подумал и кольцо своё в карман положил. А из-за елочки ещё одну бутылку достал.

И вот выдвинулись мы в тайгу — лесные ёлки наряжать. Выбрали несколько подходящих — толстеньких, мохнатеньких, в больших белых сугробах. Я смеюсь, его подбадриваю, словно ничего и не произошло... А он топчется, наряжает и под нос себе что-то недовольно бурчит-бормочет, отхлёбывая из пузыря. Я только опасалась, как бы он бутылку потом на верхушку лесной красавицы не надел. А подарки для детишек мы в сугробах под хвойными деревцами или где-нибудь рядом прятали. Когда детишки их потом в снежке или на ветках находили, просто визжали от радости. Кстати, не только они, но и их мамашки возбуждённые... Правда, я заметила, что находили они только те подарки, что прятала я... Ещё и бутылку пустую нашли... А его подарки мы уже потом, без детей, когда их по домам увезли, в Старый Новый год обнаружили-раскопали... Да и то половину дикие собаки без нас повытаскивали. Метрах в двадцати-тридцати от ёлок.

В общем, разомлел он окончательно. Перемешал надежду долгожданную с обломом неожиданным и запил это всё полусладким. И когда мы потом в актовом зале с детьми были, хороводы водили, он еле держался на полусогнутых. И, кстати, совершенно забыл свой текст. Но по недоразумению очень хорошо запомнил мой. В результате он шарил за меня мои стишки:

*— Здравствуй, Дедушка Мороз!
В этот зимний вечер
Рады мы почти до слёз
Этой шумной встрече!
Мы закрутим хоровод
И зарулим в Новый год!*

А я, как дура, стояла с открытым ртом и периодически, вспоминая его текст, проговаривала-озвучивала его басом в прозе, типа:

— Здравствуйте, детишки! Вот я и пришёл. Бороду мою белую узнали?! — И на Деда Мороза пальцем показываю. — А-а-а? Не слышу... Глухой я... Орите громче!

Все и орали, как резаные, у меня аж уши заложило.

А потом Дедушка Женя Морозович снова, забыв, что уже давно пришёл, размахивая посохом, звонко, по-снегурочьи, выкрикивал, ещё и перековеркав текст:

*— Должен Дед Мороз явиться,
Чтобы было с кем напиться...
Живо дедушку встречайте
И стопарик наливайте...*

Очень смешно!

Ещё и отхлебывать шампань успевал из бутылки. А я делала книксен и крутила пальцем у виска, а другой рукой у него бутылку отнимала. И на пол у самой ёлки ставила. Детям нравилось, хохотали, кричали,

— Так ты же уже пришёл. Ты и есть Дед Мороз — Красный Нос.

А он возражал радостно:

— Нет, я Снегурочка... Гав-гав!

Опять смех! Остроумно, однако...

Родители тоже подумали, что это такая новая трактовка прочтения персонажей. Улыбались. Мужики даже ржали, уже загашенные.

— Пузырь-то не отдавай бабе!

А вообще-то все ведь перемены любят, ждут даже... Вот и дождались.

Чуть позже он начал подарки искать в мешке, перебирать. Интересно ему стало, что там. Детство, видимо, вспомнил. Плёл отсебятину:

*— Я вам щас вручу подарки
На скамейке в детском парке...
У меня шампань в груди,
Если смелый, подходи.*

Встал вдруг на карачки, задумался по-взрослому и потом уже просто упал бородой в мешок. И его придавило другим мешком, который там заранее был приготовлен, мы из него должны были детям крупные подарки раздавать, в нём килограммов, наверное, сто пятьдесят было. Слава Богу, не на смерть. Дед под ним так и остался лежать.... А я пошла с детишками хоро- воды водить, песенки петь...

*В лесу родилась ёлочка,
В лесу она росла,
Зимой и летом стройная,
Зелёная была...*

Тут ко мне какой-то мальчик подбегает, за рукав дёргает, кричит:

— Тётя Снегурочка, тётя Снегурочка, а ваш дедушка под ёлочку упал и спит...

*Метель ей пела песенку:
“Спи, ёлочка, бай-бай!”
Мороз снежком укутывал:
“Смотри, не замерзай!”*

Я ласково так отвечаю, как дежурная по местному сказочному дурдому:

— Дедушка устал, издалека к вам шёл, двух оленей загнал... Отдыхает теперь...

Мальчик так многозначительно в ответ:

— Да, да, конечно... У меня папа тоже устает на работе...

Дед храпеть начал. Все смотрят на меня, а я не знаю, что делать. Тут осенило, я предлагаю:

— Дедушка вот песенку поёт. Давайте, и мы все вместе споём с вами калыбальную для дедушки, посмотрим, кто из вас споёт лучше всех.

Все обрадовались, запели. Кто в лес, кто по дрова...

*Спят усталые игрушки, книжки спят,
Одеяло и подушки ждут ребят...*

А он храпит себе, выхрапывает, подпевает, то есть...

Победила, кстати, девочка Оля, почти во все ноты попала. Я ей коробку конфет вручила. Она их матери тут же отнесла, наказала не отдавать никому.

Тут вдруг погасла ёлка, сразу какой-то серой, тусклой стала. Показалось мне, что и запах тут же пропал вместе с настроением праздничным. Дедушка наш добренький пока валялся там и из-под большого мешка пытался выбраться, видимо, отсоединил гирлянду или даже повредил там что-то. Хорошо хоть током не шарахнуло болезного. А может, и наоборот — жаль...

Я не знала, что делать. Но все смотрели именно на меня, сказочного персонажа волшебного. Электрик всё равно бухал где-то. Я и предлагаю детишкам радостным таким голосочком, на который ещё способна:

— А давайте покричим: “Ёлочка, зажгись!” — сама в глубине души надеясь на извечное русское чудо.

Все хором:

— Ёлочка, зажгись! Ёлочка, зажгись!

Ноль внимания, фунт презрения...

Я делаю вид, что так и надо, а сама соображаю, что же делать... Ничего, как назло, на ум не приходит... Кроме как больно пнуть этого бегемота — Деда Женю Мороза.

— Ёлочка, зажгись! Ёлочка, зажгись! — дети уже чуть не плачут.

“Может, — зло так хихикаю в глубине души, — детям спички раздать?! Сразу зажжётся...”

Время идёт, а ёлочка ну никак не зажигается, шатается только. Это этот Дед Бегемот ворочается под ней... Но, хоть убей, огоньки не включаются.

“Вот же блин, — думаю, — надо было бы к потолку её привязать! А то свалится ещё”.

Тут кот мой Василий заруливает важно так в комнату. Вначале пытался потереться о мою ногу, но я его оттолкнула. Занята, мол! Не до него было, понимать же нужно! Посмотрел на меня так, что сразу врубилась, — не простит никогда. Враг на всю жизнь! Зуб даёт! Подошёл к ёлке, пометил Деда Мороза и стал мишуру жрать, давиться. Словно его, собаку наглуую, месяц не кормили. И лапой по игрушкам так — бац, бац! Одну сбил даже. Дети оживились, стали его ловить, на время подзабыли про проблемы с гирляндой.

“Спасибо тебе, кормилец!”

Не поймали, естественно.

А я давно обратила внимание на одного полненького мальчишка странно-го, точнее — на его костюм вычурный. Все вокруг были кто лисичками, кто зайчиками, кто мушкетёрами, а кто-то даже шахматными королями... А этот был весь обкрученный проводами и лампочками. И все они горели-мерцали разными цветами. Батарейки, видимо, в кармане были. Папашка наверняка электриком работал... Нашим, естественно, сукиным сыном, который сейчас здесь так необходим. Только вот куда он подевался?! Куда-куда?! А куда в России испокон веков деваётся всё необходимое?! Водку откусивает!

А у мальчишка этого костюм был то ли картой нашей газовой трассы, то ли картой мира, то ли России, с дорогой дальней в места не столь отдалённые... В общем, у него при нажатии на тумблер включались на костюме или населённые пункты на дорогах, или места добычи нефти и газа... Я ему важно так шепнула, как королева фей сказочная:

— Я, Петечка, тебя по праву внучки Дедушки Морозика превращаю по щучьему велению и по Деда Мороза и Снегурочки хотению из карты производственной в ёлочку новогоднюю! Хочешь стать настоящей ёлочкой?

Он ничего не понял и стоял молча, важно глазами мигая, как лампочками Ильича. Пискнул только:

— Кем, кем?!

Я вся разулыбалась, кружу вокруг него, словно три белых коня песенных, в вихре вьюги новогодней, льну к нему, любую щёлку выискиваю, чтоб проникнуть-достучаться:

— Кудрявой зелёной ёлочкой с подарками для детей. Хочешь подарки вкусные? Ты конфетки шоколадные любишь?

— Да. Но мне нельзя. Толстый я... Папа говорит.

Блин, блин, блин! Что ещё сказать, прельстить чем бедолагу?! Вспомнила, что видела в мешке автомат.

— А автомат хочешь, можно тебе автомат?

— Да.

Ну, слава Богу! Естественно, автомат в России всем можно... Особенно АК-47. Даже нужно. К тому же он парень, защитник Отечества, как сразу-то не додумалась! А у нас в стране все защитники, даже ёлки зелёные. Тем более новогодние...

— Всё, дарю, Петя. Заберёшь чуть позже. Но только ты теперь ёлочка с подарками, договорились?!

— Не-е-е. Автомат давайте. И конфеты...

Чтоб тебя! — полезла под ёлку, еле-еле отодвинула тушу Деда, этого бобра Мороза, нашла в мешке автомат. Повесила ему на шею. Конфеты

в карманы запихала. Он обрадовался. Гордый стал, плечи раздвинул. Показалось, что даже подросток сантиметров на десять. Строчит из автомата, на кончике ещё одна лампочка светится...

Все детишки тут же тоже стали подарки просить. Но я пообещала, что чуть позже. А это, мол, не подарок, а игрушка такая ёлочная, необходимая для украшения. И тут же поставила пацанчика на табуретку и объявила, что он теперь наша ёлочка непобедимая — в условиях американских, рейгановских санкций враждебных. Раз так весело светится...

Он ничего не понял, но сказал:

— Ура! — получилось немного грустно. Зато прострочил из автомата.

И кое-кто из родителей, продвинутых самых, даже заплодировал.

Тут я объявляю для детей специально:

— Все играем в мультики. Это теперь не Петя и не карта, это ёлочка теперь новогодняя, а вы все не дети газовиков-нефтяников, а дети лисичек, волчат и медвежат, которым скоро я, главная северная Снегурочка, буду вручать подарки от Деда Мороза. Усталого...

Тут все дети тоже обрадовались, что-то новенькое. Один мальчик сказал:

— А я трактор, сын подводной лодки.

— А я велосипед.

— А я... тортик...

А я успела Пете шепнуть, чтоб, когда все будут кричать: “Ёлочка, зажгись!” — он своим тумблером в кармане не забывал щёлкать.

— Я тебе подмигивать буду, ты и щёлкай...

Так минут пятнадцать развлекались. Я командовала. Дети кричали: “Ёлочка, зажгись!” Я подмигивала Пете, он щёлкал тумблером. Развлекуха.

В общем, поводили мы вокруг него хоровод. Но детям это быстро наскучило, стали требовать настоящую ёлку. А кое-кто из родителей — и настоящего Деда Мороза. Один только ёлка-Петя счастлив был по-настоящему, был центром мироздания. Хороводы вокруг него водят, смотрят снизу вверх. Кричат что-то. А он знай себе тумблером щёлкает. Причём уже и не в такт, и даже когда и не просят... Ничего, пусть! Главное — из автомата стреляет. Лишь бы конфеты шоколадные не начал кушать при всех раньше времени...

В общем, детям это окончательно надоело. Стали требовать настоящую, светящуюся ёлку.

Я говорю тогда:

— Ну что ж, давайте будить Деда Мороза. Раз-два, хором: “Дедушка, вставай! Хватит спать, соня!”

Все орут:

— Дедушка, вставай! Хватит спать!

Гвалт и визг такой подняли, что я уж подумала, что сейчас реально настоящей Дед Мороз зайвится, чтоб заморозить всех к чертям собачьим.

— Олень северный! — это уже, правда, выкрик какой-то мамашки нервной, не увидела, кто это инициативу проявил.

Я торможу его, он вначале ничего, а потом отбрыкиваться начал. Это всем очень понравилось. Хохочут, надрываются. Особенно, когда он валенком лягаться начал. Я трясую его, он бормочет что-то и копытом своим отбрыкивающимся дёргает. А я всё провода нужные найти пытаюсь... Нашла бы, вставила ему в одно место...

А электрика всё нет. У него тоже Новый год.

— Дедушка, вставай! Дедушка, вставай!

В общем, растормошила я его. Рукой шарить стал, видимо, бутылку свою искал недопитую. Уже пожалела, что разбудили. Ползать под ёлкой начал. Кто-то кричит, пальцем тычет:

— А у дедушки борода отвалилась...

Детям смешно, мамашам не очень.

В общем, партизан этот лесной окончательно проснулся, расшевелился совсем, начал вставать с шутками-прибаутками, зашнурлся и на ёлку-то и облокотился. И уронил её вместе с собой. Ещё и короткое замыкание произошло, шибануло слегка. Но, к сожалению, не его. Свет потух везде. Дети окончательно развеселились. Ура! Темнота — друг молодёжи...

Все весёлые, даже родители ржут.

Так что Новый год удался. И я с чистым сердцем стала раздавать детишкам оставшиеся дедушкины подарки. Все визжат, кричат, толкаются. Конфеты роняют. Дедушку, кстати, осторожно вынесли из зала, чтоб не мешался, не бедокурил и мамаш детишкиных за разные места сказочные не хватал. Тут и электрик ввалился, появился. Счастливый, слов нет! Свет починить вызвался. Этого тоже вынесли, чтоб окончательно общагу не спалил, Герострат.

Так что с Новым годом, друзья, с новым счастьем!

А денег мы с Дедом Морозом получили поровну, пятьдесят на пятьдесят. За работу, честно проделанную.

Кстати, когда ёлочку потом мыли, чистили, в порядок приводили, то обнаружили на самой её макушке, надетое, как на палец, золотое обручальное колечко... Откуда, чьё?

— А-а-а, — пошутил кто-то, — это, видно, Дедушка Мороз с ёлочкой на празднике поженились...

ОЛЕГ СТРИЖАК

ЗАГАДКИ И ТАЙНЫ 1917 ГОДА

*Пока поднимается пушка “Авроры”,
не знает почти что никто, ну — почти что,
как мир переходит границу повтора,
и всё необычное станет обычным...*

Андрей Домбровский

Закулисье Истории (а всё важнейшее в Истории творится втайне от публики) очень редко открывается исследователю. Но по прошествии столетия события предстают перед нами во всей своей полноте и наготе...

Февральский переворот в России в 1917 году явился результатом заговора, который начался в сентябре 1915 года. Об этом впервые заявил в печати Деникин в Париже в 1921 году. Монархисты хотели силой вырвать у своего государя отречение, а в случае отказа — убить царя. Потом появились в эмигрантской печати свидетельства о масонском заговоре. В действительности там был сложный клубок четырёх заговоров: дворцовый (великие князья), генеральский (армия), заговор разведок Англии и Франции и масонский заговор (“центр” депутатов Думы, эсеры и меньшевики). Имеется обширная литература по этому вопросу, воспоминания участников заговоров и очевидцев.

В начале марта 1917 года государь, извещённый, что заговорщики намерены убить его самого, его жену и детей, подписал отречение в пользу младшего брата, великого князя Михаила. Михаил, растерявшийся, под нажимом и под угрозами “думцев”, отрёкся в пользу Учредительного собрания.

В том же марте началось разложение армии через провокационный “Приказ № 1” — “некие силы” уведили армию из-под власти дисциплины и подчинения старым начальникам. На фронте и в тылу отменялись подчинение и чинопочитание, учреждались солдатские комитеты, которые отныне решали, исполнять приказы командиров или нет. Результат превзошёл ожидания, солдаты поняли дело так, что “революционная свобода” — свобода выбора, свобода не воевать (в июле после ужасного провала наступления командующий фронтом генерал Деникин гневно выговаривал военному министру Керенскому: “Не большевики разложили армию, а вы, ваше правительство”).

В апреле вместо того, чтобы созывать Учредительное собрание, правительство заявило (“нота Милюкова”), что будет продолжать войну по обязательствам царизма. Возмущённые полки Петрограда вышли из казарм с оружием и окружили Мариинский дворец, где (как и при царе) заседали министры.

Генерал Корнилов, командующий войсками Петроградского военного округа, вывел артиллерию, чтобы расстрелять мятежные полки. Политики испуганно заявили, что это — начало гражданской войны. Совет рекомендовал Корнилову убрать пушки. Корнилов подчинился, но подал в отставку. “Министры-капиталисты” тоже ушли в отставку. Составилось новое Временное правительство с участием социалистов, которое решило: войну продолжать.

Сталин приехал в Петроград из Сибири 12 марта, отобрал у Молотова руководство газетой “Правда” и заявил два своих главных тезиса: вся власть в России должна принадлежать Советам, а войско должно быть первейшим союзником пролетариата (12 миллионов людей в шинелях, с винтовками и пушками, обученные стрелять, – страшная сила).

Ленин приехал из Швейцарии 3 апреля 1917 года. До того Ленин и Сталин сильно враждовали (конфликт между “бакинской группой” Фиолетова-Сталина и “парижскими господами” – Лениным и прочими; высказывались подозрения, что именно Ленин устроил арест Сталина в 1913 году и отказал в организации побега Сталина из заполярной ссылки).

Сталин категорически не принял тезисы Ленина (которые позднее были названы “апрельскими”). Петроградское бюро партии большевиков почти единогласно проголосовало против этих тезисов. Плеханов, старейший социал-демократ, в печати назвал эти тезисы “бредом”. В большинстве своём “эс-деки” заключили, что Ленин окончательно порвал с марксизмом и сделался “бланкистом” и “бакуинцем”. Известно, что Сталин и Ленин несколько часов говорили с глазу на глаз. После этого разговора Сталин стал в партии первым человеком после Ленина, а в ЦК большевиков было создано Военное бюро, которое возглавили Сталин и Дзержинский.

Уже в мае разумные люди видели, что России не нужно воевать. Февральская революция привела к полной разрухе. Фабрики закрывались повсюду – из-за нехватки сырья. В городах начинался голод, продовольствия по карточкам давали мало или не давали вовсе, а на свободном рынке за время войны цены выросли в 13 раз. Производство военной продукции упало в три раза. Армия, разложенная “Приказом № 1” и декретами Временного правительства, стихийно не желала воевать. Армия уверилась, что “свобода” – это свобода бесчинств, дезертирства, преступлений. Каждый день войны стоил 56 миллионов рублей, а дефицит годового бюджета составлял 40 миллиардов. России был нужен мир.

Германия, измученная войной, с осени 1916 года по различным каналам искала возможности заключить перемирие с Россией (положение “центральных держав” ухудшилось тем, что в апреле 1917 года США объявили о вступлении в войну на стороне Антанты и начали отправку в Европу миллиона солдат).

В июне 1917 года в Петрограде собрался 1-й Всероссийский съезд Советов (большевики имели на съезде всего лишь десятую часть мандатов). В дни съезда большевики наметили на 10 и 11 июня вооружённое выступление с целью “свалить” правительство князя Львова (по сценарию “апрельских дней”), взять власть и немедленно заключить мир, тем самым перетянув массы на сторону большевиков. Руководили подготовкой этого выступления Сталин, Дзержинский и Стасова. Каменев и Зиновьев были против взятия власти. Ленин предпочёл выжидать.

Возмущение съезда Советов было бешеным. Министр почт и телеграфа Временного правительства Ираклий Церетели, меньшевик, заявил, что “через ворота большевиков войдёт генеральская контрреволюция” (Церетели уже в июне почему-то увязывал большевиков с генералами). Съезд запретил большевикам демонстрацию. 9 июня всем казалось, что дело большевиков кончено. Ленин почёл за лучшее скрыться, с 10 июня партией руководил Сталин.

18 июня правительство и военный министр Керенский, по требованию Франции и Англии, начали громадное наступление русских армий, которое в июле закончилось катастрофой. Керенский позднее путано напишет, что “не имел своей воли” и был управляем из-за рубежа. Берберова, автор знаменитого исследования о масонах, говорила: “Они дали масонскую клятву, которая по уставу превышает все остальные клятвы, даже клятву Родине, – они дали клятву никогда не бросать Францию, и потому Керенский не заключил мира”.

“Июльские дни” в Петрограде – стечение чудовищных провокаций. 3 июля ЦК большевиков под руководством Сталина постановил: ни под каким видом не ввязываться в демонстрации анархистов. Но вечером 3 июля Зиновьев, Луначарский и “независимый с.-д.” Троцкий дали команду Раскольникову в Кронштадт, чтобы кронштадтский Совет прислал наутро 20 тысяч вооружённых матросов.

Многие в июле 1917 года говорили, что за всей этой нарочитой неразберихой стояли некие “тёмные силы”. Вероятно, так оно и было. В ночь на 5 июля в Петрограде были написаны два примечательных документа.

Один – секретный меморандум британского посла Джорджа Бьюкенена, адресованный Временному правительству. Бьюкенен разговаривал с Керенским и другими министрами, как барин с лакеями, и указывал им – правительству России! – что и как нужно делать далее.

Другой документ – обращение Сталина к рабочим и солдатам Петрограда. Удивительно, но он как будто читал меморандум Бьюкенена. В этом обращении Сталин писал, что теперь перед Россией два пути: или Россия станет колонией Англии, Америки, Франции – или Советы возьмут власть, заключат мир, и Россия будет независимой державой.

Вечером 4 июля в Петрограде было объявлено военное положение. 5 июля в город стали прибывать эшелоны с войсками Северного фронта – казачьи полки, артиллерия, броневики. Мосты были разведены. Город опустел – только пугающее передвижение войск. “Тёмные силы” хотели в Петрограде крови, и большой крови. Утренняя пресса начала кампанию на тему “большевики – германские шпионы”, в прессу были сброшены документы, собранные контрразведкой военного округа.

В “Энциклопедии военной разведки России” (М., 2004) сообщается, что начальник Разведывательного управления Генштаба генерал-лейтенант Н. М. Потапов с июля 1917 года сотрудничал с большевиками (значит – документы имеются, и когда они будут рассекречены, наши учебники преобразуются). Нужно думать, что контакты генерала Потапова со Сталиным начались гораздо ранее. 1 июля 1917 года контрразведка Петроградского военного округа выписала – по делу “немецких денег” – ордера на арест 28 виднейших большевиков, начиная с Ленина. Примечательно, что в этом списке не было фамилий Сталина, Дзержинского и Стасовой: “кто-то” вывел всю “группу Сталина” из-под удара.

После “июльских дней” Сталин был в Петрограде легальным политиком и общим миротворцем. Как представитель ВЦИК Советов он 5 и 6 июля вёл переговоры с правительством, с командованием штаба военного округа, с восставшими – и добился, чтобы каратели не спешили и чтобы восставшие сдались. Кровопролития удалось избежать.

Мне видится, что генерал Потапов и Сталин явились реальными руководителями Октябрьского переворота (после Октября генерал Потапов стал начальником разведки штаба Красной армии).

Уже в июле 1917 года говорили, что “звезда Корнилова” взошла по воле английского посла Бьюкенена. В ходе провального наступления и катастрофы Корнилов стремительно рос в чинах – из генерал-майора, командующего армией он в две недели стал генерал-лейтенантом, главнокомандующим фронтом, а затем генерал-аншефом и Верховным Главнокомандующим.

В августе Корнилов был чрезвычайно уверен в себе, – видимо, ему твёрдо пообещали, что он станет Диктатором. Сталин в газете “Рабочий путь” иронически называл генерала “сэр Корнилов” и писал об английских разведчиках в ставке Корнилова (видимо, Сталин получал сведения из надёжных источников). Кроме английской разведки, Корнилова усердно и практически поддерживали два крупнейших масона: бывший военный министр Гучков и действующий военный министр Савинков.

Важно заметить, что в армии генерала Крымова, которую Корнилов двинул на Петроград, не было уроженцев русских губерний – только донские казаки и кавказцы. В бронемашинах сидели английские офицеры. Корнилов был слабым военачальником даже в качестве командира дивизии (генералы в мемуарах подтверждают это). План Корнилова был таким: Кавказская Туземная дивизия разворачивается в корпус, а затем вместе с Конным корпусом генерала Краснова разворачивается в Отдельную Петроградскую армию – и всё это на ходу, в эшелонах, в наступлении. Такой план несерьёзен.

О заговоре Корнилова написано много, но гораздо интересней заговор других генералов – против формального Верховного Главнокомандующего Корнилова и против военного и морского министра Временного правительства Керенского. К примеру, командующий Московским военным округом полковник Верховский в “корниловские дни” нейтрализовал у себя в округе всех прокорниловски настроенных офицеров и выделил пять полков для удара по Могилёву – ставке Корнилова (в декабре 1917 года генерал Верховский мобилизовал дивизии Московского и Казанского военных округов и в начале 1918 года вышиб корниловцев и калединцев с Дона).

Наступление Корнилова на Петроград погубили два генерала – главнокомандующий Северным фронтом генерал-аншеф В. Н. Клембовский и его начальник штаба и комендант Псковского гарнизона генерал-майор М. Д. Бонч-Бруевич. Они растащили сотню эшелонов армии генерала Крымова от Пскова по восьми железным дорогам и бросили эти эшелоны без паровозов, без продовольствия и фуража – в глухих лесах (позднее Клембовский и Бонч-Бруевич служили в высоких чинах в Красной армии).

Если взглянуть, кто из русских генералов воевал и служил в Красной армии, список будет велик. Первым должно назвать национального героя, гордость России, генерала от кавалерии, императорского генерал-адъютанта А. А. Брусилова, он вступил в Красную армию в возрасте 66 лет и был инспектором кавалерии РККА. Царский военный министр, член Государственного совета генерал от инфантерии А. А. Поливанов. Царский морской министр, императорский генерал-адъютант адмирал И. К. Григорович, великое имя, создатель Морского Генерального штаба, автор Большой и Малой судостроительных программ возрождения русского флота, автор Минно-артиллерийской позиции в Финском заливе – преподавал в Академии РККФ. Профессорами в Академии РККА были генерал-аншефы Данилов, Гутор, Зайончковский, в Красной армии служили генерал-аншефы Шейдеман, Черемисов, Цуриков, Клембовский, Белькович, Балуев, Баланин, Шуваев, другой Данилов, Лечицкий, вице-адмирал Максимов, генерал-лейтенанты Соковнин, Огородников, Надёжный, Искрицкий.

Генерал-лейтенант Селивачёв командовал Южным фронтом Красной армии и громил Деникина, генерал-майор Гиттис командовал армиями, Южным, Западным, Кавказским фронтами, генерал-лейтенант Д. Н. Парский командовал Северным фронтом, генерал-майор Петин командовал Западным, Южным и Юго-Западным фронтами, генерал-майор Самойло командовал Северным фронтом (где разгромил своего давнего приятеля и сослуживца по Генштабу генерала Миллера), а затем Восточным фронтом. Морскими силами Республики Советов командовали (последовательно) контр-адмиралы М. В. Иванов, В. М. Альтфатер, капитан 1-го ранга Е. А. Беренс, контр-адмирал А. В. Немитц. Балтийским флотом после Октября командовали вице-адмирал А. А. Развозов, контр-адмирал С. В. Зарубаев, контр-адмирал А. П. Зелёной, капитан 1-го ранга А. М. Щастный. Капитан 1-го ранга Б. Б. Жерве стал начальником Академии РККФ. Полковник Генерального штаба П. П. Лебедев стал начальником штаба Красной армии, полковник И. И. Вацетис стал Главнокомандующим Вооружёнными Силами Республики Советов, полковник Генерального штаба Б. М. Шапошников в гражданскую войну был начальником Оперативного управления Полевого штаба РККА, – с мая 1937 года начальник Генштаба РККА, затем – Маршал Советского Союза, в войну – заместитель Сталина в наркомате обороны, автор нашей победы под Сталинградом...

В конце июля 1917 года Керенский создал своё правительство из “капиталистов” и социалистов (все они были “братья” в масонской ложе) и стал премьер-министром – означилось противостояние Керенского и Корнилова (которое позволительно трактовать как противостояние парижской ложи “Великий Восток” и английской разведки). В июле Керенский поклялся, что Учредительное собрание соберётся в сентябре.

В те дни произошли значительные географические перемещения, которые сделали наименования “Зимний” и “Смольный” символами Истории. Керенский уже задумал учреждение Предпарламента и, чтобы освободить для заседаний Предпарламента Мариинский дворец, перевёл заседания своего правительства в Зимний дворец, в Малахитовый зал. В это же время Таврический дворец закрыли на ремонт, чтобы придать ему достойный вид к приёму членов будущего Учредительного собрания, преемника Государственной думы. ВЦИК Советов и Петросовет нашли для себя поблизости большое здание с актовым залом – Смольный институт.

Историки не могут разобрать, до какой степени Корнилов был в сговоре с Керенским, когда в июле и августе 1917 года сознательно сдавал немцам Прибалтику: сначала неприступный Икскюльский укреп район, затем – Ригу. Тогда же, в августе Сталин писал в “Рабочем пути”, что следующим шагом Керенского и Корнилова будет сдача немцам Петрограда.

За вооружённый мятеж и попытку низвергнуть “законное” правительство генерал-аншеф Корнилов и более двадцати генералов-корниловцев были

арестованы правительством Керенского. Правительство Керенского развалилось, и 1 сентября 1917 года Керенский создал новый кабинет министров (4-е Временное правительство за полгода), Керенский вновь стал премьером и объявил себя Верховным Главнокомандующим. В тот же день, 1 сентября Керенский внезапно, не дожидаясь Учредительного собрания, объявил Россию Республикой. Выборы в Учредительное собрание были отодвинуты на ноябрь. 5 сентября Керенский велел готовить государственные учреждения Петрограда к эвакуации. 5 октября он объявил о переезде правительства в Москву (в те дни был вывезен из Петрограда в Казань весь золотой запас России, более 1 тысячи тонн золота, что имело тяжелейшие последствия для грядущей России. В 1918 году золото было захвачено чехами, небольшую его часть Колчак сумел вывезти через Владивосток в Лондон, а остальное русское золото исчезло бесследно).

Корниловский заговор воспринял в ноябре 1917 года. Начальник Ставки Верховного Главнокомандующего генерал Духонин категорически отказался исполнять приказ Временного правительства Ленина о заключении перемирия с Германией. Духонин освободил арестованных генералов Корнилова, Деникина, Лукомского, Маркова и прочих – будущих героев “Белого дела”. В Могилёв мгновенно выслали из Петрограда группу офицеров, как сейчас сказали бы, “спецназа”, Духонин был убит, но корниловцы ушли на Дон.

В сентябре 1917 года Керенский, будто забыв про Учредительное собрание, вручил “судьбу России” неожиданному явлению – Демократическому совещанию (большевики там были представлены единицами, 5 октября Сталин увёл фракцию большевиков из этого Совещания), совещание избрало странный орган – Совет Республики или Предпарламент – почти шесть сотен человек с чисто совещательными функциями при новом правительстве.

Контркорниловский заговор русских генералов продолжился действительно. Известно, что в начале сентября 1917 года группа генералов – Самойло (будущий кавалер двух орденов Ленина и четырёх орденов Красного Знамени), Петин, другие (все – из разведки Генштаба) составили секретный план действий во благо России: немедленный мир с Германией и Австро-Венгрией, немедленная демобилизация вконец разложенной армии (6 миллионов солдат на фронте, 4 миллиона солдат в тылу, 2 миллиона дезертиров), выставление против германских и австрийских войск “завесы” – 10 корпусов, 300 тысяч штыков, наполовину – офицерского состава, чтобы под прикрытием этой “завесы” не позднее ноября 1917 года начать формирование новой Социалистической армии.

Видимо, Ленин, сидя в Финляндии, кое-что знал от Сталина об этих приготовлениях. Когда в сентябре Керенский собрал в Александринском театре Демократическое совещание, то Ленин из Гельсингфорса яростно требовал от Сталина немедленно арестовать это Совещание – и взять власть. В 1924 году Сталин с большой иронией вспоминал этот эпизод. Вместо имени Ленина он говорил: “...некоторые товарищи требовали от нас... – и далее: – Вот пример людей, которые ничего не понимают в деле взятия власти”. Генералы-антикорниловцы хорошо понимали, что власть генералов в России вызовет только народную ненависть. Нужно было найти другое достойное учреждение. Таким учреждением мог стать 2-й Всероссийский съезд Советов. И в сентябре через аппарат партии большевиков началась агитация за спешный созыв съезда Советов. ВЦИК Советов (который сидел уже в Смольном) колюче противился этому делу. Но искусственно подогреть “требования снизу” сделали своё: созыв съезда был назначен на 20 октября 1917 года.

В любом заговоре настанет момент, когда круг посвящённых резко расширится, и информация начинает утекать. В начале октября весь Петербург знал, что 20 октября большевики будут брать власть (заметим, что ещё в сентябре заводской ремонт крейсера “Аврора” по приказанию свыше был резко ускорен, и готовность крейсера к выходу была назначена на 20 октября). Все крупные газеты в Петрограде с 14 октября завели каждодневную рубрику “К выступлению большевиков”.

Ленин тайно приехал в Петроград где-то между 7 и 10 октября. 10 и 16 октября состоялись два “исторических” заседания, на которых Ленин с неприязнью узнал, что члены ЦК, его вернейшие ученики, весьма скептически относятся к обещаемому перевороту. Большевики не хотели брать власть (это видно, например, из мемуаров Раскольниковца) и не понимали, зачем им это

нужно. Некоторые, вероятно, испытывали просто страх — а вдруг их повесят? — и торопились отмежеваться. 18 октября Каменев в газете Горького напечатал от своего и от имени Зиновьева заявление, что они — члены ЦК большевиков — против переворота.

“Двадцатое октября” всех запугало и у всех навязло в зубах. ВЦИК и его председатель Дан почли за благо отстраниться от одиозной даты и перенести открытие съезда Советов на среду 25 октября.

Заговорщики использовали последний шанс: 20 и 21 октября военный министр Верховский страстно убеждал правительство и Предпарламент немедленно начать мирные переговоры с Германией и Австро-Венгрией. В ответ правительство уволило Верховского. 21 октября, в субботу, состоялось сверхтайное заседание ЦК большевиков (о котором не знал Троцкий), где был утверждён секретный “практический центр” руководства переворотом от большевиков: Сталин, Дзержинский, Урицкий.

Остаётся тайной, где, кем и когда было решено начать переворот 24-го числа, чтобы преподнести власть съезду Советов в подарок. На дополнительную подготовку оставались воскресенье и понедельник (погода была пасмурная и сухая, ночью плюс 1 по Цельсию, днём плюс 3, устойчивый западный ветер 8 м/сек).

Когда Ленин 24 октября писал второпях свою записку: “Верховского прогнали! Всё висит на волоске! Неважно, кто возьмёт власть!” — в Петербурге, столице недавней Империи, дело совершалось неторопливо. Специальные группы тихо овладевали почтамтом, телеграфом, телефонной станцией, вокзалами — все эти учреждения продолжали исправно работать, и публика ничего необычного не замечала, просто — на почте и телеграфе вводилась негласная цензура: какие письма и телеграммы дозвоительно отправлять, а какие — нежелательно. На телефонной станции вводилось прослушивание всех телефонных разговоров и разъединение разговоров ненужных. На вокзалах специальные люди садились рядом с диспетчером и советовали ему, какие поезда и эшелоны желательно пропустить, а какие лучше притормозить.

Естественно, что всё это осуществляли не солдаты, а обученные своему делу офицеры.

Заговорщики знали, что над ними нависает угрожающая лавина — 200-тысячный гарнизон Петрограда.

Все мемуаристы отмечают трусливое настроение солдат Петроградского военного округа осенью 1917 года. Собственно боевых частей в Петрограде (за исключением трёх Донских казачьих полков) не имелось. Горделивые гвардейские наименования — Преображенский полк, Павловский — прикрывали ленивое существование чрезмерно раздутых запасных батальонов, где новобранцев обучали ходить строем, колоть штыком соломенное чучело, после чего из них формировали маршевые роты по тысяче человек и отправляли эшелонами на фронт. Мечтой каждого петроградского солдата было избежать фронта. За это давали писарям взятки, офицерам делали подношения. В июле 1917 года обучение и отправка маршевых рот как-то сами собой прекратились. Солдаты жили в казармах, вволю бродили по городу (революционная свобода), вволю жрали положенные ещё от царя дармовые мясо и хлеб, вечера и ночи (читайте у Милицына) проводили в трактирах, в синематографах, с девками, а потом в казарме спали до полудня.

Корнилов в августе был уверен, что гарнизон Петрограда останется безразличным к его наступлению на Петроград — так оно и вышло.

В октябре солдаты дружно ненавидели Керенского и ругали большевиков. Главной задачей заговора было, чтобы солдаты не вылезали из казарм и чтобы казачьи полки не стали ввязываться в чужое им дело.

Керенский позднее писал, что командующий войсками Петроградского военного округа полковник Полковников оказался предателем. Вероятно, Полковников был в заговоре — в пользу этого говорит тот факт, что спецгруппы начали овладевать государственными учреждениями Петрограда в 10 часов утра 24 октября, а Полковников доложил об этом по прямому военному телеграфному проводу Главнокомандующему генералу Духонину в Ставку в Могилёв только в 10 часов утра 25 октября, когда уже было объявлено (на всю Европу, через радиостанции “Авроры”, Новой Голландии и линкоров Балтийского флота, стоявших в Гельсингфорсе), что Временное правительство низложено.

Но чтобы устроить Петроградский гарнизон, в качестве мощного и энергичного противника заживревшей солдатни был двинут Балтийский флот.

В октябрьском заговоре принимали важнейшее участие морской министр контр-адмирал Д. Н. Вердеревский, недавний командир 2-й бригады крейсеров Балтийского флота, а ныне управляющий морским министерством капитан 1-го ранга М. В. Иванов, командующий Балтийским флотом контр-адмирал А. А. Развозов, подчинённый генерал-аншефу Черемисову начальник Приморского фронта и Морской крепости Петра Великого капитан 1-го ранга Б. Б. Жерве, начальник Военно-морского управления при главнокомандующем Северного фронта генерале Черемисове контр-адмирал В. М. Альтфатер. Все они были первоклассные, отважные боевые офицеры, командиры кораблей и соединений, все в боевых орденах (Иванов – золотое оружие за храбрость).

В советской литературе, даже в энциклопедиях, утверждалось, будто Балтийским флотом в Моонзундском сражении командовал “большевистский комитет”. Это глупость и ложь. Как больничный кочегар не может заменить хирурга, так дюжина матросов не сможет командовать крейсером, тем паче в бою.

Моонзундское сражение в октябре 1917 года продолжалось 8 суток. Немцы с целью захватить Петроград собрали 10 линкоров-дредноутов, 10 крейсеров, ещё почти 300 кораблей и судов, 100 самолётов, 25 тысяч десантных войск. Наш Балтийский флот мог противопоставить им только 2 линкора дредноутного типа, 3 крейсера, около 100 кораблей и судов, 30 самолётов, 16 береговых батарей и 12-тысячный гарнизон Моонзундских островов. Все офицеры были на своих местах. Командовали операцией штаб Балтийского флота и командующий флотом контр-адмирал А. А. Развозов. Все русские моряки с честью исполнили свой долг. Мы вынужденно отдали немцам Моонзундский архипелаг, но немцы понесли тяжёлые потери и не рискнули прорываться далее, в Финский залив, в минные поля, к Петрограду.

В военное время переход корабля из порта в порт – это боевая операция. На переход корабля отдаётся приказ штаба, составляется план перехода и подготовки боевых частей корабля. На корабле минимум за 12 часов до отхода от стенки нужно разводить огонь в топках, “поднимать пар” в котлах. Корабль должен получить боеприпасы и продовольствие, уголь (нефть) и смазочные материалы (всё это – в разных гаванях), получить карты с новейшей гидрографической и боевой обстановкой (идти по вчерашней карте – вылететь на камни или подорвешься на минах). О переходе корабля должны быть заранее оповещены все береговые посты наблюдения и связи и береговые артбатареи – громаднейшая штабная работа, и никакому “ревкому” она не под силу.

25 октября 1917 года в Морской канал Петрограда и в акваторию Невы были переведены из Ревеля, Гельсингфорса (по секретным фарватерам в наших минных полях) и Кронштадта 1 броненосец (27 октября, когда началось наступление генерала Краснова на Петроград, броненосец “Заря Свободы”, бывший “Император Александр Второй”, стоявший у входа в Морской канал, был заменён гвардейским крейсером “Олег”), 2 эскадренных миноносца, 3 минных заградителя, 2 тральщика, 1 сторожевое судно, 1 учебное судно, 1 лёгкое судно; они доставили несколько сотен моряков, базовый госпиталь с персоналом, 2 тысячи винтовок, 1 миллион патронов (вместе с “Авророй”, которая уже стояла в Неве, общая артиллерийская сила этой эскадры могла разрушить весь центр Петрограда).

Любой грамотный военный моряк вам скажет, что такой переход со сбором кораблей и судов – отличная работа штабных офицеров. Правительство Ленина высоко оценило заслуги моряков в деле Октябрьского переворота – в ноябре 1917 года контр-адмирал Развозов был произведён в вице-адмиралы, капитан 1-го ранга Иванов был произведён в контр-адмиралы (впоследствии он будет инспектором Морских войск ВЧК).

Вахтенный журнал крейсера “Аврора”, относящийся к осени 1917 года, был найден в 1937 году при обыске в сейфе одного из арестованных большевистских “вождей”. В вахтенном журнале отсутствовали (вырваны “с мясом”) страницы с записями последних десяти дней октября 1917 года. Зачем крейсер “Аврора” вечером 24 октября вышел на фарватер Невы? Казённая версия говорит: “вечером 24 октября прибыл на “Аврору” из Смольного гонец и передал

революционный приказ — выйти к Николаевскому мосту и разогнать юнкеров, и “Аврора” тотчас вышла к мосту и разогнала юнкеров”.

На “Авроре” были 24 паровых котла, и чтобы к вечеру держать нормативное давление пара в котлах 17 атмосфер и в паровых машинах 15 атмосфер, нужно было разводить пары с раннего утра. Перемещение могучего крейсера невозможно без предварительной разработки в штабе флота.

Чтобы “напугать юнкеров”, “Авроре” не было нужды шевелиться. “Аврора” стояла у стенки завода в 550 метрах ниже Николаевского моста. С такой дистанции хороший пулемётчик смахнёт папиросную пачку.

Корабль, стоящий в заводе, имел на борту небольшое количество угля — чтобы отапливать жилые отсеки (от малого котла) и чтобы крутить динамомашину — для освещения помещений и подачи электропитания на приборы и механизмы. Чтобы крейсер “Аврора” отошёл от стенки, на него нужно было загрузить минимум сто тонн угля (достаточно, чтобы дойти из Петербурга до Ревеля или Гельсингфорса). Значит, кто-то отдал предписание командованию Угольного порта, в Угольном порту загрузили на баржу уголь, и буксир притащил эту баржу в Неву, к борту “Авроры”, а нижняя команда крейсера, три сотни матросов и унтеров, в течение нескольких часов поднимала уголь из баржи на борт и раскидывала его по 20 нижним угольным ямам, и закончилось это не позднее 23 октября, ибо утром 24 октября кочегары уже бросали уголь в топку крейсера. В одной из научных книг сталинского времени (1951 года) говорится, что крейсер “Аврора” получил боевой приказ на выход из завода ещё 22 октября.

Кораблю, стоящему в заводе, запрещено иметь на борту боезапас. Если на “Авроре” 25 октября имелись снаряды и заряды — значит, кто-то заранее, через сложный механизм штабной бюрократии отдал приказ начальнику артскладов форта Ино отгрузить, по секретному перечню, боезапас для крейсера “Аврора”, и приказ в Военный порт о переходе буксира с баржой, и приказ — самым различным службам и боевым соединениям — на боевое обеспечение этого перехода. Ночные переходы кораблей и судов в Финском заливе, ввиду минной опасности, были запрещены. Стало быть, не ранее середины дня 25 октября буксир притащил баржу с боезапасом к борту “Авроры” и верхняя команда, на виду у Петербурга, стала перегружать боезапас в артпогреба крейсера.

“Аврора”, отойдя от стенки завода, никак не приближалась к Николаевскому мосту, а напротив, отошла вниз по течению и встала на якоря, — а 25 октября в Неву вошёл эскадренный миноносец “Самсон” (совершивший переход в Петроград из Гельсингфорса) и встал на фарватере выше “Авроры” по течению — меж “Авророй” и Николаевским мостом. “Самсон” своим корпусом и своими пушками прикрыл “Аврору” от возможного обстрела из города.

В 1917 году “Самсон” (случайно или нет получил он имя библейского богатыря?) был новейшим и лучшим эсминцем Балтийского флота. В боевой позиции на Неве 25 октября “Самсону” была отведена главная роль (видимо, не случайно в 1923 году этот образцовый корабль Краснознамённого “Балтфлота” был переименован в “Сталин”, а в 1936 году стал первым военным кораблём, который прошёл за ледоколами по Северному морскому пути).

У одного мемуариста промелькнуло, что крейсер “Аврора” отошёл от заводской стенки затем, что на “Авроре” находился запасной штаб восстания. А очевидец, мирный житель по фамилии Дубнов, записал в дневник 28 октября: в городе говорят, что когда войдут войска Керенского, большевики сядут на “Аврору” и уплывут в Кронштадт. Вероятно, здесь и заключается правда: в случае неудачи истинные руководители переворота должны были эвакуироваться на “Аврору” (плавучую крепость) и под прикрытием огневой мощи эскадры уйти либо в Ревель, к генералу Черемисову под крыло, либо в Гельсингфорс, к адмиралу Развозову.

В 1960-е годы А. В. Бельшев, который в октябре 1917 года был председателем судового комитета на “Авроре”, рассказал, что носовое 6-дюймовое орудие крейсера не стреляло и никакого “сигнала к штурму” посредством орудийных выстрелов не отдавалось. Просто в девятом часу вечера на “Авроре” дважды выстрелила кормовая зенитка (со времён Петра Великого двойной выстрел кормового орудия являлся приказом “шлюпкам к борту”). На “Авроре” стояли новейшие зенитки Лендера калибром 3 дюйма, длина ствола 2,3 метра, они били в высоту на 6 вёрст, и звук их выстрела был сильным.

Красный фонарь над Петропавловской крепостью также не являлся “сигналом к штурму Зимнего”. Башенка с сигнальной мачтой на Нарышкином бастионе была главным постом оповещения кораблей на рейде реки Невы (для чего её и построили в 1731 году по проекту Трезини).

Днём 25 октября для кораблей, вошедших в Неву, на сигнальной мачте над рейдом был поднят чёрный цилиндр – с любого угла он смотрится как чёрный квадрат, а с наступлением темноты чёрный квадрат положено заменять красным “огнём”. Этот сигнал означал: высота воды 4 фута выше ординара (при маневрировании у берегов крайне важно знать глубину под судном).

Вёлся ли вечером 25 октября артиллерийский огонь из Петропавловской крепости по Зимнему дворцу? (В крепости имелись 6-дюймовые и 3-дюймовые орудия, от крепости до дворца – 500 метров, стрельба была бы расстрелом в упор). У историков находим самые различные сведения. Одни пишут – был 1 выстрел из крепости, другие – 8 выстрелов, третьи – что пушки крепости выстрелили по дворцу 35 раз. Одни историки пишут, что крепость стреляла холостыми, другие – что разрывными снарядами, третьи – что пушки из крепости били шрапнелью.

Нужно думать, что правду пишет очевидец и участник событий (Суханов): артиллеристы крепости вообще отказались стрелять и заявили о своём нейтралитете. А чтобы избежать провокаций комиссаров, артиллеристы сняли с орудий панорамы и слили масло из цилиндров отката. Видимо, впоследствии комиссары, которые “командовали” в тот вечер в крепости, устыдились своей беспомощности и наврали – кто как умел.

Имел ли место вечером 25 октября “штурм Зимнего дворца”? Это смотря по тому, какой смысл мы будем вкладывать в термин “штурм”. 24 октября Керенский, Верховный Главнокомандующий, твёрдо верил, что у него имеются верные части, которые раздавят большевиков. Он говорил в Предпарламенте, что с Северного фронта, от генерала Черемисова уже идут эшелоны с казаками, пехотой, артиллерией, броневиками и что уже отдан приказ об аресте Ленина. В ответ меньшевистская с.-д. фракция Предпарламента предложила Керенскому немедленно заключить мир на фронте и передать помещичьи земли крестьянским земельным комитетам, но Керенский такими вопросами не интересовался.

Ночь на 25 октября Керенский провёл в здании Главного штаба военного округа на Дворцовой площади – в совещаниях с военными и в ожидании эшелонов с верными войсками.

В 9 часов утра Керенский собрал министров в Главном штабе (Главный штаб, пишет очевидец, являл дикую картину – в рабочий день сплошь пустые кабинеты, разбросанные бумаги, ни дежурных адъютантов, ни одного часового ни снаружи здания, ни внутри). Керенский сообщил министрам, что эшелоны уже идут на Петроград и что он едет им навстречу.

Свои автомобили Керенскому казались ненадёжными, он попросил машину у американского посла и не позже полудня на мощной машине с флагом США выехал в Лугу (далее его понесло во Псков, в Остров). Министры перешли через площадь в Зимний дворец, в Малахитовый зал. Примерно в 1 час дня в Мариинский дворец вошла группа вооружённых людей, которые предложили депутатам Предпарламента покинуть дворец, – депутаты разошлись, довольные, что их не арестовали.

В это время к Зимнему начали подтягиваться войска, верные правительству. На площади меж Александровской колонной и дворцом высились штабеля брёвен в сажень длиной – дрова на зиму для отопления дворца. Получилась неприступная баррикада. На штабелях установили пулемёты, между штабелями поставили пушки, за штабелями укрылись казаки с лошадьми и прочие защитники дворца (их число называют различно – от 3 до 8 тысяч человек). Со стороны Адмиралтейства дворец укрывала высокая ограда, в саду за оградой также поставили пулемёты. Набоков пишет, что в 3 часа дня площадь была оцеплена верными правительству солдатами, публика гуляла по тротуарам, во дворец впускали по пропускам. В седьмом часу вечера, когда Набоков покинул дворец, площадь была окружена восставшими.

Примерно в 7 часов вечера Чудновский от имени ВРК предложил министрам сдать по-хорошему и дал на раздумье 20 минут. Министры отказались сдать. Они верили, что через полчаса, через час в город ворвётся Керенский с войсками.

Уже стемнело, все ждали — неизвестно чего. “От нервов” началась редкая перестрелка. “Нападающие” попрятались в Александровском саду, на Невском, под аркой Главного штаба, на Мойке, в Миллионной улице. Изредка стреляли пулемёты. Внезапные оружейные выстрелы (зенитка “Авроры”) прибавили нервозности. (Утром узналось, что за вечер и ночь возле дворца были убиты 2 человека и 9 ранены).

Перестрелка затихала, и Чудновский ходил к защитникам дворца на переговоры. Ушёл от дворца казачий полк. Ушли юнкера-артиллеристы с пушками. Ушёл женский батальон. Именно в это время беззвучно происходил не штурм, а захват дворца.

Дворец, чёрный и мрачный (он был сплошь выкрашен в тёмно-красный цвет), высился без единого огонька в окнах. Небольшая группа обученных людей (боевики Дзержинского и диверсанты разведки Генштаба) проникла во дворец через подвал, вырубил дворцовую электростанцию (которая до сих пор ржавеет во дворе) и принялась без единого выстрела “зачищать” дворец.

Задача непростая — во дворце более тысячи помещений, работать пришлось в темноте, а было велено никого не убивать и не увечить. В течение примерно четырёх часов дворец был без шума зачищен. Разоружённых юнкеров и офицеров, человек семьсот, согнали вниз, в вестибюль и включили свет (очевидцы вспоминают, что у юнкеров и офицеров был ужасно перепуганный вид).

Тогда примерно в 1 час ночи Чудновский ввёл свой небольшой отряд во дворец — арестовывать министров. Юнкеров и офицеров отпустили на все четыре стороны. Арестованных министров увели под конвоем в Петропавловскую крепость.

Вот тут начался “штурм Зимнего дворца”, показанный Эйзенштейном, — озверевшие тысячи “красногвардейцев” бросились грабить дворец. После переворота в правительстве Ленина поставили вопрос: расследовать массовый грабёж в Зимнем дворце, наказать виновных, вернуть ценности, “народное достояние”, но дело заглохло — не до Зимнего дворца было в те дни.

“Красная гвардия” — отдельная песня. Начало ей положили большевики, в конце апреля 1917 года учредившие охранные отряды “Рабочей гвардии”. Денег (кайзеровских) большевики не жалели (только за покупку типографии для “Правды” и выписку из Швеции новейших ротационных машин они легко выложили полмиллиона рублей), и “рабочегвардейцам” платили очень хорошо. Этими отрядами вскоре без труда завладели анархисты и перекрестили их в “красную гвардию” (два цвета анархии — красный и чёрный).

В те дни милиция (замена царской полиции) составлялась по преимуществу из профессиональных воров и беглых арестантов. Уголовная дрянь поменьше ринулась в “красную гвардию”. Боец этой “гвардии” получал в месяц от 50 до 100 рублей (50 рублей — зарплата учителя гимназии и хорошего рабочего, 70 рублей — рабочего высокой квалификации, 100 рублей — жалованье младшего офицера на фронте). “Красногвардеец” имел красную повязку, огнестрельное оружие, юридическую неприкосновенность и владел безграничным правом грабить и притеснять (про этих “красногвардейцев” писал Блок: “на спину б надо бубновый туз”, “запирайте этажи, нынче будут грабежи”).

Важнее другое: за шумной ширмой “красной гвардии” Дзержинский и его люди с мая по октябрь 1917 года на глухих пустошах и в лесах Петербургского уезда обучали и тренировали собственные отряды боевиков — по всей программе профессиональных диверсантов. Эти боевики Дзержинского совместно с диверсантами разведки Генерального штаба малыми группами тихо овладевали Петроградом 24 и 25 октября (и они же позднее составили ядро секретных спецгрупп ВЧК). Когда мы встречаем в литературе термин “красногвардеец” применительно к октябрю 1917 года, нужно относиться к нему с осторожностью и постараться различить, где речь идёт о диверсантах Дзержинского, а где — о грязных бандах уголовников.

В августе, в “корниловские дни” Керенский в панике распорядился выдать “народу” 50 тысяч винтовок и море патронов — для “защиты Петрограда”. Нетрудно догадаться, в чьи руки попали те винтовки.

В гордых книжках про Октябрь мы читаем, что “в дни Октября революционный пролетариат имел 40 тысяч красногвардейцев”, а в книжках по истории ВЧК читаем, что “в ноябре 1917 года Петроград терроризировали 40 тысяч

вооружённых бандитов”. Видимо, речь идёт об одних и тех же людях. Вооружённые силы ВЧК были созданы для уничтожения “красной гвардии”. В феврале 1918 года правительство Ленина ввело смертную казнь за бандитизм (смертная казнь в России была “навечно” отменена первым Временным правительством в марте 1917 года). В марте 1918 года начальник ПетроЧК Петерс докладывал Петросовету и Дзержинскому в Москву, что все усилия его ведомства “поглощает борьба с бандитизмом”. В том же марте “красная гвардия” была объявлена вне закона. Петросовет постановил, что всякий, имеющий незарегистрированное оружие, будет расстреливаться как налётчик. Тысячные банды “красной гвардии” кинулись бежать из Питера.

В мае 1918 года Горький в своей газете “Новая жизнь” приводил свидетельства, как банды “красногвардейцев” численностью до нескольких сотен человек грабят сёла в Петербургской губернии, убивают, пытаются, облакадывают крестьян контрибуцией. В том же мае отряд “красной гвардии” под командованием штабс-капитана Наумова захватил и начал грабить Царское Село. Была изрядная битва за Царское Село, и части “особого назначения” ВЧК перебили “наумовцев”, как собак. В течение лета полки “особого назначения” уничтожали “красногвардейцев” в Луге, Гатчине, Новой Ладобе, Тихвине (официально это звалось “подавление кулацких восстаний”, но какие же могли быть “кулацкие восстания” в городах?). К сентябрю 1918 года “красная гвардия” была истреблена.

Интересный вопрос – а кто всё-таки руководил переворотом 25 октября? Официальные учебники дружно говорят – Ленин. Но Ленин, как явствует из всего, был при этом деле “посторонним”. Он лишь писал бесконечные “советы постороннего”.

Троцкий, который вообще не был причастен к делу переворота и которого большевики с конца сентября 1917 года держали в Петросовете как ширму, чванно утверждал, что, поскольку Комитет обороны (впоследствии Военно-революционный комитет) числился при Петросовете, где председательствовал Лев Давидович, то лично он, Троцкий, и является руководителем революции в октябре 1917 года.

В действительности все “военно-революционные приказания”, которые рассылались по Петрограду от имени Петросовета, были подписаны вовсе не Троцким, а Лашевичем (в 1918 году Лашевич будет командовать 3-й армией РККА). Чем занимался ВРК? Он беспрерывно заседал. Троцкий пишет, что “Сталин не мог руководить восстанием, потому что Сталин ни разу не появился на заседании ВРК”. Да потому-то Сталин и не появился на заседаниях ВРК, что этот бессмысленный орган ничем не руководил, а только взывал к бандитской “красной гвардии”. Председателем ВРК в Смольном неотлучно сидел Подвойский – и на этом основании позднее он называл себя главным творцом, совершившим революцию. Кроме ВРК, существовал ещё Полевой штаб ВРК, с Антоновым-Овсеенко во главе (в Петропавловской крепости). Антонов впоследствии утверждал, что именно он сочинил “план восстания”. Имелся ещё, помимо ВРК и Полевого штаба, Военно-революционный центр (Сталин, Дзержинский, Урицкий, Бубнов, Свердлов). Свердлов отношения к перевороту не имел, он сидел “на партии” и был поглощён организацией и сколачиванием большевистской фракции грядущего съезда Советов.

А в 1924 году вдруг выплыло, что в конце октября 1917 года работал в Петрограде совершенно тайный “практический центр”, где значились три человека: Сталин, Дзержинский, Урицкий. Троцкий был в ярости, Троцкий писал, что Сталин не мог руководить революцией, потому что “Сталина никто нигде не видел”. Троцкий писал с издёвкой: “Что это за руководящий центр, о котором никто не знал?” Вот потому никто и не видел Сталина, что Сталин вместе с генералами русской военной разведки занимался делом.

А где был Ленин? Примечательно, что в “октябрьские дни” Ленина тоже никто не видел. Естественно, что Ленин тихо сидел возле Сталина. В последние дни накануне переворота Ленин прятался на Сердобольской, дом 1 (под окном свистели паровозы, станция Ланская, чуть что – сел на поезд, и через 20 минут ты в Финляндии). Никто, кроме Сталина, не знал ленинского адреса. Члены ЦК поддерживали связь с Лениным только через Сталина. Принято считать, что Ленин ушёл из дома на Сердобольской ближе к полуночи. Этого не могло быть, ибо Ленин ехал к Литейному мосту на трамвае, а трамваи 24 октября перестали ходить в 6 часов вечера.

Как уходил Ленин из дома на Сердобольской — тоже никто не видел. В квартире Ленин был один. Свешников пишет, что Ленин ушёл и оставил записку. В шестом часу вечера за Лениным пришёл неизвестный “связист”, посланный Сталиным (“связистом” тогда назывался в армии офицер связи, переносящий поручения от командующего к командующему). Далее Ленина никто не видел. В 3 часа дня 25 октября Ленин появился в Смольном на заседании Петросовета, коротко выступил и вновь исчез. Его не было вечером 25 октября на открытии съезда Советов. Вновь Ленин появился в Смольном только поздним вечером 26 октября, когда дело переворота было решено.

Где находился истинный штаб переворота? Какими непеременимыми качествами должно обладать это помещение? Оно должно быть неприметным (само собой). В нём должны находиться средства военной спецсвязи (только люди слабого мышления, вроде Троцкого или Антонова, способны вообразить, что возможно руководить военно-государственным переворотом по городскому телефону). Оно должно находиться на набережной, желательнее — на берегу Невы (чтобы в случае заминки руководители заговора могли мгновенно сесть в моторную лодку и уплыть к крейсеру “Аврора”. А все троцкие, каменевы, подвойские, антоновы, чудновские и прочие, весь съезд Советов — оставлялись врагу на растерзание. Заметим, что два важнейших руководителя переворота — военный министр генерал Маниковский и морской министр адмирал Вердеревский, члены правительства Керенского, — вечером 25 октября сидели в Зимнем дворце; в случае неудачи заговора они имели бы абсолютное алиби. Оба они были выпущены на свободу утром 26 октября, а прочие министры сидели в Петропавловской крепости, в ужасных условиях, до января 1918 года). Дом должен иметь проходные дворы к соседним улицам, чтобы агенты могли приходиться и уходить незамеченными.

Единственно возможное и пригодное место — рядом с Литейным мостом, на Неве, Воскресенская набережная, дом 28. Жилой дом, а во втором его этаже — контрразведка Петроградского военного округа. Отсюда вели проходные дворы на Шпалерную. Именно на Шпалерной “связист”, который вёл Ленина к Сталину, показал юнкерам такой “документик”, что те щёлкнули каблуками, а “связист” и Ленин исчезли в ночных (в седьмом часу вечера уже была ночь) проходных дворах.

Переворот был затеян за день до съезда, чтобы вручить власть съезду — и сразу заключить мир. Но выяснилось, что съезд не хочет брать власть. Делегаты не понимали, зачем они собрались. Из анкет делегатов-большевиков видно, что многие большевики из глубинки не хотели “власти Советов”; они хотели “демократии” и даже “коалиции” — власти совместно с “буржуями”.

Съезд открылся в Смольном (загаженном, заплёванном, плохо освещённом) 25 октября в 11 часов вечера, когда на Дворцовой площади шла вялая стрельба. Съезд возмутился против “насилия”. Мартов заявил, что происходящее — “военный заговор за спиной съезда” (видимо, Мартов, человек умнейший и хорошо информированный, что-то знал о “генеральском” закулисье происходящего переворота).

Арест министров, которые почему-то не разбежались утром, а заперлись за штыками в Зимнем дворце, был нужен заговорщикам, чтобы предъявить этот арест съезду Советов как неоспоримый факт низвержения прежней власти. В четвёртом часу утра Каменев зачитал съезду телеграмму Антонова о том, что Временное правительство арестовано.

Большевики имели на съезде менее половины мандатов. Догадайся эсеры и меньшевики объединиться — они бы сформировали своё правительство. Но правые эсеры и “чистые” меньшевики в знак протеста, негодуя, покинули съезд. Большевики получили большинство и приняли “Декрет о мире”. Керенский в эмиграции писал: “Если бы мы заключили мир, мы бы и теперь правили в Москве”. Ленин в 1919 году на конгрессе Коминтерна говорил: “Наша революция в октябре семнадцатого года была буржуазная”.

Первое правительство Ленина, созданное 27 октября (9 ноября) 1917 года, называлось Временным. Съезд дал этому правительству срок полномочий ровно на 1 месяц — до 27 ноября, на этот день назначив открытие Учредительного собрания.

12 ноября прошли выборы в Учредительное собрание, большевики получили четверть голосов, эсеры — больше половины. Имелась реальная угроза,

что “Учредилка”, руководимая лидерами эсеров (масонами), потребует продолжения войны.

По вопросу войны и мира Ленин и Сталин даже в ЦК и в правительстве находились в меньшинстве. Вероятно, что под нажимом генералов созыв Учредительного собрания перенесли на 5 января 1918 года – в надежде, что до этого дня удастся подписать с Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией мир (проект этого сепаратного перемирия и мирного договора разрабатывался в русском Генштабе). 3 декабря в Брест-Литовске начались переговоры.

России воевать было нечем. Фронта не было. Траншеи на десятки вёрст стояли под снегом без единого солдата. Новая, социалистическая армия набиралась (за хорошее жалование) туго. К 1 января удалось завербовать лишь 700 добровольцев. Споры в Брест-Литовске (делегацию от России возглавляли Каменев и Иоффе) не давали результата.

Только 3 января 1918 года в России произошёл настоящий государственный переворот. ВЦИК Советов, где большевики имели твёрдое большинство – 62%, издал декрет, по которому Россия объявлялась Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Отныне и навсегда вся власть в центре и на местах принадлежала Советам. По этому декрету Учредительное собрание стало устаревшим и незаконным. 10 (23) января 3-й Всероссийский съезд Советов (с большинством большевиков) утвердил этот декрет – в этот день в России и наступила Советская власть.

Подписывать мир с “Центральными державами” послали министра иностранных дел Троцкого, военными экспертами при нём были генерал Самойло и адмирал Альтфатер. Сохранились ленты телеграфа спецсвязи – на многие вопросы Троцкого премьер-министр Ленин отвечает: “Нужно посоветоваться со Сталиным” (очевидно, что Сталин находился на связи с генералами Генштаба).

Германия и в особенности Австро-Венгрия неимоверно жаждали мира, в Вене и Берлине сотни тысяч людей выходили на улицы, требуя еды. Троцкий 11 февраля отказался подписать мир, хотя немцы и австрийцы ему прямо говорили: тогда вы получите войну (теперь мы знаем, что Троцкий был агентом администрации президента США, и очевидно, что он исполнял веление своих хозяев – любой ценой удержать 130 германских дивизий на Восточном фронте).

18 февраля 72 германские и австрийские дивизии двинулись в наступление, забирая тысячи брошенных пушек и миномётов, пулемётов, грузовиков, огромные склады боеприпасов и снаряжения. 20 февраля из Петрограда в Двинск спешно выехали парламентарии – умолять о перемирии.

Ленин всегда презирал слово “отечество”, он утверждал (по Марксу), что у пролетария не может быть Родины. Но 21 февраля Совет Народных Комиссаров выпустил воззвание: “Социалистическое Отечество в опасности!”. В тексте воззвания-декрета видна твёрдая генеральская рука (многие пункты этого декрета дословно перешли в Постановление ГКО от 3 июля 1941 года).

Почему 23 февраля – “день рождения Красной армии”? Это был позорный день бегства русских солдат-наёмников. Немцы без боя заняли Нарву и Псков (где шла безумная матросская пьянка: военный и морской министр ленинского правительства матрос-баталер Дыбенко справлял свою свадьбу с любвеобильной Александрой Коллонтай – от чего осталось присловье: “как Дыбенко с Коллонтай пропили Псков”).

Дело, видимо, в том, что 22 февраля из Могилёва в Петроград приехала большая группа генералов во главе с начальником штаба Ставки Верховного Главнокомандования генералом М. Д. Бонч-Бруевичем. Вечером они встретились с Лениным и Сталиным. Трудный разговор продлился до утра. Речь шла о спасении России.

Требования генералов: немедленное заключение мира на любых условиях, национализация всей оборонной промышленности: горнорудной, металлургической и прочая (с этим требованием группа генералов во главе с начальником Главного Артиллерийского управления генералом А. А. Маниковским обращалась к царю ещё в 1916 году – ответа, естественно, не последовало), новая армия строится на основе всеобщей воинской обязанности, запретить все солдатские комитеты и советы, никакого обсуждения приказов, железная дисциплина, за воинские преступления – расстрел. Ленин принял все требования.

В тот же день, 23 февраля 1918 года, Ленин имел самую тяжёлую свою битву. Его ЦК дружно и категорически выступил и против мира, и против “царской” армии. После долгих часов крика Ленин ультимативно заявил, что уходит из ЦК. Поздней ночью предложения Ленина были приняты: 7 голосов за, 4 против, 4 воздержались. Рождение новой армии получило первичное оформление.

Ленин в те дни писал: “После 25 октября мы – оборонцы, мы теперь за защиту Отечества”. 3 марта 1918 года был подписан мир (на условиях втрое худших, чем это могло быть в декабре 1917 года). 4 марта в Республике Советов был учреждён Высший Военный совет, его возглавил генерал Бонч-Бруевич.

Басню про “Троцкого – создателя Красной армии” сочинил сам Троцкий (многие до сих пор в это верят). Красную армию создавали генералы и офицеры старого русского Генштаба. С марта по май была проделана громаднейшая работа. Были написаны, на опыте трёх лет войны в Европе, новые Полевые уставы для всех родов войск и их боевого взаимодействия – лучшие уставы в мире. Была создана новая мобилизационная схема – система военных комиссариатов (она служит России до сих пор).

Красная армия сделалась непобедимой, потому что ею командовали патриоты – десятки лучших русских генералов, прошедших две войны, и 100 тысяч отменных боевых офицеров. В распоряжении Красной армии при новой мобилизационной системе были неограниченные людские ресурсы – и армия имела громадные запасы оружия, боеприпасов и снаряжения (накопленные царским военным министром генералом Поливановым).

19 марта 1918 года Троцкий добился смещения генерала Бонч-Бруевича и сам занял его место. Бонч-Бруевич возглавил штаб Высшего Военсовета. Троцкий же стал “засланным казачком” – прикрытием иностранной интервенции в Россию.

В начале марта 1918 года в Лондоне состоялась секретная конференция Союзных держав, где было принято решение о совместном вооружённом вторжении (интервенции) в Россию. Намечалось навсегда покончить с Россией как с крупной независимой державой, лишить её выходов к морям и разделить на части.

Впереди была страшная и кровопролитная гражданская война...

ВЛАДИМИР ЮДИН

*профессор, доктор филологических наук,
академик Петровской академии наук и искусств,
Заслуженный работник высшей школы РФ*

ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ИЛИ НЕТ? — ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС

Почти 130 человек умерли после вакцинации от Covid-19. 128 человек скончались после прививки от коронавирусной инфекции в Швейцарии. Летальные случаи были зарегистрированы в разные промежутки времени после иммунизации от Covid-19. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic.

“Несмотря на хронологическую корреляцию, нет никаких конкретных доказательств того, что вакцинация была причиной смерти”, — уверяют нас авторы сообщения. Пациенты получали вакцину Comirnaty от Pfizer/BioN Tech и Moderna. Всего известно о 4319 случаях побочных эффектов. Средний возраст умерших составлял 80,5 года.

На вопрос: “У вас есть страх перед прививкой?” — “Да”, — ответили 79,3% россиян; “Нет”, — 20,7%. Люди в массе своей боятся непредсказуемых последствий после коронавирусной вакцинации... И на то есть серьёзные основания.

Сейчас всё не как год назад: врачам начали платить за работу в “красной зоне”. Диагноз “ковид” стал источником надбавок и премий. “Деду при его лейкомии причину смерти указали “ковид”...” — пишет в интернете автор из Костромы. Да только ли в Костроме такое происходит? По всей России...

“Швейцария... А что же про Россию молчат?? Ведь у нас тоже после прививок умирают! — восклицает другой респондент интернета. — Дано указание выжать из этой хрени максимум — все и рады стараться. У меня есть знакомые. Одна на 6-е сутки умерла после прививки, другая — на десятки... Вот и вся статистика”.

“К сожалению, данная статистика никому не интересна, пока люди пачками за день не начнут умирать, — пишет третий. — У меня есть тоже несколько знакомых, которые, будучи привиты, умерли от ковида...”

“Каждый удар от вакцинации — это удар по бизнесу Голиковой и Поповой. Вы что, хотите их разорить?!” “Я как честный, порядочный человек и гражданин России — отдаю свою дозу вакцины от ковида в пользу партии “Единая Россия”. Пусть им, как самым лучшим людям страны, введут по несколько раз для обеспечения большей устойчивости к заболеванию...” “Завтра Турция встретит первые 10 000 российских туристов. Через неделю Россия встретит турецкий штамм коронавируса. Обмен, так сказать. Торопитесь привиться, продвинутые россияне!...” “Российская Федерация запускает новую акцию. Кто провакцинируется, получают 90% скидку на приобретение земельного

участка на кладбище...” “За 20 лет россиян приучили платить за всё: вода, свет, земля, дрова, навоз, бумажка от государства – и та платная. Даже за мусор и дерьмо деньги берут. А тут вакцина – бесплатно! Прогресс, ребята! Жизнь становится лучше, и умирать стало веселей!...”

Что ж, как видим, высказывания граждан довольно жёсткие, нелицеприятные, порой откровенно саркастические по отношению к власти. Но, будем помнить, глас народа – глас Божий, и к нему надо прислушиваться.

Необходимо срочно создать независимый научно-экспертный совет, который будет профессионально отвечать на сложные медицинские вопросы.

Актриса Мария Шукшина в своём телеграмм-канале заявила о “ещё одном поводе обвинить правящие круги в лукавстве и решении своих финансовых дел”. Телеведущая ссылается на официальную статистику. Смертность в сутки от ковида составила 780 человек, от алкоголизма – 1100 человек, от наркомании молодых людей в возрасте от 14 до 28 лет – 500 человек. “О какой пандемии стоит говорить, господа чиновники? Да, Россия всегда была пьющей страной, но “торчащей” страной на протяжении 30 лет делали её вы, неуважаемые руководители!”

11 июня 2021 года скончался от ковида привитый за полгода до этого главный врач Котельниковской больницы Михаил Анисимов. В декабре месяце он привился, был жив и здоров. Вакцинировался, заболел, умер. Об этом размещена информация в его соцсетях, выложена его фотография. Анисимов много сам агитировал за вакцинацию. Но... заболел и умер...

В этом контексте не могут по меньшей мере не смущать разительные предвыборные перлы отдельных российских политиков высокого ранга с целью замотивировать российских пенсионеров, которые ещё не прошли вакцинацию от коронавируса, сделать укол. С предложением ввести выплату пенсионерам в размере 10 тысяч рублей за прививку выступил депутат Госдумы Василий Власов. Депутат подчеркнул, что сейчас власти некоторых регионов вводят материальные стимулы для вакцинации пожилых, однако единого федерального закона пока нет. Народный избранник выразил уверенность, что такой закон будет, а эти деньги помогут увеличить темп вакцинации пенсионеров...

И вы думаете, что столь оригинальная, сколько и циничная, инициатива депутата не получит поддержку у нищих пенсионеров?! Уверен, ещё как получит! Нищета доводила голодных людей и не до таких крайностей. “Пойду, привьюсь, получу свои 10 штук, а там хоть трава не расти. Зато нагуляюсь последний раз вволю перед смертью!” – с показной храбростью воскликнул мой пожилой сосед-пенсионер.

Правда, встречаются голоса иного порядка. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская публично заявила: “Я прививки не ставила и ставить не буду, потому что я опасюсь всех этих вакцинаций. Эта вакцина ещё до конца не исследована. Но это моё личное мнение, каждый человек выбирает. Это наше право”.

Очевидно, Поклонской неведомо, что право российских граждан на свой личный выбор относительно вакцинирования то там, то сям грубо попирается. Последнее время всё чаще стали говорить о принудительной вакцинации, на чём особенно настаивают руководители и владельцы иных предприятий, учреждений, учебных заведений и т. д. Принуждают, правда, не открыто, поскольку помнят: статья 285 УК РФ предусматривает наказание за принуждение к медицинским процедурам руководителями предприятий, срок за это от 5 до 10 лет, но оттого не менее упорно и настойчиво...

Я своими глазами видел большие очереди сотрудников учреждений, “добровольно” выстроившихся за вакцинированием. Кому же хочется в один миг лишиться заработка!.. Негласные приказы вакцинироваться – это уже вопрос политический, нарушающий право свободного выбора гражданина.

Между тем, в трудовом договоре нет положения об увольнении, если работник не вакцинируется. Мало кто знает, что семнадцатый Арбитражный суд отменил принудительную вакцинацию – решение № 17АП – 4570/2021 – АК от 02.06.2021 года.

И всё-таки чиновники высокого ранга неумолимо гнут своё. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что вакцинироваться от Covid-19 можно и нужно при любом уровне антител: “Прививка не может нанести какой-то вред из-за наличия антител”...

Отталкиваясь от таких более чем безответственных заявлений, всё чаще раздаются призывы начать вакцинацию беременных женщин, онкобольных и даже подростков — начиная с 12 лет!.. Им планируют вводить меньшую дозу, чем взрослым, мол, вакцинация защищает не только беременных, а будет защищать новорождённых в результате грудного вскармливания. Во всеуслышанье звучат угрозы роженицам: кто не согласен на вакцинацию — рожайте дома. О подобных опасных прививочных экспериментах в народе грустно шутят: первый — коронный, второй — похоронный..

Крайне рационально, если не сказать цинично, ведут себя некоторые страховые компании. Моя знакомая вознамерилась сделать прививку от коронавируса, но, опасаясь непредсказуемого печального исхода, решила перед прививкой застраховать жизнь и здоровье. Однако в страховой ей отказали на основании того, что вакцина экспериментальная..

В этой связи А. А. Редько, профессор, доктор медицинских наук, академик Российской академии естественных наук (РАЕН), руководитель Санкт-Петербургской профессиональной ассоциации медицинских работников, говорит: “Иммунитет после прививки вам никто не гарантирует: третья фаза испытаний не проведена. То есть **вам фактически говорят, что вы — участник эксперимента. При этом участник с очень урезанными правами** (выделено мной. — **В. Ю.**). Обычно, когда людей вовлекают в такие эксперименты, их страхуют, им деньги дают. А у вас не будет ни страховки, ни денег. Вы просто подставляете себя под эксперимент, ничего не получая за свой героизм”.

Вот и получается, что надлежащая вакцина не создана для ликвидации covid. Это, выходит, covid создан для вакцины... И как только все здравомыслящие люди это осознают, всё остальное обретёт глубинный, логический смысл.

Небезызвестный в России адвокат Павел Астахов пригрозил, что граждане России, которые занимаются антипрививочной пропагандой, могут стать фигурантами уголовных дел. Он напомнил covid-диссидентам о существовании двух статей Уголовного кодекса РФ: ст. 236 — нарушение санитарно-эпидемиологических норм; ст. 207,1 — распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности людей.

Хотел бы горячо поблагодарить услужливого адвоката за актуальную юридическую помощь, но одновременно, во-первых, напомнить ему вышеупомянутую статью УК РФ — о наказании за принуждение к медицинским процедурам, во-вторых, рекомендую познакомиться с решением Семнадцатого Арбитражного суда об отмене принудительной вакцинации, и в-третьих, осведомлённому в юридических тонкостях адвокату не мешало бы хорошо знать, что 27 января 2021 г. ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) поддержала волю народов мира и запретила принудительную вакцинацию. С 27 января 2021 года любое насильственное принуждение человека с помощью страха потерять работу будет считаться преступлением против человека, за что можно подать в суд и выиграть дело против незаконного принуждения. Все должны это знать, а уж известные адвокаты, защищающие права и свободы граждан, и подавно. Принуждение к вакцине с помощью угроз или страха — незаконно и должно пресекаться на корню всем коллективом! В конце концов, мы должны помнить о законных правах человека и гражданина в любой стране и любом обществе.

А что же думает обо всём этом наш доблестный Минздрав?

Минздрав РФ обновил временные методические рекомендации о вакцинации взрослого населения от коронавирусной инфекции. Опубликованные на сайте ведомства, они гласят: “Согласно документу, постоянный медотвод от ковид-вакцинации выдаётся пациентам в следующих ситуациях: при гиперчувствительности к компонентам вакцины; при наличии тяжёлых аллергических реакций; в период грудного вскармливания. Получить временный медотвод можно при острых инфекционных заболеваниях, обострении хронических болезней. Такие пациенты могут привиться через две-четыре недели после выздоровления и ремиссии”. В Минздраве подчеркнули, что беременность не является противопоказанием для вакцинации “Спутником V”. При выявлении противопоказаний к вакцинации врачебная комиссия медучреждения, где наблюдается больной, выдаёт ему справку о наличии противопоказаний на какой-то период или постоянно.

Как видим, Минздрав РФ откровенно встал на позицию тотального вакцинирования без скидки на личное мнение и желание российских граждан, проигнорировав то, что действенная вакцина против постоянно мутирующего коронавируса до конца не готова...

Обратимся к авторитетным мнениям специалистов. Лауреат Нобелевской премии, открыватель вируса иммунодефицита человека Люк Монтанье подтвердил, что у людей, которые получили какую-либо форму вакцин, нет шансов на выживание. В своём поистине шокирующем интервью ведущий вирусолог мира прямо сказал: “Нет никакой надежды, а также возможности лечения для тех, кого уже вакцинировали. Нам надо быть готовыми к кремации тел”.

Научный гений опроверг возражения других вирусологов после изучения состава вакцины: “Все они умрут от антителозависимого усиления. Вот всё, что можно сказать”.

В самом деле, согласно гуманитарным законам любого цивилизованного сообщества, экспериментальная вакцинация должна быть строго добровольной. Налицо тревожный общепризнанный факт – вакцинированные люди нынче массово умирают. И всё это делается только ради бизнеса олигархов-фармацевтов. Не надо путать вакцины, проверенные десятилетиями применения и производимые государством, и экспериментальную смесь с элементами генетической инженерии, слепленную за пару месяцев в спешном порядке и реализуемую частными компаниями, зарабатывающими на ней огромные деньги...

Как мы знаем, вакцинирование вовсе не бесплатно. За него платит ФОМС точно так же, как за “бесплатную” диспансеризацию. Налицо банальная перекачка средств в частные карманы. Настоящая вакцина, если она действительно защищает, не может быть принудительной, так как отказ опасен только для отказавшегося. Каждый случай принуждения – доказательство аферы.

Перенесшие коронавирусную инфекцию имеют такой же иммунитет к Covid-19, как и те, кто привился. Об этом рассказал микробиолог, научный руководитель ГУНИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев. Он выразил настороженность относительно того, что вакцинируют “всех подряд”. Эксперт подчеркнул, что перенесших коронавирус прививать не нужно, поскольку не бывает такого, что после заболевания иммунитет короче, чем после вакцинации. “Он полноценный всегда, вне зависимости от того, легко или тяжело человек перенёс заболевание”, – заверил Зверев.

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков считает, что переболевшим коронавирусом нужно ориентироваться на уровень антител перед вакцинацией. При высоком титре прививка не нужна, считает он.

Говорит широко известный болгарский врач-эпидемиолог Игорь Гундаров: “Нас заставляют вакцинироваться, не проверив безопасность! Не думая, что возникают проблемы с репродуктивной функцией. Докажите мне, что эта вакцина безопасна в отношении зачатия и качества плода, который будет вынашиваться. Данные есть? Нет. Почему поначалу было так много больных ковидом? Потому что любое, самое малое подозрение списывали на ковид. Больные легко могли лечиться в домашних условиях, если температура у них не превышала 39,5 градуса и отсутствовала лихорадка, а их загоняли в палаты. Это и есть безграмотность в организации системы здравоохранения. Не понимали и врачи: стоит только чуть сдвинуть критерии диагностики – и ты видишь отнюдь не коронавирус, а другое. Сам организм вырабатывает защитные функции, это было выброшено из диагностики. Организм имеет десятки степеней самозащиты, начиная с кожи. У детей она ещё очень слаба – вот почему их нельзя вакцинировать!”

Поскольку путаются в диагнозе и врачи, и учёные, надо вернуть советское понятие ОРЗ, – продолжает И. Гундаров. – Причём не ОРВИ, а именно ОРЗ – либо с подтверждённым, либо с неподтверждённым диагнозом. Каждый больной находился в собственном воздушном потоке, и эти потоки не перемешивались. В таких экстренных ситуациях надо над каждой койкой давать 2 точки – притока и оттока, только тогда происходит перемешивание воздуха. У нас это не делается. Это дефект организации здравоохранения.

Необходимо разделить свои претензии к врачам и к организации здравоохранения, – утверждает И. Гундаров. – К врачам претензий нет. Это все герои, начиная с Приморского края, заканчивая Калининградом, так как все они работают в ужасающих условиях. Мои советы здравоохранению. Если человек болен пневмонией, то пневмония может быть вызвана разными бактериями,

кроме собственно коронавируса. Ведь там есть ещё пневмовирус, ядовитый вирус, различные палочки, стафилококки... И это нужно выявить. А чтоб это выявить – поставьте на стол баночку, чтобы больной в течение дня собрал мокроту, чтобы определить чувствительность к антибиотикам, чтобы лечить антибиотиками. Но мы этого не делаем, так как не прописано в стандартах. Вывод – Минздрав совершенно не профессионален. Всем командует ФОМС – фонд обязательного медицинского страхования, но ФОМС отказывается оплачивать эту услугу, они говорят: “Мы будем направлять, но кто будет за это платить?” Плохо организована система здравоохранения!.. (...) Срочно докажите, **что** есть эпидемия! У нас нет даже её чёткого определения. Я даю это определение: “Эпидемия – заболевание массового порядка выше установленного порога, вызванного заразным фактором, передающимся от человека к человеку”. Я же обнаружил, что коронавирусная инфекция возникла внезапно в разных местах, по разным территориям – одновременно, не передачей инфекции от одного места проживания людей к другому. Пример: плавают годами авианосцы США, Франции, никуда не заходили в порты, и вдруг у них вспышка этой инфекции! Вирус живёт, мы для него лишь хорошо унавоженная почва. В какой-то момент вирусы резко активизируются. 90 стран одновременно обнаружили эти штаммы. Таким образом, это не эпидемия, а одновременная вспышка. Здесь работают совершенно другие механизмы. Здесь закрывайся, не закрывайся, вакцинируйся, не вакцинируйся – не спасёшься. Появляется совершенно другое объяснение. Коронавирус уничтожить нельзя. Он уйдёт в популяцию и будет постоянно циркулировать, давая вспышки по причине каких-то, пока неизвестных нам обстоятельств...”

Но вернёмся к практической медицине. Действующие врачи громко сетуют: у нас закрыли 60% инфекционных коек по больницам страны, стационары не приспособлены для установления правильного анализа. По статистике, 70% умирали от сепсиса в самом стационаре. По данным учёного-эпидемиолога Проценко, многие заражения ковидом произошли от внутрибольничной инфекции.

... В заключение обратим свой взор на меркантильную подоплёку коронавирусной проблемы, ибо она, по нашему мнению, как раз и является, прежде всего, движущим мотиватором чрезвычайно раскрученного маховика тотального вакцинирования граждан. Врач не знает, от чего лечить... Тесты дают очень противоречивые сведения – то отрицательные, то положительные, 50 на 50, как орёл и решка. Повинна система стандартизации, навязанная врачам. Сами врачи говорят: “Нас лишают возможности думать и принимать решения. Скажем, та же оспа мало мутит. Какой она была 50–70 лет назад, такой и осталась. Механизм её действия был изучен, и нашли способы реальной вакцинации. А с коронавирусом – другое: мы не успеваем угнаться за его изменениями. Так и учёные-эпидемиологи говорят...”

В самом деле, напрашиваются далеко идущие выводы. Ничто не вечно под луной, коронавирус когда-то закончится. Он поднял массу важнейших вопросов далеко не только чисто медицинского характера. Он поставил на место политиков, возомнивших себя чуть ли не узкими специалистами в вопросах эпидемиологии, здравоохранения. Надо при всех социальных министерствах создавать экспертные советы, которые должны иметь право вето на дилетантские указания чиновников. При каждом направлении – в науке, просвещении, экономике – должны быть свои экспертные советы.

За последние 20 лет наша страна потеряла примерно 35 миллионов человек. Отсюда у нас резкая нехватка профессиональных кадров во всех областях жизнедеятельности. Это последствия порочных либеральных социально-экономических реформ.

В интернете быстро промелькнула и мгновенно исчезла нижеследующая информация, к которой можно отнестись, как к сомнительной, но факты, упомянутые в ней, заставляют задуматься – кто и почему стоит у истоков приобретшей такой оглушительный размах коронавирусной пандемии?.. То есть не лишне знать, откуда всё-таки ноги растут у этой весьма опасной коронавирусной истории...

Китайская биологическая лаборатория в Ухане является частью Glaxo Smith Kline, которая (случайно!) принадлежит Pfizer! Тот, кто делает вирусную вакцину, которая (случайно!) была выпущена в биологической лаборатории в Ухане, опять же (случайно!) профинансирована доктором Фаучи. Кто

(случайно!) рекламирует вакцину Glaxo Smith Kline, (случайно) управляется финансовым отделом Black Rock, который (случайно!) управляется финансовым отделом Open Foundation (Фонд Сороса), который (случайно!) управляется французской АХА!

По совпадению, Соросу принадлежит немецкая компания Winterthur, которая (случайно!) построила китайскую лабораторию в Ухане и была куплена немецким альянсом, у которого (случайно!) есть акционер Vanguard, который (случайно!) является акционером Black Rock, который (случайно!) контролирует центральные банки и управляет примерно третью мирового инвестиционного капитала. Black Rock тоже (по совпадению) является основным акционером Microsoft, принадлежащим Биллу Гейтсу, который (кстати) является акционером Pfizer (кто – помните? Он продаёт чудодейственную вакцину) и (это случилось!) теперь является первым спонсором ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения)...

Теперь вы, уважаемый читатель, понимаете, как мёртвая летучая мышь, проданная на “мокром рынке” в Китае, заразила (случайно ли?!) ВСЮ ПЛАНЕТУ и кому это очень нужно ради своих баснословных прибылей?!

А дальше всё просто и понятно: помимо всех прочих стран, длинная меркантильная ниточка также потянулась и в Россию. Предприятия “Генериум” и “Биокад”, производящие вакцину “Спутник V”, принадлежат Виктору Харитонину, который, по интернет-данным, увеличил своё состояние почти втрое – до 3,4 млрд долларов. Как говорится: кому война, а кому мать родна. Поистине, как говаривал незабвенный Моисей Соломонович, лекарства прежде всего помогают тем, кто их продаёт...

Так же “случайно” мне вдруг вспомнился отрывок из книги 1981 года члена Бильдербергского клуба Жака Аттали: “Будущее будет заключаться в том, чтобы найти способ сократить население... Конечно, мы не сможем казнить людей или строить лагеря. Мы избавляемся от них, заставляя их верить, что это для их же блага... Мы найдём или вызовем пандемию, нацеленную на определённых людей, реальный экспериментальный кризис, или нет, вирус, поражающий стариков или пожилых, не имеет значения, слабые и напуганные поддадутся ему. Глупцы поверят в это и попросят, чтобы их лечили... Мы позаботимся о том, чтобы провести лечение, которое станет решением проблемы. Поэтому отбор идиотов будет производиться сам по себе: они пойдут на бойню сами (одни)”.

Выходит, прав был мученически растерзанный бесноватейшей толпой ливийский лидер Муаммар Каддафи, когда говорил на 64-й Генеральной ассамблее ООН (Нью-Йорк, 2009 год): “Они сами будут создавать вирусы и продавать вам противоядия. Потом будут делать вид, что им требуется время на поиск решения, тогда как оно уже будет у них”...

К гражданам России обратился Борис Галкин, заслуженный артист РФ, мнение которого всецело совпадает с позицией многих других соотечественников: “Я – против принудительной вакцинации. “Счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невинного ребёнка”, – говорил Фёдор Михайлович Достоевский. Давайте встанем на защиту наших детей, ибо мы не знаем последствий – и никто не знает последствий этой пандемии. Я против тех, кто собирается манипулировать сознанием наших граждан, планируя своё безоблачное будущее “в этой стране”, как они называют. Я прошу всех, кто разделяет эту позицию, присоединиться. Откликнитесь! Мы должны собраться все вместе, плечом к плечу и противостоять этому всемирному злу, направленному на уничтожение свободы, воли человека, живущего в этом мире”.

Как видим, циничные паразиты, захватившие власть на планете, осознанно создали эту “ПЛАНдемию” вместе с фармкорпорациями, королями бизнеса XXI века, вопреки всем и всяческим гуманитарным законам мирового сообщества. И вы думаете, что они неожиданно возлюбили людей и “волшебным укольчиком” принудительно “лечат” жителей всех стран?... Они нас запугивают и убивают веру в себя! Только мы сами способны создавать крепкий иммунитет и здоровье. Нам же остаётся только включать свои мозги и действовать, что называется, по обстановке, каждый из своего окопа. На войне, как на войне.

Публикуется в дискуссионном порядке

ЮРИЙ ФАДЕЕВ

РОССИЯ: РЕПАТРИАЦИЯ И МИГРАЦИЯ

Известно, что “в каждом человеке ровно столько тщеславия, сколько ему недостаёт ума”. Бориса Ельцина это гипертрофированное качество характера привело в Беловежскую пушу 8 декабря 1991 года. Там по его инициативе произошло действие, подобное музыкальному произведению Модеста Мусоргского “Ночь на Лысой горе”, – шабаш Сатаны и ведьм. В результате распада Советского Союза жизнь “русских азиатов” моего поколения детей войны была расколота на две части. Первая часть – в Центральной Азии (ЦА), вторая – после распада, для большинства из нас, в России. При этом в переломный момент где-то мы “умылись кровью”, откуда-то попросту унизительно и беззащитно были изгнаны, а те, кто вынужден был остаться, лишились всяких перспектив в жизни и ведут себя “тише воды, ниже травы”. И куда только подевались такие понятия, как “интернационализм и дружба народов”.

Российский поэт Игорь Тюленев, с которым я по случаю знаком лично, – один из немногих, кто откликнулся на события того времени. Привожу отрывок из его стихотворения “Уход из Азии”:

*Уходят русские, уходят
От винограда и чинар.
Уносят русские, уносят
Терпение и Божий дар.
Ушли, а за спиной остались
Могилы предков и жильё,
Столицы, университеты,
Безбедное житьё-бытьё.
Нам в спины гнусное кричали,
Камнями падали слова,
Как сквозь спицрутены, нас гнали —
Зато в следах росла трава...*

Представители творческой интеллигенции в республиках бывшего СССР тоже не сидели, сложа руки или перебирая чётки. Они немало потрудились в нагнетании антирусской истерии.

К примеру, в Чечне отличился Зелимхан Яндарбиев – поэт, прозаик, активный участник сепаратистского движения. В Таджикистане – поэтесса Гулрусхор Сафиева, бывшая комсомольская активистка и член КПСС. Во времена перестройки она проявила свою истинную сущность и стала яркой исламисткой, возбуждая вражду и ненависть к русским. Её творчество сопровождали фразы: “поруганной северными варварами моей прекрасной темноглазой Родине”,

“Великая Отечественная война — это российская мясорубка, куда загнали таджиков”, “час расплаты наступил, и пусть кровь смоеет русскую грязь”. Именно в этих республиках мирная русская диаспора принесла самые большие жертвы, хотя были они и в Азербайджане, Узбекистане, Приднестровье и т. д. Чуть позднее Г. Сафиева, как ни в чём не бывало, уютно устроилась в Москве. Для неё это было нетрудно. Психология и безудержное антисоветское “творчество” российских либералов тоже было востребовано как никогда, поэтому её приняли как свою. А как же “русские азиаты” — беженцы и репатрианты? Они с тех пор по-прежнему проходят семь кругов ада, прежде чем получают заветный российский паспорт.

Не миновали нас и местные национал-шовинисты из той же гнилой интеллигенции, они стали навязывать мнение о русских как о “колонизаторах” и “оккупантах”. В Ташкенте, например, и поныне работает Музей истории русской оккупации — он прямо так и называется. Экспозиции и гиды музея лицемерно рассказывают местной молодёжи, какое угнетение и разрушение принесли русские варвары древней узбекской культуре. Что на самом деле было потеряно узбекским и другими народами Туркестана, так это феодальный образ жизни, невольничьи рынки, рабство, междоусобица, женская паранджа, ассимиляция и вымирание от болезней.

Кстати о том, что в основном силами русских “оккупантов” был восстановлен Ташкент после разрушительного землетрясения в 1966 году, в музее предпочитают не вспоминать. Зато вспомнили и реабилитировали 115 курбаши или басмачей — участников вооружённого националистического движения против Советской власти на территории республик Средней Азии.

Конечно, у части этого региона есть и достойные страницы в истории, к которым современные злопыхатели имеют весьма опосредованное отношение. Средневековый Восток дал миру выдающихся философов, учёных, поэтов. Ими были Юсуф Баласугуни, Махмуд Кашгари, Аль Фараби, Ибн Сина, Фирдоуси, Бируни, Рудаки, Низами, Руми, Саади, Омар Хайям. В 1219 году Чингисхан силою меча покорил Среднюю Азию. Монголы обрушились на города Кашгар, Жаркенд, Хотан, Бухара, Коканд, Фергана, Хива, Мерв, Отрар, Термез и прекрасный Самарканд — один из самых развитых городов мусульманского мира. Была уничтожена уникальная цивилизация, так и не сумевшая восстановиться.

Что касается “колонизации”, то это была странная колонизация, при которой “русские варвары” вкладывали в “колонии” больше материальных средств и уделяли больше внимания, нежели метрополии. Для того чтобы обустроить и цивилизовать новые территории, в царской России подати (налоги) в казну на душу населения в русских губерниях были в два раза больше, чем в Туркестане. Кроме того, там не несли рекрутской и другой повинности. Местное население пользовалось самыми широкими привилегиями по части самоуправления в выборах местной администрации и народного суда.

К советскому периоду времени “русские варвары” также имеют непосредственное отношение. До вхождения в состав Российской империи только Бухарский эмират (Узбекистан) имел свою государственность, точка отсчёта которой берёт своё начало ещё во времена Тамерлана. Что касается остальных среднеазиатских республик, то до и после присоединения к Российской империи они не имели не только своего государства, но даже названия — одни родоплеменные образования. Так, отец Лавра Корнилова — путешественника, военачальника, героя русско-японской и Первой мировой войны, вождя белого движения на Юге России — иртышский казак, мать — крещёная казашка из рода Аргын. Это “русские варвары” наделили государственностью казахов (в том числе и за счёт казачьих земель), киргизов, таджиков, туркмен.

Чтобы вернуть к жизни бесплодные земли, “русскими варварами” были построены: Большой Туркменский канал, Большой Ферганский канал, Большой Чуйский канал, Каршинский канал, тысячи других каналов и плотин. Мы открыли школы, университеты, библиотеки, больницы, театры, музеи, создали научные центры. Ликвидировали болезни, эпидемии, безграмотность. Построили города, гидроэлектростанции, железные и автомобильные дороги, заводы, шахты, рудники, многое другое. В итоге в Центральной Азии появилась плеяда всемирно известных учёных, писателей, художников, режиссёров, актёров, спортсменов. Правда, в постсоветский период многое сходит на нет, но тут “русские варвары” точно ни при чём.

В своё время Чокан Валиханов (1835–1865) – казахский просветитель, учёный, путешественник, который был лично знаком с Ф. М. Достоевским, сделал вывод: “Без России мы просто Азия, и ничего более”. Сегодня в Казахстане за это выражение Чокан Валиханов сидел бы на нарах вместе с Ермаком Тойчибековым, приговорённым к семи годам колонии. Казахский блогер, правозащитник и общественно-политический деятель сидит в тюрьме за “неправильную” любовь к России и призывы теснее сотрудничать с Москвой. Кроме того, он обличал власть, превращающую нынешнюю молодёжь в “манкуртов”, выступал против фальсификации и героизации выдуманной истории с помощью фильмов, книг, учебников.

Между тем, выражение Чокана Валиханова имело глубокий смысл для всех азиатских народов. Заслуга Царской и Советской России в том, что Туркестан, а в дальнейшем Центральноазиатские республики в благоприятных для себя условиях набрали такой цивилизационный потенциал, который не позволил им скатиться до уровня Афганистана после развала Советского Союза. И конечно, нет сомнения в том, что эти народы вряд ли продвинулись бы в своём развитии дальше, будь они до XX века под властью Кокандского ханства, Турции или Китая. Только благодаря до- и послереволюционной России они из феодализма шагнули в социализм.

Моей малой родиной является Киргизия, где я прожил 45 лет вплоть до развала Советского Союза. Малая Родина – горы, киргизы, Манас... Трудное, как и для всех детей войны, время, но затем, в начале 50-х – звонкое, счастливое детство с палаточными пионерскими лагерями на берегу озера Иссык-Куль и школьная юность. Телевизора и интернета тогда не было, но идеалы и принципы были куда благороднее, сильнее и выше. Нас воспитывал двор, но главным образом – книги. “Мы росли, как спартанцы, как защитники Трои, и война лишь вчера – рядом были герои”. Песню “Варя” пацаны могли спеть без всякого повода, в любой обстановке – по зову души. Дрались часто и только “один на один”, в основном из-за девчонок или защищая честь – как мы это понимали. При этом ни родители, ни школа, а уж тем более милиция никогда не были посвящены в наши разборки.

А что сейчас на малой родине? Всё мне родное и близкое – чуждым уже обросло. К тому же:

*Стёрты названия русские, столицу назвали Бишкек,
Жертвы развала Союза кто где доживают свой век.*

Казахстан и, в частности, бывшая столица Алма-Ата (1960–1965) – мой студенческий город. Казахские города Чимкент, Джамбул, Кокчетав, Петропавловск тоже мне знакомы. Кроме того, работая в системе Минводхоза СССР, по делам службы я, инженер, объездил Узбекистан, Таджикистан и Туркмению.

В принципе положение республик ЦА в постсоветский период существенно не отличается, за исключением Туркмении с её “экстравагантностью” – в ЦА по одним лекалам сформированы моноэтнические этнократические государства. От русскоязычного населения почти полностью “зачищен” огромный регион.

Республика Кыргызстан – парламентско-президентская республика. Первым президентом республики до 2005 года был Аскар Акаев – президент Академии наук Киргизии и во всех отношениях позитивный человек. Однако затем под надуманными предлогами в республике началась череда политической нестабильности. Родоплеменные кланы одного за другим меняли “неправильных” президентов на “правильных” – и этот поиск пока не исчерпан. Сегодня Киргизия – это клановость, коррупция, бедность большинства, и всё это граничит со свободными выборами, многопартийностью и ностальгией по СССР. Столица Киргизии – Бишкек (ранее Пишпек, Фрунзе). Население республики – около 6 миллионов человек; подавляющее большинство – киргизы, 3% – узбеки, а поредевшая русская диаспора ориентировочно составляет около 300 тысяч человек (в 1989 году было более миллиона человек). Киргизы и казахи – мусульмане суннитского исповедования.

Казахстан является демократической, светской, унитарной, конституционной республикой с разнообразным культурным наследием. Первым президентом республики стал Нурсултан Назарбаев. В марте 2019 года он ушёл в отставку, а председатель Сената Касым-Жомарт Токаев стал президентом.

Столица Казахстана – город Нур-Султан (ранее Акмола, Целиноград, Астана). Казахстан – наиболее развитая в экономическом плане страна ЦА. Население республики на 2021 год составляет 19 млн человек, из них казахов – 13,3 млн, или 69%. Русских – 3,5 млн человек. В число этнических групп входят узбеки, украинцы, немцы, татары и уйгуры.

Численность русских в Узбекистане на 1 января 2021 года составила 720,3 тысячи человек, что на 1 млн меньше, чем в 1989 году. В пережившем гражданскую войну Таджикистане русскоязычное население уменьшилось с 388,5 до 68,2 тысячи. В Туркмении численность этнических русских сократилась с 350 тысяч до 100 тысяч человек.

В постсоветский период между республиками Центральной Азии сложились довольно сложные отношения. Этому способствуют две главных причины – неурегулированность существующих границ и проблема воды. К примеру, протяжённость киргизско-таджикской границы составляет 970 километров, из которых демаркировано 520 километров. Протяжённость киргизско-узбекской границы составляет 1380 километров, из них демаркировано 1100 километров. В итоге существуют 60 спорных участков границы, что приводит к стычкам с применением оружия и жертвам с двух сторон.

На территории Киргизии и Таджикистана в верховьях рек огромные запасы водных ресурсов. А вот ниже по течению, в Узбекистане, Туркменистане и Казахстане воды не хватает: в Узбекистан 77 процентов воды поступает извне, в Туркменистан – более 90 процентов, в Казахстан – более 40 процентов. Дело в том, что реки можно использовать в двух режимах – ирригационном, то есть для полива – и энергетическом – для выработки электричества на гидроэлектростанциях. Но эти режимы противоречат друг другу. Если для полива вода требуется летом, то потребление электричества растёт зимой, что вынуждает энергетиков Киргизии и Таджикистана сбрасывать в холодный сезон ресурс, который требуется земледельцам летом.

После небольшого экскурса по Центральной Азии снова вернёмся на 30 лет назад, к тому времени, когда *“распался Союз – мы ничейный народ, из Азии Средней начался исход”*. Униженные и оскорблённые, с заледеневшими сердцами, обожжёнными душами, перебитыми крыльями, русские азиаты стали возвращаться в Россию, на свою историческую родину. Наивные! Вскоре стало ясно, что Ельцин и его либеральная свора не будут проводить политику собирания русских в лоно исторической родины. Чувствуя отношение “верхов”, в малых населённых пунктах, где невозможно остаться незамеченным, “люди холопского звания” злобно шипели вслед русским азиатам: *“Понаехали тут...”* – причисляя их к чужакам, и в то же время были трусливы и покладисты перед “кавказцами”.

Никто не мог предположить, что нас настолько не ждали и не хотели видеть. Русский азиат и политолог Станислав Епифанцев был шокирован этим:

“Разумно задуматься, почему власть льёт “крокодиловы слёзы” по поводу ущербного демографического состояния в стране, стремительно теряющей население, и в то же время столь неохотно впускает русских людей в Россию, обставив возвращение на Родину предков кучей барьеров?”

Почему каждый еврей или даже на четверть еврей a priori имеет право на гражданство еврейского государства, каковое и получает прямо в аэропорту Тель-Авива по прилёту?”

Ответ очевиден: либеральная власть до настоящего времени уклоняется от разработки и реализации “Программы репатриации русских из стран ближнего зарубежья”. Казалось бы, чего проще: “Любой русский, любой русскоязычный, принадлежащий к коренным народам России, имеющим свои территории, должен обладать неотъемлемым и срочным правом на репатриацию. Такое же право должны иметь жители Украины и Беларуси как единый славянский народ”.

Однако правительство Мишустина отклонило очередной законопроект о репатриации, который на этот раз разработал депутат Госдумы Константин Затулин в июне 2021 года. Канитель с российским гражданством продолжается уже три десятилетия, а ведь причина лежит на поверхности. Она была изложена ещё в письме П. В. Анненкова И. С. Тургеневу 25 августа 1876 года: *“Либерализм и благорасположение к славянам – понятия несовместимые”*. В современной интерпретации политолога и журналиста Максима Шевченко это звучит так: *“Русские в России живут в режиме оккупации со стороны*

либеральных колонизаторов, возглавляемых космополитической, антинациональной правящей элитой”.

Так что русские России нужны, но они не нужны чиновникам. Началось это с Ельцина, когда:

*Америка России подарила “пароход”.
С носу пар. Колёса сзади
И ужасно тихий ход!*

Русских за границами Российской Федерации, по разным оценкам, сегодня живёт от 30 до 40 миллионов человек. В том числе в Центральной Азии примерно 5 миллионов русских. Достаточно принять один закон о репатриации, чтобы у нас появились миллионы новых граждан. А если посчитать ещё и с Украиной... Там ведь не все хотят батрачить на польских панов. Даже многие “русские немцы” – исконно добросовестные труженики – готовы вернуться в Россию из-за гендерных проблем в Германии.

Увы, закона как не было, так и нет. Я, русский азиат, конечно могу виртуально обратиться к президенту России: “Владимир Владимирович! Русских домой пустите, пожалуйста!” – так ведь бесполезно, не услышит, и не потому, что “голос единицы тоньше писка”. Но разве он не принадлежит к русскому государствообразующему, православному народу? Разве он не заинтересован в социальном благополучии и численном возрастании нашего народа? Ведь он из простой русской семьи! Правда, настораживает неприязнь президента ко всему советскому и его либеральное окружение, препятствующее тому, чтобы “русский Атлант расправил плечи”.

Так или иначе, но масштабные программы этнической репатриации, принятые в Германии, Израиле, Венгрии, Польше, Казахстане и ряде других стран, упрощающие получение гражданства и мер по обустройству, так и не стали для России примером и ориентиром. Тем самым государство Российская Федерация поставило нас перед фактом, что оно не является русским по национальному духу, как, например, немецкая по духу Германия, французская по духу Франция, итальянская по духу Италия, казахский по духу Казахстан.

Абсурд, но, по сути, официальная миграционная политика российских властей основывается на фактическом отрицании России как этнической родины русского народа, брошенного в зарубежье. Так что издевательства Госдумы и российских чиновников над русскими репатриантами будет продолжаться. Хотя это в корне противоречит международному опыту “разделённых наций”, в положении которой русские оказались после распада СССР.

Между тем, в последнее время на бытовом уровне у беззащитных русских людей в Центральной Азии проблемы усугубились. Участились случаи разрушения христианских кладбищ, избиения русских, ущемления русского языка при одновременном требовании знания местного языка и т. д.

Наши центральноазиатские партнёры занимают “странную” позицию и в международной сфере. При голосовании в ООН по вопросам Крыма и другим антироссийским инициативам они или воздерживаются, или голосуют консолидированно с нашими политическими противниками. Так, Казахстан не поддержал Россию в войне с Грузией, не признал Южную Осетию и Абхазию, осудил присоединение Крыма к России, осуждает гуманитарную поддержку Россией Донбасса – Донецка и Луганска, и т. п.

Внутри Казахстана определённые силы, “подцепившие вирус” национал-шовинизма и русофобии, уже отказываются от исторических фактов добровольного вхождения Младшего, Среднего и Старшего жузов под протекторат Российской Империи. Происходило это в период с 1731-го по 1865 годы, когда их притесняли Джунгарское, Кокандское, Бухарское и Хивинское ханства. И тем более они “закрывают глаза” на то, что Советский Союз сделал всё, чтобы вывести казахов (как и все народы Центральной Азии) из Средневековья в социализм. Тем самым они отторгают уже и своих великих предков-учителей, учёных, просветителей: Чокана Валиханова, Абая Кунанбаева, И. Алтынсарина, Ж. Бокеева, Джамбула Джабаева, Мухтара Ауэзова и других, которые считали, что судьба казахского народа должна быть нерасторжимо связана с Россией.

Для меня всё это дико ещё и потому, что мои студенческие годы, как я уже отметил, прошли в Алма-Ате. В нашей общежитской комнате на шесть

человек было три казаха — отличные ребята, которые дороги мне и поныне: Сагинтаев Нуралы, Милов Ермек, Сыдыхов Шапих. В доброй памяти и другие сокурсники-казахи. Сейчас они почтенные аксакалы, но я не допускаю мысли, чтобы их дети или внуки оказались среди неоманкуртов.

Что касается причин конфронтации между местным населением ЦА и брошенных Россией беззащитных русских азиатов, то она такова: смена элит, внутренняя исламизация, русофобия и... Турция. Турция, воссоздающая Великий Туран — политическое и военное объединение тюркских государств, на данном этапе успешный генподрядчик США и Великобритании в Центральной Азии. После событий в Карабахе авторитет Турции в мусульманских странах постсоветских республик вырос в геометрической прогрессии. Сейчас всё идёт к тому, что ЦА движется под протекторат Турции под девизом “Одна нация — шесть государств”: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан и Турция. *“Только таким образом мы сможем реализовать огромный потенциал, который имеет тюркский мир с 300-миллионным населением”, — заявил Эрдоган.*

Азербайджан — формально член ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности), как ни странно, уже создаёт с Турцией (член НАТО) совместную армию. На очереди Казахстан, который к тому же разрешил размещение на своей территории секретных американских биологических лабораторий и не против военных баз США. В зону интересов Турции также попали Крым, Краснодарский и Ставропольский края, Калмыкия, Ростовская и Астраханская области, республики Северного Кавказа, а также Татарстан и Башкирия. Не секрет, что Кавказский регион России уже “зачищен” от русских, но это табуированная тема. Одновременно прорабатывается возможность объединения военных потенциалов Турции, Пакистана и Афганистана. Не нужно гадать, против кого.

“Куда конь с копытом, туда и рак с клешней”: наши национальные суверенитеты, загнанные в глубину, тлеют, но до поры, до времени — фактор Турции ещё проявит себя. К примеру, идёт радикализация мусульманского Крыма. Во время саммита “Крымская платформа” 23 августа 2021 года в Киеве глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Москва оккупировала Крым, и, кроме того, обвинил страны Евросоюза в бездействии. Там же обозреватель газеты “Türkiye” Мерьем Айбике Синан заявила, что настоящими хозяевами Крымского полуострова являются татары-тюрки.

Между тем, в Крыму язык крымских татар впервые получил официальный статус, представители национального меньшинства на безвозмездной основе стали наделяться земельными наделами. Однако “сколько волка ни корми, он всё в лес смотрит”. Николай Патрушев — секретарь Совбеза РФ: “Крымские татары так и остались пятой колонной на полуострове”. Удивляться нечему! Они исторически всегда были и будут “пятой колонной” в Крыму. Сталин это понимал и поэтому во время Великой Отечественной войны героев из числа крымских татар награждал, а “пятую колонну” депортировал.

Неймётся и “пятой колонне” в Республике Татарстан. На заседании парламента 23 сентября 2021 года депутат и татарский писатель Ркаил Зайдуллин сделал заявление о том, что день взятия Казани войском Ивана Грозного 15 октября 1552 года следует сделать в Татарстане официальной памятной датой — Днём скорби. Всё одно и то же! Все прекрасно помнят, как в 90-е годы при моральной поддержке Ельцина (“берите суверенитета, сколько сможете”) в Татарстане пытались “играть” в суверенную территорию, подрывая тем самым внутривнутриполитическую стабильность в государстве.

Татарский национализм никуда не делся, сегодня он находится в скрытом состоянии, однако “шила в мешке не утаишь”. Так, в райцентре Актаныш в конце октября 2021 года на общем кладбище похоронили русского человека. На его могиле родственники установили крест. В начале октября крест исчез — его спилили мусульмане. А ведь крест главная святыня христиан — это образ Пресвятой Троицы: Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа.

В районной администрации вандализм оправдывали тем, что Актаныш — это чисто татарский район, что здесь всеми силами стараются сохранить татарский язык и существующую “национальную чистоту”. Таким дай волю, они весь Татарстан превратят в “национальную чистоту”, и не только Татарстан.

И. В. Сталин в этом вопросе имел твёрдую позицию: *“Нет, мы правильно поступаем, что так сурово караем националистов всех мастей и расцветок.*

Они лучшие помощники наших врагов и злейшие враги собственных народов. Ведь заветная мечта националистов – раздробить Советский Союз на отдельные “национальные” государства, и тогда он станет лёгкой добычей врагов”.

Нынешняя либеральная хлябь промолчать, перетерпеть (“наши чувства оскорблять можно – их нельзя”), запрет на воспитательную работу в школе и т. п. – привели к резкому ухудшению межнациональных и межконфессиональных отношений внутри страны. Мало кто верит и в целесообразность миграционных процессов, когда всё пущено на самотёк. Очевидно, что это очередная диверсия “шестой колонны”^{*} либералов и прочих недоброжелателей.

Мигрантов активно лоббирует вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который считает, что необходимо развивать агломерации – человеиники, по примеру “новой Москвы” в Центральной части России, стянув сюда население депрессивных регионов. Для него и других лоббистов – это “стимул в развитии отечественной экономики”.

Ну, как здесь обойтись без мигрантов!

И тут напрашивается вопрос: почему чиновники забывают о наших соотечественниках за рубежом и не лоббируют “экскапов” – иностранных специалистов, обладающих высокой квалификацией? Тем более что экскапы не планируют переезд на ПМЖ в Россию и по окончании контракта возвращаются к себе на Родину. С их помощью вдохнули бы жизнь в Роснано и Сколково – провальные проекты Медведева, отданные на кормление Чубайсу и другим либералам. Как и было задумано, туда вбуханы сотни миллиардов рублей, а государство “осталось с носом”. Научили бы Набиуллину и финансово-экономический блок правительства, как придержать деньги, которые уплывают в офшоры и “нашим западным партнёрам”, и стимулировать собственный реальный сектор экономики. Поделались бы с Мишустиним мировым опытом внедрения прогрессивного налога на буржуазию. Конечно, это ирония! При отсутствии политической воли Кремля “плетью обуха не перешибешь!”.

Между тем, создавая безработицу среди местного населения России, мигранты через платёжные системы за последние годы вывели около 200 млрд долларов. За счёт этого, к примеру, бедность в Узбекистане ниже, чем в России. Кстати, существует негласное правило – этнические бизнесмены в России русских на работу не берут.

А что от всей этой вакханалии имеет российское общество? Оно несёт издержки миграционной агрессии в виде морального дискомфорта и постоянных конфликтов. Страдает от этнической преступности и наркоимпорта. Активно осваивая наше пространство, мигранты самоорганизуются, концентрируются в инокультурных анклавах или болтаются по стране в бесконтрольном режиме – райские условия для террористов и криминала. Дошло до того, что в крупных городах России, и прежде всего в Москве, функционируют этнические бойцовские клубы, где тренируются уроженцы Кавказа и Средней Азии. Наивно полагать, что там те, кто ежедневно вкалывает на стройках или в такси с целью заработать деньги на женитьбу, для семьи или на помощь престарелым родителям. Там обитает специфический контингент, который уже сегодня является рассадником экстремизма, радикального исламизма, рекрутингом бойцов для этнических преступных группировок. Но их готовят и для будущего, чтобы, когда надо будет, по щелчку выставить тысячи подготовленных бойцов.

В то же время властям азиатских республик крайне удобно выпнуть пассивную молодёжь в Россию. Не надо заботиться о рабочих местах, упрощаются социальные проблемы, разгружена медицина и т. п. Даже с ОПГ (организованные преступные группировки) всё проще – они “работают” в России. Те, кого депортируют из России на родину, на второй же день “теряют” свои паспорта и за взятку в 500 долларов получают дома новые – с другими фамилиями, и снова в Россию!

Всё это создаёт дополнительную нагрузку на МВД и ФСБ. За десять месяцев 2021 года иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории нашей страны совершено 30,8 тысячи преступлений, что на 5,1% больше, чем за январь–октябрь 2020 года. Приезжие из государств-членов

^{*} “Шестая колонна” – олигархи (с интересами за рубежом), политики, чиновники, либеральные общественные деятели и владельцы СМИ, – будучи не менее радикальными западниками, чем “пятая колонна”, находясь внутри политического режима, подвергают его эрозии.

СНГ совершили 24 тысячи преступлений, что составляет 78% от общего числа podobных деяний со стороны гостей из других стран.

При этом руководства стран, откуда приезжают преступники, не приносят извинений и не компенсируют моральный и материальный ущерб потерпевшим в России. Более того, они покрывают и отказывают в выдаче преступников, совершивших тяжёлые уголовные преступления на территории России, но сумевших сбежать на родину.

Одновременно, пользуясь неразберихой, множество коррумпированных чиновников России (в погонах и без) активно кормятся от соответствующих диаспор и “новых рабовладельцев”, разлагая моральный климат в стране.

Более десяти лет неравнодушные граждане России бьют тревогу. И вот, наконец, – “лёд тронулся”. Против “хуснуллизации” России выступил Н. Патрушев – секретарь Совета безопасности РФ, а Александр Бастрыкин – председатель Следственного комитета РФ – ужесточил меры наказания за бандитизм мигрантов.

Однако не будем наивными, пока это не элемент целенаправленной стратегии. Определённые силы во властных структурах целенаправленно продолжают превращать нас – государствообразующий народ – в рыхлаю субстанцию, не способную противостоять внутренней и внешней агрессии. “Наши западные партнёры” осведомлены о существующем положении в России, и потому вокруг внешних границ одну за одной демонстрируют “психические атаки”. При этом иерихонские трубы уже звучат “крещендо”, как в финальной части “Болеро” Мориса Равеля. И если наши внешние границы прикрыты армией, флотом и воздушно-космическими силами, то внутри страны военная составляющая ослабляется:

российской элитой (1% населения РФ, владеющей 74,5% благосостояния страны), которая готова к замирению с Западом на любых условиях. Хотя в контексте парадигмы англосаксонской цивилизации, “любое” и оно же “единственное” условие замирения – это полная и безоговорочная капитуляция Православной цивилизации и Русского Мира;

российским либерализмом, не имеющим ничего общего с классическим либерализмом. По сути, это политическая и идеологическая отрывка Запада, взращённая для России, как бактерия бубонной чумы. Объединённые в “пятую и шестую колонны”, паразитируя на теле ненавистной им России, они уже 30 лет с упорством зверька заняты ограблением сырьевых и финансовых ресурсов страны, дебилизацией, моральным растлением и “оптимизацией” русского народа.

Как следствие, наша молодёжь стараниями псевдореформаторов и отсутствием идеологии, мотивирующей человека, общество и государство на позитивные намерения и действия, – без руля и ветрил. Основная масса пожилых людей и миллионы бедных находятся в “прокрустовом ложе” между телевизором и супермаркетами в поисках мусорных пищевых продуктов со скидкой. Кроме того, как сказал поэт: *“Со всех сторон нагрянули они, иных времён татары и монголы”*: В стране 3-миллионная диаспора армян (наверно, их больше, чем в Армении). У них медиа, банки, ювелирные заводы, торговля. Они монополизировали строительство и эксплуатацию муниципальных дорог, сопровождая свою “деятельность” откатами и низким качеством.

Во время Карабахского конфликта 2020 года армяне в России наблюдали за событиями, сидя в ресторанах и кафе по принципу “каждый мнит себя героем, видя бой со стороны”. Теперь свой провал они вают на нашу страну и даже опускаются до оскорбления: “Прощай, немытая Россия!” – во время факельного шествия в Ереване 8 ноября 2021 года. В этой связи хочется напомнить им русскую пословицу: “Не плюй в колодец – пригодится воды напиться”;

Такую же численность в России имеет диаспора азербайджанцев. Они владеют российской нефтью – компания “Лукойл”, – сетью супермаркетов “Магнит” и другими торговыми центрами, у них небоскрёбы, с помощью тех же продажных российских чиновников они монополизировали российские рынки и теперь диктуют спекулятивные цены и т. п.

Армяне и азербайджанцы умудряются не только заселять крупные города и регионы, но и прибирают к рукам властные структуры в ведомственных учреждениях, назначаются на высокие и ответственные должности, занимают привилегированное положение среди российской политической элиты, активно проникают в прокуратуру, правоохранительные и судебные органы. Всё бы

ничего, вот только Азербайджан уже неразрывно связан с Турцией, а Армения с Пашиняном спит и видит себя с “нашими западными партнёрами” — и кто тогда они в России? Правильно — “пятая и шестая колонны”!

Зарегистрированная в 2021 году в РФ 6-миллионная армия мигрантов (неофициально до 10 млн), из которых официально трудятся только 2,6 млн, также представляет собой мощную этнополитическую силу, у которой Турция больше чем в авторитете. Любое осложнение межгосударственных отношений между Россией и Турцией (а это рано или поздно произойдёт) тут же аукнется активными протестными действиями “пятой колонны” мигрантов внутри нашей страны.

Одновременно либералы во власти проводят политику внеэтнической и общегражданской равноудалённости государства от всех наций. Цель — искусственно нивелировать русских на уровень малых этносов, чтобы исключить государствообразующую суть русского народа и норму национально-пропорционального представительства в органах власти. В итоге в условиях тотального поклонения Мамоне, несмотря на подавляющее численное большинство, “затурканный” и не столь “пронырливый”, как другие, русский народ находится в условиях, породивших вырождение, деградацию культуры, вульгаризацию и примитивизацию личности, сдавленность и ущемлённость, низкую образовательную и профессиональную мотивацию.

Как следствие, русские утрачивают свои лидирующие качества, что позволяет проникнуть в элитарные слои цепким и дружным малым этносам, заняв там лидирующие позиции (евреи, армяне, азербайджанцы и др.).

В Кремле закрывают глаза и на то, что действительность демонстрирует неравноценность гражданских добродетелей у разных наций с точки зрения вклада и верности Государству Российскому. Второе тысячелетие Россия держится на военных жертвах, усилиях и созидательной работе русских.

Таким образом, существующая в РФ национальная и миграционная “политика” — это мина замедленного действия по отношению к Православной цивилизации и Русскому Миру, которая в перспективе ведёт к утрате объединяющей позиции русского народа и развалу страны.

Светлые умы человечества всегда мечтали о времени, “когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся”. Нужно было обладать большим гражданским и интеллектуальным мужеством, чтобы сказать: “Никогда!” Этим мужеством обладал русский учёный Лев Гумилёв.

В наше время критика мультикультурализма впервые была изложена в книге немецкого политика Тило Саррацина “Германия: самоликвидация” (*Deutschland schafft sich ab*), которая вышла в свет в августе 2010 года, а затем в книге Эрика Земмура *Le Suicide français* (“Французское самоубийство”) 2014 года. Поэтому, если мы повторяем печальный миграционный опыт “наших западных партнёров”, когда европейцы оплачивают собственное унижение, то только по злому умыслу колаборантов внутри страны. Дружба между отдельными представителями отдельных народов была, есть и будет, но это не является фактом “дружбы целых народов”. Такова несовершенная природа человека, отягощённая историческим наследием.

Существующая ситуация в стране породила ещё одну проблему. Любая стычка русского с мигрантами, “гостями” и представителями иных этносов, в том числе и самооборона, в нашем суде заведомо трактуется как ксенофобия — статья 282 УК РФ. Карают по ней жёстко, и только русских. Разработали её либералы: Шпигель, Федотов и иже с ними. А вот избить или убить русского — это бытовуха и — “преступность не имеет национальности”. Тут же, в защиту преступника выступает диаспора и нанятые ею лучшие адвокаты. “Тому мы ряд примеров слышим” — вот несколько из них. В поселении Путилково близ Москвы 1 июня 2019 года выходцами из Армении (9 человек) был убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин; 7 июня в Южном Бутово — выходцами из Таджикистана (6 человек) убит историк, писатель Сергей Чуев. И что? Убийц Сергея Чуева практически “отмазали”. Ещё не завершено дело Никиты Белянкина, но всё идёт к тому же. Дурной пример заразителен, и вот уже цыгане (когда это было!), чувствуя безнаказанность, убивают русских (Владимир Грушин, Дмитрий Комарницкий).

В то же время в Иваново упрятали на 7 лет тюрьмы строгого режима Анатолия Грудистева, вызволявшего избитую сворой подданных азербайджанцев русскую девушку. В свалке из-за удара по руке он произвольно выстрелил

из травмата и попал в зачинщика (Бог шельму метит!). Вначале всё было более-менее справедливо, суд присяжных приговорил Анатолия к полутора годам тюрьмы. Но затем, идя на поводу у азербайджанской диаспоры, “неправильных присяжных” заменили на “правильных”, в итоге – 7 лет.

Таким образом, практика судебной системы РФ, когда русских за защиту самих себя или избиваемых ждёт тюрьма с максимальными сроками, а за убийство русского выносят символический срок – это ползучий эндогенный геноцид. Кроме того, из нас целенаправленно воспитывают людей без национального самосознания и способности на этнонациональную солидарность, то есть превращают в “баранов”, которых “должно резать или стричь”, по А. С. Пушкину.

И как тут не вспомнить удивительную “принципиальность” российских территориальных отделов прокуратуры, МВД и судей по отношению к русским парням из стран ближнего зарубежья – добровольцам Донбасса. Вместо того чтобы оформлять им российское гражданство, по команде “сверху” они отлавливали их “за нарушение правил временного пребывания на территории РФ” и, наплевав в души, выносили решения о депортации по месту прописки, то есть в украинские тюрьмы. Сейчас в Ленобласти под надуманными предложениями преследуют Егора Гудзенко – ветерана боевых действий и войны в Новороссии.

На этом фоне Рубати Мицаева, известная как “волчица Ичкерии” и соратница объявленного в международный розыск Ахмеда Закаева, вернулась на родину из Германии в середине декабря, где её встретили официальные лица цветами и лезгинкой. В 1994–2003 годах Мицаева воевала против федеральных сил, а затем на Западе вела оголтелую антироссийскую пропаганду. Аллах с ней, может быть, в Чечне она раскается... Правда, у многих русских людей после этого события возникают всё те же горькие вопросы. Как расценить прямые гонения наших чиновников на защитников Русского Мира в Донбассе? Можно было бы предположить, что в Чечне просто больше любят своих соплеменников и лучше понимают слово “патриотизм”? На самом деле, не исключая этого, приходишь к выводу: мы имеем дело с русофобством “шестой колонны” либералов во власти, которые реализуют свои цели.

Отрывок из стихотворения “Жестокость” поэта Валерия Хатюшина отражает существующую тенденцию:

*Живых надежд растоптано без счёта,
затравлено без счёта душ людских...
У русских есть любимая работа:
уничтожение своих.
Да, гениальны мы и терпеливы,
добры к евреям, немцам и другим...
Но как бездарно, подло и трусливо
жестоки и безжалостны к своим!*

Вопрос в том, свои ли мы для них и русские ли они для нас?

Негативные последствия миграции давно предвидели умные и патриотичные люди России. Уже в начале прошлого века последний государственный секретарь царского правительства Сергей Ефимович Кржижановский заявлял: “Коренная Россия не располагает запасом культурных и нравственных сил для ассимиляции всех окраин. Это истощает русское национальное ядро”.

Однако “нет пророка в своём Отечестве”. Кстати, “русское национальное ядро” – это вообще что в настоящее время? Это не там, где вымирают интенсивней, чем в других регионах России?

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

ВАДИМ КОЖИНОВ

Глава 16

Так жили поэты...

Пожалуй, в “кожиновском” кружке поэтов не было времени, столь насыщенного теплом дружбы, напряжённого и радостного взаимного общения, вдохновенного творчества и обмена его плодами, чем конец 1960-х.

После выхода в Архангельске книжки стихотворений “Душа хранит” Николай Рубцов, окончивший после многочисленных перипетий Литературный институт, готовил новый московский сборник “Сосен шум”, в который включил шестьдесят одно стихотворение, большая часть которых была сотворена в вологодском городке Липин Бор на Белом озере.

Он уже нечасто приезжал в Москву, но каждое его появление было радостью для друзей. Они слушали его новые стихи – “Поезд”, “Ночь на родине”, “Зелёные цветы”, “На ночлеге” – и отчётливо слышали, как в тончайшей лирической их мелодии всё отчётливее звучали драматические ноты усиливающегося одиночества (“И опять по дороге лесной, / там, где свадьбы, бывало, летели, / неприкаянный, мрачный, ночной, / я тревожно уйду по метели”) и возможного скорого прощания с жизнью (“Если умру – по мне / не зажигай огня! / Весть передай родне / и посети меня. // Где я зарыт, спроси / жителей дальних мест... / Каждому на Руси / памятник или крест”; “Слёз не лей над кочкою болотной / оттого, что слишком я горяч. / Вот умру – и стану я холодный, / вот тогда, любимая, поплачь!”; “Родимая! Что ещё будет со мною? / Родная заря уж завтра меня / не разбудит, играя в окне и горя”; “Ну что ж? Моя грустная лира, / я тоже простой человек, – сей образ прекрасного мира / мы тоже оставим навек”...) Они жарко говорили, вспоминали слова Есенина, утверждавшего, что чем больше поэт пишет о смерти, тем острее чувствует жизнь, и едва сдерживали восторги, когда Рубцов читал своё “Посвящение другу”:

*Замерзают мои георгины.
И последние ночи близки.
И на комья желтеющей глины
За ограду летят лепестки...*

*Нет, меня не порадует — что ты! —
Одинокая странствий звезда.*

Продолжение. Начало в №№ 1-7,9 за 2019 год, 1-5,7-12 за 2020 год, 1-3,5-7,11-12 за 2021 год.

*Пролетели мои самолёты,
Просвистели мои поезда.*

*Прогудели мои пароходы,
Проскрипели телеги мои, —
Я пришёл к тебе в дни непогоды,
Так изволь, хоть водой напои!*

*Не порвать мне житейские цепи,
Не умчаться, глазами горя,
В пугачёвские вольные степи,
Где гуляла душа бунтаря.*

*Не порвать мне мучительной связи
С долгой осенью нашей земли,
С деревцом у сырой коновязи,
С журавлями в холодной дали...*

*Но люблю тебя в дни непогоды
И желаю тебе навсегда,
Чтоб гудели твои пароходы,
Чтоб свистели твои поезда!*

Это стихотворение было положено Кожинным на нехитрую гитарную мелодию и с неизменным успехом исполнялось им в разных компаниях. Читал своё новое и Анатолий Передреев. Он также готовил новый сборник “Равнина”, вышедший практически одновременно с рубцовским.

“— Перебрал множество вариантов и остановился на “Равнине”, — вспоминала его слова Софья Гладышева. — Представляешь? Даль... Широкая, едва обозримая русская равнина... и тишина... Тишина...

“Отрадная тишина”: “И всюду страсти роковые, и нет отрадной тишины”, — припомнилась мне черновая концовка “Цыган”.

Строка Пушкина глубоко поразила Передреева. Он словно застыл от изумления, долго и отрешённо молчал. Ведь “отрадная тишина” была не только его вождленным желанием, но и главным условием поэзии”.

Книга вышла в строгой чёрной обложке с алым цветком посередине. Завершало её стихотворение “Поэту”, написанное в память о Николае Заболоцком:

*Мы все, как можем, на земле поём,
Но среди всех — великих было мало...
Твоей душе, тяжёлой на подъём,
Их высоты прозрачной не хватало.*

*Ты заплатил в своём начале дань
Набегу разрушительных глаголов,
И лишь полей нетронутая даль
Тебя спасла от них, как от монголов.*

*Тебе твой дар простором этим дан,
И ты служил земле его и небу
И никому в угоду иль потребу
Не бил в пустой и бедный барабан.*

*Ты помнил тех далёких, но живых,
Ты победил косноязычье мира,
И в наши дни ты поднял лиру их,
Хоть тяжела классическая лира!*

Поздний Заболоцкий был наравне с Есениным и Блоком путеводной звездой для Передреева, и нельзя здесь не сказать, что поэзия сравнительно недавно ушедшего русского классика была в это время камертоном для многих — не только для поэтов.

Достаточно вспомнить вышедший тогда на экраны фильм “Доживём до понедельника” Станислава Ростоцкого (и поныне остающийся лучшим отечественным фильмом о школе), где главный герой поёт под собственный аккомпанемент песню “В этой роще берёзовой”, навевающую память о войне, где незадачливый ученик Генка Шестопал пишет стихи, явно навеянные ритмом и тональностью стихотворения Заболоцкого “Журавли”... Но дело даже не этих явных отсылках. Сама мелодия фильма, где берутся крупным планом лица персонажей, их глаза, в которых читается и характер, и судьба, навеяна послевоенными стихами Заболоцкого, который поистине “победил косноязычье мира”, воплотив в своей поэзии портреты и судьбы человеческие, судьбы людей, прошедших тяжкие испытания, сохранивших и обогативших свою мирскую и надмирную суть.

... Передреев работал не только над стихами и переводами. В эти же годы он пишет ряд статей, взбаламутивших читательскую и литературную общественность.

“Читая русских поэтов”... В этой статье Передреев предложил читателю своё прочтение Пушкина, Лермонтова, Фета, Есенина, Пастернака, Некрасова. Но цепкие глаза многих стихотворцев и критиков выделили в ней именно сюжет, посвящённый Пастернаку.

К этому времени Пастернак превратился в своего рода “священную корову”, в того, кем положено лишь восторгаться, и любой, кто рисковал подвергнуть его стихи пристальному анализу без придыхания, рисковал угодить в касту “нерукопожатных”... Анатолий Константинович все подобные соображения оставлял за бортом своего сознания. Он мерил по высшему счёту.

Главка, посвящённая поэту, называлась пастернаковской строчкой “Все-ильный бог деталей...” Вот эти детали и стали предметом передреевского пристального рассмотрения.

“...Он был действительно жрецом в храме этого бога... Подробности жизни, изумляя неожиданностью и точностью увиденного, рассыпаны в стихах Пастернака, как драгоценные находки. Но в поэзии, в отличие от Ювелирторга, ценятся, в конечном счёте, не столько поэтические “находки”, сколько нить, на которую они нанизаны. Эта нить — нерв поэта...”

У Пастернака детали живут как бы совершенно самостоятельной жизнью. И чаще всего не автор руководит ими в соответствии с мыслью, настроением, а они — точные, полнокровные сами по себе, — бесконечно сменяя друг друга, приводят его в некое эмоциональное напряжение, доходящее иногда до экстаза, не мешающего, правда, тем или иным умозаключениям...

Я вижу здесь не творческое упоение, а упоение творчеством. Это упоение чувствуется во многих стихах Пастернака. В этом отношении он счастливый человек в сравнении, например, с Блоком, для которого “искусство — ноша на плечах”, который признавался музе: “Для одних ты — и муза и чудо, для меня ты — мученье и ад”... Одухотворённость природы у Пастернака такая, что она не требует вмешательства души человека, поэта... Как бы сознавая, что между природой, явленной в стихах Пастернака, и читателем зияет провал, не заполненный присутствием мыслящей и чувствующей личности, что единственное её оправдание и спасение в том, чтобы быть “живой — и только!”, природа добивается здесь предельного “самовыражения”, предельного воздействия на зрительные, слуховые и прочие органы восприятия, заставляя осязать себя почти материально... Так попытка отстраниться от духовного “взаимодействия с природой, как бы уйти в сторону предоставит природе самой “рассказать о себе”, попытка создать видимость полной безыскусственности, “случайности” творчества оборачивается у Пастернака торжеством искусства, победой искусства над природой...”

Здесь следует подчеркнуть, что все эти соображения относятся к довоенной поэзии Пастернака. Переходя к его поздней лирике, Передреев не меняет тона, но видит то новое у поэта, что не присутствовало в его стихах ранее.

“В более поздних стихах Б. Пастернак отходит от языческого — “как до грехопадения” — восприятия природы и пытается наладить с ней духовную связь. Он уже не идёт, “топча мирозданье”, а входит в природу, как в “сказочный чертог”, как в храм...”

И всё же до конца освободиться от стремления формального, по сути, “перевоссоздания” природы Пастернак, мне кажется, не смог...

В лучших стихах из циклов “На ранних поездах”, “Когда разгуляется”, “Стихи из романа” и других поэт, говоря языком самого Пастернака, старался не “переобезьянить” природу, а выделить (отнюдь не отделить) человека в природе, наполнив его лирическим, историческим, социальным содержанием... Здесь уже начало драматического понимания бытия...

Но, к сожалению, эти прорывы Пастернака в “область сердца”, в “историю души” не получили, на мой взгляд, творческого развития. И помешала ему, как мне кажется, его собственная художественная концепция, так и не изжитая им до конца...” Передреев привёл собственные слова Пастернака: “Соотношение сил, управляющих творчеством, как бы становится на голову”. И иронически их прокомментировал: “Когда “состояние души” “как бы становится на голову”, и поэт поражается собственным сравнением, трудно поверить в “приближение того, что называется вдохновением”...”

Передреев не единожды оговаривал на протяжении всей этой главки: “мне кажется”, “на мой взгляд”... Он читал Пастернака своими глазами, точно и непредвзято анализируя его поэтику. И, казалось бы, возражать ему можно было, исходя из пристального чтения стихов поэта, по-своему его интерпретируя.

Но статья Передреева (ещё раз подчеркну, что, по сути, было проигнорировано всё, что он писал о Пушкине, Лермонтове, Некрасове, совершенно по-новому открывая Некрасова) была воспринята именно как “покушение на Пастернака”.

И не только на него.

Показательной в этом отношении стала статья Евгения Сидорова “Пастернак и его критик”. “Пастернак и Передреев – бой неравный”, – отчеканил Сидоров, не давая себе труда понять, что никакого “боя” Передреев с Пастернаком не вёл и не думал вести. “Передреев сражается с фантомом, вызванным к жизни расчётливым и несколько уязвленным воображением, – продолжал сочинять “защитник” пастернаковской поэзии. – ...Передрееву не до музыки. Он ищет “коэффициент полезного действия”... Для Передреева дело не в одном Пастернаке и, главным образом, не в нём, но в тех, кто сегодня, усвоив уроки его творчества, продолжает писать стихи иначе, чем хотелось бы нашему критику. Сквозящая нетерпимость Передреева к метафорическому стилю в поэзии выдаёт сверхзадачу его прозаического сочинения...”

Здесь любопытно следующее. Сидоров делал вид, что ему совершенно неизвестны размышления Андрея Синявского из предисловия к тому стихотворений и поэм Пастернака: “Пейзаж в творчестве Пастернака зачастую уже не объект изображения, а субъект действия, главный герой и двигатель событий. Вся полнота жизни в разнообразии её проявлений вмещается в клочок природы, который, кажется, способен совершать поступки, чувствовать и мыслить. Уподобление природы человеку, свойственное поэзии, достигает у Пастернака такого предела, что пейзаж выступает в роли наставника и нравственного образца. “Роняет лес багряный свой убор” – такова утвердившаяся в русской поэзии классическая формула осени. У Пастернака мы нередко встречаем обратный ход мысли: “Ты так же сбрасываешь платье, как роща сбрасывает листья...”...” По сути, те же наблюдения, что и у Передреева, только Синявский, в отличие от Передреева, восторгался подобным обращением с пейзажем в пастернаковской поэзии. Передреев же, отказавшись в своё время от совета Асеева сдать “набегу разрушительных глаголов”, утверждал своё понимание классической гармонии. Он и Соколова упрекал за увлечение в некоторых стихах излишней детализацией, не ведущей к раскрытию образа. Кстати сказать, Кожин не принял рассуждений Передреева о поздней поэзии Пастернака, но безусловно согласился с его оценкой стихотворения “Поездка” и в разговорах вспоминал слова Пастернака о “метафорическом одичании” поэзии 1920-х годов. И с восторгом отзывался о заключительной главке передреевской статьи – “Поэтом можешь ты не быть...”, посвящённой Некрасову, говоря, что Анатолий заставил его по-новому взглянуть на некрасовскую лирику.

... Не успел утихнуть шум, вызванный статьёй “Читая русских поэтов”, как Передреев взбаламутил литературное сообщество своим новым сочинением. Статьёй “Чего не умел Гёте. Заметки о “заметках” и стихах А. Вознесенского”.

Вот здесь Передреев был по-настоящему ядовито ироничен и литературно безжалостен. Вот здесь уже можно было в прямом смысле говорить о “бое”,

точнее, не о “бое”, а о форменном уничтожении популярного стихотворца.

Прочитав в “Иностранной литературе” рецензию Вознесенского на сборник переводов Пастернака “Звёздное небо”, Анатолий Константинович подверг её жесточайшему разносу. Он обращал внимание читателя на беспардонность и амикошонство самого тона вознесенского сочинения. “Здесь есть всё, что, по меньшей мере, неуместно в “оповещении” о книге”, — писал Передреев, приглашая и читателя посмеяться над новым Хлестаковым, который, ничего толком не сказав о самом сборнике переводов, умудрился на нескольких страницах расписать своё присутствие вместе с Пастернаком на премьере “Ромео и Джульетты”, своё путешествие в Марбург, где стихотворца “прямо-таки поволокли в “Мерседес””, а потом поили пивом на “студенческом сыр-боре”, ночёвку у фрау в старом городе... “О Пастернаке, заметьте, ни слова. Не до него...”

Пастернак, в данном случае, играет для Вознесенского “возбудительную роль. Роль некоего раздражителя тех удивительных в своей самозабвенности свойств характера, имя которым — хлестаковщина... И всё же вся эта гастролёрская ахинея имеет, как ни удивительно, прямой смысл. Она призвана ошарашить читателя: мол, знай, с кем имеешь дело, а посему слушай, что тебе говорят!”

Только ощущение брезгливости могли вызвать вознесенские пассажи вроде следующего: “Ведь “он и “Фауста” где-то... перевернул”. Вед он знал и умел то, чего “Гёте не умел и не знал”!...”

И далее Передреев разбирает стихи Вознесенского, наблюдая, чем тот намерен уже в своих строках “ошарашить” читателя. И на поверку оказывается (невзирая на все восторженные вопли поклонников типа “Во даёт!”), что “ошарашивать”, по сути, нечем.

“Чувство языка здесь часто подменено чувством “современного стиля”, образ — совершенно самоцельным конструктивным уподоблением... В его стихах много скандальной хроники, сенсационных происшествий, часто безобразных... Стихи А. Вознесенского обильно насыщены приметами современной цивилизации, но, на мой взгляд, лишены признаков культуры. Недостаточность мышления компенсируется эпатажем...

Примеры эпатажа многообразны. От ниспровержения “всех и всяческих авторитетов” до отроческих нецензурностей... Но самый “коварный” его приём — “ошарашивающая метафора”, использовав которую “можно смело высказывать самые примитивные мысли”...”

Спокойное и внимательное чтение поэмы Вознесенского, посвящённой ташкентскому землетрясению, или “Эскиза поэмы” приводит Передреева к неумолимым выводам: “Ташкент со своей катастрофой здесь ни при чём. Он всего лишь тема для “овладения вещью”... Но как всё это у А. Вознесенского несостоятельно... мелкотравчато (“с материнской любовью лупишь шкафом дубовым”), визгливо (“не хотим быть паштетом”), хамовато (“будто кукиш... пол-Пушкина”)... Никакой “трансформации” живой реальной боли в “боль” поэтическую не произошло. Нет в этом “репортаже”, несмотря на претензии, и сколь-нибудь серьёзного истолкования ташкентского землетрясения как некоего символического явления. Что же есть?..

Есть А. Вознесенский... В неколебимой уверенности, что “беде” от его стихов непременно “полегчает”. А как же иначе? Ведь ничего серьёзного, в общем, не происходит. Ведь эпицентр хоть и способен “трясануть”, но он “грушевидный”. Находится, так сказать, в ведомстве поэтического хозяйства А. Вознесенского”.

...Сам Вознесенский, надо сказать, отличался чрезмерной деловитостью, пробивая в печать самые бессмысленные свои сочинения. Однажды он появился в редакции газеты в сопровождении работников ЦК с самым настоящим приказом: немедленно набрать его поэму “Зарев”. “Ночью набирали, печатали, выкинув срочные материалы... 150 писем — ни одного положительного. Все ругают”, — записал в своём дневнике поэт и прозаик Дмитрий Голубков. Но, кстати сказать, после передреевской статьи ни ташкентскую поэму, ни “Эскиз поэмы” (о котором Передреев написал, что “художественной правды, то есть той правды, которая занимается исследованием мироощущения психически нормального человека, здесь нет”, и совершенно справедливо назвал этот “Эскиз” “полуфабрикатом”) Вознесенский много десятилетий не перепечатывал в своих сборниках.

По-хорошему говоря, после передреевской статьи больше о Вознесенском едва ли что следовало писать в серьёзном тоне. Последующие его “разгромы” на грани фельетона Вячеслава Куприянова (“Небо и балаган”) и Владимира Вигилянского (“Пять шестых “взгляда” на “Тень звука”) варьировали тему и мотивы “Чего не умел Гёте”.

Друзья изрядно веселились, читая друг другу вслух выдержки из этого сочинения, и поздравляли товарища с заслуженным успехом. Совершенно иную реакцию вызвала статья в противоположном “лагере”. В статьях иных критиков можно было прочесть, что Передреев позволил себе недопустимую резкость тона. Писавшие так, видимо, забыли литературные нравы XIX века, когда критики позволяли себе тон, до которого ох как далеко было критикам 60-х годов века XX-го!

Но ещё только работая над статьёй, Передреев написал стихотворение — лаконичное и жёсткое, — которое также читал напряжённо внимавшим друзьям:

*Я видел,
Как скудеют чувства,
Мертвеют краски и слова,
Когда
Отдельно от искусства
Горит закат,
Шумит листва.*

*Когда —
Была такая мода —
Живут,
Друг другу не служа,
Поэт отдельно
И природа,
Отдельно книга
И душа.*

*И выдаётся шарлатанство,
Творца старательного бред
За постижение пространства,
Проникновение в предмет.*

*И на страницах имярека,
А вам известен имярек,
Всё меньше стало человека,
Хоть был предметом человек.*

*В полотнах,
Где бездушны краски,
В словах
Без жизни и лица...
Но споры шли,
Кипели страсти
Вокруг бесстрастного творца!*

Прекрасные стихи, как известно, переживают своё время. И сейчас эти строки читаются, как имеющие самое прямое отношение к нашему сегодняшнему дню, даже в большей мере, чем ко дням, когда они были написаны.

Передреев одинаково не принял как Вознесенского с Евтушенко, так и Бродского, о котором уже распространилась молва как о гениальном поэте. Во многом, надо сказать этому способствовал пресловутый судебный процесс над ним по указу о тунеядцах и шум, поднятый вокруг. Быстро распространилась по рукам запись процесса, сделанная Фридой Вигдоровой, в которой было достаточно “преображённого” самой журналисткой, что фактически засвидетельствовал Яков Гордин: “... Подробнейшие записи вела Фрида Абрамовна Вигдорова. Они распространялись “самиздатом”, были изданы за рубежом, считались стенограммами, хотя на самом деле это

вовсе не стенограммы: Фрида Вигдорова обладала феерическим даром, позволявшим ей фиксировать услышанные диалоги с nepocтижимой точностью, пожалуй, точнее, нежели стенографические отчёты, ибо аналитический ум, писательский талант и наблюдательность давали право Вигдоровой отсекал ненужные мелочи (выделено мной. — С. К.), фиксируя самое характерное, включая интонации собеседников... Эта запись, будучи вскоре переведена на многие европейские языки, привела мировую общественность в состояние шока"... Вот это "отсечение ненужных мелочей" и создавало, с одной стороны, образ Бродского как невинной жертвы, а с другой — представляло судьбу и свидетелей обвинения в виде монстров, готовых затоптать молодого гения, якобы вещавшего на процессе: "Я писал стихи... Я думал — это от Бога..." — и, разумеется, в "записи" Вигдоровой полностью отсутствуют такие речения Бродского на процессе, как то: "А и работать никто не может меня заставить, если у меня другие увлечения"... "Я хочу жить так, как мне это нравится, а не так, как это угодно коммунистам"... "А вот в Союзе все они там антисемиты и фашисты"... "А тебе завидно, пьяница, работающий в сокровищнице культуры?"... "Мне наплевать, что думают обо мне коммунистические дружинники, все они связаны с милицией и партийными секретарями и не дают жить так, как хочется, особенно, если еврей. Найдутся и уже есть, хотя и далеко от нас, люди, которые помогут таким, как я..."

(В результате Бродскому, по словам Ахматовой, "сделали биографию. Как будто он кого-то нарочно нанял". Прокуратура СССР дала своё заключение: "Насколько правильно составлена стенограмма, судить трудно, но если она правильная, то этот факт лишний раз подтверждает тенденциозность и необъективность рассмотрения дела и скорую расправу с Бродским". В том надзорном деле имеются протесты Прокуратуры СССР по вынесенному Бродскому приговору, докладная записка Генерального прокурора СССР Р. А. Руденко, председателя Верховного суда СССР А. Ф. Горкина и председателя КГБ В. Е. Семичастного в ЦК КПСС о целесообразности досрочного освобождения Бродского из ссылки.)

Передреев, по воспоминаниям Владимира Цыбина, так отзывался о нём: "Ну и что, если талантлив? Красивый металлический дворец. А поэт строит не дворцы и не офисы, а собор. В самом себе. Есть непреодолимая сила лирической соборности. То же самое Л. Мартынов. И умён, и начитан, и плодовит, как муравейник, а — вне души народа. Кровеносные сосуды расположены поверх черепа. Он стихи тоже измышляет. А посмотри у Коли Рубцова: только о самом-самом своём. Написал, как отстал..."

...А что касается реакции на передреевскую статью самого Вознесенского, то о ней свидетельствует следующий факт. Отправляясь в очередную творческую командировку, Вознесенский и его приятель, "оруженосец" и бесталанный подражатель Пётр Вегин скупили в вокзальном газетном киоске все экземпляры только что вышедшей книги Передреева "Равнина" и с хохотом, как бы совершая некое мстительное "действие", погрузили их в ближайшую мусорную урну.

Не ведаю, знал ли о том Передреев. Впрочем, если бы и узнал, наверняка лишь усмехнулся бы и пожал плечами.

В это время он завязал переписку с русским поэтом, жившим в далёкой Бразилии. Валерий Францевич Салатко-Петрище, писавший под псевдонимом "Валерий Перелешин", начавший свою эмигрантскую эпопею в 1920 году с Харбина, получивший в 1946-м советское гражданство, высланный из США и обретший в 1953-м постоянное пристанище в Рио-де-Жанейро, пришёл в восхищение от книги Анатолия и посвятил ей стихотворение:

"РАВНИНА"

*Обложка в манихейском стиле:
мрак изначальный, но и в нём
одна из чудотворных лилий
зарделась духом и огнём.*

*А дальше — юноша красивый
из-под копны шальных волос*

*кидает миру взор пытливый
и чуть насмешливый вопрос.*

*Мир подлецов и лицедеев
хрипеть на миг перестаёт,
и Анатолий Передреев
проходит исподволь вперёд.*

*Пусть ночь над пропастью колодца
накрена глухой стеной,
но Муза пушкинская вьётся
над юношей — и надо мной:*

*ведь оба мы к единой вере
влекомы жребием одним
и на неукротимом “пере-”
мы через ночь перелетим.*

Перелешин увидел в стихах Передреева самое главное: “Но Муза пушкинская вьётся...”

Анатолий Передреев был не просто внимательным и пристальным — он был трудолюбивым читателем Пушкина. Именно трудолюбивым. Потому что познание Пушкина — нелёгкий и благотворный труд, и Передреев понимал это, как мало кто из его современников. Любое панибратство с Пушкиным, любая, даже невольная небрежность в обращении с пушкинской строкой, любое неуважение к пушкинскому тексту становились причиной его резкой, взрывной реакции. Доходило до того, что однажды он обмолвился: “Подошёл тут один пишущий, представился — “Пушкин”. Это его настоящая фамилия. Так я ему сказал, что пока не возьмёт псевдоним — пусть близко ко мне не подходит!”

Только-только написанную статью “Мир поэта” он отдал в альманах “День поэзии”. И поныне читаешь эту статью-свидетельство глубинного проникновения в пушкинский мир — вплоть до пронзительного финала:

“...Мы так привыкли к сиянию пушкинского гения, столько света излучают его стихи, что забываем, сколько страшного преследовало его воображение и душу.

Но дело в том, что Пушкин всегда больше того, о чём он пишет. Он не теряет власти ни над чем. И как бы ни потрясали наше воображение его “бесы”, мы чувствуем, что он их “взял на себя”.

*Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне...*

Заслуга Пушкина перед людьми всех времён, его “подвиг благородный” в том ещё, что он создал свой поэтический мир, в котором дисгармония окружающего мира не отрицается, но побеждается силой творческого духа, его “божественного глагола”...

* * *

Яркие (хотя и краткие) зарисовки встреч с Кожинным оставил в своих дневниках Дмитрий Голубков.

“Страшная метель; по ней поздно вечером (в 10 ч.) — к Кожинному. Живёт в Б. Афанасьевском... Был пьян (предупредил в дверях), “поэтому” начал с чтения стихов (Апухтин, Тряпкин, Эд. Балашов — оч. талантлив) и исполнения (под растресканную гитарку) романсов — своих (музыка) и старых. “С чувством”. Начитан, увлечён, но не страстен и не глубок. В общем, любопытен. Надо присмотреться”.

Кожинный после напряжённой работы был слегка расхристан. Он любил периодически “принять на грудь” и в расслабленном состоянии читал любимых поэтов, пел слегка надтреснутым голосом романсы, воплощая в своём

пени внутреннюю музыку стиха, очаровывая слушателей, но ничего удивительного, что в этом состоянии он поначалу показался Голубкову “нестрастным” и “неглубоким”. Потом писатель “присмотрелся”.

“Кожиновские mots: “Тарковский — изящный графоман”; “Тряпкин — один из лучших сейчас поэтов” (правда, прочёл чудное стихотворение о смерти отца); “М. Кузмин стал гораздо лучше писать после 17 г. — получил ожог и дозрел”. “Нежно люблю Межирова. Вижу всё его позёрство, актёрство — и люблю; как женщину иногда любят за избыток кокетства”.

Межиров был одним из любимых поэтов Кожинова. “Полублоковская вьюга” его стихов очаровывала друзей, он был по-своему очаровательным собеседником при всём “позёрстве”, “актёрстве”, а временами и просто лживости. Захлёбываясь, заикаясь, обсуждал с Кожиновым Леонтьева и Розанова, время от времени одаривая (на время) старыми книгами из своей библиотеки. Тем же привлёк и Голубкова:

“Вчера вечером был у Межирова. Весь обложен книгами: Розанов, Г. Адамович, Ходасевич, Леонтьев... Подсунул мне статью Розанова о Гапонове (“Эт-то о Евтушенко”); покуда я читал, он въедался в мою книжку. “П-проб-бузину — изумительное стихотворение...” И ещё что-то хвалил, особенно “за непосредственность и свежесть душевного движения”; “стихи-рассуждения — бледнее”...

(А Давид Самойлов — с которым у Вадима Валерьяновича тогда были вполне мирные, уважительные отношения — Межирова ненавидел. В это время он писал поэму “Последние каникулы” о Вите Ствоше, где выводил Межирова под фамилией “Мерзилов”.

*Он, чей-то референт,
Сын графа и циркачки,
Вполне интеллигент,
Устав от вечной скачки,
Здесь отдыхал от дел,
Поскольку не успел
Себе построить дачки.*

.....
*Он утверждал, что мир
И благо для народа
Приносит не свобода,
А лишь один пломбир.*

Лидия Чуковская записала в своём дневнике, что Самойлов говорил о Межирове “как о мелком лгуне, духовном преступнике, ставленнике Кожинова (! — С. К.)”.

Что же касается межировского сравнения Евтушенко с Гапоном, то сам “повсеградно озкраненный” стихотворец давал для него все основания. Он заявил Голубкову, не стесняясь: “Мне теперь руку подают не за стихи, а за мои общественные акции...” И тут же, озлобляясь на ходу: “Я знаю, ваш любимый поэт — Фет. Вы всё сделали, чтобы меня не было слышно!” Главное здесь было — кивнуть на некое безымянное “вы”.

На время отстранённый от публичных выступлений после своего протеста по поводу вторжения советских танков в Прагу, Евтушенко долго не выдержал своего отсутствия перед софитами и написал письмо Брежневу: “Дорогой Леонид Ильич! Я прошу Вас помочь мне в том, чтобы мне снова была предоставлена возможность выступать с чтением стихов перед широкой аудиторией. Я ручаюсь, что эти вечера будут проходить на высоком идейном и творческом уровне...”

(Впрочем, о “высоком идейном и творческом уровне” ештушенковских стихов в это время написал свои стихи известный сербский поэт Матия Бечкович: “Не раздавалось в мире залпа / Без того, чтобы ты не зарыдал! / Без несчастья — у тебя творческий кризис. / Несчастья — твоя игра и забава. // Тебя среди ночи будили / воспевать мертвецов, пока не остыли... / В “Боинге” — твой рабочий кабинет. / Из Сибири ты явился, чтобы твердить нам о неграх. / Единственный живой самоубийца со стеклянными слезами!.. // Ты открываешь зло, известное первоклашкам. / Ты единственный вышел на бой с нищетою / И наелся, распевая про чужой голод. / Экспортный поэт чужого

*Не отделаешься от славы,
Даже если томит дорога.
Говорят, ты играешь слабо —
Отсебятины слишком много.*

*Это к лучшему. Так! И выше.
Облака — как немая карта.
Вьются клочья большой афиши,
Как последние хлопья марта.*

Друзья снисходительно отнеслись к этому стихотворению (впрочем, Передреев — непримиримо)... И совершенно по-другому слушали они стихотворение “Памяти Афанасия Фета”.

“... В память врезалась сцена, — вспоминал Станислав Куняев, — когда в нижнем буфете Дома литераторов, в полутёмном углу, мы вчетвером уединились за столиком и Соколов читал нам (мне, Передрееву и Кожинуву) одно из самых трагических и пророческих своих стихотворений:

*Ничего от той жизни,
что бессмертной была,
не осталось в отчизне,
всё сгорело дотла.*

.....
*Всё в снегу, точно в пепле,
толпы зимних пальто,
как исчезли мы в пекле,
и не видел никто.*

Мы с Передреевым восхищались свободой и отвагой стихотворения, заставили Соколова прочитать его ещё и ещё раз, подымали тосты за его талант, но если и пьянели, то от избытка чувств и гордости за русскую поэзию...”

“Стихотворение Соколова, — это уже из воспоминаний Кожинова, — свидетельствовало о воскрешении, о том, что Россия не только “была”, но и осталась — пусть даже хотя бы в стихе — “бессмертной”...”

И никто тогда не мог предположить, как их разведёт жизнь два десятилетия спустя...

* * *

В конце 1970 года вышел составленный Анатолием Ланчиковым сборник статей о литературе и искусстве “Жить страстями и идеями времени”.

В эту книгу вошли статьи критиков, чьи имена тогда были у всех на слуху, и отличалась она чрезвычайной резкостью и остротой. Само собой разумеется, к ней “паровозом” был прицеплен материал журналиста, инструктора ЦК КПСС, нового главного редактора “Молодой гвардии” Феликса Овчаренко (который после снятия Никонова постарался избавиться от наиболее “одиозных” сотрудников; сам же проработал совсем недолго — скончался от рака, не дожив и до сорока лет). Роль “заднего вагона” выполняла статья заместителя заведующего Отделом культуры ЦК Альберта Беляева об американских “советологах”... А основная часть состояла из сочинений боевых, вдумчиво, интересно, а подчас и лихо написанных.

Анатолий Ланчиков “Исповедальная” проза и её герой”; Пётр Палиевский “Мера научности” (продолжение разговора о структуралистах); Лев Аннинский “Номинал и обеспечение” (с жёсткой критикой “новомирских” статей Игоря Виноградова); Владимир Бушин “Жить страстями и идеями времени” (с ироничным, ядовитым и в то же время вполне серьёзным разномом по-королевски шествовавших на наших киноэкранах зарубежных фильмов “Анжелика и король”, “Мистер Питкин в тылу врага”, “Операция “Святой Януарий” и отечественных — “Золотой телёнок”, “Первый курьер”, “Состязание”, “Женя, Женечка и “катюша” и других); Дмитрий Урнов “О правах прошлого”.

Об этой статье стоит сказать несколько слов отдельно.

Урнов анализировал современные постановки классических пьес, объясняя реальные причины неудовлетворительности абсолютного большинства их интерпретаций. “Всякое отклонение от классического текста, купюры, изменения в этом тексте есть отступление под всесторонним натиском сложности, подгонка великой мысли под свой масштаб. Например, Корнелий и Вольтиманд, будто бы естественно и незаметно выпадающие почти из всех современных “Гамлетов”, – это лишь начало, наиболее безобидное выражение редукции, которая в итоге сокращает государственно-патриотическую линию трагедии, упраздняет значение Фортинбраса, “изящного и нежного”, а вместе с тем отважного, верного долгу, словом, героического”. “Изящным и нежным” предстаёт в современных постановках Гамлет – совершенно иной у Шекспира.

Перейдя к Чехову, Урнов подробно рассказывал, с какими сложностями встретился при чеховских постановках Московский Художественный театр, как он преодолевал своё “непонимание” чеховских пьес. “Думать вместе с Чеховым – полной конгениальности не достало и у гигантов Художественного театра. Тем более трудно было успеть за чеховской мыслью зрительному залу. И Чехов оставался в грустном одиночестве подобно тому, как, по мнению нового главного редактора “Молодой гвардии”, остался некогда в одиночестве Пушкин, поднявшись на пушкинскую высоту”.

Что уж говорить о постановках нынешних! “...Праведен труд тяжкий, кропотливый и общий, соединяющий многие усилия ради того, чтобы выразились прекрасное и правда. Новейшие постановки Чехова и вообще нашей классики оставляют, напротив, впечатление торопливости. Сидя на спектакле, мы словно быстро читаем знакомую пьесу: наскоро просматриваем одни эпизоды, просто перелистываем, едва взглянув, другие. Нам как бы всё и без того ясно. Осталось лишь кое-что истолковать. Вот здесь мы смотрим долго. Но, кажется, лишь затем, чтобы опять-таки нечто выхватить, выпятить, а прочее вновь оставить без особенного внимания. Спектакли удивительно длинные, а между тем кажутся торопливыми, сокращёнными, урезанными. В результате остаётся впечатление тягучей торопливости...”

Это было написано тогда, когда на театральных сценах ещё не бушевала абсолютная режиссёрская вседозволенность, превращающая трагедию в фарс (в лучшем случае!), когда издевательства над классическими произведениями далеко ещё не достигли своего пика. Но нарастающую тенденцию Урнов уловил точно: “Ни Шекспир, ни Пушкин, ни Чехов нам ничего не должны. Это наш долг стараться понять их, если до сих пор “мы так и не поняли”. И большие мастера театра дают пример такого старательного понимания, со знающего свои пределы...”

Художественный театр поднялся из домашнего драматического кружка, и домашность, сохранявшаяся в атмосфере Художественного театра, придавала ему особую конкретность, прочность. Туда и шли, как домой. Домашнее, семейное, своё составляло оригинальную силу Художественного театра. Домашнее было поднято до общезначимого, до исторического... Процесс обратный – сведение спектакля до злободневного представления, до капустника...

Исторически поучительно видеть прошлое, классическую литературу – ярчайшее отражение прошлого – как живой самостоятельный мир. Требуется, конечно, зрение особой силы, чтобы, не нарушая дымки времени, всё-таки ясно различать до деталей ушедшую жизнь. Видеть, в чём безвозвратно она оторвалась от нас, насколько ещё связана с нами. Тогда действительно взгляд, обращённый в прошлое, помогает понять и современность. Так раскрыто прошлое и Шекспир в фильмах Лоуренса Оливье “Генрих V”, “Гамлет” и “Ричард III”. Так, увы, чаще всего не раскрывается уже Чехов в спектаклях, идущих сейчас, хотя в них и удерживается мемориальная достоверность: “дорогой рояль”, как видно, закрылся, замкнулся, а “ключ” потерян...”

Основным пороком гремевшей тогда кинопостановки Александра Зархи “Анна Каренина” с Татьяной Самойловой в главной роли Урнов считал тот, что “пропущено в личности Анны качество, которое у Толстого составило и “зерно” и основу замысла всего романа и личности главной героини; качество это – порода... А “порода” для Толстого столь же многообъемлющее понятие, как и “мир”, которым обозначается союзничество, связь, свойство

людей, слаженный “мир” противопоставляется “войне”, разладу, противоречиям, отчуждённости друг от друга. “Порода” у Толстого такая же проблема, как у Шекспира “гамлетовский возраст”... Пропуск “породы”... в самом деле не случаен: таково до известной степени общесовременное восприятие Толстого...”

Ещё одно поразительное место в статье Урнова – это его тончайшее наблюдение над тем, как “вся наша классическая литература позволяет в живых подробностях проследить, как назрело то, что совершилось в 1917 году... Ещё прежде чем уловит поэт чутким внутренним слухом “гул”, “напор”, “ритм”, прежде чем сложатся даже смутные чувствования – “всё переверотилось” (Толстой), “скоро грянет буря” (Горький), “надвигается на всех нас громада, готовится здоровая, сильная буря” (Чехов), или “будет пугачёвщина, не такая, как была, но вроде той, что была” (Суворин – Розанову), – прежде и за долго до всего этого литература непременно, невольно передаёт **крошение** (выделено автором. – **С. К.**) старого мира. Именно крошение, неуклюжая, но возможная игра слов подчёркивает, что не крушение, не крах имеется в виду, а мельчайшее дробление, непрерывное выветривание, распыление социальной “породы”, которая держит фундамент прежнего общества...”

Это, если хотите, уже своеобразный завуалированный выпад против читаемого и обсуждаемого кожиновским кругом Розанова и его знаменитых слов: “Русь слиняла в два дня. Самое большое – в три...”

Статья Дмитрия Урнова стала своего рода “прологом” к состоявшейся через несколько лет дискуссии “Классика и мы”.

* * *

В этом же сборнике одно из центральных мест заняла статья Кожинова “Поэзия и жизнь”.

Собственно говоря, это была не столько статья, сколько выдержка из книги “Как пишут стихи”, над которой Вадим Валерианович работал около трёх лет. Краткую историю её публикации рассказывал в своих воспоминаниях Валентин Недзвецкий.

“В конце 1960-х годов я был принят на работу в редакцию эстетического воспитания издательства “Просвещение”. Редакция была новой и хороших авторских рукописей не имела. Предстояло срочно найти талантливых искусствоведов и литературоведов, способных относительно быстро написать хорошие книги по редакционной проблематике. Почти одновременно я обратился к Георгию Гачеву и Вадиму Кожинову. Вадим ответил: “Я давно вынашиваю книгу под названием “Как пишут стихи”. И добавил: “Не “Как писать стихи”, ибо этому научить нельзя, а “Как пишут, то есть творят, подлинные стихи”. Через несколько месяцев он принёс её в издательство, и в 1970 году она, отредактированная мною, вышла в свет. Правда, к тому времени оставший издательство “Просвещение” не без помощи В. Разумного (в 1969 году он опубликовал в известиях клеветническую рецензию на книгу Г. Д. Гачева “Содержательность художественных форм. Лирика. Эпос. Театр”, также вышедшую под моей редакцией), я уже своей фамилии в выходных данных кожиновской книги не нашёл”.

(К слову: незадолго до этого в Институте философии АН СССР состоялась защита докторской диссертации “марксистского философа” Разумного “Эстетика социалистического реализма”. Оппоненты – Эвальд Ильенков, Юрий Давыдов, Вадим Кожинов, Георгий Гачев – разнесли соискателя в пух и прах. Тем не менее докторская степень была присвоена. И в заключительном слове Разумный горделиво заявил: “Пыл, с которым здесь выступали противники социалистического реализма, лишний раз доказывает, что его эстетика волнуется всех!” Эту “защиту” он, конечно, не забыл и с наслаждением “отыгрался” на Гачеве).

Книжка “Как пишут стихи” была сдана в набор в конце 1968 года и выдержала (вместе с её автором) достаточно длительную и жёсткую борьбу, чтобы, наконец, выйти в свет в конце 1970-го. Её выходу предшествовали различные события, в частности, обсуждение нового “Дня поэзии 1969”, главным редактором которого был Владимир Соколов, а одним из составителей – Кожинов.

Критикам в этом выпуске альманаха была предъявлена анкета с вопросами: “Какие явления в поэзии этого десятилетия (60-е годы) представляют вам наиболее характерными и ценными, достойными войти в историю русской литературы?” и “В каком направлении будет развиваться, на Ваш взгляд, поэзия 70-х годов”?

Чрезвычайно характерны ответы Льва Аннинского:

“... Поэты стиля Евтушенко... остро нуждались в сочувствии слушателей, здесь к слушателям прямо адресовались, за ними почти ухаживали. Немыслимо представить себе такое заискивание перед слушателем у Слуцкого или Самойлова. И драма совершилась. Откровенный человек победил сокровенного человека, шум победил тишину, внешнее оказалось ярче внутреннего. Тяжёлый опыт отступил перед лёгким возбуждением... Шестидесятые годы пришли как отрезвление. В наступившей тишине этого поэтического периода начались неслышимые процессы... Прежде всего, взяло реванш воевавшее поколение: внимание читающей публики (читающей, а не слушающей!) стало отходить к поэтам тяжёлого опыта. Затем наметилось необычайное возрождение в деревенской сфере, в той среднесельской коренной полосе, которая связывается у нас со словом “Россия” в его многовековом звучании. Успех таких поэтов, как Н. Тряпкин, Н. Рубцов, А. Передреев, – это симптом, и очень важный...” Далее, процитировав стихи Владимира Соколова, Аннинский продолжил с ещё большим нажимом: “Всё суетное уходит. Остаётся вечное: мудрость и достоинство. Мне, например, такая поэзия сейчас ближе всего. Но я думаю, что сегодня сосредоточенная сдержанность в поэзии должна кончиться. Тишина разрядится – она разрядится приходом какого-то совершенно нового молодого героя...”

Интересный переход получился у Аннинского – достаточно сравнить эти его слова с книжкой “Ядро ореха”, воспевавшей поэтов “лёгкого возбуждения”.

“Очень многого жду от Вл. Соколова, В. Цыбина, Ф. Чуева, О. Дмитриева, И. Волгина”, – поделился своими ожиданиями Юрий Идашкин.

“Если же говорить о характерных явлениях нынешнего десятилетия, – это Анатолий Ланщиков, – то здесь, на мой взгляд, необходимо обратить в внимание на два явления. Одно из них – это направление, с которым чаще всего связывались имена Е. Евтушенко, А. Вознесенского и Р. Рождественского. В творчестве каждого из них находят своё логическое завершение какие-то ранее уже бытовавшие “начала”. Так, в стихах Р. Рождественского я вижу окончание течения, которое столь же ярко и целостно проявилось в своё время, скажем, в стихах А. Безыменского. В поэтическом кризисе А. Вознесенского без особого труда угадываются его литературные предшественники, поэтической сущностью которых всегда был кризис их души. А. Вознесенский – “окончание” этого течения. Наиболее универсален Е. Евтушенко. Он – единое “окончание” многих “начал”, но ни одно из них не опускается в историю отечественной поэзии глубже, чем 60-е годы XIX века, впрочем, так же, как и те “начала”, что завершает А. Вознесенский и Р. Рождественский. Итак, для первой половины 60-х годов необычайно характерна яркая вспышка (так обычно вспыхивает лампочка перед тем, как погаснуть окончательно) тех эстетических принципов поэтики, которые обуславливали поэтическую жизнь на протяжении целого века.

Вторая половина 60-х годов не столь ярко и не столь отчётливо выявляет свои тенденции в именах, но устремления этих тенденций очевидны. Здесь я имею в виду то направление, которое через Есенина, Блока, Тютчева, Кольцова, Лермонтова приближается к пушкинским “началам” поэзии, вобравшим в себя многовековую культуру нашего народа. Это направление видит в поэзии её самоценное значение, не подчиняет, но и не противопоставляет духовные ценности ценностям материальным, на чём, пожалуй, больше всего и спотыкалось минувшее поэтическое столетие. Поскольку анкета требует, назову имена: Анатолий Передреев, Николай Рубцов, Валентин Сидоров, Владимир Соколов. Я называю только тех поэтов, чей творческий путь целиком связан с 60-ми годами”.

Досталось же потом Ланщикову за эти его ответы на анкету и от поэтов, и от критиков! И даже не столько за “пренебрежение” к эстрадным кумирам, сколько за следующее его соображение, многократно позднее цитированное с соответствующими ядовитыми, уничижительными и негодующими комментариями:

“Пушкин – это наша античность. И возвращение к “началам” его поэзии позволит нам, людям второй половины XX века, создать невиданную доселе цивилизацию, когда человек перестанет вести изнурительную борьбу с “неумирающими” пережитками прошлого, так как попросту станет невосприимчивым к ним, как сейчас, скажем, мы невосприимчивы к вульгарному людоедству. Я не уверен, что всё это завершится в 70-е годы, больше того, я уверен, что для этого потребуется не одно десятилетие, однако именно наши семидесятые годы должны стать тем поворотом, от которого начнёт по-том исчисляться новая поэтическая эпоха и историческая судьба Нового Человека, отринувшего все предрассудки и суеверия как нецивилизованной дикости, так и цивилизованного одичания, от которых сейчас мы ещё так не-свободны... На поэтическом знамени новой эпохи будут начертаны радост-ные всякому чуткому человеку слова: “Вперёд, к Пушкину!”

Явно сожалел об уходящей в прошлое “эстраде”, её прямом воздействии на зрителя Станислав Лесневский:

“В поэзии предшествовавшего десятилетия заметно стремление к пря-мому разговору с читателем на общие, всех волнующие темы (“От сердца к сердцу”). Отсюда зачастую – формулировочность, учительность, витийст-во, умозрение и, в лучших вещах, не холодное, не равнодушное, но стра-стное. Отсюда – разговорность (или песенность), “произносительная” (или доказующая) установка. Обращённость, открытость... Вера, что слово мо-жет многое. Стихи были нередко на той черте, где “дышат почва и судьба” и где “кончается искусство”. Но это именно та черта, где искусство и начи-нается! Сейчас заметно определённое отталкивание от этой активной тен-денции, разочарование в ней. В поэзии усилились реминисцентные моти-вы, светящие отражённым светом. Кажется, многие сегодняшние стихи – это словно бы сон, хороший сон, где всплывают воспоминания о том, что были когда-то Кольцов, Некрасов, Фет, Аполлон Григорьев, Блок, Есе-нин... “Ещё не всё потеряно, мой друг...” Естественно предположить, что это “отрицание” сменится “отрицанием отрицания” и кому-то посчастливится найти синтез”.

Ещё более сокрушающе это сожаление прозвучало в ответах Станислава Рассадина, который, впрочем, не пожелал закрывать глаза на окружающую реальность.

“Думаю, не один участник анкеты будет говорить о том, о чём говорят все: уходит пора эстрады в поэзии, приходит обретение традиции. Да, сла-ва богу, приходит. Только радость по поводу того и другого слишком безо-глядна (я не говорю уже о том, что иной раз проклятия эстраде со стороны поэтов так похожи на обиду за собственную непопулярность). Говорить об эстраде только ругательски просто неисторично. Она неминуемо должна бы-ла восторжествовать, ибо долгожданное пробуждение интереса к стихам не могло не обрести крайних форм. Но, помня о её заслугах, надо видеть глу-бокие нарушения в отношениях читателя (слушателя, болельщика) и поэта...

Если искусство – это мышление образами, то искусство критики сейчас многие понимают как мышление списками, поколениями, направлениями, спортивными командами. Традиционалисты гуртом наваливаются на эстрад-ников. Те крепят строй, спешно забывая междуусобицы...

Реальный, к счастью, далеко не выдуманный поворот поэтов к зрелости, к мудрости, к традиции (страшно произносить эти слова, так костенеют они на глазах, превращаясь в штампы) может быть опошлен, если мы не пой-мём, что овладение традицией – мучительный труд и душевная склонность; ни нахрапом, ни по заказу к ней не придёшь...

Когда приходит зрелость, резче проступает не общность тенденций, а различие индивидуальностей. Надеюсь, семидесятые годы заставят нас окончательно покончить с гуртовым духом. А жду я больше всего от тех по-этов, которых люблю и сегодня: от Твардовского, Кулиева, Коржавина, Лип-кина, Самойлова, Чухонцева...”

Своего возмущения изменившимся временем и, соответственно с ним, положением дел в поэзии не скрывал Евгений Сидоров. Читаешь – и ви-дишь, до какой степени возмущала его “наивная жажда Тютчева, Пушкина, Фета, которая сделалась почти повальной и очень шумной, вместо того что-бы быть естественным и нормальным состоянием профессионального рус-ского литератора, делающего свои стихи. А пока – поспешные, похожие

клятвы родным небесам и нивам, холодные слепки с Боратынского и Есенина, неприязнь “формотворчества” и обилие поучающих критических статей, принадлежащих перу поэтов...” Лукавство критика бросалось в глаза — он явно не хотел различать “наивную жажду, сделавшуюся повальной и очень шумной”, и вдумчивую, несуетную работу поэтов, опиравшихся на пушкинскую традицию. Невозможно было закрыть глаза на то, как всё больше приковывает внимание читателя и критики лирика Владимира Соколова — так понадобилось внести ответствующие оговорки: “Лирика Соколова (о которой сегодня пишут больше, чем говорят) совпала с настроением некоторой усталости от поэтических поз и манифестов и была подобна глотку воды, на миг освежившему пересохшие губы. Должен ещё раз подчеркнуть, что это совпадение не обязательно свидетельствует о величине таланта. Здесь фиксируется лишь честная цельность художника, верность своей природе, что само по себе есть высочайшее нравственное достоинство, но ещё не отличает поэта от читателя”.

И тут же, рядом, словно в ответ — слова Дмитрия Старикова: “На мой взгляд и вкус, одно из значительнейших и плодотворнейших направлений развития современной русской лирики связано с настойчивым и целеустремлённым возобновлением классических традиций XIX века... Мне кажется, с особой силой это её качество стало ощущаться и культивироваться именно в последнем десятилетии. Недаром на самом его пороге, в 1960 году, у Владимира Соколова написалось прекрасное, хрестоматийное в лучшем смысле этого слова стихотворение “Всё, как в добром старинном романе...”, которое сегодня перечитывается, без преувеличения, как своеобразный манифест целой плеяды молодых талантов, разными путями и по-разному пришедших ныне со своим поэтическим даром к подножию “позабытого людьми Аполлона”... Думаю, достаточно назвать для примера, кроме книг Владимира Соколова, ещё хотя бы стихи и статьи Анатолия Передреева и Станислава Куняева, поэтов уже вполне сложившегося в эти годы характера и стиля, чтобы оценить значение для будущего русского стиха этой всё более мощной тяги к “прозрачным размерам, обычным словам”. Они ли, другие ли вслед за ними выйдутся в грядущем во “властители дум”, никто не предскажет, но, по-моему, уже многие знают, что избранный ими путь — самый трудный и самый верный...”

И по-своему совершенно утрированный взгляд на изменившуюся ситуацию явил Виктор Чалмаев: “А. Яшин, Н. Рубцов, Н. Тряпкин, Дм. Ковалёв и другие стали открывать в 60-е годы пространство нравственной жизни, мир совести, человеческого достоинства, опираясь, как правило, на природу, заново открытый мир “простой” деревни. У них часто ещё нет музыки, но есть молчание, тишина как почва её, нет шума, нет самодовольства банальностями. Слово “засветилось, заиграло скромным, но живым светом. Дар естественности всегда стоял первым в ряду секретов поэзии... И безумцев, которые способны будут навевать и разгадывать эти золотые сны, возвращать вкус чуда, представление об ином, не механическом существовании человека, будет всё больше. Сначала они будут казаться жидкими... Затем... Но это уже плановость, а ведь пламя нельзя взвесить...”

Итог этого анкетирования подводил Кожинов. Прежде всего, он отметил одну “настораживающую деталь” — практически все участники опроса отказались делать прогнозы на будущее. “В нескольких ответах отрицается и возможность определять художественную ценность сегодняшней поэзии, ибо, мол, для этого потребно время...”

Да, определить ценность поэтического явления — значит, прежде всего, предвидеть его судьбу, уяснить его способность к долгой и славной жизни во времени...” И далее он привёл в пример всеми и всюду поминаемого Белинского, который “был более всего горд и удовлетворён тем, что он по первым же произведениям смог предвидеть величие творческой судьбы Гоголя и Лермонтова и грядущую роль “натуральной школы” и отдельных её представителей.

Собственно говоря, без предвидения (пусть и в небольшой мере) критика вообще не мыслима. И те самые критики, которые с порога его отрицают, в действительности дают свои предсказания — уже хотя бы в простом перечислении имён наиболее ценных ими поэтов...

Рассуждения о времени, которое, мол, всех поставит на свои места, — это только бездумная оговорка. Никакого абстрактного времени в общественной

жизни нет. Время — это делящаяся деятельность людей. В данном случае — деятельность критиков и литературоведов, которые и должны обоснованно определить ценность каждого явления поэзии. . . ”

Тогда (я хочу это специально подчеркнуть) Кожингов говорил именно так и сам совершенно не страшился называть имена современных поэтов, творчество которых — он был в этом уверен и почти не ошибался — станет достоянием истории литературы. . . Также он отверг крайние мнения Лесневского и Сидорова, с одной стороны, и Чалмаева — с другой (“трудно, скажем, согласиться с В. Чалмаевым, когда он усматривает единственное “спасение” в поэзии, связанной с деревенской тематикой, противопоставляя её всему остальному”), вступил в содержательный спор с Ланщиковым и особое внимание уделил одному симптоматичному факту:

“Да, сейчас вообще нет молодых поэтов, и можно подумать, что нынешние мальчики вывернули для себя наизнанку выразительную формулу, данную Александром Межировым:

*До тридцати почётно быть поэтом,
И срам кромешний после тридцати.*

У нас есть прекрасные поэты “среднего” поколения — или, точнее, двух средних поколений (“военного” и “послевоенного”), — на которых я возлагаю большие надежды, но продолжателей что-то не видно и не слышно. Вероятно, именно поэтому до сих пор сомнительно величают “молодыми” таких давно сложившихся поэтов, как Г. Горбовский, С. Куняев, А. Передреев, Н. Рубцов, О. Чухонцев. Никто не сменил на эстраде и модных стихотворцев, беллетристов стиха, — и они тоже так и остались в той или иной мере “молодыми” (хотя дело и близится к сорока. . .). Мы часто восхищаемся умением сохранять молодость. Но у этого превосходного качества есть и обратная сторона. И отсутствие младшего поколения едва ли полезно для наших поэтов среднего поколения. Но это уже особый вопрос. . . ” В связи с возрастом он обратил внимание на поздние поэтические дебюты как в 1850-е годы, так и в самом начале XX века. И отдельное внимание обратил на то, что возврат к традиции “начался в творчестве больших поэтов ещё лет тридцать назад. “Так, Заболоцкий и Пастернак, проделав сложный путь развития, органически пришли к классической ясности и гармонии. Редко кто задумывается над тем, что тот же путь по-своему совершил и такой поэт, как Твардовский. . . И задача сейчас состоит не в том, чтобы осознать уже совершившийся всеобщий поворот к традиции, но в том, чтобы понять всю сложность и трудность этого пути. Ведь для многих, к сожалению, классический стиль — это своего рода ступенька эскалатора, утвердившись на которой они рассчитывают легко подняться к вершинам поэзии. . . Но, может быть, именно потому яснее проступили художественные слабости и создалось то впечатление спада, которое выразили многие участники нашей анкеты. Именно потому, быть может, не появляются на сцене молодые поэты. Ведь редакции, как и раньше, завалены стихами — в том числе и самых юных авторов, но ныне это в подавляющем большинстве стихи классического склада, стихи, в которых обнажённо выступают и фальшь, и отсутствие самобытности, и смысловая пустота. . . Между тем, у ряда представителей предшествующего поколения внутренняя безликость и поверхностность мысли прикрывались оригинальной ритмикой, “невиданными” способами выбора и сочетания слов, новаторской рифмовкой и т. п. ”.

“.. Участники анкеты, очевидно, правы, — завершал Кожингов свой разговор, — когда утверждают, что наша поэзия переживает принципиально переходный период. В этом есть и слабость, и сила. Слабость — в неустойчивости, колебаниях, самоиронии, которые свойственны сейчас многим поэтам.

Но в самой “переходности” сегодняшнего этапа таится, на мой взгляд, залог нового творческого взлёта нашей поэзии. Я многого жду от сверстников и Ярослава Смелякова, и Александра Межирова, и Владимира Соколова, и Анатолия Передреева, и, конечно, от неведомых ещё поэтов молодого поколения, которое рано или поздно скажет своё слово”.

Очевидно, что даже критики — ревнители “прямого воздействия” на слушателя (за исключением Евгения Сидорова) — не назвали ни одного из гремевших и продолжавших греметь на сценах стихотворцев среди тех, на кого возлагаются какие-либо надежды в грядущем.

И вот на секции поэзии состоялось обсуждение сборника. При этом подавляющее большинство выступавших высказывались именно об этой анкете. Начал Михаил Луконин с негодующего вступления по поводу поэзии, опубликованной в альманахе:

— Много слабых стихов. Удивительно старомодно выглядят стихи Голубкова, Говорова — что-то в этом есть прянично-резное, деревенское: вроде бы красиво, да уж больно тоскливо... Вообще многих потянуло на травку, может быть, это реакция на электронику?... Дурная манера — употреблять имя Бога всуе... Сергей Поделков. Откуда это? “Из “Чтеца-декламатора” прошлого века?!.. Что же вы помалкиваете на этот счёт, наши друзья — критики современной поэзии?..

Продолжил Зиновий Паперный:

— Вот критическая анкета. Я знаю, что организаторы не преследовали... определённой цели — взять и сколотить определённую группу... Но... впечатление очень странной односторонности. Аннинский говорит о Евтушенко: “Лёгкие элементы проходят. Побаловались и прошли. Недолговечный материал. Эстрада. Лёгкая кавалерия”... Ланщиков сравнивает эту поэзию с лампочкой, которая ярко вспыхивает для того, чтобы погаснуть... Создаётся впечатление, что валяются на прилавках книжки Евтушенко, их никто не берёт. Я пошёл на вечер Евтушенко — я думал, что будет пустой зал... Почему мы начинаем говорить об эстраде, как о чём-то опереточном? Непрерывно мы читаем статьи о традициях: реальные традиции, возрождение традиций. Вот, например, статья нашего уважаемого критика Кожинова, который подводит итог... Он талантливый человек, знающий. Но что у него получается? Он говорит: “Сейчас подавляющее большинство наших поэтов пишут в классическом стиле”. Что значит “подавляющее большинство”? А если останется один Вознесенский, который не будет писать в классическом стиле, что это решает? Давайте, мол, проголосуем за силлабо-тонический стих! И что же?

Товарищи! Если говорить о Пушкине, то Пушкин рождался как традиция? Разве это не был взрыв традиции? Если мы будем говорить, что “Не жалею, не зову, не плачу...” — это русский традиционный стих, а “Разворачивайтесь в марше!...” — это от лукавого, то мы сами себя будем обкрадывать... Этой анкетой мы уже даём какой-то тревожный сигнал, что хотим выстроить широкое богатство нашей поэзии в определённом плане. В мизерном плане...

Мне очень нравится талант Передреева. Когда я прочитал первую его книжку, это была большая радость. Совершенно законно говорят о Передрееве, о Рубцове. Когда я читал книжку “Звезда полей”, она гостеприимно распахнула свои страницы.

Но как горестно читать статьи Передреева о Пастернаке и потом о Вознесенском. Не потому, что я люблю Вознесенского, а он его не любит. Но как ставится вопрос! Надо благоговейно соблюдать традицию и грамматику, а всякая вольность — это уже просто ЧП...

Анкета “Дня поэзии” — это материал для очень печальных и очень тревожных размышлений...

— Кого же читают? — задала сакраментальный вопрос ныне совершенно забытая поэтесса — в своё время неистовая коммунистическая активистка — Екатерина Шевелёва. — Больше всего Олега Чухонцева и Анатолия Передреева. Я ничего не имею против этих поэтов, но как же списать со счетов всех работающих поэтов! Олега Чухонцева называют все... Но тогда дайте хоть одно стихотворение Чухонцева. Чухонцев! Чухонцев! Чухонцев! Так хоть процитируйте — что пишет человек!

(Кое-кто из присутствующих мог просто пожать плечами. Книги у Чухонцева ещё не было — редакторы сшибались с внутренними рецензентами, и, в конце концов, поэт получал отказ за отказом. Но уже опубликованные стихи в журналах читали все, интересующиеся поэзией, и, естественно, видели в Чухонцеве сложившегося зрелого художника.)

Сбивчиво, косноязычно и тем более агрессивно выступил Наум Коржавин:

— Удивили меня не стихи, а отдел критики... Это ощущение замаскированной безграмотности. Как бы они ни драпировались под Пушкина — это безграмотность. Призывы “Назад к Пушкину!” подаются как что-то новое для нашего времени. Я написал об этом статью ещё в 1961 году, очень подробную, и Кожинов, например, хотел с ней спорить... Не поймите меня так, что

я отстаиваю право первородства, но неправильно, когда тоном открытия говорится о вещах, о которых недавно по этому же поводу писали.

...Что такое пушкинское начало? Это вовсе не отвернуться от всех сложностей жизни и, глядя себе в пуп, обрести античную гармонию. А это борьба за гармонию...

(Нужно уметь передёргивать! Как будто Ланщиков, Кожин и другие призывали “отвернуться от сложностей жизни” и “глядеть себе в пуп!” — С. К.)

Уж не врите хотя бы: “Мы победили Вознесенского”, “Мы победили Евтушенко”, — напряжение в голосе Коржавина всё возрастало, казалось, он находится на грани истерики. — ...Да не победили его! Вот будет вечер — и опять будет конная милиция. И даже физически если уничтожите, тоже не победите. Нет здесь выхода, смириться надо!

Я не поклонник Евтушенко — я прямо говорю, что его многие читают, любят, у него есть положительные вещи, есть вещи, которые меня раздражают, но прежде всего — он талантлив, с этим ничего не сделаешь...

(Кожин внимательно слушал. Это “талантлив” как предьявленная индульгенция на все творческие свершения станет потом предметом его тщательных размышлений, когда он докажет, что талант (то есть способность к писанию стихов) ещё не делает стихотворца поэтом. — С. К.)

Поэтому я считаю наступление отбитым... даже если ему суждены организационные успехи. А Евтушенко они не победят, и Твардовского не победят (кто именно собрался “побеждать” Твардовского как поэта? — С. К.)... И, кстати, это всё неправда, что в 30-е годы было больше поэтов... И поколения этого не было, о котором вы говорите. К какому поколению принадлежит Самойлов?? Он ведь после Евтушенко появился. И я после Евтушенко появился. Хотите изучать историю — изучайте, как она есть...

(Коржавин имел в виду широкие публикации. Они, действительно, появились и у Самойлова, и у него после первых успехов Евтушенко. Но суть дела была не в этом, а в том, когда были написаны стихи, напечатанные уже в другом историческом периоде. — С. К.)

Ведь модернизм — это вещь серьёзная. Меня многое не устраивает из тех заблуждений, когда набрасываются на Лифшица и считают его сволочью за его статью “Почему я не модернист?”, а на Томаса Манна никто не набрасывается, хотя он написал “Доктора Фаустуса” — вещь явно модернистскую...

Выслушав эту сбивчивую, нервную речь, выступил Кожин. Его, в первую очередь, попросту возмутили намёки на некую “тенденциозность” в составлении анкеты и на поэтическую “групповщину”.

— Здесь, по-моему, происходит какое-то недоразумение... Я занимался составлением критического отдела “Дня поэзии” и не собирался говорить по существу тех выступлений, которые мы здесь слышали, хотя бы потому, что мне даже неловко, я не ожидал такого успеха. По-моему, никогда ещё критический отдел “Дня поэзии” не вызывал таких страстей, такого интереса...

Я жалею, что не высказался сразу после Зиновия Самуиловича Паперного... Как ни странно, он позволил себе такой выпад, и во всех выступлениях в подтексте это поддерживалось — выдвинул презумпцию виновности. Получилось, что эта анкета составлена тенденциозно. Это совершенно не так... Более чем 400 критикам, пишущим о поэзии, были разосланы анкеты с покорнейшей просьбой выступить... В конечном счёте, на анкету ответили 18 человек.

Вся анкета была составлена совершенно стихийно. Участвовали в ней все, кто захотел ответить. Раз это получилось стихийно, то это не могло получиться тенденциозно.

Паперный говорит, что все выступают за традицию. 6 человек из 14 действительно выступают за традиционный стих, а из остальных 8-ми четверо резко против традиционности. А четверо выступают и так, и сяк.

Что касается групповщины, то в анкете выступили четыре человека, в каком-то смысле нейтральные... а Лазарев — это присяжный критик “Вопросов литературы”, Идашкин — “Октября”, Рассадин — “Нового мира”, Лесневский и Сидоров — критики “Юности”, Ланщиков — “Москвы”, Стариков — “Знамени”... Представлены все московские журналы. Естественно, что эти люди писали в том духе, как они пишут вообще. Мне странны эти ужасы, о которых кричал Коржавин.

Екатерину Шевелёву возмутило, что часто повторяется имя Чухонцева. Я бы сказал, что нам повезло... Все говорили, что Чухонцев большой поэт.

Кроме того, это поэт, который печатается с 1958 года, у которого есть превосходные стихи, а книжки нет. Поэтому грех старшим товарищам возмущаться, что повторяют его имя...

Говорят, там уничтожают Евтушенко и Вознесенского. А Сидоров провозглашает Евтушенко главным поэтом эпохи. Лесневский с горечью говорит, что кончилась эстрада.

Вы говорите, что в сборнике нет Твардовского. А разве в других сборниках есть его стихи? Может быть, вы имеете в виду зарубежные издания?..

Все присутствующие, конечно, поняли, что речь идёт о поэме "По праву памяти". И тут взял слово Евтушенко.

Для начала он возмутился заключительной жиновской фразой: "Если я понял Вашу реплику, которую вы сказали насчёт зарубежных изданий, то, по моему, это было очень некрасиво". Потом высказался насчёт анкеты: "Не нужно, нехорошо некоторые административные меры принимать за психологические сдвиги в сознании наших читателей", — явно намекая на своё временное отстранение от публичных выступлений. И, наконец, взялся за Передреева:

— Относительно Передреева хотел бы сказать следующее. Я его статьи считаю талантливыми, это очень любопытно написанные статьи, и мне очень интересно их читать, интересно следить за его мыслью, за его логикой. Неправление это мне абсолютно чуждо, но статьи талантливые, и я считаю их интересными как предмет дискуссии. Я помню его хорошие стихи, которые я впервые когда-то услышал, и книжка его была обещающей. Не то чтобы уж такое грандиозное это было обещание, но обещание всё-таки...

Жаль, что Евтушенко не додержал до конца эту объективную ноту, а сбился сразу же на обычное склочничество:

— Сейчас его друзья и почитатели, мне представляется, делают ему дурную услугу. Вы создаёте вокруг него ажиотаж, вы окружаете его ореолом (Кто бы говорил об ажиотаже и ореоле! — **С. К.**). А он необыкновенно мало ещё написал.

И дальше Евтушенко начал разбирать одно из лучших стихотворений Передреева "Дорога в Шемаху". Разбирал так же, как реагировал на стихи Фета, Ходасевича и Бунина: "Пустые эпитеты, это было и перебыло... Ни одного поэтического эпитета... Тут всё качается... Уже не прощупывается как настоящая поэзия... Плохо... "Музыка речи" — это уж совсем плохо...

Берёшь статьи — общее ощущение такое, что вы боретесь (опять всё та же передержка. Евтушенко не мог не питать себя ощущением, что кругом — "враги", которых он должен "победить". — **С. К.**) с каким это эстрадным вторжением в жизнь. Но я иногда в этом усматриваю неназываемую, но всё-таки проводимую борьбу (опять! — **С. К.**) против активной позиции...

Куда мы денем Маяковского? Что, Маяковский — созерцание и тишина, словно очерченная плывущим звоном колоколов?..

Он всю жизнь ссылаясь на Маяковского, как бы оправдывая его поэтическим существованием своё поэтическое существование. Едва ли подобную позицию можно было охарактеризовать иначе, чем иждивенчество.

... История этой анкеты, эта дискуссия придала Жинову новые импульсы в работе над книгой "Как пишут стихи".

(Продолжение следует)

ВЯЧЕСЛАВ ЩЕПОТКИН



ЛЮДИ НА ДОРОГЕ ЖИЗНИ

Свидетельские показания соучастника

*Разберёмся во всём, что видели,
Что случилось, что стало в стране.
И простим, где нас горько обидели
По чужой и по нашей вине.*

Сергей Есенин

Осенью 1986 года, после шести лет работы в Казахстане корреспондентом “Известий” меня перевели в Москву. Я стал заместителем редактора газеты “Известия” по отделу Советов.

Сказать, что я очень сильно рвался сюда, не могу. Ну, перевели и перевели, хорошо. Правда, были два обстоятельства, которые радовали. Во-первых, я оказывался вместе со всей своей охотничье-рыбацкой компанией, и не надо было теперь придумывать нам, как меня вызвать из Казахстана на охоту или на рыбалку. И во-вторых, давняя мечта, давний замысел – занять дом в деревне с землёй. Все это потом реализовывалось.

Но сначала я хотел бы рассказать о подступах к журналистике и о первых шагах в ней.

Глава 1 Зигзаги судьбы

Дневную школу я оставил после 7-го класса. Мой товарищ, который учился в механическом техникуме, уговорил пойти туда. “Будешь знать всё – от часов... (в этот момент мимо нас, пыля, проехал грузовик) и до машины”. Учёба в новом заведении мне очень не понравилась. Мать, уходя на работу,

ЩЕПОТКИН Вячеслав Иванович род. в 1938 году в г. Сталинграде (ныне Волгоград). Наш постоянный автор. В разные годы в журнале публиковались роман “Крик совы перед концом сезона” (о разрушении Советского Союза), повести “Холера”, “Слуга закона Вдовин” и другие, а так же целый ряд рассказов.

думала, что я следом поеду в техникум. Но я, доехав до него, проходил мимо и шёл к обрывистому берегу Волги. Там были заросли кустарника, засохший бурьян с прогалинами, где жировали певчие птички: чижи, щеглы, вьюрки. Я ловил их сеткой, сажал в клетку и возвращался домой. Вскоре матери и бабушке стало ясно, что я не учусь, а балбесничаю.

С подачи другого товарища, Шурея, я поступил на металлургический завод “Красный Октябрь”. Работа в цехе металлургических печей временами была очень тяжёлой и нудной. Я смотрел на своих старших товарищей и думал: неужели мне всю жизнь придётся так же в валенках, подшитых резиной от автомобильных шин, разгребать ещё не остывшую обрушенную мартеновскую печь, спускаться глубоко под землю, чтобы загрузить большую бадью спёкшимися кирпичами?

Я пришёл в вечернюю школу. Сказал про техникум. По моему страстному виду поняли, что я очень хочу учиться. Приняли в 9-й класс с испытанием. Я его закончил почти на одни пятёрки. С 10-м было проще.

После вечерней школы в Сталинграде я трижды отправлялся поступать в вузы. И всё – в Ленинград. И всё – на крыльях своих увлечений. Сначала – ядерной физикой. Потом – астрономией. Но крыльям не хватало знаний, и я, понуро-заносчивый, возвращался домой.

Родня ворчала: всё какие-то ему “ниверситеты” нужны, вон в Сталинграде какие институты – пед, мед, сельхоз, горхоз (институт инженеров городского хозяйства). Но меня тянуло к другому.

На третий год я снова поехал в Ленинград, в университет. Теперь уже на отделение журналистики филологического факультета. Теперь я знал, куда надо мне идти обязательно.

Писать я начал уже несколько лет назад. Ну, как писать? Сочинять стихи всякие, сопливые какие-то, на мой взгляд, не очень хорошие. И хотя однажды в сталинградском литобъединении при газете “Молодой ленинец” местный поэт Юрий Окунев, руководитель этого объединения, публично сказал обо мне настолько высокие слова, что я и сейчас их не решаюсь повторить, тем не менее то, что я делал, было, на мой взгляд, так себе. Хотя очень тянуло. И даже что-то было напечатано в “Молодом ленинце”.

Но почему я решил пойти на журналистику? После второго провала я поехал в геологическую экспедицию. Мы должны были искать так называемый инертный материал, то есть песок. И искать бурением вручную. Это когда над землёй выстраивается деревянный помост, через него пропускается труба, на конце которой привинчивается труба большего диаметра, так называемая желонка. Внизу у неё язык. И когда люди ударяют трубой в землю, земля или что там находится захватывается языком, и с трубой поднимают это наверх. Нас было четверо: по два человека с каждой стороны.

Сначала всё шло легко. Но чем глубже, тем труднее было поднимать эту трубу, труднее было отрывать её от той глубинной сути. А там пошла глина. И мы поднимали так, что трещали хребты.

Однажды начальство заставило нас работать в воскресенье. Я возмутился и уговорил ребят не выходить. Мы не вышли. А один штрейкбрехер вышел. Ну, мы его слегка поколотили. Он пошёл жаловаться в милицию. А мне уже надоедало быть здесь: работа неинтересная, да и жизнь даже мне, неизбалованному, была диковатой. Нас разделили по двое на квартиры к старухе-матери и её дочери лет сорока пяти. Мать кормила ребят более-менее прилично, а наша хозяйка варила нам макаронны с солёной килькой из банок. Я сел на товарный поезд и поехал в Ленинград. А располагалась наша экспедиция в Мгинском районе Ленинградской области. Город Мга, районный центр, я называл “Мгла”, потому что в районе, где мы работали (станция Малукса), не было даже электричества. Я сел на остановившийся ненадолго товарняк и поехал в Ленинград. И вот тут произошло то, что потом меня привело к третьему поступлению в университет. Состав нёсся среди зелёных лесов, густых зелёных лесов. До площадки, где я стоял, долетал дым паровоза. Налетали леса. И меня так стало распирать желание рассказать о всех своих чувствах людям, о красоте лесов, о горьковатом, но волнующем запахе дыма, о тонко-голубом небе, которое, будто прозрачная крыша, накрывало этот зелёный тоннель, – словом, обо всем, что во мне кипело. Домой я приехал с ещё бóльшим, чем раньше, желанием писать. Так я поступил на отделение журналистики, которое вскоре стало факультетом.

О хлебе насущном и хлебе познаний

В университет я пришёл со знаниями весьма скудными. Да и какие они могли быть у парня, который с 16 лет начал работать сначала на металлургическом заводе “Красный Октябрь”, а затем монтажником в тресте “Продмонтаж”, который и школу-то заканчивал рабочей молодёжи. Семья была самая простая: бабушка и мать, работавшая гардеробщицей в небольшом кафе. С отцом они разошлись в моём раннем возрасте. Говорят, по вине бабки, о чём я вскользь написал в повести “Разговор по душам с товарищем Сталиным”. Домашней библиотеки, конечно, не было, так — несколько книг. Но читать я любил. Нравились Чехов, Джек Лондон, О’Генри. В 56-м году отец подарил большой сборник стихов Есенина, которые сильно потрясли меня. Остальные познания были скудны.

Не сказать, что все мои новые товарищи в университете сильно отличались от меня. Нас на курсе было человек тридцать: чуть больше половины — в английской группе, остальные — в нашей немецкой. Большинство — также из простых семей. Правда, некоторые тем не менее были пообразованнее меня. И уж слишком выделялись человека два-три. Особенно один парень, старше большинства из нас, я так думаю, из какой-нибудь профессорской семьи. Он был тем, кого называют “рафинированный интеллигент”. Худощавое бледное лицо, не знающее загара, длинные тонкие пальцы пианиста, внимательные и почему-то часто грустные светлые глаза. Звали его Женя, а вот фамилию, к сожалению, забыл. От него я впервые услышал фамилии писателей Средневековья, он негромко, но интересно рассказывал о жизни и творчестве Александра Дюма, Мопассана, некоторых других зарубежных классиков. Но главное давалось на лекциях и в книгах. В моих познаниях зияли пустоты. Однако я, как губка, впитывал всё больший и больший объём сведений. Почти всё было интересно. Даже незнакомый мне раньше предмет о древнерусской литературе с её былинами и летописями — их вдохновенно по памяти читал старичок-профессор, который, казалось мне, сам когда-то, ещё молодым, сидел в келье рядом с древним летописцем. Также без труда впитывался памятью “старославянский” язык. Его преподавал симпатичный молодой человек в строгом костюме-тройке, с тихим голосом, называвший чудные буквы “юс малый”, “юс большой” и образуемые странными буквами непонятные современному слушателю слова. Одну из витиеватых букв я громко назвал “глист в обмороке”, заслужив укоризненный взгляд фанатичного преподавателя. Изучение этого языка помогло мне впоследствии довольно легко читать надписи на иконах и даже тексты старинных книг, одну из которых я нашёл через несколько лет в Кандалакше, в разрушенной избе на берегу Белого моря. Как голодный человек набрасывается на хлеб насущный, так и я накидывался на новые предметы, содержащие хлеб познаний. Не известные мне ранее имена писателей и драматургов, от Древнего мира до Средневековья, произведения западной литературы минувших столетий и современности, работы классиков философии, книги по логике и психологии, особенно русская литература, — всё это наполняло сознание и открывало глаза в ранее неведомое. Помню, много раз приходил я в ленинградскую публичную библиотеку имени Салтыкова-Щедрина, раскрывал под зелёным абажуром настольной лампы толстенную книгу с интригующим названием: “Физиогномика”. В советское время она не выходила — считалась реакционной. Была дореволюционного издания. Что-то в ней казалось надуманным и смешным. Например, “Черты лица дворника”. Или “Лицо казнокрада”. Однако многое было интересным. Начитавшись про облики разных людей, я уже в курилке библиотеки пытался понять, у кого какой характер, как отпечаталась на лице жизнь и кто есть кто. В дальнейшем, надо сказать, хлеб познаний из книги “Физиогномика” не раз давал пищу уму и помогал в жизни.

Правда, добывание хлеба насущного держало всё время эту жизнь в тонусе. Бывали дни, когда едой являлись только бесплатная капуста и такой же хлеб да стакан горячего чая в студенческой столовой “Академичке”. Тощая стипендия разлеталась мгновенно, а помощь из дома была очень скромной. Мать, как я уже говорил, работала гардеробщицей в небольшом кафе, зарплату имела маленькую. Что она могла прислать? Иногда подбрасывал денег отец, но тоже немного: зарплата небольшая, а семья — несколько человек. Как говорится: спасение голодающих — дело рук самих голодающих. Многие

из нас, живущих в общежитии, работали по ночам. Я, например, одно время на заводе штамповал пластмассовые корпуса для электробритв “Нева”. Потом был сторожем в автобусном парке на Васильевском острове, который обрзовали на месте какого-то снесённого поселения. Заступал вечером и дежурил до утра. Работал через день. Сторожкой был оставшийся от селения домик об одну комнату. Автопарк был большой. К вечеру машины заполняли территорию. Я ходил между ними и слушал, как “отдыхают” отработавшие день автобусы. Они то поскрипывали, то как будто вздыхали, то с тихим шорохом осаживались на колёсах. Иногда ко мне в сторожку заходили шофёры. “Парень, дай посидеть с кондукторшей”. Я понимал, в чём дело, и уходил в расположенный неподалёку длинный дощатый склад. Двери его не закрывались. Видимо, то, что находилось внутри, не считалось ценностью. А там лежала гора дореволюционных газет, журналов “Нива” за 1913 год. Я садился на эту кучу и забывал обо всём, листая журналы, пока в сарай не заглядывал шофёр: “Спасибо, парень. Мы там тебе кое-что оставили”.

Однажды вчетвером подрядились разгружать большой пульмановский вагон с цементом. Цемент был не в мешках, а насыпан через люк вверху. Машина встала вплотную к вагону, мы приоткрыли его двери и начали лопатами выгружать цемент. Постепенно входили в вагон, выбирая сначала середину насыпанного, затем расходясь направо и влево. Это был ад. Цементная пыль туманом стояла в вагоне, раздувалась, когда лопатами бросали в кузов машины. Вдобавок ко всему цемент, оказалось, засыпали горячим, и в глубинах вагона было видно, что он раскалённо-красный. Начали мы днём, а закончили ночью. Получили деньги и, пропылённые снаружи и внутри, пошли в общежитие. Долго отмывались, неделю отхаркивались. Я написал рассказ с несколько возвышенным названием “Может, будут они великими”. Об этом адовом труде, о той радости, с какой получили небольшие деньги. Закончил словами: “Ну, теперь наедемся”. Послал в журнал “Юность”. Оттуда пришло письмо: “Рассказ берём. Только переделайте концовку. Ребята работали, чтобы купить апельсины и отнести их знакомой студентке в больницу”. Я плюнул. “Тебя бы туда”, – подумал об авторе письма. Ничего переделывать не стал. Так и потерялся где-то этот рассказ.

Постепенно пробовал зарабатывать деньги как журналист. Некоторое время писал в журнал для слепых. Однажды руководитель нашей немецкой группы Николай Петрович Емельянов – мускулистый телом и лицом, с крупным острым носом, весёлыми глазами и редковолосьем на голове – сказал мне, что какая-то газета с Севера просит дать репортаж об очередном меховом аукционе, который должен проходить в Ленинграде. Почему он выбрал меня, не знаю. Может, потому, что я добровольно съездил на практику в Мурманск, что пытался уже пробовать себя в журналистике. Репортаж должен быть короткий, ибо отправлять его надо по телеграфу за свои деньги. Вот уж где я учился сокращать самого себя.

“Наш дорогой и любимый Никита Сергеевич...”

Мы довольно быстро выросли не только в смысле образованности, но и политически. Атмосфера в стране после развенчания Хрущёвым культа личности Сталина поначалу задышала свободой и раскованностью. Появилась новая архитектура, символизирующая открытость, – кафе с большими окнами от потолка до пола, где люди сидели, как в аквариумах, дома без так называемых “архитектурных излишеств” сталинской эпохи, переполненные залы слушателей поэзии новых молодых авторов: Евтушенко, Вознесенского, Рождественского... Но Хрущёва сразу после его “воцарения” очень многие в стране воспринимали критически. Мой отец и приезжающие к нему в гости его боевые товарищи по Волховскому фронту называли Хрущёва негодяем и “кукурузной башкой”. Это из-за развенчания Сталина. А из-за того, что Хрущёв отнял у народа облигации займов, его кляли устно и графически. Я сам видел на стенах заводских туалетов, когда работал на “Красном Октябре”, такие рисунки: пузатый Хрущёв в шляпе бежит с мешком за спиной в заросли кукурузы. А из мешка торчат облигации займов.

Газеты, журналы и телевидение прославляли Хрущёва, его всё новые абсурдные решения вроде ликвидации личных подсобных хозяйств, вырубки садов, образования Совнархозов, создания в одной области двух обкомов

партии: по промышленности и по сельскому хозяйству. Без умолку трещали о росте благосостояния народа, однако в действительности происходило иначе. Работая на практике в республиканской газете “Советская Мордовия”, мы с местными писателями угощали друг друга не папиросами и сигаретами, а махоркой: другого курева не было. Вернувшись в Ленинград, я узнал, что в магазинах начались перебои с хлебом, что рабочие на заводах роптали по этому поводу. Как ни глушили старательно сведения о расстреле рабочей демонстрации в Новочеркасске в 1962 году, слухи об этом расползались.

Мы, студенты, не оставались в стороне от того, что происходило повсюду. На наших товарищеских посиделках я активно возмущался шараханиями лидера партии из одной крайности в другую, быстро набирающим силу новым культом личности нового вождя. Газеты запестрели обращениями: “Наш дорогой и любимый Никита Сергеевич!” Началось прославление “Великого десятилетия Хрущёва”.

Однажды куратор группы Николай Петрович дал всем задание написать рецензии на какое-нибудь выбранное произведение. Это было после выхода в конце 62-го года солженицынского рассказа “Один день Ивана Денисовича”. Я выбрал для рецензии именно его и написал, что в репрессиях и создании культа личности Сталина виноваты в том числе те, кто сейчас у власти. Я не помню сути всей рецензии. Зато перед глазами до сих пор крупная, карандашом, двойка и резкая оценка Емельянова, смысл которой: ты ничего не понимаешь в политике; нельзя так необдуманно судить о людях, тем более о руководителях, и т. д. и т. п. Насколько я понимал Николая Петровича, это были не его слова. Кого он спасал? Меня, покусившегося на блеск нового светила? Или себя, не воспитавшего у студента хитрой предосторожности клопа, вылезавшего лишь тогда, когда безопасно?

Я продолжал неободительно высказываться о Хрущёве в кругу своих товарищей и через какое-то время стал чувствовать как бы повышенный интерес к себе. Но не со стороны ребят – там всё было нормально, а от кого-то другого. Например, я однажды узнал, что под эгидой Арктического и Антарктического научно-исследовательского института готовится экспедиция на Северный Ледовитый океан. Съездил в институт. Договорился, что меня возьмут простым рабочим, – интересно было увидеть неведомые места, неизвестный мир. В университете уже собирался взять на год академический отпуск. Участвовал даже в отгрузке ящиков с продуктами, в том числе с моей любимой сгущёнкой. И вдруг мне говорят: не поедешь. В чём дело? Почему? Место ясны – какие-то мутные толкования.

Мне даже стало казаться, что мои письма от родственников вскрываются. То есть информация обо мне уходила куда надо. От кого? Лишь потом мы, сопоставив разные факты и наблюдения, определили “стукача” в нашей группе. Это был простой деревенский парень с какой-то помятой физиономией, с металлической “фиксой” во рту. В комнате общежития ходил в трусах до колен и сбившейся набок мятой майке.

Но однажды я сделал шаг, который не нуждался в информации от “стукача”. 22 ноября 1963 года в США, в Далласе, среди бела дня выстрелом из снайперской винтовки был убит американский президент Джон Кеннеди. Телевидение показывало взрыв негодования американцев, реакцию людей в разных странах, убитую горем его жену Жаклин. Невозможно было спокойно глядеть на эту красоту, для которой, казалось, рухнул весь мир. Я пошёл на почту, взял бланк телеграммы, написал слова соболезнования и отправил послание в Москву, в посольство США. Для передачи Жаклин Кеннеди.

Думаю, этот порыв усилил внимание ко мне определённых структур, что стало проявляться в разных формах.

Однако всё это начало пониматься позднее. Однажды в аудиторию, где шло занятие всего курса, вошла секретарша декана и громко сказала: “Щепоткин! В деканат!”

Я вошёл в кабинет декана. Там, кроме него, сидел какой-то молодой человек лет тридцати. “Вячеслав Иванович?” – “Да”, – подтвердил я. “Меня зовут Сергей Сергеевич. Пройдёмте со мной”.

Мы сели в машину. Она привезла нас на Литейный проспект в Управление КГБ по Ленинграду. Зашли в кабинет. Сергей Сергеевич сел за стол, на стене за спиной – портрет Дзержинского, перед глазами – портрет Хрущёва.

“Вячеслав Иванович, в чём вы не согласны с политикой Коммунистической партии Советского Союза?” Я немного закаменел: если верить хрущёвскому докладу о репрессиях, тянуло на серьёзное обвинение. Тем не менее я взял себя в руки и сказал: “Я не согласен с политикой Первого секретаря Центрального Комитета партии товарища Хрущёва Никиты Сергеевича”. — “А в чём вы не согласны?” Я начал говорить о несоответствии хвалебных пропагандистских материалов реальной жизни, которая становилась всё хуже. Например, в Ярославле, как писал мне мой товарищ, людей стали кормить китовым мясом, а в Ленинграде появились очереди за белым хлебом. О создании нового культа — культа личности Хрущёва. О неумном, на мой взгляд, запрете держать сельским жителям подсобное хозяйство. О мало реальной задаче построить в СССР к 1980 году коммунистическое общество.

Сергей Сергеевич внимательно слушал, иногда что-то переспрашивал. Потом попросил изложить всё это на бумаге. Я написал, не зная, что будет дальше. Меня снова посадили в машину. Повезли. Я почему-то был спокоен. Привезли в университет.

После этой ситуации у меня была ещё одна история, связанная с Хрущёвым. Но уже как с бывшим главой страны. 5 декабря 1964 года, в день Конституции, которая была известна как сталинская, в нашем общежитии произошла драка африканских студентов с нашими ребятами. Негры жестоко избили двоих парней. Одного били до сотрясения мозга, а второго свалили и начали выдавливать глаза. Общежитие забурлило. Возмущение поведением африканских студентов уже давно переливалось через край. Они вели себя вызывающе, нагло. Могли кого-то побить, оскорбить девчат. Некоторых девиц легко покупали за тряпки. Мы собрались в нашей комнате, стали бурно обсуждать события. Я предложил написать письмо в Москву. Согласились. Но куда и кому? Два месяца назад Хрущёва сняли. Я в это время был на практике в Таджикистане, в республиканской газете. И сам видел, с каким рвением и удовольствием снимал со стенки завхоз редакции портрет Хрущёва. Всем уже надоел этот волонтарист. Вместо него Первым секретарём ЦК КПСС стал Леонид Ильич Брежнев. Я предложил написать ему. Ребята поддержали. Я писал о том, что во всех нормальных государствах приезжающие в страну иностранцы неукоснительно соблюдают её законы. Только у нас получается по-другому. Африканские студенты нарушают общественный порядок, хулиганят, даже совершают преступления, но им всё прощают. Это делается якобы в интересах дружбы народов. Мы не хотим иметь таких друзей, для которых законы Советского Союза — ничто. Просим Вас, Леонид Ильич, поручить соответствующим ведомствам и руководителям на местах навести порядок с соблюдением иностранными студентами советских законов.

Ребята письмо одобрили. А кто-то сказал, что завтра в общежитии намечается собрание с обсуждением недавнего происшествия. Мне говорят: “Вот где надо зачитать письмо и собрать подписи. Давай, Слава! Раз уж ты начал, ты и продолжай”.

В нашем общежитии был зал для общих собраний. Я не помню, чтобы там когда-нибудь собирались люди. Но происшествие с избиванием двоих студентов так возбудило университет, что к нам повалили ребята из других общежитий и даже те, кто жил в городе. Помещение было довольно большое. Однако людей собралось так много, что заняты были не только места для сидения, но и проходы, и подоконники. Я вышел на сцену. Поглядел на зал. В первых рядах сидели люди явно нестуденческого возраста. Мне говорили: будут представители Ленинградского обкома комсомола, обкома партии. Мы догадывались, что придут и работники КГБ. Единственно, чего не знали, что придут функционеры из Москвы. Однако приехали: событие оказалось чрезвычайное — впервые, не знаю, за сколько лет вдруг взбудоражилось студенчество. Но представители властей рассчитывали, что погорланит молодёжь, выпустит пар, и всё этим закончится. Однако, видимо, никто, кроме прикрепленных сотрудников КГБ, не знал, что будет ещё письмо. Поэтому, когда я стал его читать, в зале наступила гробовая тишина: такого никто не ожидал.

Я прочитал письмо и сказал: “Кто хочет, может поставить свою подпись”, — и передал текст с прикрепленными чистыми листами стоящим у трибуны ребятам. Пока письмо ходило по рядам, на сцену взбирались один за другим ораторы. Кто-то сказал, что не надо обращаться в Москву, тем более к Первому секретарю ЦК партии. Сами разберёмся у себя в Ленинграде.

Но на него заорали, затопали ногами, и больше уже никто такого не предлагал. Выскакивали на сцену, чтобы прокричать гневные слова о распоясавшихся иностранцах. Наконец, письмо вернулось ко мне на сцену. Я посмотрел на заполненные подписями листы и громко сказал, перекрывая шум зала: “Надо выбрать доверенных людей, чтобы отвезли письмо в Москву. Отправлять почтой нельзя”. “Щепоткина! Щепоткина! — раздались голоса. — Тебя послать!”

Это не входило в мои планы. Впервые в жизни я купил путёвку в дом отдыха — студенческую, самую дешёвую, и должен был через два дня уезжать. А тут предстояло дело, которое неизвестно, чем закончится. “Ходоков” выбрали. Они съездили. Не помню деталей, но, кажется, негры, а они буянили больше всех, притихли.

Такой разный Север

После университета я выбрал небольшой городок на юге Мурманской области — Кандалакшу. Населения немного. Газета маленького формата и выходит всего три раза в неделю. Я думал, времени она у меня не будет много отнимать, а всё остальное — литературе. Ибо я уже начал писать какие-то рассказы, которые порастерял, и находить даже их не хочется.

На Севере я был уже второй раз. Тем более именно в Мурманской области. После выхода в 1962 году фильма “Путь к причалу” я был так поражён и потрясён им, героями, песней, которая там звучала, что в первые же зимние каникулы взял гитару, чемодан и поехал в Мурманск. Нашёл редакцию газеты “Полярная правда”, поднялся в приёмную редактора, представился секретарше. Она говорит: “Ну, сидите. Выйдет Иван Иванович, он будет решать”. Через некоторое время из кабинета с надписью “Редактор” вышел статный, симпатичный человек с абсолютно седыми волосами, но моложавым лицом и приветливым взглядом. Он поглядел на меня, потом на гитару в чехле, на чемодан и спрашивает: “Вы кто?” Я встал и говорю: “Студент-журналист Вячеслав Щепоткин. Приехал на практику”. Редактор газеты Иван Иванович Портнягин, о котором я говорю, с удивлением посмотрел на секретаршу: “А мы разве заказывали на практику кого-то?” Она говорит: “Нет”. — “А я добровольно, Иван Иванович, — отпрапортовал я. — Во время каникул”. Он улыбнулся и говорит: “Ладно, пусть идёт в отдел промышленности, там с ним будут работать”.

Самый крупный из северных городов Мурманск и поразил, и удивил. Там я впервые услышал слово “бич”. И ранними утрами в кафе люди пили шампанское, не лимонад, а шампанское. Там машины шли в тоннелях из снега, ибо брустверы по краям были выше машин. Там солнца, пока находился в Мурманске, я не видел ни разу. Поэтому приезд в Кандалакшу, которая на самом юге области, был как бы продолжением моего северного присутствия.

Мои надежды, что времени газета займёт не много, были поверхностными и, наверное, для другого человека, для другой природы. На первой же “летучке”, когда мне поручили сделать недельный обзор газеты, я начал не с заметок. Я сказал: “Товарищи, давайте поглядим на себя, как мы выглядим. Вот приходят к нам люди, смотрят на нас с уважением. Ведь мы же — элита города. Нас всего семь человек в 60-тысячном городе. А как мы выглядим? Вот Григорий Соломонович Рубинштейн”.

Григорий Соломонович, старый, умный, интересный еврей, с напряжённой улыбкой уставился на меня. Большая голова с редкими остатками волос тоже, казалось, напряглась. Но я продолжал: “Вот Григорий Соломонович. Как он одет? Пиджак какой-то мятый, значок об окончании высшего учебного заведения, так называемый “поплавок”, не вертикально стоит, а горизонтально, мятые брюки, какие-то растоптанные башмаки. Или Пётр Павлович Пюненнен, заведующий отделом писем. В какой-то затрапезной куртяшке. А ведь вы все небедные люди. У вас в шкафах, наверняка, висит по несколько костюмов, отличные рубашки. Мы должны подавать пример людям не только словом, но и внешним видом”.

После этого я перешёл к газете и, конечно, со свойственной мне тогда горячностью потоптался на ней. Да и было там, на чём потоптаться.

На следующий день все пришли одетые, как будто на праздник: хорошие костюмы, рубашки с галстуком, всё выглажено, причёсаны, выбриты. А через несколько дней я созвонился с базой райпотребсоюза и договорился, чтобы

редакции продали только что поступившие туда и вообще только что появившиеся в стране нейлоновые финские рубашки. Нам их продали. Кто-то пошёл ещё и купил обувь. В общем, внешний вид моих коллег изменился.

Но на этом моя спокойная жизнь, казалось бы, оборвалась вообще. Где-то через месяц-полтора в газете появилось объявление, которое я составил, о том, что при газете “Кандалакшский коммунист” начинает работу школа журналистики, все желающие могут приходиться на первое занятие. Народу пришло человек 25, не меньше. Возраст — от 16 до 60 лет. Я начал рассказывать о жанрах, что и как писать. То есть примерно стал повторять то, что нам говорили некоторые наши преподаватели, не работавшие ни дня в газете. Хотя в отличие от них, я в газетах уже поработал. Каждый раз перед каникулами я сдавал досрочно экзамены, договаривался с куратором нашей группы Николаем Петровичем Емельяновым о том, что приеду позднее, и два-два с половиной, а то и три месяца работал в газетах. В Мордовии — в республиканской газете, в Бурятии — в республиканской газете, в Таджикистане — тоже в республиканской газете. Некоторые мои товарищи, как только наступали каникулы, ехали или к родителям повидаться, или, уж самые “уставшие”, в дома отдыха. Меня они с недоумением спрашивали: “Куда тебя, старик, несёт?” Ну, “старикам” было в основном по двадцать с небольшим лет, и потому хотелось солидности. Я отвечал: “Ребята, не ждите, когда из нас сделают журналистов. Мы должны сами делаться ими”. Они уезжали отдыхать, а я — работать в газету. Для дипломной работы тоже поехал в Ростов-на-Дону, в областную газету “Молот”. Кстати, диплом у меня, одного на курсе, был творческий — серия очерков: “Люди вокруг нас”.

К слову сказать, с Ростовом у меня связаны два рассказа и скандальный очерк. У него такая предыстория. Мне поручили написать материал о девушках, которые переехали из небольшого городка работать на село. Было начало весны. Всё таяло, в Ростове уже появились первые привозные мимозы. Но в полях ещё лежал снег. Из городка в хутор меня повёз райкомовский кучер на санях. Я завернулся в тулуп, подставил солнцу лицо и начал представлять себе этих девушек, разговоры с ними.

В хуторе нашёл одну из них. Её звали Галя. С нею обошли остальных троих, договорились, у кого встретимся вечером. А до этого решили зайти в клуб — я хотел посмотреть, как развлекается молодёжь.

В клубе уже играла музыка. В углах стояли девчонки и девушки постарше. Отдельно кучковались парни. Две пары танцевали. Моя соседка смотрела на них с завистливой улыбкой. Вдруг она как-то сразу перестала улыбаться, сжалась и поглядела на вход. Там появился невысокий, толстоватый, с рыхлой физиономией парень. Когда он проходил мимо нас, Галя как будто усохла, мне даже показалось, поклонилась ему и заискивающе проговорила: “Здрасьте, Алексан Иванович”. — “Здорово”, — буркнул тот. “Вы, может, приведёте Алёнку? Поди, соскучилась по мамке... И я по ней...” — “Посмотрим”. Оказалось, девочку забрала свекровь. У родителей мужа был большой дом, большое хозяйство, а Галя, переехав из городка, смогла купить глинобитную развалюху. Свекровь сразу невзлюбила нищую невестку и всячески отталкивала от своего дома. Заявила, что “внучка наша, а ты никто”. Поэтому приходилось выпрашивать свидания.

Мы вышли из клуба. Туман, который от теплыни начал подниматься ещё днём, теперь загустел так, что, отойдя от клуба шагов на десять, я с трудом мог разглядеть лампочку над входом. Пахло сырým снегом, оттаивающим на дороге конским навозом, ещё чем-то неуловимым, деревенским.

Для разговора мы собрались в хатёнке Веры, по возрасту такой же, как остальные, но, чувствовалось, более уважаемой. Я купил в хуторском магазине большую бутылку вина — “огнетушитель”, какой-то закуски. Вера и девчата принесли свои деликатесы, которые в студенческой жизни я редко ел: солёные огурцы, маринованные помидоры, квашеную капусту.

В разговоре я постепенно узнавал их судьбы. Девчата, действительно, когда-то по комсомольским путёвкам поехали из города на село. Но жизнь оказалась не такой, какую они представляли. В том числе замужняя. У Галины властная свекровь-казачка настроила безвольного сына и отобрала девочку. Галина видела дочку от случая к случаю. Надя — худенькая, белокрылая женщина — потеряла мужа вскоре после свадьбы: его посадили за изнасилование. У Лидии — четвёртой бывшей горожанки — муж уехал на заработки

куда-то в Сибирь и пока возвращаться не собирался. Лидия жила у его родителей и была под строгим присмотром. Только у Веры муж должен скоро вернуться из армии. Она брала на руки дочку и говорила мне: “Вылитый отец!” Подруги согласно кивали.

Я веселил девчат анекдотами, которых тогда знал тьму, рассказывал о себе. Уже Вера дочку уложила и стала ей напевать колыбельную, которую я слышал впервые и старался запомнить, чтобы потом вставить в очерк, а мы всё говорили “за жизнь”. Никто из них на неё особо не жаловался. Наоборот, высказывали надежды на перемены к лучшему, ссылались на разные примеры, когда у кого-то было, “хоть в петлю лезь, а потом всё наладилось”. Ну, бывает непогода в жизни или вот как сейчас, туман на улице, но разве это навсегда?

Мы разошлись под утро, и я в сопровождении троих пошёл искать двор, где на ночлег остановился мой возница. Пока мы ходили, туман, в самом деле, как ни странно, стал редеть, рассеиваться.

Я написал очерк. Назвал его: “В тумане”. Отдал заведующему сельхозотделом. Не думал, что он вызовет такую реакцию. Очерк стала обсуждать редколлегия. А коллектив, как в большинстве крупных провинциальных газет, был в основном пожилой: люди цепко держались за свои места. И вот все выступающие стали высказываться против публикации. “Это что ж такое? – говорили члены редколлегии. – Выходит, вся наша советская молодёжь живёт в тумане? У неё нет впереди ничего светлого?”

Я пытался сказать, что речь идёт не обо всей советской молодёжи, здесь судьбы нескольких конкретных людей, но мои слова не имели никакого значения. И тут встал такой же немолодой, как и другие, член редколлегии. Поскольку шум уже был довольно сильный, он громко и, чувствовалось, с волнением закричал: “Не слушай их, Слава! Пиши так же и дальше! Джека Лондона тоже сначала не признавали! Потом узнали, что он великий писатель!” К сожалению, я забыл фамилию этого великодушного человека. Но очерк был включён в мой творческий диплом, а спустя время я опубликовал его как рассказ. Впрочем, в основе всех моих рассказов лежат реальные события и судьбы реальных людей.

Но вернусь к Кандалакше и школе журналистики, которую организовал. Рассказав слушателям – будущим возможным коллегам – о жанрах, о газетных требованиях, я сказал: кто из вас, где работает, посмотрите, что вокруг вас интересного, о чём вы могли бы рассказать своим товарищам как об удивительном и хорошем.

И началась моя колгота. Каждый день кто-то приходил, что-то приносил. Я сидел с ними до позднего вечера, разбирая, показывая, как надо написать, как должно быть. Не все выдерживали и постепенно отсеивались. Однако несколько человек стали нашими постоянными авторами. А двое – Игорь Павлихин и Надя Миронюк – вышли в профессиональные журналисты. Они поступили в Ленинградский университет на факультет журналистики, который окончил сам. Статьи говоря, я и ездил даже туда представлять их. После окончания Игорь Павлихин поехал работать в газету на Дальний Восток, а Надя Миронюк, по-моему, где-то на телевидении.

Мне становилось всё более тесно в рамках этой газеты. Я говорил коллегам: “Ну, что мы рассказываем всё о Кандалакше, о её пригороде. Почему не познакомить наших читателей с жизнью других районов области?” Коллеги меня поддержали, сказали: “Давай, поезжай”. Я съездил в село Ловозеро – это место, где живёт издавна народ саамы (дореволюционное название “лопари”). Познакомился с интересными людьми. Написал о них.

Потом поехал на Терское побережье. “Терский берег” – очень необычное для Севера название. Один старик-помор, отвечая на мой вопрос, почему он так называется, стал объяснять: “Ну, ты же знаешь, где-то на Кавказе есть река Терек. Приехали оттуда люди, по ней и назвали”. Лишь потом я узнал, что это от норвежского слова “трэ” – лесистая местность. Ибо на Кольском полуострове тайга, благодаря Гольфстриму, поднимается так высоко, как нигде больше на Земном шаре.

Я съездил в этот район, побывал в очень старинном селе Варзуга, которому в то время уже исполнилось около 500 лет. Спустился на резиновой лодке по бурной порожистой реке Варзуге. И впоследствии описал её, как и город Кандалакшу, в повести “Слуга закона Вдовин”.

Меня всё время тянуло куда-то, хотелось что-то рассказать интересное. Шло строительство автодороги Ленинград – Мурманск, которую я назвал “дорога к Снежной королеве” в одном из материалов. Делал репортажи из кабины электровоза и считал высокой оценкой, когда шёл по улице, а идущие по другой стороне ребята-машинисты кричали: “Слава, читали твой репортаж. Пойдем пива выпьем”.

Жизнь у меня закипела. И вдруг приходит однажды секретарь парторганизации Михаил Зинов и говорит: “Вот пришла разнарядка на награды”. А тогда в Советском Союзе к каждому юбилею то ли области, то ли страны шла волна наградений. И вот эта волна докатилась до Мурманской области. Он назвал кого-то из города и говорит: “А у нас награждается Спинов Сергей Капитонович, редактор газеты”. Спрашиваю: “За что?” Зинов смотрит в бумажку. “За воспитание молодых журналистов, за творческую работу, за творческий подход к созданию газеты”. Я говорю: “Миша, ты что рассказываешь анекдоты? Разве это хоть чуть-чуть имеет отношение к Сергею Капитоновичу? Да, он хороший человек, он незлобивый. Но этого мало”. И я написал статью в журнал “Советская печать”. Назвал её так: “Кто должен быть редактором газеты – журналист или номенклатурная единица?”. Статью не напечатали и переслали из Москвы в Мурманск, в обком партии. Из обкома – в кандалакшский горком. Сергея Капитоновича освободили от должности редактора, сделали директором типографии, где он долгое время нормально работал. А редактором газеты сделали Ефима Фёдоровича Разина, человека, который, по сути дела, вёл всю газету. Вот такая произошла история. Но ещё до этого стало известно, что в Мурманск прилетает Гагарин. Я зашёл к редактору – позднее описал его в повести “Холера”: маленького роста, полненький, сзади волосики остались, впереди их нет. И глазки всегда блестят, потому что он поддавал, начиная с утра. Я назвал его “Спиртов”. Это и к нему, наверное, относилась поговорка: с утра выпил – весь день свободен. Говорю ему: “Сергей Капитонович, давайте мы сделаем репортаж о пребывании Гагарина в Мурманске. Я съезжу и напишу”. Он мне: “Да ты что! У нас так нельзя. Есть ТАСС”. А тогда все официальные материалы передавались из Москвы по линии ТАСС. Стоял телетайп, стучал, всё это было... Однако я продолжал настаивать, говорил, что мы только выиграем в глазах читателей и других газет. Он сопротивлялся, потом махнул рукой: “Давай, езжай”.

Гагарин, или Как я потерял голос

К Гагарину и к его полёту у меня было особо восторженное отношение. И дело вот в чём. Вскоре после поступления в университет я отправил в Москву письмо с очень простым адресом: “Москва, Комитет по космонавтике”. Я и знать не знал, что такой комитет существует, – просто догадывался. В нём писал, что после запусков спутников, полёта собачек вполне нужно ожидать полёта человека в космос, и я прошу меня, студента факультета журналистики Щепоткина, включить в возможный отряд космонавтов.

Письмо бросил в почтовый ящик и в наступившей круговерти новой жизни забыл о нём. Каково же было моё удивление, когда в общежитие пришло ответное письмо. Мало того, что я не написал ни улицы, ни проспекта в Москве, просто – Комитет по космонавтике. Как нашли, как работала тогдашняя почта? Но мне ответили: “Уважаемый товарищ Щепоткин! Да, вполне возможны скоро полёты человека в космос. И нужны будут люди разных специальностей. Но вы учитесь, возможно, потребуются и журналисты”.

И вдруг 12 апреля 1961 года утром, мы ещё в полудрёме, нас четыре человека в комнате, слышим по радио позывные. Причём не обычные позывные, а “Широка страна моя родная”. Я вскакиваю и кричу: “Мужики, или война, или человек в космосе”. Точно – запуск, майор Юрий Алексеевич Гагарин. Я бегу быстрее в университет, чтобы там поделиться своими восторгами с людьми. Но, не доезжая до университета, поворачиваю к Академии художеств. Огромные залы, на возвышениях сидят голые натурщицы, а неподалёку ребята их рисуют. Я открываю двери, и вроде как мне неловко, как будто закрываю ладонью глаза, а сам щёлки оставляю, потому что в ту пору я голых женщин, можно сказать, редко-редко видел. Кричу: “Ребята, человек в космосе! Наш человек!” Они бросают кисти, девки одеваются быстрее, и мы бежим к университету. Там тоже какая-то группа, мы им кричим: “Человек

в космосе!” Собираемся. И когда перешли Дворцовый мост, я гляжу — нас уже довольно большая группа. Идём, выходим на Невский, орём: “Все там будем! Даёшь космическую стипендию!” И прочую восторженную ерунду орём.

На Аничковом мосту, а он немножко горбатый, я оборачиваюсь и с потрясением вижу, что от моста до Адмиралтейства, а это, я думаю, с километр, сплошная лавина людей. И все мы идём, кричим, нам из окон машут.

Вот этой толпой, этой лавиной мы ходили целый день по Ленинграду, орали. А вечером на Дворцовой площади возле Александровской колонны соорудили из фанеры какую-то примитивную трибуну, и туда вылезали все, кто хотел что-то говорить. Я тоже стал подниматься. Меня спрашивают: “Ты кто?” — “Студент”. — “Слово представителю советского студенчества”. Я там ещё покричал, поорал. И вот так сорвал голос.

Когда приехал в Мурманск, там уже был Гагарин. Ему нужно было ехать в обком партии. Там встреча с передовиками, разговоры. Мне тоже надо на чем-то ехать, я же из Кандаляки приехал на поезде. Машин была целая колонна, штук десять, не меньше. Потому что с Гагариным прилетел второй секретарь ЦК комсомола Пастухов Борис Николаевич, прилетели люди из ЦК партии, комсомола. Местные деятели тоже были при машинах. Смотрю: в первую садятся Гагарин и Пастухов. Во вторую — молодая, красивая женщина; это оказалась редактор мурманской молодёжной газеты “Комсомолец Заполярья” Зоя Быстрова. Потом мы с ней встретились в Ярославле, куда её направили собкором “Правды”, а с её мужем Женей Трофимовым мы работали в одном отделе “Северного рабочего”. Третья машина пока свободна, — может, её пассажир с кем-то разговаривал. Я сажусь, говорю водителю: “Держись за второй машиной”.

Приехали в обком. В гардеробе раздеваемся, я снимаю своё пальтишко, Гагарин — шинель. Задеваем друг друга. Улыбаемся, извиняемся. Прошли в какое-то помещение. После этого официального представления у Гагарина встреча с работниками рыбокомбината. И вот тут начинается мука для великого человека. Его водят из цеха в цех, и в каждом в подробностях рассказывают, как бланшируется рыба, как закатываются банки, всю технологию. Он стоит, слушает. А рядом — толпа партийных, комсомольских чиновников, кагэбэшников, разумеется, телевизионщиков, газетчиков. Народу человек тридцать. А ему там работницы рассказывают.

Ну, я, будучи человеком, скажем так, не обременённым ни властью, ни уважением к ней, постоял, послушал и отошёл к девчонкам в отдалении. Говорю о чём-то с ними, расспрашиваю, смеюсь. Гагарин увидел, бросил толпу, подходит к нам. “Что тут у вас?” — “Да вот, расспрашиваю девушку, как после такого грохота услышать шёпот? — И задаю вопрос: — А когда ракета поднималась, шум в кабине сильный?” — “Да, конечно”, — отвечает Гагарин. Больше я спросить ничего не успел — нас окружила толпа.

Следующим оказался филейный цех. Рассказывают, как бланшируют рыбу, куда она потом идёт. Я снова постоял чуть-чуть и отхожу в сторону. Останавливаюсь возле молодой работницы, которая перекладывает какие-то пакеты. И опять, оторвавшись ото всех, к нам подходит Гагарин. Оказывается, в пакетах наборы из трёх видов рыбы. Космонавт с интересом вертит пакет в руках. Говорю: “Вот с чем ехать на рыбалку, Юрий Алексеевич, никаких забот”. А Гагарин смеётся: “Точно-точно, хорошая, наверное, будет уха”.

В один из таких подходов, пока сопровождающие догоняли знатного гостя, говорю ему: “Знаете, Юрий Алексеевич, Вы, когда полетели, я организовал демонстрацию в Ленинграде, я был студентом и сорвал голос”. — “А надо ли было?” — улыбнулся Гагарин. “Сейчас-то не знаю, а тогда орал”.

Вот так прошло время на рыбокомбинате. Потом переехали на какое-то рыболовецкое судно, большое, крупное, чтобы там пообедать. Ну, проходим, я тоже иду за стол. За столом человек двенадцать, не больше. Я как раз оказался напротив Гагарина. Пью я винцо — “Мадеру”, я ж на работе, мне нельзя напиваться. Юрий Алексеевич пьёт водку. И я смотрю: у него не багровеет даже, а фиолетовым наливаются шрам над бровью. Потом были всякие рассказы о том, что он якобы прыгал с балкона от какой-то женщины, вроде муж пришёл. Но где тут правда, где вымысел, сейчас установить трудно. Да и не надо это. А тогда я глядел на него и думал: ёлки-палки, как тяжело быть в нашей стране великим при жизни! Ведь ему же никуда не сходить, не отойти в сторону, не сделать ничего, никого не погладить, ни с кем не поспорить,

не выпить. Везде он должен держать марку, должен улыбаться, быть символом страны.

Ну, пообедали. Переходим на другое рыболовецкое судно. Там трап, по трапу надо подниматься. Стоит парень из КГБ. Я подхожу, он спрашивает: “Вы откуда?” Обычно весь день меня никто не спрашивал. Видят, что мужичок молодой с университетским значком, с этим “поплавком”, уверенно ходит. Московские думают, что я местный кагэбэшник, а местные думают, что я московский кагэбэшник. И как бы меня везде не трогают. А этот спросил: вы кто, откуда? Я говорю: “Я журналист из газеты “Кандалакшский коммунист”. Он так рот разинул: “Откуда-откуда?” – “Кандалакшский коммунист”, – уже с меньшей уверенностью я говорю. “Какой коммунист?! А ну-ка, иди отсюда” – и не пустил меня. На этом и закончилась моя миссия по визиту Гагарина.

Я привёз фотографию, где мы с Гагариным. Просто больше никакой не было. Кто-то из фотографов дал, по-моему, из “Комсомольца Заполярья”. И её напечатали в нашей газете. Но меня так заретушировали, что даже я сам себя не узнал, не то что кто-то меня бы узнал.

А на память о полёте и о встрече с Гагариным у меня остались сорванный голос – певучий был голос, звонкий, вся родня у меня певучая, – и автограф в блокноте.

Скитания с блокнотом и гитарой

Через некоторое время жизнь моя резко покосилась, и я послал университетским друзьям три телеграммы. В каждой из них было два слова: “Мне плохо”. Дело в том, что я столкнулся с предательством близкого человека. Послал в Петрозаводск Эрику Цыпкину, в Ленинград – Толе Ежелеву, в Ярославль – Лёне Винникову. Цыпкин в ответ присылает телеграмму: “Объясни, в чём дело”. Ежелев, не дождавшись пассажирского поезда из Ленинграда в Мурманск, который проходил через Кандалакшу, сел на какой-то товарняк и приехал на нём. Но я буквально за несколько часов до этого уехал из Кандалакши. А Лёнька Винников прислал простую телеграмму: “Приезжай”.

Я приехал в Ярославль. Он меня сразу повёл в газету, познакомил с заместителем редактора Семёном Подлипским. Редактор Иванов Александр Михайлович был в отпуске. Мне говорят: вот промышленный отдел, вот тебе задание. Дали кандидатуру какого-то рационализатора. Я пошёл, написал. Людям понравилось. Набрали гранки, уже хотели ставить в номер. И в этот момент приходит из отпуска Иванов. А там была, как бы сказать, междоусобная война Иванова и Подлипского. И у того, и у другого был свой актив, свой лагерь. Иванов, видя, что Подлипский приветил какого-то парня, который написал по их заданию заметку, это значит, будет ещё один штык в отряде Подлипского. И он не стал принимать меня на работу. Даже ничего не говоря мне, намекнул Лёньке: твоего товарища не возьмём. Только потом я понял, в чём дело.

Но это потом. А тогда я не знал, куда ткнуться. Я пошёл на телевидение. Им руководил Герман Баунов. Мы через Лёню знали друг друга. Этой троицей выпивали, погуливали с девчатами; мы-то с Лёнькой холостые, а Герман – женатый. Но Баунов позвонил Иванову и тоже отказал. Я завис без работы, без денег. Хорошо, ребята из ярославской молодёжной газеты – там работал мой однокурсник Валера Прохоров – созвонились с костромской “молодёжкой” и договорились обо мне. Я поехал туда. Помню, перешёл по льду пешком Волгу и попал прямо в центр Костромы. Газета была маленькая, как и многие молодёжные газеты, с небольшим тиражом. Редактором была (не буду называть имя и фамилию) странная, нервическая женщина. Худая, лихорадочный румянец на щеках, вся из себя комсомольская, но по возрасту уже старуха. Забегая вперёд, скажу. Долгое время после Костромы я порывался написать роман под названием “И восходит закат” – о женщине, которая через постели, через предательства близких, через сжигание в себе благодарных задатков лезет вверх по карьерной лестнице от молоденькой комсомольской активистки до деятельницы среднего масштаба. И добравшись, наконец, до вожделенной вершины, с которой, как она думала, откроется вид на прекрасные в свете утреннего восхода дали, постаревшая, истоптанная неправедной жизнью карьеристка увидела безрадостный закат.

Но, как говорится, вернёмся к делу. Я стал работать завотделом рабочей молодёжи. Нормально пошло всё, сам писал, с ребятами в отделе контактировал хорошо. Но через некоторое время начались проблемы. Я впервые в жизни узнал, что такое отказать в притязаниях женщине-начальнице. Не скажу, что я был малый целомудренный, избегал женщин. Скорее, наоборот. Но эта дамочка меня не прельщала. Лежать с такими в постели, говорил я, всё равно, что на железной крыше, – один грохот. Да и мужа её я неплохо знал, хотя, честно сказать, не это было главным. В общем, несколько её попыток я вежливо отверг.

И сразу стал критикуемым, сразу мои материалы и материалы моих сотрудников стали выбрасываться. А на первый план по уважению начала выходить рослая, крупная телом дама с несколько странным для её облика стилем материалов и особенно оформления газеты. Язык заметок напоминал вязание кружев, за которыми нельзя было разглядеть смысла и сути. А в оформлении, которое предлагала дама-гренадёр и что бурно одобряла редакторша, главными были опять-таки кружева, только теперь рисованные.

Я посмотрел-посмотрел, вижу, к чему дело идёт, и уехал в Ярославль. Опять уехал в никуда.

Лёне дали уже квартиру однокомнатную. Она была абсолютно пустая. На кухне только стол и две-три табуретки, а в комнате диван и надувной матрас. Мы по очереди спали, то он, то я, на диване и на надувном матрасе. Если кто-то начинал чихать, заболеть, тот переходил на диван. Если выздоравливал, ложился на надувной матрас. Денег ни у него, ни тем более у меня не было. И мы были рады иногда, что у нас появляется мелочь, чтобы доехать до редакции, до центра. Там я шёл на радио, ребята давали тему, я звонил, быстренько писал какие-то информации, одну, вторую, третью, тут же в вечерних выпусках её давали. И сразу шла в кассе расплата. Но это были не деньги, а так, слёзы. Надо было что-то решать кардинально.

И тут Лёнька созвонился со смоленской молодёжной газетой. А там работали супруги Крупенькины. Витя Крупенькин был с одного со мной курса, только из английской группы. А его жена Светлана – однокурсница Винникова, работала в молодёжной газете. К слову сказать, курсы у нас были небольшие. На нашем, к примеру, человек тридцать.

Я приехал в Смоленск. И у нас началась хорошая работа и весёлая жизнь. Это там я увидел комсомольскую поросль, увидел комсомольских вожakov, это там у меня родился слоган про них: “Вверх с разинутым ртом (это в разговоре с партийным начальством), а вниз – с разинутой пастью (это когда на нижестоящие комсомольские ячейки)”. Выражение распространилось. Дошло до обкома комсомола. Редактору сказали: не те кадры подбираешь. Но мы не особенно переживали, потому что муж одной женщины из нашей компании был секретарём обкома комсомола, и он это дело замял.

Жизнь была хорошая, весёлая. И вот тут у меня стала вырисовываться идея дома в деревне с землёй. Я потом об этом расскажу дальше, когда у меня будет подробный разговор на эту тему. А сейчас о том, как в самый разгар весёлой жизни, творческой жизни тоже, приходит телеграмма от двоюродного брата Валерки, который говорит, что мама у меня плоха, больна раком. Я всё бросил. Приятели расписались на гитаре. Я взял гитару, чемодан и помчал в Волгоград.

Глава 2 **“Город гвардейских улиц”**

Там меня приняли на работу в “Волгоградскую правду”. Взяли стажёром с зарплатой 50 рублей. Некоторые смотрели, выживу или нет. Я разрывался между работой в редакции и домом, где умирала мама. К большой моей горести, спасти её не удалось. Ей было всего 54 года. О всех переживаниях, о том, как всё это было, что я чувствовал, я написал в повести “Холера”. О новом, но, к сожалению, запоздалом её понимании, говорила и надпись на памятнике, который я сделал собственными руками: “Спасибо. И прости. Сын”. Сейчас я могу сказать всем только одно: “Берегите родителей. И старайтесь понять их”.

Постепенно всё более активно работал в газете. Писал заметки о хороших людях, критиковал недостатки хозяйствования. Создавал этюды о природе.

Некоторые из них были действительно хороши, что подтверждают читающие их сегодня люди. Довольно часто печатал фельетоны.

Свой первый фельетон я написал через четыре месяца после поступления в университет. Назывался он так: “Возьми на чай, папаша” — и был опубликован в университетской многотиражной газете. Университет, расположенный на Васильевском острове в старой части города, соседствовал со старинными зданиями. В одном из них, в большом полуподвальном помещении, располагалась столовая под названием “Академичка”. Там был зал для преподавателей и приличных размеров зал для студентов. Перед входом в залы был гардероб. В нём работали два мужика — здоровые мордovorоты, с ручищами, пузатые, в чёрно-серых халатах. И все, кто уходил и одевался, клали на широкий барьер деньги. Мужики ловко поворачивались, ловко смахивали в раскрытые карманы халатов деньги и продолжали дальше работать.

А я обратил внимание на одного парня. Видимо, это был студент. Мой интерес он привлек тем, что клал на этот барьер заметные деньги, а сам был одет в грязно-белую рубаху с почти чёрным воротником, на ногах ботинки подвязаны верёвками, и был он весь неопрятный и неухоженный. А деньги давал, потому что так было принято.

К фельетону меня подтолкнула одна встреча. Иду как-то по Невскому проспекту. Смотрю: навстречу знакомые вроде бы люди. По одежде, по походке — просто профессора. С портфелями, пузатые, здоровые, довольные. Вгляделся — ба! да это же наши гардеробщики, требующие “чаевые”! А-а, так вот вы, оказывается, какие! Ну, и написал фельетон.

Что тут началось! Мне потом ребята рассказывали, что всех, кто приходил из студентов, мордovorоты расспрашивали, кто такой Щепоткин, покажите нам этого Щепоткина. Видимо, кто-то показал. Я стал сдавать одежду, и у меня её выхватывали. Когда я давал номерок, мне чуть ли не бросали одежду. И тогда я сказал: да, надо делать продолжение фельетона “Возьми на чай, папаша”. Всё, как оборвало.

Вот с этого первого фельетона и началась моя, скажем так, фельетонная линия в журналистике. Но я писал и в других жанрах, активно вглядывался в жизнь области. Однажды увидел на карте название населённого пункта “Вчерашние Щи”. Причём оба слова с большой буквы. Я рассмеялся, представив, как называются его жители, и стал изучать топонимику региона. Сделал материал. От этого перешёл к названиям волгоградских улиц. Кстати говоря, в центре Сталинграда после всех адских бомбёжек и жутких уличных боёв осталось несколько старых дореволюционных домов. Я написал статью “Старый дом в городе”. Послал её в “Известия”, с которыми начинал сотрудничать. Она попала к Борису Ивановичу Илёшину — редактору отдела Советов, в будущем он стал заместителем главного редактора. О нём говорили так: он принимает форму любой жидкости, какую в него нальют, — настолько это был трусливый, тихо щебечущий человек. И с удивлением я потом увидел, что он хорошо знал русскую поэзию. А когда его выпроводили на пенсию в переломные месяцы истории, я как председатель профкома “Известий” всячески его защищал. Позднее, уже в журнале “Российская Федерация сегодня”, мы публиковали его статьи о русских поэтах, чтобы дать хоть немного заработать к маленькой пенсии.

Но это всё было потом. А тогда я написал статью “Старый дом в городе”, где отстаивал идею сохранения таких строений. Илёшин позвонил мне и завёл речь о том, что не нужны такие дома. “Что такое — ему сто лет? Ерунда, и зачем его сохранять?” Я говорю: “Борис Иванович, сохранять надо для истории. Чтобы люди лучше знали её. Сейчас ему 100 лет, а через 100 будет 200, а потом будет 300. Ведь старые дома в городах Европы когда-то были молодыми”. — “Да нет, не надо”. Так и замордовал статью.

Говоря о населённых пунктах области, я обратил внимание на названия улиц в Волгограде: 7-я Гвардейская, 13-я Гвардейская, 35-я Гвардейская, 51-я Гвардейская, 95-я Гвардейская, просто Гвардейская и другие. А ещё и фамилии воинов-гвардейцев. Вроде улицы гвардейца Наумова, рядом с которой я жил, не говоря о гвардейцах-командирах полков, дивизий, соединений. Я написал заметку “Город гвардейских улиц”. Даю её заместителю редактора Куканову. Говорю: “Посмотри, Лев Александрович. Думаю, будет полезно”. Он почитал, вернул текст. “Что ты, Слава! Это же ерунда — город гвардейских улиц. Подумаешь...” Ну, я вцепился. Говорю: “А улица имени

Олеко Дундича, воевавшего за Царицын в гражданскую, лучше? Ну, этот хоть тут бывал. А Роза Люксембург и Клара Цеткин – какое отношение имеют к городу, за который отдавали жизни гвардейцы?” Спорили, спорили... Неохотно, но всё же напечатали.

А через некоторое время где-то в Италии состоялась конференция или симпозиум мэров городов-побратимов. И выступая на ней, председатель Волгоградского горисполкома Иван Михайлович Королёв сказал: “А вы знаете, какой у нас город? Наш город – город гвардейских улиц”. Зал встал, и начал аплодировать. Вот такая была реакция.

О Сталинградской битве

Я не являюсь безоговорочным сторонником Путина. Что-то, сделанное им, поддерживаю как стратегически важное. Многие не одобряю. Это ошибки, порой немаленькие, порождённые его необоснованным, чрезмерным самомнением, дичайшее воровство и жуткую коррупцию в его окружении и в целом по стране.

Однако есть вещи, с которыми трудно не согласиться. Недавно (я пишу эти строки в апреле 2021 года), выступая с ежегодным посланием к российскому парламенту, он с удивлением заметил, что в наших учебниках истории нет даже упоминания о Сталинградской битве. О других военных операциях, особенно иностранных, есть. А о Сталинградской битве нет.

Путин удивился. Я бы возмутился. Потому что это не случайная ошибка. Это поступок ВРАГОВ. Цель – не просто принизить в глазах растущего поколения тяжёлый и трудный подвиг недалёких предков, а забить сознание завтрашних активных граждан России знаниями о подвигах чужих людей.

Больше того. Ещё в 2017 году произошла история с выступлением в Бундестаге ФРГ школьника Коли из Нового Уренгоя, где он пожалел умершего в плену в Сталинграде после битвы немецкого солдата. Дескать, он, как и другие немцы, не хотел воевать – их заставили. Страну взорвало возмущение. Люди требовали наказать этого десятиклассника, его мать, которая помогала писать текст выступления, учителей. Интернет давал гневные оценки. “Немцы почему-то не прислали своего школьника Ганса, чтобы он извинился не за одного – за сотни тысяч советских пленных, которых содержали, как скотов, и сознательно убивали”.

Надо сказать, условия у немцев в советском плену были несравнимо лучше. В начале войны им полагалась суточная норма питания в 2500 килокалорий, в то время как советский мужчина, не занятый тяжёлым физическим трудом, мог рассчитывать на норму в 2800 килокалорий. Да, в середине войны, в том числе после Сталинградской битвы, после которой сразу прибавилось 300 тысяч пленных, было уже не до прежних рационов, когда давали и хлеб, и мясо, и подсолнечное масло, и овощи. Наши люди в тылу едва не помирали с голоду, чтобы только досталось солдату-освободителю. Так что жалеть тех, кто пришёл нас убивать, – и убивал! – это не человеколюбие, а провал в памяти. И причиной того стала система образования. При обсуждении покаяния российского школьника в германском парламенте вскрылся вопиющий факт: на всё описание Великой Отечественной войны в учебниках истории отводилось две страницы. ДВЕ СТРАНИЦЫ на историю важнейшего периода в жизни страны! Четырёхлетней жесточайшей войны, от исхода которой зависело, появились бы на свет сами авторы и составители такого учебника? А ведь этот факт не случаен. Министр просвещения Фурсенко, который возглавлял это стратегическое ведомство с 2004-го по 2012 годы, заявлял: “Недостатком советской системы образования была попытка сформировать человека-творца. А сейчас задача – взрастить квалифицированного пользователя...” Американский президент Джон Кеннеди считал советскую систему образования лучшей в мире. Он говорил: “СССР выиграл космическую гонку за школьной партией”. А для Фурсенко нужны не мыслящие творцы. Лучше, если вырастет поколение ничего не знающих потребителей.

Часть интернет-пользователей предлагала не школьника наказывать, а тех, кто его таким сделал. “Свозить бы подростка в Питер, на Пискаревское кладбище, и в Волгоград, на Мамаев курган. Он, может быть, что-то понял бы”, – предложил один из авторов в интернете.

Конечно, заполнять исторический вакуум в головах надо разными способами. Но начинать — с учебника истории.

А при ком создавались такие вражеские пособия? Кто был министром просвещения в ту пору? Не Фурсенко ли? Или не сменивший его Ливанов? Оба заняли столь важные посты не без одобрения Путина. Так вот, надо расследовать эту ИДЕОЛОГИЧЕСКУЮ ДИВЕРСИЮ — по-иному её оценивать нельзя — и строго спросить по всей цепочке. Кто писал учебник, кто его утверждал — все должны ответить. По опросам ВЦИОМа, в 2019 году больше половины российских граждан оценили победу в Сталинградской битве как поворотное событие во всей Отечественной войне. А создатели учебника истории без рассказа об этом величайшем сражении сочли иначе.

Если из наших школьников хотят вырастить Иванов, не помнящих родства, то что удивляться зарубежным историкам, которые внушили своим гражданам, будто это их страны победили фашизм, а Советский Союз ни при чём, и главные жертвы принесли они, а не наш народ.

Например, одним из символов невероятно пострадавших от зверств фашистов городов является английский Ковентри. Его чтят, о нём рассказывают детям.

Вечером 14 ноября 1940 года Ковентри начали бомбить немецкие самолёты — в городе были авиационные заводы. Сбросили сначала зажигательные бомбы, а затем 700 фугасных. Погибли 554 человека. Бомбежки повторялись ещё несколько раз до 20 августа 1942 года. В общей сложности из 350-тысячного населения погибли 1236 человек.

А через три дня, 23 августа того же 1942 года началась первая варварская, а точнее сказать, чудовищная бомбардировка Сталинграда. В налётах, которые шли целый день волна за волной, участвовали около тысячи (!) самолётов. Они убили свыше 40 тысяч жителей, десятую часть населения города. За один день! Ровно столько же, сколько за пять лет войны потеряла от немецких бомбежек Англия. Подчёркиваю: тут — 40 тысяч за один день, там — 40 тысяч за всю войну. В этот день, 23 августа на Сталинград было сброшено семь тысяч бомб. На Ковентри 700 штук, в 10 раз меньше.

А всего за 143 дня Сталинградского ада и мужества на город фашисты сбросили около одного МИЛЛИОНА бомб и ДВА МИЛЛИОНА мин и снарядов. На каждый квадратный метр земли пришлось по ПЯТЬ бомб. Такого не знала ни одна страна в мире.

В первый день бомбёжки город загорелся со всех сторон. А когда поднялся ещё ветер, то пламя стало видно за Волгой на десятки километров. Сгорело всё, что может гореть.

Я иногда думаю: как мы победили гитлеровскую Германию, под которую легла вся Европа? Невероятно мощная, чётко отлаженная машина. Даже не машина — Махина. На которую работала и за которую воевала всё та же Европа. Оружие и машины из Чехии. Бензин и другие нефтепродукты из Румынии. Вольфрам из Португалии. Подшипники и железная руда из “нейтральной” Швеции. Оружия из захваченных стран хватило, чтобы вооружить двести дивизий. А эти двести дивизий как раз были сформированы из добровольцев разных стран Европы. Не считая регулярных соединений, воевавших на стороне гитлеровцев. Например, в Сталинградской битве участвовали, наряду с немцами, итальянцы, румыны, венгры, хорваты. И сколько потребовалось сил и жизни, чтобы остановить эту лавину, рвущуюся к Сталинграду. А ведь после нашего серьёзного поражения под Харьковом у нас на пути к Волге, по сути дела, даже единого фронта не было. Лишь отдельные очаги сопротивления. Фильм “Они сражались за Родину” как раз об этом. Наши разрозненные силы отступали, откатывались к Сталинграду. А немцы пёрли едва ли не как на параде. Мне рассказывали, что их танки неслись по Московскому шоссе, и чтобы остановить стальную армаду, против танков поставили зенитчиков, которые прямой наводкой били по немцам. Однако фашистов было трудно удержать. На северной окраине города, выше Тракторного завода, они прорвались к волжской воде. Многие тут ею и захлебнулись. Остальных ценой больших потерь, особенно среди рабочих завода, отогнали. На южном конце города немцы тоже рвались к Волге...

Наша семья жила в центральной части города. Бабушка, мама, её родная сестра, моя тётя Тося и мы с двоюродным братом, которому было два с половиной года, а мне — три с половиной, прежде чем бежать далеко к Дону,

решили попробовать перебраться за Волгу. Говорят, детская память – это своеобразный фотоаппарат. Так вот, этот “фотоаппарат” запечатлел немало жуткого: мёртвые тела соседей, с которыми вроде бы только что говорила бабушка; сползающая на моих глазах от взрывной волны крыша нашего дома, когда я высунул голову из вырытого дедом на огороде погреба, где пряталась не только наша семья; горящий семафор, перебитый осколками, согнутый в середине. По нему полз огонь – это горела краска. На железнодорожных путях, которые мы перебежали, горели вагоны. Над ними поднимался чёрный жирный дым. Сказали, что это горит сахар.

Мы пошли по улочкам, прижимаясь к той стороне, где было меньше тел убитых людей. Подошли к Волге, даже не к самой Волге – остановились в некотором отдалении, и увидели, что по воде плывёт пламя, что горит Волга. А это горел бензин и мазут из огромных баков Нефтеиндиката, расположенных на самом берегу Волги. Мы не смогли тогда даже подойти к берегу. И побежали в другую сторону – в сторону Дона. Как мы переходили его, расскажу дальше. А сейчас – о “Волгоградской правде”.

Я довольно успешно работал в газете. Получал премии. Они отмечались в приказах и, оказывается, записывались в трудовую книжку, о чём я даже не подозревал. При этом одновременно стал сотрудничать с “Известиями”. Дело в том, что Толя Ежелев, с кем я жил в одной комнате университетского общежития, – нас там было четверо, и все они на два курса старше учились – стал собкором “Известий” по Ленинграду. А в Волгограде собкором был Георгий Кудряшов. Толя поговорил с ним и сказал: “Ты Славу Щепоткина привлекай”. Георгий, спокойный, по-моему, совсем невозмутимый человек, позвал меня и говорит: “Давай, пиши заметки, информации”. Я стал давать сначала информации. И они пошли, пошли в “Известиях”. А это, между прочим, было не так просто – пробиться на страницы огромной, второй газеты Советского Союза.

Мало того, как заядлый охотник я обратил внимание на некоторую неорганизованность охотничьей жизни в нашей стране и написал корреспонденцию под названием “Право на выстрел”. Она вызвала не только обсуждение на страницах газеты. Были приняты некоторые правовые акты, ужесточающие правила получения оружия, поведения людей в охотхозяйствах, чтобы шалаяй не было.

Потом написал статью, изучив материалы, под названием “Отлив”. Там речь шла о сильно негативном влиянии Волгоградской ГЭС на размножение рыбы. В северной части города из Волги вытекает левый её рукав – река Ахтуба. Пройдя по направлению к Астрахани 400 с лишним километров, она опять впадает в Волгу. Весной, во время разливов, между Волгой и Ахтубой образуется огромное-огромное залитое пространство. И на этих мелководьях, в этих ериках, речушках и озерах прекрасно нерестится рыба. Не зря Волго-Ахтубинскую пойму издавна называли “родильным домом” Волги. Когда не было ГЭС, паводковые воды опалили постепенно. И рыба успевала не только отнереститься, но из икры уже вылуплялись личинки. А ГЭС, для того чтобы дать электричество народному хозяйству, делала попуски внезапно и массово. Вся эта трава, все ерики и мелководья обнажались, и миллиарды икринок погибали. Происходил отлив воды и “отлив” рыбы.

Я эту статью дал в “Известия”. Её опубликовали. А незадолго до этого в “Волгоградской правде” сменился редактор. Ушёл на пенсию Алексей Митрофанович Монько, суровый, требовательный старик, который сразу увольнял любого, кто попадался по пьяному делу. Что-то у него с глазами случилось, и он стал носить зелёные очки. Его сменил бывший собкор “Известий” по Волгоградской области Виктор Борисович Ростовщиков. Довольно любопытная личность. Он был посредственный журналист, если кого и критиковал, то не выше председателя колхоза. А главное, старался угодить первому секретарю обкома партии Куличенко. При этом усиленно налаживал связи в Москве. И его туда взяли. Заместителем ответственного секретаря “Известий”. То есть заместителем начальника штаба. Ответственным секретарём был Дмитрий Фёдорович Мамлеев, муж актрисы Клары Лучко.

Ростовщиков поработал там немного, получил, кстати говоря, прекрасную квартиру около Белорусского вокзала, на тогдашней улице Горького. По-моему, даже не одну ему дали, а две, он их соединил. И стал плести заговор против Мамлеева. О том, как это было, мне потом рассказал один из моих

друзей по охотничьей компании и коллега по работе в отделе Советов Игорь Карпенко. Ростовщиков пришёл к нему, начал говорить, что Мамлеев уже не тот, Диму надо заменить. Карпенко не стал долго слушать, взял его за руку, а я не даром впоследствии дал ему кличку “Домкрат”: чуть ниже среднего роста, плечистый, очень сильный мужик. Он схватил Ростовщикова за руку и повёл в кабинет Мамлеева. Ростовщиков сопротивлялся, пытался вырваться, но не тут-то было. Они вошли. Карпенко говорит Мамлееву: “Дима, вот твой заместитель заявляет, что тебя уже надо менять. Пусть он сейчас это повторит”.

В итоге, Ростовщикову пришлось убежать из Москвы. Его приютил первый секретарь Куличенко, сделал редактором газеты “Волгоградская правда”.

Надо сказать, что внешний вид её Виктор Борисович резко изменил. По вёрстке она стала похожа на “Известия”. И содержанием, тематикой начала меняться.

А я вскоре после прихода Ростовщикова затеял эпопею с подъёмом со дна Волги пожарного парохода “Гаситель”. Новый редактор очень поддержал эту идею. Потом-то я понял, что ему нужна была какая-то акция газеты, о которой бы все заговорили. Причём, конечно, связывалось бы это с его именем. Ну, подобное намерение, я думаю, вполне естественно для каждого нового руководителя, а для редактора газеты – тем более. Он, кстати говоря, когда только что пришёл, заходил к некоторым журналистам. В том числе ко мне. Зашёл и говорит: “Слава, я очень рассчитываю на твоё золотое перо”. Он же был собкором по Волгоградской области, знал всех нас, видел, как мы пишем. И мы знали невысокий уровень его журналистского мастерства.

О “Гасителе”

Однажды в редакцию пришло письмо от ветеранов-речников. Они рассказывали о том, что был такой пожарный пароход “Гаситель”, построенный в 1903 году русскими корабельями в Нижнем Новгороде. В проектировании участвовал выдающийся российский и советский кораблестроитель академик Алексей Николаевич Крылов. В отличие от многих своих деревянных собратьев – тогдашних судов, – он имел стальной корпус, мощную машину. При рождении получил имя “Царёв”.

Во время гражданской войны участвовал на стороне красных. Быстроходный, с пушкой и пулемётами на палубе, он перевозил военные подразделения, вёл разведку.

После гражданской занялся прямым своим делом – тушил пожары на судах и на берегу, где было много складов сплавляемой с верховьев Волги древесины.

В 1926 году сменил имя – стал “Гасителем”. На пароходе побывали Горький и Ворошилов.

Но самая героическая часть его судьбы, писали ветераны, связана со Сталинградской битвой. И приводили некоторые факты участия “Гасителя” в тушении пожаров и перевозке людей.

Спустя двадцать с лишним лет после Сталинградской битвы он был списан по возрасту и затоплен у левого, низкого берега Волги, чтобы предохранить его от размыва.

Получив такое письмо, я подготовил его к печати, и оно было опубликовано. А через некоторое время в редакцию пришло ещё одно послание, теперь от главного инженера 7-го отряда экспедиции подводных работ. Мы прочитали, сообщал он, письмо ветеранов-речников о легендарном корабле “Гаситель” и решили поднять со дна Волги то, что от него осталось. Это письмо, разумеется, передали мне. Дескать, ты начал, ты и продолжай.

Должен сказать, что история журналистики знает море примеров, когда издание что-то начинает как важное, даже назначает ответственного за это человека, однако проходит совсем немного времени, и благое начинание исчезает со страниц. Или ответственному дают другое, более актуальное задание. Или ответственный сам переводит свой “творческий локомотив” на другие рельсы – туда, где ему интересней. Пока интересней. И только лично причастные к той или иной проблематике журналисты ведут её упорно, нередко даже борясь с руководством издания за место на страницах. Я несколько лет носил наручные часы с выгравированной на обороте дарственной надписью от

Волгоградского общества охраны природы. Любил я природу и потому рьяно боролся за неё. Уехал, и, как мне говорили, тема зачихала.

Когда начались работы по подъёму, вернее, даже не по подъёму, а по подготовке к нему, я съездил к водолазам на их дебаркадер. Написал репортаж “Водолаз ведёт разведку”. Он начинался так:

“За песчаной косой, параллельной берегу, разлившаяся Волга. На просторе ходят округлые волны, а в узком затоне — мелкая рябь. Солнечный ветер треплет два тёмно-зелёных флага на мачте водолазной станции. Они предупреждают: водолаз под водой, судам близко не подходить, а идущим мимо — сбавить ход. Водолазная станция — тринадцать тонн плавающего металла. Волна подбросит её и может заодно подбросить стоящего на грунте водолаза, оборвать сигнальный конец или шланг с воздухом. Впрочем, сказать о водолазе сейчас, что он стоит на грунте, не совсем верно. Из динамика переговорного устройства гремит голос: “Тут проволока в трюме. Чёрт знает, кто её тут накрутил. Трудно идти”. Может, динамик, а может, толща воды искажает голос, который я слышал рядом минут двадцать назад. Михаил Семёнович Журавлёв тогда готовился к спуску. Рослый даже без водолазного костюма, а в костюме — косая сажень в плечах, седина в тёмных волосах, он шутил и рассказывал, что там внизу. И вот теперь его голос доносится из-под воды. Узкий затон, где летом воробью по колено, сейчас глубокий от половодья. В этой восьмиметровой глубине и трудности, и спасение начатого дела. Трудно что-то делать в абсолютной тьме. Подводный монтаж в других реках, где приходилось бывать водолазу-ветерану, отличается от сегодняшней работы, как день от ночи. Даже в Дону, — а его-то Михаил Семёнович знает не только тихим, — он поднимал под бомбёжкой снаряды “катыш”, танки в полосе Воронежского фронта и мог каждую минуту всплыть, как оглушённая рыба, — даже эта река оказывается светлее Волги. Там можно видеть вытянутую руку, а здесь не различить белую перчатку, приплюснутую к самому иллюминатору скафандра”.

В репортаже я рассказывал о трудностях, с которыми столкнулись водолазы. Поставленный у левого берега остов списанного корабля-ветерана не успел дожидаться официального затопления. Поднявшийся на Волге шторм залил через открытые иллюминаторы трюм, и стальной корпус боком пошёл на дно.

За восемь лет после списания останки корабля занесло трёхметровым слоем песка. Водолазы смыли его мониторами и теперь вымывали песок из отсеков. Торопились, потому что место захоронения довольно быстро мелело, а тяжёлый подъёмный кран, который должен подойти, и понтоны — с их помощью будут поднимать корпус — требовали большой воды.

Внутри отсеков была полная темнота. Да и снаружи Волга оказалась далеко не светлой, в чём я убедился лично, спустившись в водолажном костюме — медный шар со стёклами на голове, резиновая “одежда”, свинцовые башмаки на ногах — прямо космонавт какой-то! — и вот в этом одеянии я пощупал руками лежащий на дне корпус.

Некоторые мои знакомые спрашивали: а зачем его будут поднимать? Ведь от парохода, кроме ржавой коробки, ничего не осталось. Когда списывали, сняли абсолютно всё: рубку, машину, дымовую трубу, винт, спасательный круг. Даже ограждение палубы срезали.

Честно сказать, и мне досаждал этот вопрос. Ну, поднимут, отвезут на какой-нибудь судоремонтный завод и разрежут на металлолом. Что ж, хоть такая польза будет от давно списанного ветерана.

Тем не менее я продолжал набирать информацию. Встретился с некоторыми авторами письма о “Гасителе”. Они кое-что добавили о корабле, рассказали про капитана Петра Васильевича Воробьёва — довольно легендарного человека.

Рассматривая фотографии “Гасителя”, вспомнил, что мы пацанами любили его крутые волны и, завидев этот, со стремительными очертаниями, корабль, вскакивали с горячего песка, чтобы не пропустить удовольствие.

Не без некоторых сложностей разыскал адрес Петра Васильевича Воробьёва. Съездил к нему домой. Старику исполнилось уже 89 лет. Но он был достаточно бодр, как говорится, в добром уме и здравой памяти. Он рассказал о некоторых особенно памятных эпизодах.

Началом Сталинградской битвы считается 17 июля 1942 года. Хотя немцы ещё только прорывались к городу, Волга уже была у них под прицелом.

27 июля Воробьёв получил приказ: спасти караван с горючим, который фашистские самолёты подожгли выше Сталинграда. На полном ходу “Гаситель” пошёл вверх по Волге. Встретившийся ему буксир “Кузнец” предупредил, что на фарватер немцы сбросили плавучие мины. Обходя их искусным маневрированием, гася плавущие по воде очаги горящего керосина, команда пожарного парохода ещё издали увидела сначала дым, а потом пламя. Это горела баржа “Обь”. На ней было 10 тысяч тонн керосина. Две другие – “Рутка” и “Медянка” – шли с мазутом. Взрывом на “Оби” вырвало палубу, и пламя с рёвом неслось вверх. Огонь с горящей баржи поджёг надстройки на двух других. Воробьёв понял: ту, что с керосином, не спасти. Надо спасти хотя бы мазут. Он приказал сбить занимающееся пламя на баржах с мазутом, а “Обь” отцепить от них. Обвязав мокрым фартуком лицо, первым прыгнул на палубу “Рутки” начальник пожарной команды Нестеров. За ним – двое пожарных матросов. Командир боевого расчёта Червяков руководил работой тех, кто отгораживал смельчаков от огненной баржи стеной воды.

Всего несколько минут работали рядом с гудящим пламенем трое отважных бойцов, но всем они показались часами. Наконец, цинковый трос размотан, и баржи с мазутом спасены. “Гаситель” отвёл их в Краснослободский затон, что напротив Сталинграда. В течение всей навигации этим горючим управлялись воюющие суда.

Памятным было для Воробьёва и 8 августа 1942 года. В тот день фашисты бомбили станцию Сарепта в южной части города. От взрывов загорелось железнодорожное депо, здание станции, жилые дома рабочего посёлка. А на путях стоял эшелон со снарядами. Огонь уже подходил к нему. Если бы загорелись вагоны, всё разнесло бы вдребезги. “Гаситель” приткнулся к берегу, команда выбросила пожарные рукава, и началась борьба за жизнь рядом со смертью.

Особенно страшным было 25 августа. За два дня до этого произошла та самая бесчеловечная бомбардировка Сталинграда, в которой участвовало около тысячи фашистских самолётов. Они убили сразу, за один день, 40 тысяч мирных жителей. Вытянувшийся на 50 километров вдоль Волги город горел весь. Горела даже река. “Гаситель” и днём, и ночью сновал вдоль берега, пытаясь подавить мощными струями воды очаги пожаров. Люди почернели от копоти, у многих обгоревшая одежда, глаза красные от дыма и бессонницы. Вечером 25 августа на “Гаситель” налетели два “юнкерса” и “мессершмитт”. С бреющего полёта они обстреливали судно из пулемётов. Столбы воды от падающих бомб вздымались рядом с бортами и вместе с осколками обрушивались на пароход. Разлетелись стёкла в рубке. Осколок в сердце был убит механик Ерохин. Сражённый пулей, замертво упал маслэнщик Соколов. Были ранены пулемётчик, а также краснофлотцы Агарков и Елагин. Корабль получил много пробоин, но капитан приказал заделывать их и откачивать воду из трюма на ходу. Надо было передать погибшего Ерохина семье в Красной слободе. Родственников Соколова найти не смогли. Похоронили товарища под приметным деревом, чтобы можно было позднее отыскать.

И ещё о Сталинградской битве

После первой адской бомбёжки фашисты попёрли на Сталинград изо всех сил. Они захватили господствующую высоту – Мамаев курган, с которого просматривался весь город и Волга. Прижатые к обрывистому правому берегу, наши войска, даже не войска, а откатившиеся в ходе отступления группы сопротивления, отчаянно боролись.

Самыми тяжёлыми стали дни 12-13-14 сентября. Не считаясь с потерями, немцы прорывались в центре города к Волге. В их руках уже был железнодорожный вокзал, от которого до берега оставалось несколько разрушенных кварталов. Фашисты считали, что для обороняющихся в этом месте советских солдат наступают последние часы.

Но произошло невероятное. Невероятное для немцев. В ночь с 14-го на 15 сентября с левого берега к Сталинграду речные суда перебросили 13-ю гвардейскую дивизию генерала Родимцева. Она сходу вступила в бой, отбросила немцев от Волги. А уже 16 сентября отбила у врага Мамаев курган.

Дивизия была не только гвардейской. Она была молодёжной. Генерал-майору Александру Родимцеву едва исполнилось 37 лет. Командирам батальонов – 21-22 года. Молодыми были и солдаты-гвардейцы.

Однако временные наши успехи не меняли тяжёлой обстановки в целом. Я давно хотел написать книгу о Сталинградской битве. Но всё откладывал — слишком большая и тяжёлая работа. Теперь уж вряд ли напишу.

Но вникать в тему начал ещё тогда. Собирая информацию о “Гасителе”, знакомясь с материалами в Музее обороны Царицына — Сталинграда, я всё больше представлял себе общую картину мужества и ада, в которых сражались и погибали защитники города. И роль “малого флота” в той великой победе. Откатившиеся к Волге разрозненные, обескровленные части нельзя было назвать ни полноценными армиями, ни тем более фронтом. Получить подкрепления прижатые к правому берегу широкой реки части могли только из-за Волги. Это понимали наши бойцы. Это понимали немцы. И лучше всех понимали речники. Пылающий на другом берегу город ждал подкреплений. В подвалах разбитых, обгоревших домов-руин прятались женщины и дети. Стонали раненые солдаты и командиры, ожидая переправы на другой берег. И команды “малого флота” в немыслимо трудных и смертельно опасных условиях помогали борющимся нашим войскам. Десятки разных судов делали рейс за рейсом к пылающему берегу. Пассажирские пароходы и речные трамвайчики, катера и баркасы, буксиры и баржи, моторные и даже вёсельные лодки перевозили на сталинградский берег воинские подразделения, оружие, боеприпасы, продовольствие, курево, медикаменты, а на левый — остатки гражданского населения, раненых. Среди них заметным был единственный пожарный пароход “Гаситель”. Он тушил огонь на подождённых фашистами судах: немцы охотились за каждым судном. Перевозил на правый берег военных, а на левый — женщин и детей. Капитану не раз приходилось выходить из рубки и успокаивать рыдающих матерей, которые кричали, что пароход идёт слишком медленно и сейчас их убьют немецкие самолёты. Перевозил “Гаситель” раненых, плотно заполняя ими палубу, ибо смертность от ранений в 62-й армии Чуйкова была в четыре раза больше, чем в 64-й армии Шумилова. Шумиловская армия обороняла южные районы Сталинграда. Здесь переправиться на левый берег было немного легче. Правда, и тут бомбили, топили, обстреливали с воздуха и с земли. В чуйковской же, которая держала оборону в центральной и северной части города, раненых надо было спустить из окопов вниз, к воде, и ждать темноты. Да и ночами смертельно опасно было прорываться спасительным судёнышкам. Волгу немцы освещали ракетами, прожекторами, фарватер забросали сотнями донных магнитных мин, и не все суда “малого флота” доходили до правого берега.

Тем не менее, трудно поверить, но обеспечение сражающихся было такое, что вызывает просто изумление. Готовя эту главу, я с большим удовлетворением узнал, что в Волгограде работает Центр по изучению Сталинградской битвы. Его возглавляет научный сотрудник Борис Григорьевич Усик, который до этого был директором Музея обороны Царицына-Сталинграда. Ему 78 лет. Из них более 20-ти занимается изучением Сталинградской битвы. Переживает, что выросшая на учебниках истории “фурсенок” молодёжь недостаточно интересуется Великой битвой на Волге и её героями. А ведь волгоградский Центр — очень хорошее дело! В разных странах есть подобные структуры. Они изучают не только историю Второй мировой войны, но и отдельные её эпизоды. И средства для их работы, помимо государства, выделяют состоятельные граждане. Нашим сверхбогачам тоже не мешало бы отстегнуть от яхт размером с линкор или от содержания зарубежных футбольных клубов денег на волгоградский Центр, ибо, не будь Сталинградской победы, не было бы предков этих олигархов, не говоря о них самих. Победить нужно было любой ценой, поскольку никто ещё, кроме наших зарубежных разведчиков-нелегалов и руководства страны, не знал, что падения Сталинграда ждут Турция и Япония. Первая собиралась уже весной 1943 года напасть на советское Закавказье. Япония готовила “Сибирский поход”. Зато врывшиеся в сталинградский суглинок бойцы знали лозунг: “За Волгой для нас земли нет!”

На стене мемориального комплекса на Мамаевом кургане выбиты слова из фронтового очерка Василия Гроссмана: “Железный ветер бил им в лицо, а они всё шли вперёд, и снова чувство суеверного страха охватило противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?!”

Да, они были смертны. За время боёв в Сталинграде личный состав 62-й армии сменился несколько раз. Пока на замену погибшим не поступали новые бойцы, оставшиеся стояли насмерть. При этом показывали чудеса боевого

мастерства. И сейчас, и тогда от знаменитого Дома Павлова, который захватили несколько наших бойцов под командованием сержанта Якова Павлова, до волжского обрыва всего 200 метров. Казалось бы, пройти пешком – ерунда: 5 минут небыстрым шагом. Но небольшая группа советских солдат разных национальностей удерживала глубоко вклинившийся в позиции фашистов дом полтора месяца, отбивая жесточайшие атаки немцев. Ещё ближе – 120 метров – было от наших окопов до берега неподалёку от Дома Павлова. У некоторых нынешних дачников огороды длиннее. Но фашисты так и не смогли пройти эти ничтожно малые расстояния до обрывистого берега Волги, в глубину которого врылись штабы 62-й армии, её полков и батальонов. Обескровленная, теряющая людей, она держала эти метры до великой русской реки. О её состоянии в октябре 1942 года маршал Жуков писал в мемуарах: “Остались тылы и штабы”.

Но в октябре 62-й армии перебросили шесть полноценных дивизий. Перевезли из-за Волги. Судами “малого флота”. Командующий армией Василий Иванович Чуйков позднее говорил: “Если бы не героические усилия речников и Волжской военной флотилии, которые в невероятных условиях обеспечивали 62-ю армию всем необходимым для успешного ведения боевых действий, то трудно сказать, чем бы могла закончиться битва за город Сталинград”.

Чуйков знал, о чём говорит. В “Энциклопедии Сталинградской битвы”, изданной волгоградским Центром, к сожалению, очень маленьким тиражом, я встретил цифры, в реальность которых сегодня трудно поверить. Не буду называть количество переброшенного за всё время боевой навигации – оно огромно. Приведу цифры только доставленного через Волгу Сталинградскому фронту с 1 по 18 ноября 1942 года для намеченного на 19 ноября контраступления. Это 160 тысяч солдат, 10 тысяч лошадей, 430 танков, 600 орудий, 14 тысяч автомобилей и 7 тысяч тонн боеприпасов. А ведь вдобавок к фашистским обстрелам и бомбёжкам появился лёд – 10 ноября Волга у Сталинграда начала замерзать. Сложно даже придумать более адскую обстановку, в которой пришлось работать, да нет – воевать! – “малому флоту”.

Когда я готовил свои и авторские материалы о “Гасителе”, разумеется, ещё не знал этих цифр. Но даже из тех сведений, которые набирал, мне было видно, что многие люди даже не представляют значения той роли, которую сыграл “малый флот” Волги в Сталинградской победе. А она была решающей. И мне всё чаще приходила мысль о том, что поднятый и восстановленный “Гаситель” должен стать памятником погибшим и оставшимся в “живых” судам-героям и их экипажам.

Стоит отметить, что при очень большом по нынешним временам тогдашнем тираже областной газеты – 200 тысяч экземпляров – и при населении в 2,5 миллиона человек, первые публикации не вызывали большой ответной реакции. Но когда я написал заметку о роли “малого флота” в сталинградской победе, а следом – о восстановлении “Гасителя”, чтобы сделать его памятником, народ словно проснулся. Однажды поднимаюсь к себе на четвёртый этаж, а у нас на площадке между двумя коридорами, под мемориальной доской с фамилиями погибших журналистов, всегда стояли несколько стульев и столик для посетителей. И вот вижу группу ребят школьного возраста. С ними – женщина. Оказалось, ученики и учительница. Ребята меня увидели, спрашивают: “Скажите, где здесь принимают деньги на восстановление “Гасителя”? Мы сдали металлолом и хотим внести деньги на это дело”. У меня перехватило горло. Говорю: “Здесь, ребята, редакция. А чтобы собирать деньги, надо открыть счёт”.

И пошли письма. Рабочие Волгоградского моторного завода написали, что мы, такая-то бригада, хотим отработать смену и перечислить деньги на восстановление “Гасителя”. Пошли письма от селян. Активно начали писать пенсионеры. И стало понятно, что надо делать памятник. А каким он должен быть? Чтобы ответить на этот вопрос, я организовал в газете конкурс архитекторов. Предложения стали поступать не только от профессионалов. Активно включились и рядовые граждане. Мы опубликовали несколько предложений. Однако победил всё-таки известный профессионал – главный архитектор Волгограда, народный архитектор Вадим Масляев.

Однако до того, как поставить “Гасителя” на пьедестал, дел было очень много. Его надо было поднять, прикрепить для удержания на плаву к понтонам, осушить. Потом доставить на Краснослободский судоремонтный завод

для восстановления. Но процесс, как говорится, уже пошёл, и напряжение в обществе стало нарастать с каждым днём. Пришло письмо от одного жителя Краснослободска о том, что, когда пароход списывали, ему разрешили взять его рубку, которая стала гаражом для мотоцикла. Теперь он готов вернуть её. Другой читатель сообщил, что может возратить спасательный круг с названием “Гасителя”. И как это часто бывает — стоит средству массовой информации обнародовать какую-нибудь идею, как тут же появляются её последователи. Хотя с момента списания прошло восемь лет, обнаружилось ещё несколько человек, которые всё это время берегли некоторые предметы с “Гасителя” и теперь хотели вернуть их на место прежнего “пребывания”. Но то, что было нужно действующему кораблю, уже не требовалось памятнику.

Надо сказать, что интерес читателей подогревала и предложенная Ростовщиковым рубрика: “Следим за событием”. Я изо дня в день писал о том, что близится время подъёма “Гасителя” и буксировка его на завод. Сообщал в газете: осталось четыре дня, три, два и, наконец, один день. Одновременно, как говорится, вёл организационную работу. Договаривался с руководством пожарной охраны Волгоградского управления внутренних дел, с Нижневолжским пароходством, чтобы те и другие выделили для предстоящей церемонии свои пожарные корабли.

Церемония ожидалась, конечно, не рядовая. Не каждый день поднимают со дна Волги останки корабля — участника Сталинградской битвы. В тот день, когда отмытый от песка, без воды в трюмах, латаный корпус “Гасителя” (почти 90 заваренных ран) должен был тронуться в свой путь к восстановлению, на пляжах левого берега, напротив Волгограда, люди стали собираться с утра. К 12 часам, к началу движения небольшого каравана, народ уже усыпал берег. И едва буксир с прицепленным сзади корпусом тронулся с места, над Волгой раздались разноголосые гудки. Басовитые — мощных буксиров-толкачей. Глубокие, эlegantные — круизных лайнеров. Тонкие, изящные — речных трамвайчиков. Все, кто в эти минуты в разных направлениях двигался по Волге, приветствовали идущий к горловине Краснослободского затона караван.

А там стояли, как стражи у ворот, два современных пожарных корабля. На одном из них вдоль борта, обращённые лицами к бывшему Сталинграду, а теперь Волгограду, стояли ветераны пожарной службы. Среди них — члены команды “Гасителя” разного времени. Их было немного. Нескольких месяцев не дожил почти 90-летний Пётр Васильевич Воробьёв. Сталинградская битва отняла у него сына и любимую дочь. Михаил был офицером и погиб в самом начале сражения. Катя, студентка пединститута, хорошо знала немецкий язык и стала разведчицей. Некоторые из оставшихся в городе жителей помогали нашим, чем могли. В основном доносили о позициях фашистов. Рисковали. Моего деда по матери, Семёна Дмитриевича Бледных немцы хотели повесить, увидев, что он пробирается от наших окопов. Что-то помешало, и он остался жив.

А Катю Воробьёву при переходе линии фронта тяжело ранили в живот и перебили руку. Об этом капитану “Гасителя” рассказал знакомый шкипер, переправлявший его дочь вместе с другими ранеными на левый берег. Смелая девушка, которой едва исполнился 21 год, умерла в госпитале. “Сколько я ни искал её могилку, — говорил мне с болью Пётр Васильевич — даже через годы не утихла эта боль, — так и не нашёл, где можно было бы поклониться”.

Мне удалось разыскать бывшего главного механика “Гасителя”, который теперь работал сторожем на дачах в Краснослободском районе. Именно он заваривал пробоины на судне, когда после Сталинградской битвы впервые поднимали затонувший пароход. 17 сентября 1942 года он зашёл в Краснослободский затон, Волга быстро обмелела, и “Гаситель” не смог выйти. Его приказали поставить на якорь, а команде — сойти на берег. Бои и годы немногих оставили в живых. На поднятый в 43-м корабль пришли вместе с остатками прежней команды новые люди. Они много лет тушили пожары, старились, уходили на пенсию. Теперь с волнением ждали необычной процессии.

И как только буксир приблизился к “стражам” у входа, стоящий на одном из кораблей оркестр грянул марш “Прощание славянки”. А следом из пожарных лафетов обоих судов, на высоту 9-этажного дома поднялись мощные струи воды. Они специально были направлены так, чтобы образовалась большая

водяная арка. Все, кто стоял на палубе одного из кораблей, вскинули руки к фуражкам и кепкам. Буксир со стальным корпусом бывшего “Гасителя” медленно подходил к необычной арке. Марш сменился гимном Советского Союза. Несмотря на жаркий день, ветераны стояли в пиджаках. Сверкали на солнце ордена и медали. Старики плакали. Ну, сказать честно, я сам, конечно, не сдержался, тоже горло перехватило – столько дней напряжения, столько надо было организовать! А дома – годовалый сынишка, это тоже требовало забот. Немудрено, что нервы не выдержали.

Вот так встретили и провели на Краснослободский судоремонтный завод то, что осталось от “Гасителя”.

А потом началась волокита. Долго не восстанавливали: шли какие-то согласования. Теперь-то я знаю, какие. При плановой экономике внеплановые порывы энтузиазма не сразу обеспечивались деньгами. А включать народные пожертвования было не принято.

Вдобавок, очень многое зависело от позиции партийного начальства. Я уже уехал из Волгограда в Ярославль, когда узнал ещё об одной, причём далеко не мелкой причине торможения. Мне передали ответ первого секретаря Волгоградского горкома партии на вопрос: почему не делается памятник “Гасителю”? “Ну, вот я сейчас обращаюсь с этим предложением в Совет Министров Российской Федерации, – сказал он (тогда, в отличие от нынешнего времени, установка любого памятника согласовывалась и разрешалась правительством республики). – А меня спросят: все ли у вас в области хорошо с уборкой хлеба? И хорошо ли, активно ли помогает этому город, которым ты руководишь?”

Когда я узнал об этом, прямо скажу, рассвирепел. В миллионном городе не могут найти не слишком большие средства, чтобы воздать должное тем, кто, по сути дела, был одним из главных участников Сталинградской победы! Я тут же написал статью в газету “Советская Россия”. Это была газета ЦК КПСС. И рассказал о подвигах “малого флота”, о волоките с памятником и позиции первого секретаря Волгоградского горкома партии. Статью напечатали, после чего работа пошла, как нужно. И в 1977 году, к очередному юбилею, памятник был открыт. Он и сейчас стоит в пойме реки Царицы, вблизи главного речного вокзала, в центре Волгограда.

Правда, мне пришлось ещё раз обращаться к судьбе, теперь уже памятника. В чехарде волгоградских губернаторов, назначаемых из Москвы неизвестно за какие заслуги, были совсем случайные люди. Их больше заботило состояние собственного кармана, нежели состояние памятника волжским судам, помогавшим выиграть Сталинградскую битву. Корпус “Гасителя” поржавел, из текста на стеле выпали буквы. Да и текст, честно говоря, вызывает некоторое недоумение. Как говорится, ни слова, ни полслова не сказано о том, что немаловажная, если не главная, заслуга в появлении памятника принадлежит газете “Волгоградская правда”.

Да и нынешнему руководству речного флота можно сделать упрёк. В России ещё со времён Петра Первого существует традиция передавать имя геройского корабля, погибшего или отслужившего свой срок и списанного, новому кораблю. Мне кажется, что на Волге мог бы появиться новый “Гаситель”, принявший имя героя Сталинградской битвы.

Отлив и... отлуп

Теперь, думаю, нужно вернуться к статье “Отлив” в газете “Известия” и к событиям в связи с нею. Когда статья вышла, первый секретарь Волгоградского обкома партии Куличенко тут же позвонил редактору газеты Ростовщикову и отчитал его. “Что это твой Щепоткин позволяет себе? Критикует обком партии... Ты разберись с ним...” Тот взял под козырёк и очередную “летучку” начал со слов: “Кто вам, Вячеслав Иванович, разрешил печататься в чужой газете – “Известия”? Мы должны сделать правилом, что все публикации наших журналистов за пределами “Волгоградской правды” должны быть только с разрешения”. Я вспылил, сказал, что это неправильно, безобразие. Он заявил что-то вроде: если не нравится, можете уходить. Я встал и вышел из его кабинета, где проходила “летучка”.

Потом приходили ребята. Уговаривали не горячиться. “Это всё ерунда, старик. Он, конечно, сморозил глупость, но ты-то будь умнее”. Однако я думал:

вот повод уехать в Ярославль. Позвонил Лёне Винникову. Он ещё раз хорошо поговорил с редактором областной газеты “Северный рабочий” Ивановым и сказал: “Приезжай”.

Так у меня получился второй заход в Ярославль.

Глава 3 Репортажи со свалки

Выросший в Сталинграде, я не очень любил этот жаркий, прижатый к Волге выжженной, сухой степью, невероятно длинный город. Между областными центрами Ярославлем и Костромой – 70 километров, а здесь один город – 90. К тому же меня всегда тянуло в леса – леса предсеверной Руси, прохладные, густые.

Термин “Предсеверная Русь” я впервые употребил в одном из сборников под коллективным названием “Любитель природы”. Я обратил внимание на такую деталь: в Ярославле областная газета – “Северный рабочий”, в Костроме – “Северная правда”, в Вологде – “Красный Север”. Все эти газеты основаны в начале XX века. Значит, в то время это был Север. За десятилетия советской власти Север обжитый отодвинулся далеко дальше – на север. Значит, эта территория – предсеверная Русь. Вот такое название я дал ей и продолжаю настаивать, что так оно и есть.

Я приехал в Ярославль теперь уже победителем, крепким журналистом. Тем более что “Волгоградская правда” в рейтинге газет котирировалась выше ярославской областной. Редактор “Северного рабочего” Иванов ходил по кабинетам Дома печати и в каждом, раскрыв мою трудовую книжку, говорил: “Вот какие нам журналисты нужны: благодарность вот за эту статью, благодарность за эту корреспонденцию”. Честно говоря, я до отъезда и не знал, что у меня столько записей благодарственных в трудовой книжке. Ну, отмечали на “летучках”, хвалили, приказы вешали “Объявить благодарность...”, но что в трудовую книжку заносили, я этого не знал.

Мне дали квартиру в центральной части города. Лёня Винников женился на той самой подруге Татьяне. Был сын Андрей и у меня. Его сразу устроили в детский сад поблизости – хороший детсад. С ним впоследствии был связан интересный эпизод. Сын уже подрос, по-моему, был в старшей группе. Как-то прихожу за ним. Бегают малышня, а я люблю детей, в молодости говорил: детей будет – футбольная команда с запасными игроками. И в пионерский лагерь поехал вожатым после первого курса университета всё по той же причине: любовь к детям и желание проверить себя как воспитателя. Не буду долго говорить о тех трёх месяцах – лет двадцать, если не больше, не мог быстро остановиться, как только начинал рассказывать: столько нового, интересного, неожиданного для меня втиснулось в эти месяцы. Лагерь был образцово-показательный. Туда каждые выходные приезжали иностранцы, какие-то наши делегаты, ну и, естественно, родители. Меня это мало интересовало, а вот сделать третий отряд (второй по возрасту среди мальчишек) дисциплинированной, сплочённой командой – к этому я стремился. Жизнь лагеря была сильно регламентирована. Как отряд утром встал, как вышел на зарядку, как шёл на завтрак и так далее, и тому подобное. А за всё – вымпелы. Как оценка жизни и поведения отряда. Так вот – из 13 вымпелов 12 почти каждый день были у отряда № 3.

После третьей смены я вернулся в общежитие. Ко мне приехала представительница Ленинградского Дворца пионеров с предложением написать книгу об опыте работы: как из расхристанной, неорганизованной толпы пацанов, в том числе трудных подростков (были у меня и такие – изгнанные из старшего отряда), удалось сделать дисциплинированный монолит с интересной жизнью. Я не знал, что назвать опытом? Ежедневные – два-три дня в начале каждой смены – тренировки за пределами лагеря умения ходить строем? Строгим, чётким строем. Проведение каждый вечер отрядной “линейки” после общелагерной. Там третий отряд хвалили, а здесь я отмечал своих героев и порицал своих нарушителей. Да и как вложить в небольшую книжку весь объём страстной жизни, которая была у меня три месяца? Я отказался, надеясь когда-нибудь написать о роли дисциплины для формирования разностороннего человека.

А тогда я пришёл в детский сад за Андреем и, проходя мимо гомонящей пацанвы, спросил: “Ребята, где Андрей Щепоткин?” То, что услышал, поразило меня. “Андрей! Щепота! За тобой папа пришёл!” – раздались крики. Я остолбенел. Двадцать пять лет назад за 1250 километров отсюда так же звали меня, сделав из непростой фамилии такую кличку. Я обижался за неё на старших пацанов, дрался с ровесниками, но отбиться от неё не смог. Помню тёплый сентябрьский вечер, – а в Сталинграде-Волгограде эта пора чудесная: уже не жарко и ещё не холодно. Мы сидим возле нашего из старых досок забора, старшие пацаны играют в карты, мы, кто поменьше, толкаемся, слушаем их разговоры. И мне вдруг так захотелось рассказать обо всём этом многим людям, что я заявил: “Вот вырасту, пацаны, большой, напишу книжку про наше детство. Будет интересней, чем “Васёк Трубачёв”. Была такая хорошая, но, по сравнению с нашей жизнью, благообразная книга: “Васёк Трубачёв и его товарищи”. Колька Бурый, раздавая карты, между делом бросил: “Пиши, Щепота, пиши”.

Мне не удалось сделать книгу. Написал только два рассказа: “Казнь С. Разина” и “Лучше б не было того табора”. Но напутствие Бурого и кличку помнил всю жизнь. И вот за четверть века от моего детства, за тридцать земель от него другие мальчишки нашли те же звуки в фамилии сына.

Получив в Ярославле квартиру, я пошёл посмотреть её. Дом был новый, недавно стал заселяться. Делали его военные строители, а про них молва была нелестная. Настораживающая оценка подтвердилась. Я пришёл в квартиру и не пойму, в чём дело. То ли с глазами неполадки, то ли со стеной что-то не так. Стена, выходящая на лестничную площадку, стояла не прямо, а под углом, под приличным углом. Поэтому я пустил шутку: ребята, приходите, у меня можно на стене поспать.

Ну, отремонтировали, всё сделали. Начал работать. И вскоре после приезда случилось так, что мне пришлось писать фельетон.

“Леший в томате”

На границе Московской и Ярославской областей, в Переславском районе, есть (не знаю, сейчас есть или нет, скорее всего, существует) ресторан “Лесная сказка”. Он знаменит был тем, что там подавались блюда из дичи. Но это, так сказать, открытая реклама. А то, чего не знали люди, было другое. Важные гости из Москвы, попадая на территорию Ярославской области, сразу заворачивали в “Лесную сказку”. Здесь их встречали водкой, коньяком, хорошими блюдами. И уже весёлые и сытые, они ехали в Ярославль. Но расплачивалась за всё это местная птицефабрика. Я этого, конечно, не знал поначалу. Просто пришло письмо, что в “Лесной сказке” сказочно обирают, не доливают, блюда не всегда вкусные.

Я приехал туда. Два дня перед тем не брился. Прикинулся колхозным шофёром. Заказал много всего, мне принесли, в том числе водку. Я попросил официантку позвать завпроизводством. Пришёл мужчина. Я представился ему. Стали изучать, что принесли. Оказался большой недолив водки. А мясо изюбря было настолько жёстким, что я сказал: это у вас пятка лешего, а не изюбрь. Кстати говоря, так родился заголовок “Леший в томате”. Раскрутил я всё это дело. И вдруг слышу: зачем вы наш ресторан трогаете, он у нас начальственный. Так я вывалил, что за все эти обеды, ужины для руководящих гостей расплачивается местная птицефабрика.

На фельетон, конечно, обратили внимание в обкоме партии. Говорят, дошло до первого секретаря обкома партии Лощенкова. Ведь, по сути дела, я вскрыл тайную бухгалтерию.

Иванов, прочитав его, сразу поставил в номер. При этом сказал: ну, Вячеслав Иванович, нам с тобой туда ездить не надо пока, а то плюнут в борщ.

Как человеку честолобивому, мне нравилось, что меня и тут хвалили на “летучках”, отмечали материалы. Но я понимал, что для некоторых моих коллег это неприятно, это вызывает у них ощущение зубной боли.

Ярославщина – край особый. Здесь никогда не было никаких нашествий. В отличие от, скажем, Смоленской земли, через которую прокатывалось каждое нашествие, оставляя следы в языке. Здесьнюю губернию только польская интервенция задела краем. Это когда отряд поляков пошёл в Кострому и, как известно, Сусанин завёл их в болото. Будучи закрытым от внешних врагов,

Ярославский край, я бы сказал, был очень самолюбивым и даже самовлюблённым. И было отчего. Здесь существовала своя Красная площадь. Здесь был свой Кремль — монастырь, в котором Мусин-Пушкин нашёл “Слово о полку Игореве”. Здесь был открыт первый в России профессиональный театр, созданный Фёдором Волковым. Здесь начал издаваться первый в России провинциальный журнал “Уединённый пошехонец”, благодаря указу Екатерины II и стараниям наместника. Я уже не говорю о том, что в Ярославле и области была высокоразвитая промышленность. И потому в Ярославль, как, скажем, в Москву из других городов страны рвались люди, так и здесь многие мечтали всеми правдами и неправдами из районов области перебраться в областной центр. Особенно журналисты. Работая в районных газетах с их, в лучшем случае, средним уровнем журналистики, эти люди, попадая потом в “Северный рабочий”, привносили с собой и районный стиль, резко отличающийся от стиля многих областных газет. Поэтому, когда меня хвалили, вывешивали материалы на Доске лучших, я видел их “дружелюбные взгляды”. И впоследствии эти серые, тусклые, но агрессивные в своём убожестве “коллеги по случаю”, постарались отомстить мне, когда началась моя борьба против несправедливых обвинений.

Разгром

Отдел быта в каждой газете — это кладёзь тем для сатириков и фельетонистов. У одного течёт крыша, у другого разваливается дом, у третьих не работает отопление, четвёртые ездят по разбитой дороге и так далее. Но я не увлекался особенно, по крайней мере старался не увлекаться именно критическими материалами. Писал и о хорошем: о людях интересных, о делах их. Я уверен, что хороших больше, чем плохих. Да и хорошего в жизни, как правило, больше, чем плохого. Правда, смотря в какую эпоху. Нынешнюю эпоху я так оценить не могу.

Я писал фельетоны о том, что плохие бани в Ярославле, о том, что вырубают парк, о том, как ремонтируют дороги зимой и прямо в лужи кладут асфальт, лишь бы деньги списать. Вот так попалась тема, я бы даже сказал, не попалась, а мне её дали, из одного района, где руководители завода стали строить свои дачи из отпускаемых предприятию материалов. Сигнал об этом расследовал областной комитет народного контроля. Факты подтвердились, все виновные признали их. Мне, по сути дела, и проверять не пришлось. В своих объяснительных записках виновники прямо писали: да, мы брали материалы, мы заплатим деньги за них, больше так делать не будем. Я написал фельетон. Факты, изложенные в нём, признал правильными райком партии. Виновные получили взыскания.

Но потом, как мне сказали, на первого секретаря обкома партии Лощенкова вышла то ли его родственница, то ли давняя знакомая, причастная к этой истории, и заявила, будто все герои фельетона не виновны. В областном комитете народного контроля сначала посмеивались над попытками выдать чёрное за белое. Однако увидев желание руководителя области оправдать нужных людей, сменили свою позицию и, как будто не было нескольких папок прежних документов, стали готовить новые. Чтобы доказывать, будто я клеветал невиновных.

Это было тяжкое время. Я ездил на своём “Москвичонке” в пургу по занесённым снегом дорогам области. Мне помогал найти нужные документы отчаянный старик-правдоискатель Леон Саулович. Были сторонники в редакции, однако, к сожалению, дома поддержки не находил. От меня требовали пойти покаяться, чуть ли не на колени встать и просить прощения. Такую позицию, наверно, понять можно. Остаться без работы, по сути, в чужом городе — не радостная перспектива. Понять можно, но принять нельзя. Поэтому, разумеется, для меня это было противоестественно.

Дело вышло на уровень центральной прессы. Собкор “Правды” Зоя Быстрова съездила в Москву в свою редакцию к правдинскому фельетонисту Илье Шатуновскому. Показала материалы и фельетон. Он сказал: “Так тут же всё правильно”. Редактор отдела фельетонов газеты “Известия” Владимир Надин написал справку с приложением всех документов для главного редактора “Известий” Алексеева. Тот прочитал все материалы, фельетон и сказал: “Они же так разворуют всю страну”.

Тем не менее в Ярославле чёрного кобеля, засучив рукава, старательно отмывали добела. Активно толкали колесо несправедного оправдания обиженные мной председатели гор- и райисполкомов. Вносили свою лепту дождавшиеся счастливого часа завистливые коллеги “районного разлива”. Но больше всех, пожалуй, радовался секретарь обкома партии по идеологии Николай Иванович Мялкин, ибо незадолго до моего приезда в Ярославль здесь произошла интересная история, одним из героев которой был как раз Николай Иванович. Там должна была состояться отчётно-выборная областная партийная конференция. На такие конференции всегда приезжал крупный функционер из ЦК партии. А здесь была придворная губерния, да ещё возглавляемая щедрым “царём” Фёдором Ивановичем Лощенковым. Поэтому приехали даже не один, а два солидных партийных туза. Но никто не знал из них, что на этой конференции группа членов бюро обкома партии решила дать бой Лощенкову и попытаться его сместить. Пример Хрущёва, наверное, вдохновлял, да и партийные уставы позволяли такое сделать.

Среди заговорщиков оказались первый секретарь Рыбинского горкома партии, тогдашний председатель областного комитета народного контроля, ряд других членов бюро обкома. Весомым был, конечно, первый секретарь Рыбинского горкома. Его город – второй по численности населения в области, с могучей военной промышленностью, всё время стоял как бы особняком.

Когда началась конференция, оппозиционеры-заговорщики стали выступать. В зале наступила тревожная тишина, ибо такого никогда ещё не было. Оппозиционеры говорили о том, что Лощенков оторвался от масс, что он не знает, как правильно вести партийную работу, что он упускает из виду важные направления хозяйственной деятельности области. И каждый выступающий добавлял свою дозу обвинений. Среди делегатов уже началось немножко волнение. Некоторые засуетились, готовые поднять руку для выступления, чтобы оказаться в числе первых будущих победителей.

Но тут на трибуну вышел редактор газеты “Северный рабочий” Александр Михайлович Иванов, крепкий, коренастый, с крупной головой, на которой дыбом стояли седые курчавые жёсткие волосы. Местный поэт, широко известный в Ярославле такой эпиграммой: “Как увижу ту Галину, сердце бьётся о штанину”, – написал эпиграмму и на Иванова: “Идёт кряжистый, волевой, как будто хочет пукнуть головой”. Иванов был никудышный поэт, его печатали только потому, что он редактор газеты. Зато Александр Михайлович был ловкий царедворец. Он напористо заговорил о том, что критика этих товарищей, которых ему и товарищам трудно называть, огульная и несправедливая. Фёдор Иванович Лощенков – достойный руководитель, он хорошо ведёт область, которая при нём развивается успешно. Ну, и как опытный оратор Иванов разнёс их в пух и прах, называя недостатки у них самих. Оппозиционеры с надеждой смотрели на Николая Ивановича Мялкина, секретаря обкома партии по идеологии, ибо он был их лидером. Он должен был выступить с самыми весомыми обвинениями. Однако Мялкин молчал и пусто глядел куда-то на верх занавеса.

Почему он струсил? А произошло следующее. Незадолго до партконференции Лощенкову пришла анонимка, в которой говорилось о том, что Мялкин за счёт завода “Красный маяк” сделал хороший ремонт своей квартиры и даже вроде бы расписал стены кухни лебедями. Лощенков вызвал его, показал анонимку. Мялкин упал на колени, сказал, что он всё понял и будет дальше исправно продолжать совместную работу. В итоге Лощенков покался, сказал, что он учтёт дружескую критику товарищей, что он допущенные ошибки, если они есть, а они есть, конечно, как у каждого, исправит и будет дальше дружно работать со всей командой. Как вы понимаете, в ближайшее время после партконференции все, кто был оппозиционером, кто был даже близок к ним, потеряли свои места и ушли в небытие. На своём посту остался только Мялкин. Но роль своего идеолога области он потерял. Зато возвысился Александр Михайлович Иванов. Он вообще на Мялкина даже не обращал внимания. Так что-то, если по мелочам надо согласовать, то ради бога.

Я однажды был свидетелем его разговора с Мялкиным по телефону. В номере стоял критический материал о филармонии. Мялкину пожаловался, видимо, директор филармонии, и тот позвонил Иванову, сказал, что материал надо снять. Иванов поблагодарил, а у него это было всегда признаком ярости и гнева, и закричал: “Да пошёл ты...”. И послал его на весь русский алфавит. Один этот факт уже говорил о том, кто кому хозяин.

И тут, пожалуйста, фельетон, который опубликован в газете, и он оказался “клеветническим”. И Мялкину было, конечно, не до ошибки Щепоткина, ему было важно, что ошиблась газета, руководимая Ивановым. И он потирал руки, ожидая, что скоро Иванова удастся скovyрнуть. Но заодно Мялкин с удовольствием и наказал бы, разгромил бы меня. Некоторое время назад в одном из фельетонов, не называя его фамилии, я написал: “Это же вам не кухню расписывать лебедями за счёт завода...” Газету ему, конечно, показали. Узнал он, кто это написал. И поэтому заодно и Иванова, и меня решил растоптать.

Иванов, надо сказать, не зря был виртуозом хамелеонства. Он объявил, что я его обманул, хотя он читал и документы, и фельетон ещё до публикации, что я подвёл газету и такое нельзя безнаказанно оставлять. Мне объявили строгий выговор с занесением в учётную карточку, уволили из редакции. При этом многие, в том числе и близкие люди, по-прежнему требовали, чтобы я покаялся, встал на колени. Я сказал: “Нет, этого не будет ни в коем случае”.

После увольнения я пришёл в сектор печати обкома партии. Заведующим там был Валера Тихонов, который до того работал редактором молодёжной газеты “Юность”. У нас были нормальные отношения, мы были товарищами. Я ему говорю: “Валера, а нет ли места хотя бы где-нибудь в многоотиражной газете?” Он за столом напыжился, даже как бы поднялся ростом и, глядя куда-то мимо меня, сказал: “У нас для вас места нет нигде”. Полгода потом шла моя борьба от инстанции к инстанции в области, от райкома к горкому, от горкома к обкому. Все оставалось по-прежнему. Но когда в газете опубликовали, что я оклеветал людей, что всё это неправда, начались звонки. Люди говорили: “Вячеслав Иванович, мы не верим этому, не может этого быть”. Я говорил: “Не верьте, всё это ложь, всё это брехня”.

После полугода борьбы мне устроили встречу с главным редактором “Правды” Виктором Афанасьевым. И тут весь процесс остановился.

Пошла команда в Ярославский обком партии: всё прекратить и дать журналисту работу. Мялкин, тот самый Мялкин, позвонил председателю телерадиокомитета Герману Баунову и сказал: “Возьми Щепоткина”.

Герман принял меня. У нас были немножко странные отношения. Мы друг друга знали как Гера, Слава, а тут на летучках, на официальных собраниях пришлось говорить с именами и отчествами. Но это, так сказать, пустяки. Мне выдали диктофон, увесистый такой ящик размерами с приличный чемодан. Я его повесил на плечо и поехал в командировку в Любимский район. Выйдя за городишко, в поле записал голоса жаворонков в небе, потом вернулся и начал знакомство с районом с местного краеведческого музея. Они все, как правило, похожи друг на друга. В каждом есть или кусок бивня мамонта, или ещё что-нибудь ископаемое, есть стенды с древними и старыми деньгами. Особенно много их бывает из Екатерининской эпохи. Я ходил от стенда к стенду, смотрел на портреты известных земляков. Портреты были выпучены от времени. Вдруг на одном стенде я увидел слово “Известия”. И остановился. Читаю: “Иван Михайлович Гронский, бывший главный редактор “Известий”. “Известия” оставались для меня всё время дорогой газетой. Тем более незадолго до этого погрома я уже рассматривался в качестве корреспондента газеты во Владивосток. Теперь, конечно, это дело отодвигалось. На сколько? Неизвестно.

Я прочитал на стенде немного об Иване Михайловиче Гронском. Себе сказал: “Надо будет съездить в Москву, поговорить со стариком. Наверное, что-нибудь интересное он расскажет”. Я тогда ещё не знал, что у нас встреч будет много, что я запишу не один разговор с Иваном Михайловичем, что он будет писать мне письма в Казахстан, что потом я подтолкну руководство газеты к тому, чтобы отметили торжественно его 90-летие.

Об этом человеке надо сказать немного подробнее.

Гронский, Маяковский, Алексей Толстой

Настоящая его фамилия Федулов. Родом он из Любимского уезда Ярославской губернии, той губернии, которую я однажды назвал губернией половых и полководцев. Дело в том, что южные уезды тяготели к Москве. И оттуда шли в половые, то есть в официанты, в рестораторы, владельцы трактиров,

причём трактиров не только рядовых типа забегаловок, а элитных. А северные уезды тяготели к Петербургу — к тамошним заводам. И отсюда вышли адмирал Ушаков, генерал Толбухин, другие военные деятели.

Отец Ивана Михайловича, как многие, побывав один, второй, третий раз на заработках в Питере, остался там. Ввязался в революционную борьбу, вступил в партию эсеров-максималистов. Через некоторое время туда приехал и сын, который тоже начал потихоньку втягиваться в революционные дела, тоже вступил в партию эсеров-максималистов, которую покинул в 1918 году, вступив в большевистскую партию. Во время Первой мировой войны Иван Михайлович воевал, был на фронте, за храбрость награждён Георгиевским крестом. Но при этом уже активно вёл пропаганду в войсках, был председателем солдатского комитета. После революции, по его словам, не раз встречался с Лениным. Тот первый раз направил его в Курскую губернию, потом в Коломну. Кстати говоря, в начале 30-х годов популярность Гронского была такой, что его именем называли колхоз в Курской области и стадион в Коломне. Даже остров в архипелаге Новая Земля имел имя Гронского. Но это до того, как его репрессировали.

В начале 20-х годов он поступил в институт красной профессуры, после которого был направлен в “Известия” заместителем главного редактора Скворцова-Степанова. Когда тот умер, Гронский занял его место. И вёл дело так, что, по его словам, Сталин чаще ориентировался на “Известия” Гронского, чем на “Правду” Радека. Ну, Радек был ещё тот фрукт, ещё та корявая фигура. Я в повести “Разговор по душам с товарищем Сталиным” приводил такой факт. После революции возникло движение “Долой стыд!” Радек активнейше поддержал его и даже лично участвовал в акциях. Однажды он возглавил на Красной площади 10-тысячную колонну абсолютно голых комсомольцев и комсомолок. Эти обнажённые мужчины и женщины несли над колонной транспарант “Долой стыд!” Впереди шёл не отличающийся от других Радек. Судьба этого скверного человечка, по свидетельству современников, вороватого, скользкого, оказалась незавидной. В “Известиях” Гронский встречался со многими известными в ту пору людьми и с людьми, набирающими известность. А за пределами газеты он имел поручения от ЦК ВКП(б) быть как бы связным между руководителями партии и творческой интеллигенцией. Поэтому в его квартире постоянно собирались писатели, художники, артисты. Вот так он часто встречался с Маяковским.

Маяковский писал об “Известиях”: “Люблю Кузнецкий, простите грешного, потом Петровку, потом Столешников. По ним в году раз сто иль двести я ходил из “Известий” и в “Известия”.

Гронский спрашивал меня: “Ну, как Вы думаете, к кому он мог ходить столько раз? Я был главным редактором, у меня был заместитель, который занимался другими делами. Мы часто с Маяковским беседовали, гуляли. И он мне читал новые стихи. Говорили с Маяковским о жизни”.

В одну из таких встреч с Гронским, когда я приехал к нему в Москву, Иван Михайлович мне рассказал о причине самоубийства Маяковского. Я до того, кстати говоря, и не слышал об этом.

Лиля Брик, злая фурия Маяковского, которая организовала тройственный любовный союз, или треугольник — её муж, Владимир Маяковский и она, — очень не хотела отпускать поэта. Они в общем-то жили за его счёт. Однако её родная сестра Эльза Триоле, которая жила во Франции, однажды познакомилась Маяковского с находившейся там российской женщиной Татьяной Яковлевой. Это была красивая молодая женщина, любимица модельера Кристиана Диора, поскольку демонстрировала созданные им наряды. И Яковлева, и Маяковский, по словам Ивана Михайловича, “прониклись друг к другу чувствами”. Проще говоря, понравились друг другу. А Маяковский влюбился в неё. Говорят, когда они входили в какое-нибудь кафе, люди не могли сдержать восторженных улыбок — настолько это была красивая пара.

Но Маяковский, пробыв в Париже около месяца, должен был уехать в Советский Союз. Уезжая, он оставил в цветочной лавке большую сумму денег, чтобы его любимой, пока его нет, каждый день приносили цветы.

Через некоторое время стал собираться в Париж, чтобы встретиться с Татьяной Яковлевой и жениться на ней. Однако, по некоторым сведениям, “треугольная” дама Лиля Брик сделала всё, чтобы поэту не разрешили выехать — кормушка-то могла закрыться.

А пока его не было, Татьяна увлеклась молодым французским бароном и согласилась выйти за него замуж. В тот день, на который была назначена в Париже свадьба, Маяковский в Москве застрелился.

Кроме Маяковского Иван Михайлович и прятельствовал, и официальные имел контакты со многими другими литераторами. Он мне рассказывал историю создания романа “Пётр Первый”.

В конце 20-х годов, по-моему, в 1928-м Алексей Толстой написал пьесу “На дыбе”. Это о Петре Первом и о его времени. Гронский говорит: я посмотрел её и был возмущён. При первой же встрече с Толстым он ему высказал: “Вы неверно трактовали образ Петра. Вы показали его разрушителем, человеком, который кромсает, всё ломает, убивает всех, а на самом деле он был преобразователем. И его деяния, конечно, никак не укладываются в понятие “На дыбе”, которое Вы дали пьесе. Он не на дыбу поднял Россию, он поднял её к новым высотам. Поэтому, наверное, надо бы написать другую вещь. Напишите роман”.

Через некоторое время, как говорил Гронский, появился роман “Пётр Первый”. В нём царь выглядит уже совсем другим государственным деятелем.

Уже работая в “Известиях”, в Казахстане, я получал от него письма. Почерк ровный, но немного буквы как бы дрожачие.

“Уважаемый Вячеслав Иванович! Прочитал Вашу статью на месте передовой. (А мы тогда ввели рубрику “Заметки публициста”.) Очень хорошо. Это говорит о том, что Вы – ведущий журналист газеты”. И так было несколько раз.

В 1984 году, когда приближалось его 90-летие, я позвонил в редакцию и сказал: “Ребята, надо бы отметить юбилей Гронского. Всё-таки это был один из первых руководителей нашей газеты”. Кстати говоря, однажды в разговоре за чашкой кофе во время моего очередного приезда в Москву я высказал такую мысль: почему бы нам не повесить портреты всех главных редакторов “Известий” там, где кабинеты руководителей газеты, в коридоре. У нас столовая и буфет были на втором этаже – его я назвал “кормным”. А на третьем – все кабинеты руководителей. Это, по моему определению, “кормчий” этаж. Вот там я и предлагал повесить портреты. Время прошло – идея была реализована.

А насчёт юбилея Гронского – тоже получилось, и неплохо. Ивана Михайловича пригласили в “Известия” – привезли на машине главного редактора. Сделали ему пышный приём в честь 90-летия и подарили специально выпущенный номер газеты с поздравлениями знаменитых журналистов. В том числе, “известинцев” разных поколений.

Репортажи со свалки

На радио я пробыл недолго. Уж если сослали, то надо выбирать что-нибудь более подходящее душе. Я стал поворачиваться к телевидению. Когда я приехал первый раз в Ярославль и мне отказал Иванов в приёме в газету, я пошёл на местное телевидение. Работавшие там люди говорят: ну, попробуйте, сделайте что-нибудь, чтобы мы знали, на что вы способны. Мне дали кандидатуру для передачи. Это был Герой Советского Союза, получивший звание за форсирование Днепра. Я с ним встретился не один раз, записал на диктофон его рассказ. Сам изложил часть его истории. Написал песню. В передаче её сам исполнил под гитару. И, как мне сказали, передача получилась неплохая. Однако руководитель областного телерадиокомитета связался с Ивановым, и тот рассказал ему о причинах отказа мне. Дело в том, что между Ивановым и Подлипским шла ожесточённая война. И редактор решил, что приветивший молодого способного сотрудника Подлипский усилит свои позиции в этой войне. Естественно, что редактор газеты и глава телерадиокомитета были единомышленниками. Поэтому и на телевидение меня тоже не пустили.

Теперь я уже был с другим именем, с другими возможностями, но после фельетона снова отверженным. Тем не менее я работал уже официально в телерадиокомитете и начал прибывать к телевидению. Местное телевидение вещало всего час времени. Это был промежуток времени и для информации, и для различного рода передач – экономических, культурных, каких-то

событийных. Я стал делать сюжеты и тут же приглядываться быстро к работе профессионалов этого дела. И с удивлением заметил, как я потом говорил, что тут они все гении. Осветитель – гений, оператор – гений, ассистент режиссёра – гений, помощница режиссёра – гений, а режиссёр – вообще гений. Словом, куда ни глянь – одни гении. Я встал на место оператора, за камеру, посмотрел, что и как. Изучил, как записывается звук. Поработал на монтаже, попробовал сам склеивать плёнку. Короче говоря, прошёл все этапы. Теперь я знал, что и как делается и примерный уровень мастерства каждого “гения”. Поэтому в полушутливом тоне заявил: я за демократию, но когда она у меня в кулаке.

Это был скорее придуманный красивый лозунг, нежели руководство к действию. Наоборот, я готов был спорить и убеждать, отстаивая свою точку зрения.

Постепенно от сюжетов стал переходить к целым передачам. А программы шли тогда не в записи, а в прямом эфире. Как это было трудно, я понял позднее, когда мы стали передачи записывать. И вот сидит группа сотрудников, тут же – приглашённые участники передачи; смотрим, что получилось, и я, к стыду своему, чувствую, что засыпаю в кресле от усталости.

В то время стал популярным призыв “Экономика должна быть экономной”. Ну, это, конечно, немного звучит странно, хотя для советского времени, может быть, было и нормально, ибо не было ни хозяев, ни богатства, ни собственности у них. Положение довольно иронично отражал слоган: “Всё вокруг колхозное, всё вокруг моё”. Это означало, что ничьё. Отсюда шла бесхозяйственность. И власти озаботились такой “неэкономной экономикой”. Мне приходилось основательно знакомиться с делами того или иного предприятия, которое я собирался показать и какие-то моменты покритиковать, не согласиться с руководством завода или комбината. Помню, не раз удавалось убедить руководителей предприятий в том, что происходящее у них неправильно и его нужно менять. И некоторые мои коллеги удивлялись, как это может быть такое? В прямом эфире директор завода говорит: “Да, Вы правы, вот здесь у нас плохо, и мы это изменим”.

Однажды наше внимание привлекла свалка разных отходов. Сначала кто-то подсказал, потом пришло письмо о том, что на городскую свалку выбрасывается много добра. Я поехал туда со съёмочной группой. То, что мы увидели, нас поразило. Лежали ящики с шоколадом, даже не распечатанным. Валялись большие коробки с банками краски. Грудилось много других ценных вещей. А в магазинах не всё можно было найти.

Я показал и прокомментиrowал увиденное в первом репортаже. На следующей неделе мы снова поехали туда, и снова репортаж с этой же свалки.

Надо сказать, передача вызвала большой интерес у зрителей. Местное телевидение вообще в почёте у людей того или иного региона. Знакомые адреса, знакомые заводы, знакомые улицы. Все смотрят этот час. Что такое час? Посидел, посмотрел, что-то узнал интересное. А тут, пожалуста, такое разгильдяйство, такое разбазаривание, когда в магазинах не всегда купишь ту же краску. Шум поднялся необыкновенный. Как мне потом сказали, передачу, видимо, вторую передачу, потому что она была анонсирована, посмотрел первый секретарь обкома партии Лощенков. И говорят, в гневе воскликнул: “Опять этот Щепоткин! Да ещё с бородой!” Лощенков терпеть не мог бородатых, считал их анархистами, от которых все беды и неприятности. А я к тому времени отпустил бороду, ну, не лопатой, а так, бородёнку.

Я решил, что самое лёгкое – это сбрить бороду. А реакция его мне напомнила ту, про которую рассказывали раньше, когда он прочитал мой фельетон “Идите в баню!”. Говорят, Фёдор Иванович долго не мог найти на селекторном телефоне нужную кнопку, чтобы вызвать начальника областного коммунального хозяйства. Наконец, нашёл и закричал: “Это что, правильно Щепоткин пишет, что в баню к нам без резиновых сапог не зайти, что там может штукатурка обрушиться на головы?” Ну, начальник мямлил-мямлил что-то... Дело стало меняться. Начали основательный ремонт. Теперь вот открыл глаза на свалки. Изменилось там что-нибудь, не знаю. Скорее всего – ничего, потому что проблема свалок разрослась к нынешнему времени в проблему государственную.

А я вскоре из Ярославля уехал. Меня назначили корреспондентом “Известий” в Казахстан.

Глава 4

Имя Святого возвращается на свое законное место

Работая в Ярославле, я довольно часто бывал в Москве. Оттуда отправлялся с друзьями на рыбалку в Астраханскую и Волгоградскую области, на охоту в Московскую область, Тверскую, Владимирскую. Через Москву ездил на Северный Кавказ и на свою родину в Волгоград на машине. И дорога всё время проходила через город Загорск. Городок компактный, не очень большой, хотя в Загорском районе было довольно много крупных предприятий, в том числе военно-промышленного комплекса. И населения в районе было под четверть миллиона. По европейским меркам это крупный город.

Проезжая через Загорск, я, да и многие люди, думали: вот как удачно назвали. Потому что примерно после середины пути дорога начинала нырять и подниматься на холмы, нырять и подниматься. То есть едешь как будто по горам. Не крутые горы, небольшие, но тем не менее спуски, подъёмы. И вот, думаю, как раз за горами появляется городок. Лишь потом узнал, что это Клинско-Дмитровская гряда, часть Московской возвышенности. Длина её где-то 200 километров, ширина 40 километров. Начинается, естественно, в Клинском районе, проходит через Дмитровский, юг Ярославской области, через Сергиево-Посадский район Московской области и заканчивается на Владимирском ополке. И тогда же мне стало известно, что город назван совсем не из-за гор. Назван он в честь революционера Владимира Михайловича Загорского. Я не слышал раньше о нём, поэтому стал интересоваться, кто такой?

Настоящая его фамилия Лубоцкий Вольф Миселевич. Оказалось, что этот человек к городу нынешнему — Загорску — не имеет никакого отношения. Он даже не был здесь. Родился и вырос в Нижнем Новгороде, дружил с Яковом Свердловым, вместе вступили в революционную борьбу. Причём, если Свердлов довольно активно, то этот — так себе. Рано эмигрировал за границу и больше жил там, чем в России.

А город назывался издавна Сергиев Посад. Такое имя за ним было закреплено реформой Екатерины II, когда она утверждала губернии, города, местничества. Хотя и до этого он был Сергиевым Посадом. Назван по имени Святого Сергия Радонежского — основателя одного из первых русских монастырей, из которого вырос духовный центр России, знаменитая Троице-Сергиева лавра. Сергей Радонежский был значительной фигурой в русской истории. Именно к нему приезжал московский князь Дмитрий Иванович, впоследствии названный Донским, за благословением на битву с татарами, которые в очередной раз двинулись на Русь. Это было в 1380 году. Сергей не только благословил князя на святое, как он сказал, дело. Он дал ему двух монахов — Александра Пересвета, который был боярского рода, и Родиона Ослябю. Войска русских и татар встретились на Куликовом поле. Как тогда полагалось, перед началом битвы первыми вступали в схватку по одному богатырю от каждого войска. От русских выступил Пересвет. Он сразился с татарским богатырём Челубеем. Они убили друг друга. Но жертва Пересвета была не напрасной — русские в Куликовской битве победили.

Кстати говоря, сегодня в Сергиево-Посадском районе имя монаха-героя увековечено. Здесь есть город Пересвет, который раньше назывался Новостройка. Ну, прежде такое встречалось повсеместно. Вроде для того, чтобы уберечь населённые пункты с предприятиями ВПК от иностранных разведок, их называли то Новостройкой, то Фермой-3, то Фермой-5 и другими подобными именами.

Сергий Радонежский известен в нашей истории ещё и тем, что был активным сторонником собирания разрозненных русских княжеств под одним, скажем так, “крылом”. Каждый владетель удельного княжества жил обособленно. Нередко сосед воевал с соседом, а то и брат с братом. Когда же возникла серьёзная внешняя опасность, они не смогли противостоять ей. Каждого захватывали поодиночке.

Сергий раньше других понял, что спасение Руси — в ликвидации удельной разрозненности. Ещё в 1365 году, когда суздальский князь Борис захватил Нижний Новгород, принадлежавший его старшему брату, Сергий Радонежский взялся за восстановление порядка. А какое у него было “оружие”? Слово. Оно не раз приводило к нужным результатам. Он стал убеждать Бориса

вернуть город и помириться с братом. Тот заартачился: мол, кто ты есть, чтобы я слушал твои советы? Старец из монастыря?

Тогда Сергей Радонежский впервые применил, скажем по-нынешнему, “мягкую силу”. Утром князь проснулся от непривычной тишины. Ни один колокол в церквях не звонил. По просьбе Сергия Радонежского храмы были закрыты. Зловещая тишина испугала князя. Он понял, что надо послушать советов старца. Мир был восстановлен, Нижний Новгород возвращён брату.

Также в 1385 году он усмирлял князей Олега Рязанского и Дмитрия Ивановича Донского. Пешком отправился из Москвы в Рязань, а ему уже было много лет. И, как говорит летопись, мудрым, добрым словом Сергей убедил воинственного Олега Рязанского стать союзником московского князя Дмитрия Ивановича.

А объединение русских земель Сергей видел только вокруг Москвы, которая становилась всё влиятельней и мощнее. Его идеи, как показало время, оказались жизненными.

Но вернёмся к названию города. Вокруг основанного Сергием монастыря начали селиться люди. Поселения разрастались, соединялись. Со временем стали называться Сергиев Посад. Это название, уже города, как я говорил, утвердила Екатерина II. И с таким именем он жил до 1919 года, когда большевики, ломая всё, что было до них, убрали из названия слово “Посад”. Город стал просто Сергиев.

А в 1930 году сняли и историческое имя Святого. Назвали Загорском. Вроде как по просьбам трудящихся. Какие трудящиеся могли знать и помнить мимолётное имя случайного для истории человека? Чем он прославился? Что сделал значительного, да хотя бы просто заметного для страны и города, которому дали его партийный псевдоним?

Загорский, как уже говорилось, был близким приятелем и активным соратником одного из самых жестоких и кровожадных деятелей российской революции Якова Свердлова. Именно Свердлов, как сообщали разные источники, стоял за убийством царской семьи. Именно он подписал документы, на основании которых были уничтожены миллионы людей. Сначала – об объявлении “Красного террора” за покушение на Ленина некоей эсерки Фанни Каплан. Хотя с самим покушением было много мутного и загадочного – слепая террористка могла различать только силуэты людей и не подходила для прицельной стрельбы в конкретного человека. Однако Свердлов немедленно объявил, что не сомневается в её виновности. Каплан тут же в Кремле расстреляли, тело, облив бензином, засунули в смоляную бочку и сожгли. Чтобы никаких следов. А Свердлов, одетый, по словам Троцкого, с ног до головы в чёрную кожу: сапоги, штаны, куртка, фуражка, сразу занял ленинский кабинет, стал подписывать за Ленина документы и никого к этому не подпускал. Видимо, не без оснований появились подозрения, что он хотел отнять власть у вождя.

Считается, что в новейшей истории два народа подверглись массовому истреблению. Это – евреи и армяне. Разные историки, в том числе еврейские, называют различные цифры уничтоженных гитлеровцами евреев. Некоторые – меньше общепринятой. Однако за основу принята цифра около 6 миллионов. Это большая трагедия для народа, который назвал такое истребление Холокостом – то есть Всесожжением, Катастрофой.

Точное количество армянских жизней, унесённых геноцидом, тоже подсчитать не удаётся. Говорят, этому противилась и противится до сих пор Турция. В ходу цифра около полутора миллионов.

Но есть ещё один народ, или, если хотите, часть народа, который подвергся такому массовому и зверскому уничтожению по указанию тогдашней власти, что у тех, кто соприкасается с описанными фактами, как говорится, кровь стынет в жилах. Это многонациональное российское казачество, основная масса которого – русские. “Казачи, – говорил Троцкий, – единственная часть русской нации, способная к самоорганизации”. И вот эту пассионарную часть приказал уничтожить Свердлов. 24 января 1919 года Оргбюро ЦК партии большевиков приняло директиву, подписанную Свердловым, которую сразу называли “Декретом о расказачивании”. Она начиналась так:

“Учитывая опыт года гражданской войны с казачеством, признать единственно правильной самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путём поголовного их истребления. Никакие компромиссы, никакая половинчатость пути недопустимы. Поэтому необходимо:

провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно; провести беспощадный массовый террор ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с советской властью.

К среднему казачеству необходимо применять все те меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток с его стороны новых выступлений против советской власти”.

Директива, кроме того, предписывала реквизицию хлеба и вообще всех сельскохозяйственных продуктов, а также скота, лошадей. Таким образом те, кто уцелел от расстрелов, от сжигания в домах станиц и хуторов, обрекались на неминуемую голодную смерть.

Впрочем, таких “счастливых” было немного. По свидетельствам оставшихся в живых, расстреливали без суда и следствия за всё подряд. Если нашли не сданное оружие – расстрел владельца и родственников за то, что не донесли. Дом сжигали. Если нашли припрятанный хлеб – расстрел. Как свидетельствуют остатки сообщений, ещё встречающиеся в интернете, в день расстреливали в станицах по 60–80 человек. Почему я говорю “ещё встречающиеся в интернете”, потому что идёт планомерное переписывание истории путём её подчистки. Лет 35–40 назад можно было встретить немало доступных свидетельств о “Казачьем Холокосте”, как назвали “расказачивание” и его жуткие результаты историки. Теперь – редкие упоминания. Зато всё активнее внедряется благостная цифирь, в десятки раз, а то и больше, искажающая в сторону уменьшения масштабы “казачьей Катастрофы”. Их авторы говорят, что никакого расказачивания и “поголовного истребления” не было, что это, по мнению историка Л. Футорянского, “просто фантастика”.

Но тогда обратимся к цифрам. В 1916 году в 11 казачьих войсках России и нескольких отдельных полках было 6 миллионов 281 тысяча казаков. Из них в войске Донском – 1 миллион 495 тысяч, в Кубанском – 1 миллион 367 тысяч, оренбургских казаков – 533 тысячи, забайкальских – 265 тысяч, терских – 255 тысяч, сибирских – 172 тысячи, уральских – 166 тысяч. А там ещё казаки семиреченские, астраханские, енисейские, амурские...

За первые четыре года “расказачивания” донских и кубанских стало меньше в два раза, оренбургских – в два с лишним раза, уральские казаки были уничтожены почти полностью, их осталось 10 процентов, число терских казаков сократилось на 60 с лишним процентов. В других войсках осталось в лучшем случае не больше 25 процентов.

В результате складываются страшные цифры. Одни называют два с лишним миллиона. Другие – до четырёх. Больше армянского геноцида!

В новой работе Станислава Куняева “К предательству таинственная страсть”, которую он публикует в журнале “Наш современник”, во 2-м номере за 2021 год приводятся цифры и факты из книги знаменитого советского математика и публициста Игоря Шафаревича “Трёхтысячелетняя загадка”. Цитируя директиву Свердлова о расказачивании, Шафаревич пишет: “Все эти меры энергично осуществлялись, о чём есть много свидетельств. Проходили массовые расстрелы. В итоге расказачивания численность донских казаков сократилась с четырёх с половиной миллионов до двух миллионов. Результатом в марте 1919 года стало Верхне-донское восстание. В борьбе с ним Реввоенсовет 8-й армии указывал:

“Уничтожены должны быть все, кто имеет хоть какое-то отношение к восстанию и противосоветской агитации, не останавливаясь перед процентным уничтожением населения станиц, даже без ограничения пола и возраста.

Подписи:

Реввоенсовет 8-й армии

Якир, Весник”.

Значит, уничтожать женщин, стариков, детей? Невольно задумаешься: не Божье ли наказание настигло многих из этих нелюдей во время так называемого “Большого террора”?

Я не знаю, откуда Игорь Ростиславович Шафаревич взял приведённые им цифры. Вполне вероятно, он имел в виду численность всего казачьего населения донской области, где карателям было приказано при проведении репрессий не считаться ни с полом, ни с возрастом жертв.

А я взял сведения из работы исследователя Ильи Рябцева, который приводит первоначальную численность чисто казачьих войск и что от них осталось.

А какое же количество казачьих жертв называет историк Леонид Футорянский? За вторую половину 1918 года, когда начался объявленный Свердловым “красный террор”, и за следующий год, открытый его же директивой о расказачивании, число расстрелянных красными на территории Войска Донского, Кубанского и на Ставрополье составило 5598 человек. Из них на Дону расстреляно “всего-навсего” 3442 человека. Однако и эти цифры Футорянский считает преувеличенными, потому что, дескать, они не имеют документального подтверждения.

Документов на этот счёт, действительно, не хватает. Но по одной, главной причине: весь террор творился без суда и следствия. То есть без документального оформления. Да и какие документы могут быть, когда в станицу или на хутор врывается банда карателей и мародёров? Только изустные рассказы очевидцев о неописуемых зверствах на казачьей земле. О том, как старику, назвавшему карателей мародёрами, вырезали язык, прибили гвоздями к подбородку и так водили по хутору, пока он не умер. Или как священника в станичной церкви “венчали” с кобылой, а потом “вусмерть пьяные” заставили попадью и священника плясать перед этой бандой. Или о гибели сотен девушек-казачек, которых забрали для рытья окопов, изнасиловали, а когда к станице приближались восставшие казаки, расстреляли перед окопами.

Слова директивы о “поголовном истреблении” трудно отнести к лексикону нормальных людей. Это больше подходит к речам немецких фашистов, их идеологов и палачей, требовавших поголовного истребления разных “недочеловеков”.

Тем не менее отношение Свердлова к казакам не было исключением для высших представителей тогдашней власти. Троцкий считал, что казаки — это “зоологическая среда, и не более того”. Первый советский главком Иоахим Вацетис, который командовал Красной армией с сентября 1918 года по июль 1919-го, сразу после принятия свердловской директивы писал в “Известиях”: “Мы будем совершенно правы, если скажем, что нет более в мире такого исторического суррогата, как казачество. А донское в особенности... Особенно рельефно бросается в глаза дикий вид казака, его отсталость от приличного вида культурного человека западной полосы, — писал латыш Вацетис. — У казачества нет заслуг перед русским народом и государством. У казачества есть заслуги лишь перед тёмными силами русизма. По своей военной подготовке казачество не отличалось способностью к полезным боевым действиям”.

И это говорил сам недавний инородец Вацетис, по сути дела, оспаривая высказывание великого Льва Толстого о том, что “казаки создали Россию”.

Но вернёмся к активному соратнику Свердлова Загорскому, который, надо полагать, относился к казакам так же, как автор директивы о расказачивании. Последние годы эмиграции он жил в Германии. Там был интернирован. Когда произошла Февральская революция, освобождён и первым бросился срывать флаг Российской империи с русского посольства. После Октябрьской революции, или, как её долго называли, октябрьского переворота, был назначен представителем советской России в Германии, то есть послом.

В 1918 году дела у большевиков были крайне плохие. Мне Иван Михайлович Гронский рассказывал, что от партии большевистской откачнулись сотни тысяч рабочих из-за жестокости лидеров и проводимой ею политики. Партия скукожилась и вся дрожала. Многие, и не только в народе, думали, что власть большевиков кончается. И не зря. Лидеры революции уже готовились бежать. Тем более, что многим из них было где скрыться. Родственник того же Троцкого (Бронштейна), американский банкир, снабдивший Льва Давидовича крупной суммой денег для организации в России революции, приютил бы, конечно, Троцкого в случае грозившей тому опасности. И другие нашли бы куда убежать, ибо какое подполье в залитой кровью России, когда жестокость этих людей узнали миллионы! Поэтому партии нужен был каждый поддерживающий её человек. Особенно на руководящей должности. По предложению Свердлова Загорский был кооптирован, даже не избран, как полагалось, а просто назначен секретарём Московского горкома партии. Причём, у Ленина было правило: когда кто-то кого-то рекомендовал, он спрашивал: знаете ли вы его лично? Ну, Свердлову что было говорить? Конечно, он знал Загорского лично. Таким образом, тот в июле 1918 года стал первым секретарём МГК. А в сентябре 1919 года анархисты бросили бомбу в помещение, где шло заседание Московского горкома партии.

Прошло 11 лет, и в 1930 году вдруг какие-то “трудящиеся” вспомнили Загорского. Всё это, как любит говорить нынешний известный политик, чушь собачья. Спросите сегодня, кто возглавлял правительство России лет 20 назад. Не горком, а правительство страны! Дай Бог, чтобы из тысячи вспомнил один. А в то бурное время имена мелькали, как карты в руках у шулера. Поэтому “трудящихся”-переименователей надо искать в московской партийной верхушке. Именно эти люди решили увековечить имя своего человека, убрав даже упоминание о Святом Сергии Радонежском. Одно имя заменило другое. Только величины в истории российской несравнимые. Муха и слон.

Когда я всё это узнал, то написал и опубликовал в “Известиях” в 1986 году статью “Истории единая река”. В ней шла речь о необходимости уважать историю страны. Я говорил о том, что у многих народов является традицией бережно относиться к своему прошлому, сохранять имена выдающихся людей не только в печатно-изустной памяти, но и в названиях, какие бы ни происходили социально-политические изменения. И только у нас был период, когда прошлому была объявлена война на его полное уничтожение. Я имел в виду начавшееся после революции повальное переименование городов и посёлков, присвоение заводам и фабрикам имён людей, которых вскоре никто не мог вспомнить, типа Сакко и Ванцетти, Клары Цеткин и Розы Люксембург. В то время ещё нельзя было критически написать (1986 год!) о непомерно раздутым желанием вождей революции оставить свои имена в названиях городов. Так, знаменитую Гатчину в 1923 году называли Троцком, был город Зиновьевск, потом старинную Самару переименовали в Куйбышев, ещё более древнюю Тверь – в Калинин. И уж совсем недопустимо было, после хрущёвской лжи о том, что Сталин “воевал по глобусу”, что угрозами заставил переименовать Царицын в Сталинград, приводить другие сведения. А они были. Причём, абсолютно опровергающие ложь.

Весной и летом 1918 года советская власть в России, как известно, висела на волоске. Кольцо фронтов сжимало центр страны, отрезав его от продовольственных и энергетических районов. Войска генерала Краснова подходили к Царицыну. Взяв его, белые получали стратегический плацдарм для наступления на Москву и окончательного удушения советской власти. Сталин так организовал оборону города, что он стал неприступным.

Одним из участников обороны Царицына был Сергей Константинович Минин, член большевистской партии с 1905 года. Когда покатилась волна переименований, Минин работал ректором Коммунистического университета. Недолго размышляя, он в 1924 году предложил Царицынскому губкому партии переименовать город в Мининград. На том основании, что и в обороне Царицына участвовал, и был уроженцем здешних мест. Однако губком предложение самовыдвиженца не поддержал. Вместо этого решил назвать город Сталинградом.

Это предложение, как сообщает в “Военно-историческом журнале” автор статьи под ником “Суровый Енот” (вот уж безобразие: скорее всего, приличный человек, а прячется, как трус, под какой-то собачьей кличкой!), вызвало бурный энтузиазм. Сталину послали приглашение приехать на съезд Советов местных депутатов, чтобы на нём объявить о переименовании города. Но Сталин не поехал. В рассекреченном ответе секретарю губкома партии Борису Шеболдаеву от 21 января 1925 года Сталин сказал: “Я не добивался и не добиваюсь переименования Царицына в Сталинград. Дело это начато без меня и помимо меня”. Как пишет автор статьи, Сталин посоветовал царицынским коммунистам переименовать город в Мининград. “Либо, если уж слишком раззвонили насчёт Сталинграда, то не втягивайте меня в это дело и не требуйте моего присутствия на съезде Советов”. Сталин не хотел, чтобы у народа создалось впечатление, что это он добивается переименования города в свою честь.

Эпизод, надо сказать, характерный для Сталина. Когда заканчивалось строительство нового высотного здания Московского университета, угодники типа Хрущёва и ему подобных (помните подпись под телеграммой Сталину первого секретаря ЦК Компартии Украины с просьбой разрешить увеличить число “врагов народа”, количество которых резко сокращает Центр: “Любящий Вас Хрущёв?”), так вот, холуи настойчиво предлагали назвать университет именем Сталина. Но тот резко отказался. “У нас есть великий русский учёный Михаил Васильевич Ломоносов. Его имя должен носить университет”.

Конечно, что-то я тогда не знал, что-то не пропустила бы цензура: она ещё неколебимо стояла на идеологическом посту. Но через некоторое время я снова обратился к теме Загорска.

Не могу сказать, что только мои публикации привели в движение силы, очень недовольные тем, что именем случайного человека в названии города вытолкнули имя того, кто этот город, по сути дела, основал. А среди этих сил было много достойных людей. Таких, как знаменитый скульптор Вячеслав Клыков, автор памятника Сергию Радонежскому, известный тележурналист Александр Крутов, депутаты Загорского городского Совета. Но газетные публикации усилили их позиции. В начале осени 1991 года в Загорском городском Совете народных депутатов окончательно вызрела идея о переименовании города. Вопрос был только в одном: каким способом это сделать? Референдумом или решением народных депутатов? Выбрали второй вариант. 2 сентября 1991 года на сессии городского Совета разгорелась дискуссия. “Станем ли мы культурней и духовней, если изменим имя города?” (депутат Баскаков), “Если не будем уважать историю, не будем глядеть в будущее с оптимизмом. Человек без памяти, что перекасти-поле” (депутат Резухин), “Мы решаем чисто нравственный вопрос. Революционный зуд – это не то, что совершается сейчас, а то, что произошло в 30-м году. Если примем это решение, положим ему конец. Когда-то надо извиняться” (депутат Ольбинский).

При поимённом голосовании: “за” – 82, 25 – “против”, 12 воздержалось – депутаты Совета вернули городу его исконное имя: Сергиев Посад. Имя Святого Сергия Радонежского. А 23 сентября Президиум Верховного Совета РСФСР утвердил этот факт.

Примечательно, что тем же решением верховной власти России с карты страны было стёрто имя Свердлова из названия столицы Урала. Свердловск снова стал Екатеринбургом. К сожалению, оно, осталось в наименовании области, породив двусмысленность и напоминание о кровавом геноциде.

(Продолжение следует)

АЛЕКСЕЙ ШОРОХОВ

РУССКИЙ ХОРОВОД ПОСРЕДИ ВСЕМИРНОГО КАРНАВАЛА

На 82-м году жизни ушёл Сергей Андреевич Небольсин

*Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман...*

А. С. Пушкин

Пушкин — наше всё...

А. Г. Григорьев

Почему все великие русские филологи, которых забрал неумолимый последний год, — происходили именно из Пушкина? Фёдоров, Небольсин?.. А незадолго до них — Палиевский, называвший Пушкина “золотым сечением русской жизни”?

А до них — Достоевский, сказавший о “всемирной отзывчивости” нашего поэта, которую тот наиболее полно “разделил” с народом своим? А до автора “Братьев Карамазовых” — Белинский и Гоголь, увидевший Пушкина “русским человеком в его развитии через 200 лет”? А после них — Блок. А с ним Ходасевич, призывавший “перекликаться именем Пушкина в наступившей темноте”?

Почему, наконец, скромный автор антологии грузинской поэзии начала XX века, впоследствии всесильный вождь народов Советской России Сталин именно Пушкиным скрепляет единство молодого государства накануне величайшей мировой войны в переломном 1937 году? А священномученик Павел Флоренский, расстрелянный в том же 1937 году, уже буквально из могилы благословляет это “возвращение Пушкина” как спасительное для русского народа?

Я думаю, что не банальный ответ на этот вопрос содержится и в формуле Аполлона Григорьева, и в связанном с Пушкиным русском торжестве позапрошлого века, которое Поль Валери назвал “одним из трёх чудес мировой истории: Эллада, итальянский Ренессанс и Россия XIX века”. Здесь же и XX век, который по праву сегодня называют во всём мире “русским”: Шолохов и Есенин, Победа во Второй Мировой войне и полёт Гагарина, спорт и кинематограф...

Не осталась в стороне от общего русского дела и царица наук, филология. Без имени М. М. Бахтина сегодня, в веке XXI-м, уже непредставимо всемирное филологическое знание. И дело не только в том, что его учение “о полифонии”, “диалоге” и “карнавале” прочно вошло в культурный обиход всего

мыслящего человечества, но и в том, что наиболее плодотворные культурно-исторические оппозиции его учению сами по себе стали едва ли не единственным подлинно новым словом в русской филологии. Мне уже доводилось рассказывать читателям о философско-литературной концепции “Слова как единственного субъекта бытия” ученика и оппонента Бахтина, профессора Донецкого национального университета Владимира Викторовича Фёдорова, в статье, посвящённой его памяти*.

Печальная весть о кончине ещё одного оппонента Бахтина – Сергея Андреевича Небольсина – делает уже необходимым рассказ и о его осмыслении пушкинского пространства единой человеческой культуры, “подлинно народной” в терминологии Небольсина. Что у него одновременно означало – и истинной.

Итак, напомним суть вопроса. Учение М. М. Бахтина “о карнавале” и “амбивалентности” в творчестве Рабле почти мгновенно было изъято западными последователями русского мыслителя из области чисто филологической и перенесено на практически все проявления человеческой культуры, и больше того – социологии, психологии и т. д. в качестве фундаментальных склонностей человеческой природы, которая, явив себя в Масленице и святочных переодеваниях (вариант – венецианском карнавале и средневековом “празднике дураков”), непременно должна заканчиваться “цветными революциями”, майданом и гей-парадом. У С. А. Небольсина можно найти такую оценку этого неуместного “расширения”: “согласно сложившейся филологической практике, бахтинское учение о карнавале стало нередко отождествляться с народной культурой вообще, якобы явленной у Достоевского (Рабле, Гоголя и т. п.), что постоянная у них хорошая, драматичная, трагикомичная, попросту весёлая смена ценностей на противоположные и обратные – “верха” на “низ” с торжеством низа над верхом, с торжеством чрева и чресел над сердцем, разумом, нравственностью, начальством, верой и душой – всё это есть сущность и дух радостного народного воззрения на вещи. Она проявлена в карнавале, в святочном и масленичном гулянье у любого народа. Правда, “Бобок” у Достоевского сводит весьма неприглядные и едва ли народные фигуры и побуждения (их лозунг – “заголимся и обнажимся”). Но корни и здесь, если сильно углубиться, всё же выведут к народности. Что, разве в Содоме и Гоморре проживала не народность?..”**

С. А. Небольсин продолжает: “учение Бахтина о карнавале – “антирепрессивное”, “демократичное”, “еретичное” или ереселюбивое, всемирно-освободительное, раскрепостительное и т. п. – заслуживает пересмотра.

И оно едва ли заслуживает приписывания ему той импозантности и всеобъяснительной силы, которую в нём находят, но которой это учение не имеет.

Да, карнавал вроде бы явление давнее, повсеместно находимое и даже сверхдревнее (содомизмы, дионисийства, вакханалии, сатурналии и т. п.).

И карнавал известным образом “раскрепощает”.

Но скрепляет любую из мировых культур не карнавал. (Любая из мировых культур – это не только культуры “великие” и со всемирным авторитетом. Это культура вообще любого искреннего народа.)

И раскрепостителен карнавал для разных его любителей по-разному.

Какова же разность субъектов карнавала, не позволяющая ему считаться универсальным образом или символом для культуры? Отчасти мы её касались: с одной стороны, русская Масленица, с другой – Санкт-Петербургский “Бобок”.

Но главное, что ведущая и крепящая основа, дух и сущность культуры – это и не карнавал вообще, а хоровод”.

Больше того, карнавал недвусмысленно характеризует именно маргинальность (выключенность из единой народной жизни) его носителей, которая не имеет ничего общего с народной культурой, и отличает, по справедливому замечанию С. А. Небольсина:

1) либо “культуру петербургскую”, определяемую “карнавальным” лозунгом: “заголимся и обнажимся”; культуру, возникшую из “барской зевоты”

* https://zavtra.ru/blogs/filologiya_kak_blagovestvovanie

** Здесь и далее цитирую по “Карнавал или хоровод?” (С. А. Небольсин, “Литературная газета”. 2004. № 31. С. 13).

и “ложной учёности” (по С. А. Клычкову) с её атмосферой переодеваний, обмана и двойничества;

2) либо маргинальную культуру, культуру народного “низа”, отъединённую от здоровой общенародной культуры или сектантством, или специфически узкой и тёмной областью колдовства и чертовщины “с карнавальностью сборища на Лысой Горе”;

3) либо культуру, которая возникает на слиянии первых двух и которую можно условно обозначить, как “капиталистическую” (вспомним роль сектантства и сектантской культуры в возникновении “капиталистического” карнавала. Как пишет исследовательница вопроса Н. М. Михайлова: “В протестантской Европе учёные уже давно обратили внимание на неразрывную связь духа капитализма (духа наживы) с духом протестантских сект.

Одна из работ Макса Вебера, изучавшего протестантскую этику, так и называется – “Протестантские секты и дух капитализма”. Исследований о связи сектантов России с духом наживы не существует, хотя известно: уже ко времени Екатерины II три четверти (75%) русского капитала и большая часть промышленности (Север, Урал) оказались в руках “вечно гонимых” раскольников. Эта доля не уменьшилась, но увеличилась к началу XX столетия...” В русской культуре карнавалу сектантства и нарождающегося капитализма неизменно противопоставляется центральный, на наш взгляд, и определяющий для народной поэтики образ – образ “хоровода”.

Небольсин именно и предлагает постигать сущность подлинно народной культуры через образ хоровода (противопоставляя его бахтинскому карнавалу): “Хоровод, как частность культурного быта, – пишет он, – есть просто круговое движение с общей песней и пляской. Как объяснение “сущности культуры”, это всего лишь образ. Однако ничто лучше и не способно постичь любую сущность, чем образ. Именно поэтому мышление образами, особенно звуковыми, и есть высший вид мышления”.

Небольсин приводит основные “культурообразующие или культурно всеобщезначимые качества” хоровода: “Они составляют прочную и знаменательную совокупность (парадигму). Прежде всего – действие совместное и сообща. Прочное единение, надёжная, ибо тут уже подлинная, круговая порука. Единение голосов, движений и даже собственно искусств. Телесное здоровье, его ценность и его радость. Свобода самовыражения без нахальства и стянутасть бодрых и крепких единиц в кольцо. Мощный разлёт и упорная центростремительность – к ядру круга, к притягивающей бездонности материземли. Бесспорное господство высоты, заметное даже в стати и осанке тех, кто сошёлся в хор и круг. Да, именно оно – непререкаемое господство неба и верха над низом. Разве не такова культура любого здорового общежития?

Отсюда всемирная прославленность и всех искусств, рождённых хороводом. Примеры, возможно, общеизвестны. Важно лишь подчеркнуть снова, что хоровод – это не просто народно-корневое искусство: это больше – это вся культура здорового общежития. Ибо хороводен, в образном смысле (то есть в наиболее постигающем любую сущность смысле) любой вид здоровой и здоровой человеческой деятельности: не только праздник на поляне, но и повседневный труд. И не только в России или у славянства, но и у негров Африки либо в Латинской Америке, хотя бы там раз в год, как проходной уличный обряд, и торжествовал свою Масленицу именно карнавал...”

Выводы С. А. Небольсина о хороводе, о сущности здоровых и подлинно народных культур (у него – “культур искренних народов”) буквально слово в слово повторяют и разъясняют написанное почти сто лет назад в статье с характерным “карнавальным” названием “Лысая гора” другом Есенина, поэтом С. А. Клычковым:

“В поэтическом языке старости нет. Все слова молоды, здесь вечно бьёт ключ вечной юности. Каждое слово у каждого поэта живёт по-разному – у иного оно старцем из пустыни выйдет, у того – старушкой с клюшкой горбится, – по-разному на слово падает свет из творческих тайников, и всё зависит от того, как слово брагуется с другим словом, как оно берётся с другим словом за руку, чтоб войти в плавный и величавый словесный хоровод (выделено мной. – А. Ш.). Ведь в хороводе каждая девка красна, говорит народ. Потому-то все слова хороши – нет слов плохих и нет слов хороших. Что с того, что подчас слово рябое, косоногое – оно в хороводе сойдёт, лишь бы только хоровод водился и на хороводном кругу запевал запевало; что с того,

что в ряд станет старая старица — старый конь борозды не испортит. Вот почему Пушкин и обмолвился как-то: из мелкой сволочи вербунгу рать! Потому-то и нельзя так подойти вдруг и вытащить за руку: смотрите, мол, какая ж она рябая — дёрнуть две-три цитаты с боков и из середины и восторгаться новизною слова или хулить и поносить за трафарет. *Цельность поэтического произведения, хороводность слов и строк делает и самую удачную цитату неубедительной — недаром народ говорит: из песни слова топором не вырубешь* (выделено мной. — А. Ш.)...

Отметим прямую переключку. У С. А. Небольсина — о культуре вообще: “бесспорное господство высоты, заметное даже в стати и осанке тех, кто сошёлся в хор и круг. Да, именно оно — непререкаемое господство неба и верха над низом...”; у С. А. Клычкова — о литературе, в частности, о поэзии: “всё зависит от того, как слово бракуется с другим словом, как оно берётся с другим словом за руку, чтоб войти в плавный и величавый словесный хоровод”. Здесь уместно вспомнить и противоположное эстетике шутовского и карнавального утверждение А. С. Пушкина: “Прекрасное должно быть величаво...”, и эстетические установки русской культуры (согласно С. А. Небольсину, “и культур всех искренних народов”).

Нам остаётся только отметить, что для русской культуры вообще образ “хоровода” главенствующий. Хоровод как круговой танец и песня часто появляется в обычаях и обрядах русского народа, литературных и музыкальных его произведениях — и символизирует подлинную народность и гармонию — или чаемую, или утраченную и недостижимую.

Стихии “карнавала” в русской культуре противопоставляется культура “хоровода” — с несомненным торжеством “верха” над “низом” и вертикальностью мироощущения. “Карнавал” и временное торжество “низа” в художественном пространстве (например, в прозаической трилогии упоминавшегося уже С. А. Клычкова) всегда сопутствуют несправедности (городской жизни, капиталистическому или сектантскому карнавалу) или сопровождают падение праведника (ретирада главного героя из покоев любовницы на свинье в “Сахарном немце”, падение “староверческого отшельника” на деревенской свадьбе в “Чертухинском балакире”, зачатие будущего капиталиста Серого Барина от ряженого (неизвестно какого) отца, переодевания в покоях Рысачихи в “Князе мира” и т. д.). “Хоровод” же, напротив, или сам становится преддверием окончательного бытия (как в “Сахарном немце”), или служит исправлению реальной жизни, где в совместном хороводе выпрямляются и хорошеют кривые и убогие (как в “Чертухинском балакире”).

Учение Небольсина о хороводе как о сущности подлинной культуры ещё ждёт своих последователей. Оно более чем востребовано в современном мире непрекращающегося уже ни на секунду карнавала, который его тайные и явные адепты распространили сегодня на всё: на политику и культуру, человеческие отношения и ценности; даже величайшие таинства человеческого бытия в этом мире — рождение и смерть — обставлены теперь непристойнейшим карнавалом и кривлянием.

И неслучайно, что напоминание о всечеловеческом братстве и хороводе, исполненном величавого гуманистического единения и Богозавещанного прямохождения и достоинства звучит в начале XXI века опять из России:

*В последний раз — опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира,
В последний раз на светлый братский пир
Сзывает варварская лира!*

Это не только Блок. Это и Пушкин. И Есенин. И Клычков. И Небольсин!

МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ

ОЗЁРНОЕ ЧУДО

О прозе Анатолия Байбородина

1

Огромная земля русская требует летописи, свидетельства, а главное – любви, выраженной в сокровенном слове, где драгоценность – не тот или иной факт бытия, а вклад человеческой души, её раскрытие в жертвенной тяге к родному. Велико и недосыгаемо святоотеческое наследие, но сейчас поведём речь о литературе земной, светской, тихим подмастерьем глядящей на заоблачные белки́ духовного слова.

Тёплая и благодатная среднерусская равнина многоголосно и соборно выговорила голосами девятнадцатого века. Орловские, тульские, воронежские земли так напитали даль голосами Лескова, Толстого, Бунина, такой густоты настой оставили в осенней воде дворянской литературы, что, когда приезжаешь, сквозь будничный пропылённый облик с трудом узнаёшь черты, выведенные когда-то по юной душе алмазным будто резцом.

Станным островом проплыл Санкт-Петербург, явив непостижимые образы Гоголя и Достоевского, сколь призрачные, столь зримые и великие. А Волга... Дон... Да каждая водная жила, каждая губерния Средней России так выражена в исповедном слове, что кажется, ни к чему и браться за перо – всё уже сказано... А главное, задана планка.

Но как разговорилась в двадцатом веке Вологодчина! С какой силой крестьянское слово прямой речью земли влилось в реку литературы и стало её фарватером, стрежью, быстерью.

К Востоку слабеют наслоения слова, и не столь тощеватей литературные грунты, сколь меньше городов и гуще леса. Просторней дышится сочинителю, уже не толкающему локтем собрата, не чующего под боком ревнивого дыхания. Щедро дарит Россия-матушка ношу отвечать за край или область, как Аксаков и Даль за Оренбуржье, как Бажов за Урал.

А дальше за Камень?..

Чем реже человецьи скопления, чем безмерней, болотистой и солоней вёрсты – тем дороже тепло очага, человецья близость. Пласты земной плоти отмежёваны речными телами будто в послабление душе, в пощаду, чтоб удалось хоть как-то уложить-оприходовать простор... Иртыш с Тоболом, Обь с Катунью и Бией... Солончаки, степи, тайга... А к Востоку за Батькой Енисеем и вовсе мерзлотный камень, скупой и суровый кряж восстаёт в щетине тайги и так и тянется волнистым громожденьем до края света...

И огромными материками простираются духовные миры Ухожья. У каждого свой хранитель, своё отражение, своя пресветлая тень на литературном небосводе. Купол Шукшинской души, как незримый оберег над Алтаем... А за

ним сердце России, невообразимый пласт енисейской земли, почти четыре тысячи дымных горных вёрст от монгольской границы до Диксона. . . И её то светлая, то горестная сень в причудливом дышащем слове – Виктор Петрович Астафьев. . . И, наконец, Байкал с бирюзовой Ангарой – уходясь того, чей промысел только высвободился от земных путей и путиков, оставил незатянутый шов, то и дело стреляющий в сиротеющих душах.

Велика Сибирь, а берёзовые околки рассказов, кедрячи повестей всё как-то по югу лепятся. Где пообжитей. Север с жемчужными Путоранами Астафьевым обживался вскользь, но зато бригадно и честно осваивался норильскими писателями. И Эвенкия не смолчала, вылатила литературный ясак народным словом тунгусá Алитета Немтушкина.

Но это север. . . А великая почвенная литература всё-таки вызрела на более южных трактовых землях, где за четыреста лет укоренилось русское крестьянство, протянулось жилами поморской речи, казачьих песен, сказов. Крепко отстроилось стайками, заплотами, избами с наличниками, среди которых есть домищи, рубленные с кедрин, распущенных повдоль. Глядишь на них, и кажется, торцы углов набраны из полумесяцев, лунных доль. Так бревно к бревну устаивался вековечный уклад, боль за который и стала темой нашей почвенной литературы.

В подтверждение обратим взор на восточные рубежи, на берег Тихого океана. Здесь не так долго живут русичи, как в коренной Сибири, поэтому не нажила ещё Россия крестьянского назёмного слоя, пойменного, парного, где взрос бы в один Богу известный день ли, век чуткий к книжной мудрости мальчишка. Поэтому классики тут отметились по большей части экспедиционно – Пришвин, Чехов, Павел Васильев, – или революционно, как Фадеев. Да Рытхэу, уехавший с Чукотки в Ленинград, и геолог Куваев. И наш современник Кузнецов-Тулянин, забывший пограничный столб, геополитический репер в скалистый Кунашир.

И только верный месту, как пристойный зверь, неповторимый Владимир Клавдиевич в своей первопроходческой литературе так и остался бессменным символом-хранителем Приморья.

Читатель, пытко следящий над нашим подоблачным лётном, уже спохватился. . .

Ясно: Хабаровский край, Приморье, Сахалин. . . Но, други, а где же Забайкалье и Амурская область?! Где пролёты Верхнеудинск – Чита – Хабаровск? Как пропустили мы две тысячи семьсот шестьдесят три родных километра, самых немислимых по красоте, суровости, завораживающей силе? Миновали заезжие дворы, не утолили дорожный глад в позных харчевнях, не оглядели долину Селенги с Омулёвой горы?

И впрямь кажется, будто перо наших классиков, омакнувшись в байкальской священной синеве, настолько напиталось силою и увеличивало нарыск и размах строки, что, чудно отброшенное к Тихому океану, застыло в недоумении: отчего для стольких пропущенных непостижимых территорий не хватило чернил?

Забайкалье, самая малоизвестная и малонаселённая окраина России, и в слове меньше всего представлено на литературной карте. Конечно, навсегда остались и Черкасов, и Вишняков, и другие замечательные писатели, подвижники и хранители родного края, но, как ни крути, такой плотности великих имён, как в более западных улусах, здесь не найти. . .

А напрасно, потому что слишком уж мало знает читающий люд густонаселённого запада России о забайкальских краях. И многие москвичи или воронежцы слабо себе представляют не только Хилок, Чикой, Могочу и Магдагачи, а и не всегда знают, что лежит восточнее: Улан-Удэ или Чита, и что до революции Улан-Удэ звался Верхнеудинском, будучи городищем русских пограничных казаков.

А полюбить бы русским всей православной душой труднейшие эти вёрсты, лишь недавно сшитые друг с другом асфальтом, эти сопки, поросшие чахлым и неожиданным для Восточной Сибири соснячком, степи, и в марте ярко желтеющие сквозь скудный снежок, приземистые избы, отвесные струйки дыма, меловые увалы в рельефных рёбрах. . .

Если бы вы знали, что это за земля и какие люди здесь живут! Что такое семейские староверы, попавшие сюда аж при Екатерине! Что такое степь с бурятскими чабанами, рыжие лохматые коровёнки, возлежащие на федеральной

трассе М-58, меж которыми пробираются со стороны восхода пыльные праворукицы с загорелыми *перегонами* за баранками. И встают в Тарбагатае в заезжем дворе “У семейских”, где хозяйка всё никак не утихомирит гавкого кобелька Мишку, и под утро не дающего спать путникам.

*Где ж та деревня? — Далёко,
Имя ей Тарбагатай,
Страшная глушь, за Байкалом...
Так-то, голубчик ты мой...*

Так заглазно воспел этот посёлок Некрасов в поэме “Дедушка”.

*...Так постепенно в полвека
Вырос огромный посад —
Воля и труд человека
Дивные дивы творят!..*

Воистину дивные... Земля, завораживающая путника, очарованно пропускающего сквозь душу гривы сопок с соснячком и листвяжком, борт склона, что скально ощерился на трассу, разлом реки с шивёрами и порогами, степи, утягивающие взгляд нераскрывной своею тайной, озёра, стеклянно замирающие в морозную ночь. Гулко, раскатно и стонко гукающие свежим льдом, пронзаясь стрелами серебряных трещин. Трудная земля, требующая служения. Трудные жизни, воистину — судьбы, проколевшие, выбыгавшие на морозе, выдутые ветрами, выжженные солнцем, правые трудовой правотой, многовековой крепостью... Как они требуют любви! Да вот кто бы выразил! Кто бы возлюбил эту землю в слове, как Астафьев Енисей?!

Уже разорили хозяйство, позакрывали заводы, посокращали армию, оголя границу в и без того трудном округе... Только Транссиб ниткой связывает и держит посёлки, и вечный гуд поездов мешается с летним шумом ветра в листве... Не то поезд шумит, не то деревья мнутя, мятутся о тайне этой земли и трудовом её человеке...

Плохо спится на многоснежном Енисее, когда знаешь, как зябко забайкальской земле под тонким снежком, как зыбко ей под губительским нерадением... Да и самому Батюшке-Анисею не заспать заботу: то Ангара нашепчет, принесёт последний сказ с Байкала, где вода упала, да так, как и старики не упомнят, то селенгинская водица выплетется из многоструйного речного тулова, расскажет, как по берегам восточного братца Амазара китайцы лес пластают...

Ау, даль!!! Слышишь, как ворочается Батюшка-Анисей? Как стрéлил двухметровым льдом, катанул морозное эхо к Тихому океану. Вот и мой крик прибился к нему. Уцепился за зудкий полоз... Отзовись! Есть кто дозорный по Забайкалью?! Есть кому укрыть оберегом тёплого слова степь, дрожашую от стужи, озёра с тихим зелёным льдом и сонными чебачками? Не молчи, а то не заснуть на Енисее, так базлает постылый Мишка в Тарбагатае (даром что тёзка, от язви его!), что рвётся душа за недогретую и не опетую забайкальскую землю! Отзовись, смелый человек с болеющей и чуткой душой!

Слышу сквозь ночь, сквозь свист ветра, сквозь хлёт снега о “салафановое” окно зимовья:

“Не волнуйся Анисей-Батюшко! Не бойся, брат, Михайло! Есть кому отстоять Забайкалье, обогреть степную еле припорошённую твердь, спасти чудо озёр от лютого прокаления! Уберечь русскую душу от вражьей осады. Сохранить заповедный русский язык, его дальний сквозьвековой строй, сказовый дых”.

Анатолий Байбородин...

Вот ведь к каким ухищрениям пришлось прибегнуть, чтобы утаить его, давно известного, замаскировать до поры и открыть в долгожданную и тёплую минуту! Всё громче его далёкий голос, и уже крепко на душе, ближе Забайкалье и сильно на сердце, которое знает, что не уврётся от расстояний... И тем веселее загудит топор и пешня в руках, чем твёрже приляжется к ним книга “Озёрное чудо”.

Открывает книгу особенно дорогая не только читателю, но и самому автору повесть “Утоли мои печали”. Она, как и многие произведения Байбородина, строится на личном, на истории детства, которое сколь и единственно, столь и бесконечно и, расплетаясь на жилы, подробно и многоствольно прорастает через всю толщу творчества. Истинный писатель всегда пишет одну книгу, одну судьбу, как бы ни рядил её для отвода глаз в одежи разных сюжетов, различных героев. И всегда корень, ключ – чуткий человек с огромным, разверстым и потому навеки раненым сердцем. И очаг, родник боли в детстве, голодном до душевного тепла не менее, чем до хлебной корки, трудном, трудовом, но чистом духом. “Керосинка с протёртой до незримости стеклоклей” – образ точнейший и очень хорошо отражающий суть того, о чём пишет писатель. Да и вообще сибирской жизни, в которой богоданная и бьющая в очи красота природы вопиюще закопчена несовершенством человеческого существования. И противоречье это падуном-водопадом режет израненную душу мальчонки с такой знакомой силой, что уже перекликается с житием маленького Витьки из книги Астафьева “Последний поклон”, и с той же, знаковой для русской литературы исповедальностью, горечью, благодарностью освещает пронзительный финал этого откровения.

В повести “Утоли мои печали” Байбородин не снисходит до времени и его явных примет, услужливых и навязчивых, как у верхоплавных литераторов, заострённых на заигрыш с читателем. Нет... Конечно, вехи стоят на этой продвинутой позёмками степной дороге, но только самые важные, без которых не понять героев. Сторы, как обвал, разлом... Как те “кровавые антихристовые времена”, свалившиеся на “русские головы”, когда “фармазоны порушили волостной храм, а заодно и сельские церквушки”. Но главное дальше – главное в том, что мать, вопреки всему, сохранила “ночные и зоревые молитвы да образы от тятеньки и маменьки” и самую заветную “в позеленевшем медном окладе” – икону Божьей Матери “Утоли моя печали”.

И всё, как всегда на Руси: конь, земля, отец, мать, молитва, земля... Монолитное русское время, сплетённое из накрепко сплавленных проводов... Вот отец-фронтовик, едва не утонув во вздувшейся от дождей реке и отмечая возвращение домой из затянувшегося похода в село, открывает гуд с непотребным сродником Гошкой и заводит боевую песню под “мясное хлёбово”, дымящееся на костре... А мать, прождавшая казалось, вечность, только задумчиво произносит: “Вот и прошло Вербное Воскресение”... Две жизни, две дороги... Так текут в сизом небе прозрачные облачные гряды, проходя друг в друга, скользя бок о бок, не разделяясь и не сливаясь воедино.

Повесть написана, как житие, как попытка осознания судьбы главного героя Ивана, простёртой на три поколения. И требующая выявления главных смыслов, путеводных створов, ведущих героя... В повести несколько главных героев, они, как созвездия, как духовные сущности, проходя через которые с великими потерями, Иван напитывается невыносимой тягой понять: а зачем в этой вьюжной жизни угружает его Господь Бог такой неподъёмной поклажей? Вот они все: мать, брат Илья, отец, дочка и сам герой, который в последней части повествования крепче берёт поводья и правит сам в себя, в свою память и, уже не различая границ между близкими, насыщаясь их смыслами, становится чрез это человеком...

Мать, самая пресветлая, святая ипостась, самая сокровенная составляющая духовного мира Ивана. Плоть от плоти русской женщины – страдальцы и хранительницы. Её и обсуждать-то грешно, неловко. Только в ноженьки поклониться...

Старший брат Илья. Пахарь, загульщик, песельник... Живое без прикрас человеческое существо. “Уродившись характером широкий, как Сибирь”, сильный и бедовый, не умеющий жалеть себя и живущий безо всякого расчёта, оглядки. И, как многие сибиряки, подвластный тяге простора, дороги, той самой магии пространства, чуждальной стороны, которая и вовлекала русских первопроходцев в годы походов. “Гонял скот то в Читку за триста вёрст, то из Монголии, так что Фая вдовела при живом муже”. И требующий от жены такой же душевной шири... И не пожелавший перебираться в город, куда жена стремится в поисках комфорта и “порядка”. И потерявший жену, а потом и пожалевший, и запоздало согласный, что надо было держать удаль,

не давать размаху, шату, потому что так всё и разлетится–развеется бравой песней по степи... И будешь потом с покаянной виной и тщетным поклоном жалеть: “не зла желала, к порядку приваживала”...

И вроде сошёлся после с другой женщиной, да так... уже без особой надежды на крепкое и дружное житьё... А душа требует шири, объёму, и неспроста песня так много значит для Ильи, ведь сердце, чуткое к песне, и о земле ведаёт главное. И ведение это так обнажает душу, так отнимает у материального, что навсегда лишает чувства опасности, пощады к себе, и эта рвущаяся вовне душа в какой-то момент не в силах уберечь защитную свою кожу... Таким и полётней, и провальней, и труднее всех. Вспомним певца из Турочака Василия Вялкова, погибшего в вертолётной аварии.

А Илью сбросил необъезженный конь.

Рассказ о брате вроде бы вступительный, и думаешь, что Илья просто первый из череды героев, а потом оказывается, что его история и есть одна из главных: потеря Ваней старшего брата. Илья был мальчику ближе ближе: родители жили на отшибе, отец служил лесником на удинском кордоне. И их с сестрёнкой отдали в семью Ильи, в село, где школа.

Отец такой же и трудовой, и трудный. То упрямый, то чёрствый, то загульный. Неизбывный узел боли для матери. И маленький Ваня, как на юру, меж ними. У матери забота ближняя: от надсады, простуды защитить, накормить-обогреть, от стыди жизненной оберечь. А у бати – втянуть в мужицкое, трудовое, помощническое... И мальчонка в вечном разлёте меж матерью и отцом. А так охота с батей за жердями для заплота поехать. А мама не пускает... А тут как раз сретенская оттепель долгожданная, первая, та, что после морозов, как велия милость.

“Среди череды морозных, метельных дней, когда небо было занавешено серым, брюхато провисшим к земле, тоскливым рядом мглы, когда визжала ставнями и, обламывая ледяные когти, скребла снежный куржак на окошках одичалая, косматая пурга, а потом, бесприютная нежить, обратившись в малого ребёнчишка, сиротливо гнусавила в печной трубе, из жалости просилась в избяное тепло, когда деревня устала от ветров и морозов, – милостью Божией тихо опустилась с небес на исхлётанную, пострадавшую землю первая оттепель после крещенской стужи; опустилась, приластилась к земле влажно-тёплыми, пахнущими хвойной прелью и парным молоком, мягкими ладошками”.

Как знакома это брюхатость туч, похожих на косяк рыхлых каких-то рыбин! И то, что в оттепель размораживаются запахи, будто копясь, чтоб обрушиться на чуткую душу.

Мать сдаётся, и мальчишка отправляется. В пимах, напыленных на валенки, – можно представить, насколько ему неуклюже! (Пимами в Восточной Сибири называют камусную обувь, навроде сапожек с матерчатыми голяшками. По сути, это обрезанные бокаря или торбаса. Их не надо путать с валенками-пимами, описанными Шукшиным, там другая история.)

Трясётся лошадёнка, свистит ветерок в сбруе, свистит полоз по насту... Талый снег уже подстыл на ветру – зима-то не отпускает... И вот то степь, то околки леса... Березнячок, “там и сям желтеющий соснами и копотно чернеющий кряжистыми лиственницами”... “Копотно” – очень по-байбородински сказано, да и листьяги у него всегда чёрные, контрастные, силуэтные, подчёркивающие голыми ветвями предвечный небесный свет...

И ещё герои Байбородина поют. Поют песни, которые надо знать и любить. Тогда они срабатуют на обоюдную работу писателя и читателя. Тут как на неводе: писатель замётывает, а читатель до поры на берегу стоит с бережником, а как тот заметался, ткнулся в берег – тащить уже вдвоём надо... Русская проза тем сильна, что требует участия, читательской подмоги, совместного созидания, которое и тяжело поначалу, но зато так тебя переделает, что к концу в ноги поклонись за трудовое это перерождение. Это та же стройка. Тот же сруб. Художнику “в одново”, без подмоги и не закатить бревно на самую высь – только вдвоём. Потому и славно, когда читатель участвует встречно, как и сейчас, и с той же любовью, что и автор, пропеваает частушки, протягивает, прошёптывает, прогоняет через себя жилы песен, как нити санного следа, как струи позёмки... А без читательского участия они так и останутся отпечатанными куплетами.

Песня — она как живая вода, все заскорузлые части жизни омывает и воедино собирает... Или сказать наоборот: как связывающее раствор вещества, как гранитный отсев, самый лучший для связки бетона. А стройка не кончается... И дорога тоже. Если она к свету...

Вот так и отец пел по дороге. Несмотря на все заскорузлости в отношениях с сыном... “Вытягивал песню по всему санному пути”, и в этой песне среди степной дороги столько дорогого открывалось. Столько погружённого бессловно в самую глуть, в кости, в кровь, льющуюся то в эту землю, то в жилы потомков... Так тщится душа выразить невыразимое, невозможное, и так передаётся эта тщета песней — старинной ямщицкой, пушкинской дорожной, казачьей прощальной — песней как знаком сокровенного, пожизненного, родного...

Сколько таких Вань, Ген, Стёп, пробираясь по сибирским дорогам на коне ли, на тракторе, “КамАЗе”, снегоходе, выискивая долгожданный огонёк, напевали час за часом знакомый напев! В душе ли, в голос... И песня, даже будучи для кого-то отвлечённо-музыкальной и картинной, наполняясь жизненным, личным, открывалась в главной уже полноте, сливаясь с душой навеки...

Ванюшке чудилось, что песня сама “навевается из степи”, что напевает её “тихий ветер”. Он видел “замершее отцовское лицо”, “слёзы, поблёскивающие в глазницах, — вышибленные встречным ветром” и понимал, что поёт её всё же отец”. И вдруг “так ему стало жалко отца”, что “проступили слёзы”... Но “жалость не мучила”, и внутри Ванюшки “что-то легчало, будто распахивался тугой ворот...” И “ветерок, казалось, протекал и сквозь него”.

Так же пела мать, когда собирали голубику.

На сбор голубики особое внимание обрати, чуткий читатель! Она и вправду хороша, эта ягода редколесий, осенняя надежда соболя... “На загляденье крепкая, хрушкая, с нежно-сизоватом налётом на бочках, сквозь который до самой глужи прозрачно высвечивает голубизна”. И сопки в синем мареве... И усталость уже морит ребятишек. И “говорок материн иссякает, тает голубоватым дымком, а уж вместо говорка берёзовой листвой шелестит песня...” А вот и ночь скоро опустится.

И вот она опустилась... Эта сибирская ночь, полная могучего дыхания пространства и тайны людей, близких и далёких... “Печально шумели в ночном ясном небе вершины древних сосен и лиственей; изредка в хребте лаяли полуночные гураны, стыло и отчуждённо Млечный Путь — гусиная тропа, по которой уплывали ребячьи ангельские души”... Так чувствовала это небо мама.

Поход за жердями чуть не обернулся гибелью для отца и сына, оттепель отыгралась пургой, и путники сбились с дороги, совсем как в той песне.

Многое пережил Иван. Глядел, сдерживая ком, на мать, доживающую последние дни у сестры; вернувшись в село детства, стоял напротив своего дома, давно заселённого другими людьми... И вот уже и нет родителей, и дочка подросла, и общаясь с ней, приближаясь к ней и открывая её взрослеющую душу, он вдруг начинает переживать, что в детстве не было у него близости с отцом... И как задувает в степи ветер, как завязывается у горизонта млечный морочок позёмки, так и начинает прокладываться в душе сквозная родовая дорога, полная горечи, вопросов, надежды.

И его собственная душа всё сильнее кажется ему слабой, чересчур отворённой для чужих воль, заезжим двором, куда заходят-заглядывают разные люди и где добро силится одолеть зло, да силёнок недостаёт. И хотя в этой гостевой избе чужая душа не находит себе “улёжистого места”, но зато какое “крылистое чувство лёгкости” он испытывает, примерив это чужое, привнесённое, то, за что можно не отвечать. А дальше встанет вопрос, а какая она вообще, его душа, какой была изначально, и какой стала, чем заполнилась... И кажется Ивану, что больше в ней всё-таки жалостливого, материнского, смиренного, чем жёсткого, силового, нравного отцова.

“Когда была уже докурена и погашена папироска, когда страдальчески осветлённым взглядом уже невидяще смотрел сквозь клубящийся сырой морок, Иван вдруг, поразившись, испугавшись, ощутил себя своим отцом”.

А потом, оставив Ивана отходить от потрясения, автор медленно переводит камеру на новый ракурс, приближая к предфиналу, в котором “плетутся на сморенной кобылёнке сквозь снежный буран два одиноких человека, отец

и сын, а степная метель, охлёстывая ковыль на буераках и кочках, протяжно, с подсвистом и подвывом поёт”.

И снова выплывают из снежного морока отношения с дочерью Оксаной, которая то раздаст добро, то щенчишку бездомного в избу пустит... И с другого борта сквозистой души обида на отца восстаёт... Почему “пил, да нас гонял?” И почему не разговаривал со мной так, как я сейчас говорю с дочей? И сам себе тут же отвечает Иван: да ведь нет, был отец и другим, и крепким, и хозяйственным... Нас же поднял ведь... Да и вообще, может, дело не в отце и не в дочери? А во мне самом?

Так копают и копают герой своё прошлое, свою душу, и штык за штыком уходит всё глубже и глубже в проколевшую твердь вековечных вопросов, где сквозь всю их неподъёмность сверкнёт вдруг самородная надежда, что мамина душа всё-таки победит... осилит, одолеет закопчённое стекло, протрёт до кристальной чистоты уже близкое к итогу жизненное небо... Расчистит дорогу свету, что сеется нетленно и предвечно с ненаглядного сибирского небосклона...

Этот Христовый свет и освещает финал, пронзительный и абсолютно классический. Вот он “опять высветлил степную околицу, извилистый санный путь, через который струилась и струилась вечная позёмка, заворачивающая глаза, как речная течь”. И вот — и русская дорога, и родовая повязь, тракторная связка: отец-сын-дочь, и песня ямщика... И близкие перевиваются настолько нераздельно, что уже не различить, где ушедший брат, где отец, а где дочь, “не отводящая глаз от шуршащей и вечно текущей позёмки”... А степь не кончается, загибается плавно к небу, и чернеют на едва приметном изгибе меркнущие силуэты ездоков... Вот в общем-то и всё.

Остаётся только назвать песню. “Степь да степь кругом”.

3

Как вообще сейчас пишет народ? Вроде в среднем неплохо, много хватких авторов. Хотя общий уровень, как замечает в интервью Анатолий Байбородин, — журналистский, очень много похожих по интонации, по манере книг. Оно так и есть. Основная часть современной литературы обезличена журналистским говорком-наречием, будто узаконенным и делающим авторов похожими друг на друга...

Забыт русский язык не только во всём многообразии цвета, звука, сравнений и эпитетов, суффиксов, приставок и прочих возможностей... Забыт и всячески вытравливается язык как носитель национального, когда каждое слово, подобно сакральным буквам древнерусской азбуки, хранит миры, настолько дорогие русскому сердцу, что многие книги и не возьмёшь за один присест — слишком силён взвар смыслов... Такова проза Лескова, Шмелёва, Платонова, такова поэзия Клюева.

Я спросил Анатолия Григорьевича, как он относится к поэзии Николая Клюева. Вот что он ответил: “Клюев в слове слил воедино древнерусское языческое слово, северное сказовое, былинное и церковнославянское, слив в образах и эти миры; и по мудрости горней, по русскому образному слову превзошёл всех поэтов, допрежь прославленных, и при жизни его, и по нынешнее время, да и грядущему не осилить. Он — воистину гений; но он уже закодированный, он как исследователь русского мира; а Есенин, скажем, превзошёл его по ясной, истовой любви к Руси, к русскому простолюдину. Я, кстати, писал тебе раньше: Астафьев далеко обошёл Шукшина по слову, но до его совести, до его сострадательной и восхитительной любви к русскому народу не взошёл. Лишь Шукшина, в некоей мере и Белова, можно повелить совестью народной. Так я думаю”.

Подобную заповедную территорию и созидает православный писатель Анатолий Байбородин, сливая в своей прозе все ипостаси Русского мира. Созидает вопреки всему, и уже не обращая внимания на упреки в “орнаментализме” и прочих “великих преступлениях”. Безусловна проза Байбородина и трудна своей завершёностью, той самой закодированностью, — не зря автор всю жизнь дорабатывает свои книги. А как по-другому, если оставляешь завешание, свой образ того, каким должен быть русский мир в прозе? И как соиздать этот мир, не отступая, выдерживая по всем осям, вертикалям и горизонтам, включая все соединения, пазы и шипы огромного этого дома?

Ведь что есть изба без порога, матицы, печки? Что-то одно убери – и всё рухнет... или просто не перезимуешь.

Языковое богатство Сибири Байбородин не только сохранил, но и приумножил, вплетя в полотно повествований язык пословиц и побасок, сказок и сказов. “Большую часть творческой жизни посвятил я очеркам и статьям, а также составительским проектам, среди них “Русский месяцеслов. Народные обычаи, обряды, поверия, приметы, жития святых”, который был издан изрядным для провинции и для времени тиражом...” – пишет Анатолий Григорьевич. Да, конечно, чувствуется и эта пропитка: “На Благовещенье весна – молодница-медведица – переборола зиму-каргу; та весну стылым ветродуем, утренними заморозками пугает, а сама тает, капелями плачет”... или “На вербе пушок – весна на шесток, – улыбалась мать ребятишкам. – Зимущку пережили, слава Те, Господи” (повесть “Утоли мои печали”).

Он и само словопроизводство обновил, прочистил от наносника заброшенные покосы, омолодил словострой, пройдя по старицам, взявшимся ряской и не соединённым протоками-ви?сками с основным руслом, уже сильно поуродованным и замусоренным. Так, соединяя воедино протоки и идя единым пластом, работает большая вода, неся ярко-белые лебедя?-льдины, мокрые, искрящие на солнце выворотни, промытые до блеска морёные корни... Действительно важно вернуть корневой основе слова полное сияние... Ведь иной раз смотришь, а осталось-то где по два-три лучика, где по одному... А где и вовсе померкло слово, угасло, как сосновый ствол на закате.

Взять словечко “копотно”: читатель привык “копчёный”, “копчёно”, а автор взял и изменил слову хвостовое оперенье, пустил в ту же сторонку, что и “хлопотно”, и вот уже новое дыханье, новое оконце отворилось в привычной словесной основе.

Жаль горожан и особенно зауральцев, обделённых возможностью оценить изнутри сибирскую, а то и просто деревенскую жизнь. Слово проходит через их души, не раскрывшись, потому что ни с чем не связано. Например, слово “урос”, “уросить”, которое в Сибири значит “капризничать”, “шалить” (на русском Севере, скорее, “упрямиться”, “упираться”). Пока не пообщаешься с этим словом в жизни, пока не обрატёт оно воспоминаниями, не переважется с судьбами, так и останется оно “чем-то там сибирским” или хуже того – книжным. Но и это не беда: даже в незнании пытливое сердце найдёт и прок, и урок: на свой лад допроявит картину, образ ли, слово.

“Как-то он умеет выстроить текст так, что у него каждое предложение заключено само в себе и словно бы одето в скорлупку, это, может быть, похоже на кедровый орешек”, – пишет о Байбородине Татьяна Соколова скорее с упрёком, чем в похвалу, несмотря на сравнение с кедровым орешком.

Байбородин пишет, как считает нужным, а не “как выходит”. Законченность и густота его глубоко осознанная. Как может понять читатель из его статей и интервью, он мастер, а значит, может работать по-разному, может даже, “если чо”, завернуть и диалог на британском (рассказ “Дворник”). Манера выбрана сознательно, выстрадана, и следует не её обсуждать, а думать о том, почему он избрал именно такой путь. И что защищает и оберегает он своими книгами.

А так... Набрал бы пару конъюнктурных романов про шаманов, наплёл какую-нибудь псевдоэтническую бодягу про древних бурятских богатырей, оживших на мостах Верхнеудинска, на которые так падки целлулоидовые читатели, не ведающие жизни Родины, и давно бы красовался на полках книжных “маркетов”.

Вычитал в критике, что Байбородин, дескать, “переперчивает свои произведения сибирскими выражениями”... Будто язык не содержание, не смысл, не мера объёма для хранения дорогого, а приправа. Притом, что большая часть нашей страны – Сибирь, пусть менее населённая, чем Зауралье, но зато с особой значимостью, выпуклостью каждого поселения, будь то зимовьё или региональный центр. И именно Сибирь нынче – заповедник русского, именно сюда, следуя выражению моего знакомого старообрядца, не добралась ещё мировая “скверна”. И сибирское слово – это сегодня самое незамутнённое русское слово, и сказать, что им “переперчили”, всё равно что сказать: переперчили родным, спасительным, русским... “Уподобляемся иностранцам”, – сказал бы Шукшин с интонацией Егора Прокудина: “Опускаюсь всё ниже и ниже”...

А ведь такая возможность окунуться в стихию языковых образов, тем более человеку городскому, книжному, которому многое знакомо хотя бы по Далю!

Сталкивался порой с отношением жителя Средней России к Сибири как к чему-то далёкому и отдельному. Все мы понимаем, насколько это опасно и чем грозит... Примечательно, что для сибиряка Россия – это единая земля, нужная и родная. И выходит, что с востока, с хребта видать всё до Балтики, а оттуда сюда – будто залом какой. Что заломило-то? Какой такой тальник? Каким льдом пропахало?

Вот и пример: тальник в Средней России называют ивняком. И при этом сибиряк знает и ивняк, и тальник, а москвич только ивняк. Трудность и в том, что многие, хорошо известные среднерусичу слова в Сибири имеют несколько другой смысл. Например, в выражении “рыбы добыл дивно” – “дивно” имеет смысл “много”. Или часто встречающееся у Байбородина словечко “браво”. Бравый – не в привычном смысле молодцеватости, а в значении хороший, путный, добрый, качественный: “бравенькие огурцы” – значит, крепкие, хорошие. “Ты моя бравенькая”, – скажет забайкалец про жену. Если этого не знать, то можно обвинить автора в неуместном каком-то словоупотреблении, в отсутствии вкуса или меры. А дело-то, оказывается, в читателе... Поэтому к такому чтению и надо относиться как к обогащающему, хотя конечно... оно для тех, кто любит. Дорожит. Кого каждое словечко обрадует. Анатолий для таких и пишет.

Очень важна древняя, идущая от язычества народная привычка одухотворять природу, древнерусский и бурятский замес этого одухотворения, который в жизни вовсе и не вступает в рознь с православным... Это одухотворение слитно с сыновним доверием к великому распорядку, с ежечасным послушанием, когда от человека не требуется ничего нового – только быть достойным этого Божьего мироустройства и своей завещанной предками земли. И когда Димитрий-рекостав скуёт озеро, чудо рекостава особенно потрясёт незакопчённые детские души – будь то волшебство скольжения по льду на коньках или сама таинственная жизнь озера (рассказ “Озёрное чудо”).

С ещё недавними волнами, вдруг замершими на “измождённом взлёте”, когда после студёной ветреной ночи на тихой заре оно вдруг откроется взору – запредельно недвижимое, замершее. И поражающее отвыкший взгляд, нашедший опору столь внезапно, что от этого будто на миг пошатнётся-вздрагнет забывшийся мир. И в этой ледовой статике ещё больше непрекращающегося движения к смыслу, чем во вчерашней суетливой, неряшливой ряби. И только инеем светится “увядшая приозёрная ковыль”, да седина укряивает “белёсую щетину построжавшей земли”.

Тончайше и глубинно в рассказе “Озёрное чудо” открывает писатель свой дар “пронзительно переживать времена года”. Особенно осень, когда душа “сквозна и проглядна и готова, кажется, повеяться к небу”, и долгая зима, когда “озеро родниково” выстаивается, так же, как и души зимующих со всеми своими бедами и потерями... И недолюбленные детские души, и взор ребёнка сквозь лёд, в бесконечную неземную глубину, где он заворожённо пытается найти нездешний покой, чарующую печаль, силится избыть ею горечь недетского своего бытия, уйти от родимого дома, хмельного и безрадостного... И “жгучие дымные холода”, и ожидание весны, и озеро как центр непреходящего чуда, пульсации непостижимого, как подтверждение Божьего существования и надежды на спасение.

На то оно и слово. На то и душа читательская, чтобы каждый раз по-своему – пусть и в свободе неведения – открыть-представить себе суровую и далёкую эту жизнь, сделать её на несколько сотен страниц ближе. Вижу тысячу читателей и тысячу таких представлений, и тысячу Озёр... Будет у каждого своё озеро и свой, отвоёванный у суеты покой, в котором выстоится душа в размышлении о сокровенном. И читатель, проколев и угревшись, пережив Озёрное чудо, найдёт и в себе древнюю тягу к строгости, и сам построжает за эту ночь преображения... И почувствует подлёдной глубиной души, что лишь в православной строгости и труде устоит русский дух, в сохранной собранности и отторжении наносного, привнесённого, преходящего... Так веками выстаивается в спасительной стуже и русское слово – то кристально прозрачное, то густое от смыслов, что медленно ходят подводными травами, глубинными нитями древней памяти. Под озёрным стеклом... Рядом... Почти под ногами...

МАРК ЛЮБОМУДРОВ

ВЕЛИКОРУССКИЙ ТЕАТР

(от истоков к закату)

Вызревший в недрах Русского Мира наш национальный театр – уникальное явление в мировой культуре.

В отечественном сценическом искусстве кристаллизовались русский дух, вера, менталитет, ключевые особенности характера великоросса. Наша самобытная театральная культура во многом отличается от европейских канонов и традиций. Она пронизана христианским мировидением, ближе к духовности человека, к его нравственным началам.

Русский национальный профессиональный драматический театр с момента своего возникновения в середине XVIII века был плотью от плоти многовековой, прочно сложившейся отечественной культуры. Русская сцена возникла и развивалась на основе православного мироотношения и высоких идеалов национальной цивилизации. Реализм, идейность, народность – коренные особенности нашего театра, стремившегося отражать жизнь в её главных проявлениях, верного канонам правдоискательства и добротолубия, нравственной взыскательности и веры в высокое назначение человека. В лучших своих произведениях, в искусстве своих корифеев театр стремился идти от жизни, а не от сцены. Как и русская литература, театр был сосредоточен на поисках человеком смысла своего бытия, защищал идеалы человечности, одухотворённой любви и братского единства людей. Родина и народ, мир и человек, их духовный свет и нравственный идеал – вот вызревшая в недрах народно-го сознания мера оценки уровня отечественной литературы и театра.

О назначении искусства напряжённо размышляли наши классики. “Искусство есть водворение в душу стройности и порядка, а не смущения и расстройства”, – писал Н. В. Гоголь. Л. Н. Толстой в статье “Что такое искусство” утверждал, что искусство не игра и не развлечение, “не есть наслаждение, а есть необходимое для жизни и для движения к благу отдельного человека и человечества средство общения людей, соединяющее их в одних и тех же чувствах... Искусство должно сделать то, чтобы чувства братства и любви к ближним, доступные теперь только лучшим людям общества, стали привычными чувствами, инстинктом всех людей... Назначение искусства в наше время – в том, чтобы... установить на место царствующего теперь насилия то царство Божие, то есть любви, которое представляется всем нам высшей целью человечества... Задача христианского искусства – осуществление братского единения людей”.

Первые в нашей истории опыты театра относятся к XVII-XVIII векам и имеют религиозные корни. В 1672 году в Москве для царя Алексея Михайловича и придворной знати был поставлен спектакль “Артаксерксово действо”. Сюжетом послужила библейская книга “Эсфирь”. Русская сцена провидчески

избрала роковую для нашей истории тему. Её актуальность особенно отчётливо обозначилась в XX веке.

Опыт “Артаксерксова действия” не имел прямого продолжения. С прекращением спектаклей 1672 года сценическое дело позднее продолжилось в практике так называемого “школьного театра”, то есть театра, возникшего при духовных учебных заведениях (в том числе при монастырях). Они исполняли задачи религиозного образования и нравственного воспитания. Например, успехом пользовался театр при Славяно-греко-латинской академии в Москве. Школьный театр был узаконен “Духовным регламентом” (1721), которым определялась церковная жизнь.

Напомним, что у истоков нашей сцены был и монах Симеон Полоцкий, пьесами которого, по мнению историков, начался русский национальный литературный театр. Полоцкий являлся автором пьес “Комедия о блудном сыне” и “О Навуходоносоре”.

Изначально сильные были в нашем театре мотивы, типичные для русского сознания, — темы совести, справедливости и милосердия, терпения и надежды. В этом смысле красноречиво содержание первого (!) спектакля, поставленного основателем русского профессионального театра Ф. Г. Волковым, точно выраженное в его заглавии — “О покаянии грешного человека”. Автор этой драмы (в оригинале она называлась “Кающийся грешник”) — известный русский святой митрополит Дмитрий Ростовский, который был ещё и выдающимся драматургом.

С первых лет русского национального театра в нём укоренился пафос патриотизма, любви к Родине-матери. “Любовь к Отечеству есть перьва добродетель”, — провозглашал драматург А. П. Сумароков, вместе с Ф. Г. Волковым закладывавший идейный фундамент нашей сцены.

Историческая реальность опровергает распространяемое антирусскими театроведами (но никак научно не доказанное) мнение, будто наш театр произошёл от скоморошских игрищ, праздничных увеселений и потешных обрядов языческого толка. Исстари скоморошьи игрища воспринимались на Руси настороженно, а то и враждебно. Не без основания считалось, что подобные игрища и “глумления” вредят душе. По той причине — сошлёмся на средневекового автора, — что “там слова постыдные и дела постыднейшие, и таковые же причёски, и таковые же походки, и одежды, и возгласы, и влияние членов, и очей развращение, и свирели, и сопели, и деяния, и поступки, и попросту всё, исполненное конечного стыда”. Такого рода представления именовались в старину “позорищами”.

Характерны и летописные указания на “латинский” костюм скоморохов и другие их признаки, чуждые русской почве. По компетентному мнению известного историка А. И. Веселовского, “на Руси скоморохи — “захожие люди”. И отвергали их не только церковь и правительство, но и общественность. Тот же Веселовский писал: “Светские люди в сущности сходились с церковной оценкой скоморохов, не доходя лишь до крайностей её практических выводов”.

Взращённая православием природно-национальная русская культура утверждала представления об абсолютной ценности человеческой личности и общий для всех нравственный кодекс, основанный на чувстве покаяния и голосе совести. Нашу культуру нередко называли культурой совести.

В русском театре, как и в культуре в целом, были укоренены каноны целомудрия и чистоты. Он, конечно, произошёл не от потех, исполненных “конечного стыда”, а, как уже было сказано, от театра “школьного”, возникшего при духовных учебных заведениях. И эстетика русской сцены тесно связана с его нравственными, духовными основами.

Естественность, органическую простоту русская театральная традиция всегда ценила и в эстетической новизне, в любых исканиях и экспериментах художника. Проблема отношений искусства и действительности виделась в такой их взаимосвязи, когда почти не улавливались различия, граница между ними. К примеру, зритель начала XX века, посещая новаторские по тому времени чеховские спектакли московского Художественного театра, ощущал себя не в театре, а “в гостях у сестёр Прозоровых” (“Три сестры”).

Русский театр в лучших своих образцах представлял “растеатраленным”, игровое начало как бы гасилось в нём, отступало на второй план. Влияла присущая народной культуре неприязнь к подражательству, обезьянству, к проявлениям

неискренности (лицемерию) в любой форме. “Ряжение” вызывало недоверие. Один из исследователей русского фольклора замечал: “Переряживание (отнюдь не перевоплощение как таковое, то есть не любого типа перевоплощение) осознавалось в народе как акт нечистый, греховный. Предположительно такая его оценка коренится в “переключках” ряжения с оборотничеством персонажей народной демонологии”. И “маска” отчасти понималась как опасный объект.

Уважалась подлинность, ибо имелась органическая убежденность в том, что явления человеческого духа – не игра. Такую сценическую эстетику ещё в XVIII веке формировали А. П. Сумароков и Ф. Г. Волков. “Старайся... чтобы, забывшись, возмог тебе поверить, что будто не игра то действие твоё, но самое тогда случившись бытиё”, – требовал от актёров Сумароков. Выдающийся театральный деятель следующего поколения П. А. Плавильщиков настаивал на том, что “отечественность в театральном сочинении... должна быть первым предметом”, он видел в “зрелище” нравоучительное “подобие истинных происшествий”. И великий артист XIX века М. С. Щепкин не случайно призывал “всегда иметь в виду натуру”. Разницу между механически передающим, передразнивающим чувства исполнителем и “сочувствующим артистом” он видел в том, что “там надо подделаться, здесь надо сделаться”.

Философской основой русского театрального реализма становились принципы, формировавшиеся в недрах классической культуры. По слову А. С. Пушкина, “выдумать форму нельзя, её надо взять из того, что существует”. В отличие от европейской сценической традиции в русском театральном каноне изображение жизни предполагало соответствие не только её сути, но и сообразность (что не исключает приёмов гиперболизации, фантазии) её естественному лику, её чувственным формам, соприродным органическому бытию (и быту!) человека. Не забывали, что в центре спектакля – реальная живая личность: актёр. Православное сознание русских художников создавало эстетику на основе доверия тому, что создано Творцом, – миру и человеку.

Эту коренную особенность нашего театра отстаивали и развивали лучшие его представители на протяжении столетий. Великий режиссёр XX века Вл. И. Немирович-Данченко настойчиво призывал: “Не надо забывать, что именно наше русское искусство обладает всеми качествами настоящего высокого и глубокого реализма – чертами, которые не могут охватить ни французская декламационность, ни немецкая напыщенность, – это самая глубокая простота... Это, может быть, самая глубокая и основная черта русского искусства... На этой простоте базируются самые лучшие наши актёры”.

Поколения русских артистов передавали друг другу как самое дорогое достояние чувство правды, сосредоточенность на нравственной природе человека, на его психологии, естественность в выражении чувств. Заветы корифея московского Малого театра Щепкина были прямо восприняты позднее возникшим Художественным театром. “Не только дорогие воспоминания связывают нас с Малым театром, нас тесно сближают ещё и общие основы нашего искусства, унаследованные от Щепкина и его великих союзников... Мы дух от духа и плоть от плоти Малого театра и гордимся этим”, – писал величайший гений мировой театральной культуры К. С. Станиславский. Основатели “режиссёрского театра” – МХАТа – не раз подтверждали, что первым лицом в спектакле является актёр, то есть человек. И главное на сцене – “жизнь человеческого духа”. В конце своей жизни Немирович-Данченко напомнил своим ученикам: “Весь театр существует для познания человеческого”.

Так складывалась отечественная сценическая традиция: на подмостках русской сцены торжествовало искусство, которое пренебрегало фантазмагорией маскарадности, узорчатостью игры, звонами шутовских бубенцов, эстетскими пряностями и чарами отвлечённой театральности. Цель, смысл и поэзия творчества виделись в ином: не блеск внешних форм, не игровое лицедейство, а обнажённость правды, человеколюбие, душевность, гражданственность художника, призванного зорко различать добро и зло.

На сцене русскому зрителю были интересны не ряженные, а люди, не раскрашенные маски, а живые души. Маски же, если и возникали (как форма человеческого поведения), то лишь для того, чтобы быть сорванными.

Русскому театру присущи традиционно глубокие связи со Словом, с Глаголом – и в пушкинском его понимании, и в том смысле, о котором говорилось, например, в “Русской грамматике” (XVIII век) А. А. Барсова: глагол показывает “состояние лица или вещи, то есть бытие, действие или страдание”.

Писатель А. Н. Толстой пронизательно заметил: “В русском народе всегда преобладало чувство слова над чувством жеста. Это впоследствии определило путь русского театра – в глубь психологического переживания”.

Прочная связь литературы и театра в России выразилась и в том, что почти все крупные русские литераторы были одновременно и драматургами. Огромное воздействие на театр оказали произведения, ставшие классическими: “Борис Годунов” и “Маленькие трагедии” А. С. Пушкина, “Горе от ума” А. С. Грибоедова, “Ревизор” Н. В. Гоголя, “Маскарад” М. Ю. Лермонтова, грандиозный мир произведений А. Н. Островского, драматические трилогии А. К. Толстого и А. В. Сухово-Кобылина, пьесы Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, М. Горького, позднее – М. А. Булгакова, Л. М. Леонова, В. С. Розова, инсценировки прозы В. Г. Распутина. Большой мир классики помогал раздвигать идейные, духовные горизонты сцены.

Исключительно важное значение в истории русского (и мирового) театрального процесса имели реформы, принятые Станиславским и Немировичем-Данченко. Основанный ими в 1898 году Художественный театр противостоял тенденциям разрушения и распада культуры, наступлению декадентства и модернизма, характерных для Серебряного века. Станиславский так определил задачи нового театра: “Мы приняли на себя дело, имеющее не простой, частный, а общественный характер. Мы стремимся создать первый разумный, нравственный, общедоступный театр, и этой высокой цели мы посвящаем свою жизнь. Цель искусства переживания заключается в создании на сцене живой жизни человеческого духа и в отражении этой жизни в художественной сценической форме”.

Программа МХТ отразила стремление к восстановлению культурных связей, надорванных временем, к собиранию почвенных традиций и нравственной целостности. На более высоком, чем прежде, уровне осмыслились внеэстетические функции искусства и сценическая поэтика. Театр на новом этапе сам обрёл качественно иное единство – он стал режиссёрским. Первым таким театром в России и явился московский Художественный театр. На его подмостках Станиславский и Немирович-Данченко осуществили ещё один мощный прорыв в пространство сценического реализма, в глубины художественной правды и “жизни человеческого духа”.

“Расширять сценическую картину до картины эпохи” – один из главных канонов МХТ в подходе к театральному воплощению жизни. Сверхзадача творчества усматривалась в содействии духовному обновлению мира, в борьбе за “очищение души человечества”, в воспитании у людей стремления “жить лучшими чувствами и помыслами души”. В противовес зрелищному, постановочно изощрённому, забавляющему искусству МХТ строился как театр идейный и нравственно-учительный.

В реформе Станиславского и Немировича-Данченко внимание к литературе, к Слову имело фундаментальное значение. МХТ имел славу не только первого режиссёрского театра, но и образцового литературного театра. “Слово становится венцом творчества, оно же должно быть и источником всех задач”, – писал Немирович-Данченко. Он же требовал изучать не только конкретную пьесу, но и “лицо автора”.

Слово, внимание к нему – одна сторона русской театральной эстетики. Не менее важна и другая. “От избытка сердца говорят уста”, – сказано в Писании. Наш театр – не только прибежище разума, “кафедра” знаний, но и школа нравственных чувств: “Глаголом жги сердца людей”. Такой взгляд на назначение и природу искусства был связан с пониманием того, что сумма знаний, умозрительно усвоенных норм и правил сама по себе ещё не делает человека совестливым, добрым и честным. Глубина и действенность наших прозрений определяется тем, выстраданы ли они, подкреплены ли опытом эмоциональным. Гражданская и нравственная восприимчивость зрителей зависит от возможности со-чувствия, со-переживания. Эти душевные свойства нуждаются в воспитании и упражнении, как и другие. И русский театр в этом смысле – могучая сила. Это великолепно понимал уже А. П. Сумароков (чей талант и универсальность недооценены): “Трудится тот вотще, кто разумом своим лишь разум заражает, не стихотворец тот ещё, кто только мысль изображает, холодную имея кровь, не стихотворец тот, кто сердце заражает”.

Потому и “ум” Пушкина требовал от русского драматического писателя, прежде всего, “истины страстей и правдоподобия чувствований”. Лишь такое

искусство может глубоко и полно захватить зрителя, побудить его не только понять, но и сопереживать происходящему на подмостках, эмоционально обогатить его, оставить в душе неизгладимый след. “Голые тенденции и прописные истины недолго удерживаются в уме, — писал драматург А. Н. Островский, — они там не закреплены чувством... Но чтобы истины действовали, умудряли, убеждали — надо, чтобы они прошли прежде через души... Иметь хорошие мысли может всякий, а владеть умами и сердцами дано только избранным”.

Разрабатывая принципы русской актёрской школы, Станиславский назвал её “искусством переживания”. Определяя ценность искусства его духовным содержанием, великий реформатор полагал, что полноценно выявить, воплотить его способно только творчество, опирающееся на принцип естественного переживания, на живую природу человека-артиста: “Легче всего воздействовать на ум через посредство сердца, и этот верный путь по преимуществу избрало для себя наше искусство”.

Не только раскрыть внутренний мир героя, но и увлечь им. Так кристаллизовалась самобытная основа нашей сцены, её язык — язык сердца, сердца горячего, чистого и возвышенного.

На всём протяжении отечественной истории театра его лучшие представители воспринимали сцену как универсальное средство совершенствования человека. Их привлекали жизнетворческие, созидательные возможности театрального искусства. Так понимали его назначение и крупнейшие идеологи русского театра — А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, М. С. Щепкин, А. Н. Островский, Л. Н. Толстой. Большой вклад в разработку концепции национальной сцены внесли статьи В. Г. Белинского, А. А. Григорьева, А. И. Герцена. В XX веке успешно развивали театральную методологию мхатовские воспитанники режиссёры А. Д. Попов, М. Н. Кедров, замечательный театровед В. Н. Прокофьев.

Кроме МХТ, цитаделями национальной театральной школы и в XX веке оставались старейшие императорские (в советскую эпоху именовавшиеся академическими) коллективы — Малый театр в Москве, Александринский театр в Петербурге-Ленинграде. В этом русле работали и многие театры в провинции, среди которых наиболее заметными были Ярославский, Нижегородский, Казанский, Саратовский, Харьковский.

В XX веке после крушения русской государственности русский театр, как и вся культура, подвергся мощному, разрушительному по своим результатам политическому и организационному давлению: власть стремилась превратить его в орудие своей пропаганды, подчинить догмам схоластической марксистской эстетики и фальшивой методологии так называемого социалистического реализма. Лишь громадный творческий потенциал, накопленный ранее, и сила консервативной культурнической инерции позволили русскому театру в первые советские десятилетия выжить и оказывать определённое сопротивление разрушительным тенденциям. Ценности и идеалы русской цивилизации оживали в реалистическом и одухотворённом творчестве старейших театров, в искусстве рождённых народом, взращённых национальной почвой великих актёров, в спектаклях русской классики, в продолженной и в советское время деятельности театральных гениев Станиславского и Немировича-Данченко.

Русский народ, изнемогая в “немой борьбе” (А. А. Блок), иногда вынуждал правящий режим идти на уступки, не допуская полного разгрома национальной культуры. В лучших произведениях театрального искусства сохранялась ориентация на реализм и классическое наследие, обозначилось противостояние дегенеративному анти-искусству, авангардизму и мейерхольдовщине. В 1930-е годы Немирович-Данченко, направляя деятельность МХАТа, следовал своему кредо: “Самое высокое в искусстве исходит только из недр глубоко национальных”.

Однако во второй половине XX века снова необычайно усилилась разрушительная экспансия в сферу театрального искусства, которое постепенно утрачивало национальную русскую природу и эстетику. Иностранному русофобскому захвату подверглись административный аппарат, управлявший театральным процессом, сфера театрального образования, в особенности подготовка режиссёрских кадров и театроведов.

С уходом из жизни русских режиссёров и театральных деятелей “второго поколения” — А. Д. Попова, М. Н. Кедрова, Ю. А. Завадского, Н. П. Охлопкова,

Б. И. Равенских, А. А. Брянцева, А. М. Лобанова, В. П. Кожича, Л. С. Вивьена, а также плеяды блистательных артистов, игравших на сценах академических театров, – утрачиваются опоры национальной сценической традиции, прерывается живое преемство поколений творцов Русского Театра, подвергаются забвению и даже поруганию его каноны, исчезает его художественный камертон.

Именно национальная самобытность нашей сцены подверглась разрушающей агрессии со стороны космополитических и воинствующе настроенных антирусских сил, сплотившихся в “малый народ”.

Эту опасность ясно провидел Станиславский, который ещё в первые после-революционные годы резко протестовал против засилья левых, авангардистских и, в сущности, русофобских “театров и направлений”. Он писал: “Далеко не все из них органичны и соответствуют природе русской творческой души артиста. Многие из новых театров Москвы относятся не к русской природе и никогда не свяжутся с нею, а останутся лишь наростом на теле”. Критикуя моду на “теории иностранного происхождения”, Станиславский ставил правильный диагноз: “Большинство театров и их деятелей – нерусские люди, не имеющие в своей душе зёрен русской творческой культуры”. По поводу одного из них – внедрившегося в МХАТ режиссёра И. Я. Судакова – Станиславский весьма категорично заявлял: “В течение почти десяти лет судаковская группа не может слиться и никогда не сольётся с МХТ... Это кончится плохо, сколько бы ни представлялся Судаков моим ярким последователем. У всех этих лиц другая природа. Они никогда не поймут нас”.

Наступивший в середине 1980-х годов новый этап государственного развития радикально изменил социально-политический климат в стране, повлиял и на развитие её художественной культуры. Поначалу тогда усилилось противостояние патриотического движения и общественных сил, которые, маскируясь псевдодемократическими лозунгами, стремились русофобию возвести в норму жизни. На волне идеологического раскрепощения и некоторой гласности русское национально-историческое сознание стремилось заявить о себе, надеясь стать опорой в борьбе русского народа за возрождение наследия – традиций, памяти, художественных ценностей, – и в театральном искусстве также.

Но это движение серьёзных успехов не достигло. Тогда национальная самобытность нашей театральной культуры продолжала подвергаться нарастающей разрушительной агрессии со стороны политически возобладавших антирусских, космополитических сил.

В немалом числе спектаклей, как некогда и в 1920-е годы (по замечанию одного из критиков), “горели “вишнёвые сады” сценического реализма”.

На рубеже XX-XXI века в театральном пространстве России сформировалась грандиозная художественная химера с очевидными признаками духовного, нравственного и эстетического нигилизма и с преобладанием жизнеотрицающего (по отношению к России и русскому народу) настроения. Её своеобразие – в интегральной дисгармонии, возведённой в эстетический канон. Её основы – космополитический менталитет режиссёров (“брюнетов-пессимистов”, по выражению Станиславского), насильственная дрессура русских актёров, превращаемых в покорных марионеток, мещанская драматургия, создаваемая полчищами местечковых авторов, пасквильная интерпретация отечественной классики, изображение русской жизни как сплошного *тёмного царства*.

В океане русскоязычной театральной антикультуры, скромными островками уцелевшей исконно русской сценической эстетики с присутствием неискажённой классики в репертуаре до недавнего времени еще оставались московские труппы: возглавляемый Ю. М. Соломиным Малый театр, МХТ имени М. Горького под руководством Т. В. Дорониной, Русский духовный театр “Глас” (рук. Н. С. Астахов, Т. Г. Белевич), немногие провинциальные сцены.

Неуклонно проводимая политика ликвидации очагов русской национальной культуры иногда принимала свирепые формы. Так, в 2019 году без объяснения причин, с нарушением договорных обязательств из руководства МХТ им. М. Горького была изгнана великая русская артистка Т. В. Доронина, успешно руководившая коллективом более тридцати лет. С назначением нового худрука театр утратил своё национальное лицо. Эту катастрофу можно считать непоправимой ещё и потому, что в сценическом искусстве опыт, традиции, каноны наследуются только в живом преемстве, их невозможно возродить, вычитав “правила” из книг и учебников. Драма театра в том, что устранили Доронину как “живую” созидательницу эстафеты русских театральных традиций.

Возможно ли преодоление кризиса в судьбе русской национальной театральной культуры? Залогом обновления могло бы стать возвращение к истокам, к парадигме сцены. Животворность достижений нашего классического театра была подтверждена опытом истории. Традиции Малого и Александринского театров, открытия корифеев Московского Художественного театра, творчество лучших коллективов периферии – в этих бесценных сокровищах утверждались высокие национальные идеалы, они пронизаны постулатами истины, добра, справедливости и красоты. В них уважался дух Русского Народа, его вера, язык, характеры и обычаи.

Однако преобладание в современности русофобских тенденций не даёт надежд на возрождение, на спасение самобытности великорусской национальной сцены. Антирусская атмосфера социокультурного бытия, кадровая политика, преобладание антинационального настроения не дают к этому никаких оснований.

Разрушительные процессы продолжаются уже более столетия. Весь XX век – время торжества русофобии (то затихающей, но вновь выходящей на авансцену). И сегодня русских по-прежнему нет в правовом пространстве государства. Нет в Конституции, нет в паспортах, нет в названиях политического (и даже бытового) характера. Как и в прошлые десятилетия, само слово “русский” у многих этнических русских вызывает испуг или подозрительность, а у иностранцев – злорадное возмущение и почти неременное обвинение в фашизме.

Напомним: вчера ещё авторитетные средоточия русской культуры – театры Александринский, Большой драматический (в С.-Петербурге), Московский Художественный сегодня разрушены. Неслучайные следы идейно-эстетического окостенения можно найти и в некоторых спектаклях Малого театра.

Культура (и театр тоже) в своём развитии должна погрузиться в глубины национальной жизни, вспомнить и усвоить столетиями проверенные ценности русской цивилизации, черпая из неистощимого нашего наследия.

АЛЕКСАНДР ВОДОЛАГИН

доктор философских наук,
профессор

В КАБАЛЕ У СОЛНЦА

К 125-летию А. Л. Чижевского

“Мы — гиперборейцы...”
Фридрих Ницше

В своих воспоминаниях о почти двадцатилетней дружбе с К. Э. Циолковским А. Л. Чижевский утверждал, что многолетнее интеллектуальное общение с ним внесло в его мировоззрение “радикальные перемены”¹. Следуя духовным импульсам, полученным от создателя русской “космической философии”, казавшегося пытливому юноше “великим посвящённым”², Чижевский быстро избавился от суеверно-фетишистского восприятия современной науки, проникся благоговейно-почтительным отношением к мудрости древних и в ходе своих новаторских исследований на стыке “наук о природе” и “наук о духе” частично реконструировал “сокровенное учение” греческих мудрецов, фактически подтвердив прогноз Циолковского об обретении человечеством некогда утраченного “эзотерического знания”³. Формулируя основы гелиобиологии, космической медицины и космопсихиатрии, Чижевский вопрошал, не пришли ли мы сегодня к “восстановлению некоторых принципиальных заключений астрологии” и “древней алхимии”? И тут же отвечал на поставленный вопрос “без всяких колебаний и сомнений” утвердительно⁴. Обратим внимание на некоторые из упомянутых им “принципиальных положений”, образующих совокупность тех “философских предпосылок”, которые позволили Чижевскому совершить прорыв в области познания Земли как космического организма, “живого существа” и человека как микрокосма, продвинуться по “пути создания новых научных концепций”⁵.

Прежде всего, нужно сказать о метафизике света и светосвечения, которая нашла свои теоретические выражения в математическом мистицизме пифагорейцев, языческом “солнечном монотеизме” Платона и неоплатоников, а также в христианской мистике Псевдо-Дионисия Ареопагита, Майстера Экхарта и Якоба Бёме. Кроме того, Чижевский испытал на себе вдохновляющее воздействие “Мыслей” Блэза Паскаля, томик которого в белом кожаном переплёте лежал у него на столе как Евангелие⁶. Паскалевская философия зовущих и притягивающих человека космических бездн подпитывала мышление русского биофизика, как и фаталистическая “Этика” Спинозы. Развивая мотивы древней натурфилософии, Чижевский отмечал, что “за 1700 лет до Коперника сущность гелиоцентрической теории была известна” *аполлиническо-солнечной душе древнего грека*. Следуя этой традиции, русский учёный рассматривал Солнце как “энергетическую первопричину” почти всех явлений на Земле (кроме морских приливов и отливов), включая психическую жизнь человечества в её нормальных и патологических проявлениях. “Усиленный приток лучистой энергии Солнца превращается, — писал он в 1931 году, — пройдя

ряд промежуточных стадий, в переизбыток нервно-психической, эмоциональной энергии”⁷. Исходя из продуманного ещё Гераклитом и Аристотелем “энергетического понимания природы”⁸, Чижевский рассматривал все формы движения, включая и “движение нашей мысли”⁹ как проявления игры космических сил¹⁰. Жить, по его словам, “это значит пропускать сквозь свой организм потоки энергии”¹¹. Усвоив скрытый смысл “мистического учения” Циолковского¹², разделяя вместе с “калужским провидцем” приверженность к пансихизму древних греков, Чижевский пошёл дальше своего учителя — **от космологии к психоистории**, к истолкованию массовых социальных движений “с психиатро-психологической точки зрения”¹³ — как выражений “психической бури” на планете, поднимающейся вместе с очередным всплеском пятнообразовательного процесса на Солнце. Предположение Циолковского о грядущей “тотальной катастрофе” как порождении присущего массам “патологического стремления к самоуничтожению” или “безумной воли небольшой группы людей” (ницшеанской *воли к гибели*), решившей использовать разрушительную мощь атома, было созвучно историометрическим построениям и прогнозам Чижевского. Статистически подкреплённая гипотеза Чижевского относительно синхронности четырёх периодов одиннадцатилетнего цикла солнечной активности и глобальных колебаний в психосфере Земли стала неожиданным подтверждением герценовской историософии, в свете которой всемирная история предстаёт перед нами в виде трагедии в её дионисийском понимании — как сцена, на которой орудует *homo insanus*¹⁴, то есть всё-таки **животное неразумное (человекокозёл)**, пребывающее в иллюзиях относительно собственной сущности. Этот убийственный герценовско-ницшеанский историософский пессимизм, усвоенный Чижевским, может быть отчасти нейтрализован одним соображением, навеянным всё той же космологией древних греков: всё же Солнце-жизнеподатель, отвечая за нарастания нервно-психической возбудимости человеческих масс (=стада, на языке Ф. Ницше) и их уклонения “в сторону патопсихологии”, не способно придать массовой деятельности какую-либо смысловую направленность, некое мифологическое или ценностно-идеологическое оформление. Приравнивая феномен свободной воли к фантому, кажимости, Чижевский ошибочно отождествлял психическую энергию и силу Духа, скептически воздерживаясь от обсуждения вопроса о природе первоисточка человеческих целеполаганий и так или иначе упорядочивающих нашу жизнь *эйдосов*. Анаксагорский космический *Нус*, аристотелевский *Ум-перводвигатель*, *Логос* Гераклита и Иоанна Богослова, *пневмосфера* П. А. Флоренского не были использованы Чижевским в ходе предпринятой им реконструкции древней астропсихологии — этой натурфилософской основы разработанной им космопсихиатрии. Демонстрируя в своей жизненной практике абсолютную интеллектуальную независимость подвижника Духа, аскетизм и бесстрашие подлинного пневматика, он предпочёл остаться в области историософии и социологического теоретизирования “в кабале у Солнца”, защищая принципы космического детерминизма.

*Так он вещал из молчаливой бездны,
Насыщенной звучаньем скрытых сфер,
Гармонией тех вихрей многозвездных,
Где борются Христос и Люцифер*¹⁵.

А. Л. Чижевский вошёл в историю науки как инициатор рискованных, междисциплинарных исследований, подрывающих парадигмальные основы позитивистски ориентированного математического естествознания Нового времени. Будучи концептуально мыслящим учёным, интуитивно достигшим в общении с К. Э. Циолковским¹⁶ высокого уровня философской рефлексии, он не стремился к созданию принципиально новой доктрины, понимая, что сила мыслящего духа проявляется не столько в производстве логически обоснованного и эмпирически проверяемого “нового знания”, сколько в возобновлении великой аполлоническо-гиперборейской Традиции, которая предана забвению властвующей учёной посредственностью или искажена до неузнаваемости. Говоря о своеобразии гениальности Чижевского, нужно отметить, что он с юности был пленён “духом звёзд и стихий”¹⁷, и эта пленённость проявилась позднее в том особенном “русском фатализме”, который некогда вызывал восхищение у Фридриха Ницше, поскольку означал “любовь к року”,

отрицание “догмата о свободе воли”¹⁸, более того — “уничтожение воли”¹⁹ и признание неотвратимости *вечного возвращения того же самого* — эту “победоносную мысль”²⁰, запечатлённую в мистических учениях Запада и Востока, к которым, по убеждению К. Э. Циолковского, в конце концов, обратится современная наука, если осознает, что “нет ничего нового под солнцем” (Еккл. 1, 9).

Вопреки утверждениям создателя “Основ историометрии” о том, что его теория периодических колебаний исторического процесса в планетарном масштабе является результатом статистической обработки эмпирически наблюдаемых данных и не имеет ничего общего с идеей вечного возвращения — “Das ewige Wiederkunft”, — которую по-разному формулировали пифагорейцы, стоики, Екклезиаст, Ф. Ницше и О. Шпенглер, следует признать, что именно эта идея стала для Чижевского главной априорной схемой его теоретического мышления, основой для конструирования одиннадцатилетних “всеобщих исторических циклов”, каждый из которых включает в себя четыре периода и представляет собой “единицу отсчёта исторического времени”²¹, искомое им “вечное теперь” всемирной истории.

Разбирая космологические построения древних, А. Л. Чижевский видел в их “натурфилософских синтезах” выражения изначального *солнечного монотеизма*, первые наброски “солнечной теории”, которые представляли собой не “наивные и жалкие сказки”, а “тончайшие системы символов”, нуждающиеся в *дешифровке*, “перлы глубочайших логических построений древних мыслителей”. Он обращал внимание на совершенство этих умозрительных конструкций, их непреходящую духовную ценность и в этом плане был тайным гиперборейцем, последним *апостолом вечного возвращения*.

А. Л. Чижевский с сожалением говорил о “невнимании и неуважении к творчеству древних”, имея в виду вульгарно-материалистически мыслящих “современных естествоиспытателей” — излишне самонадеянных и самовлюблённых, не подозревавших о тяготении “аполлиническо-солнечной души древнего грека” к идее главенства Солнца как энергетической первопричины бытия сущего в целом, не имевших представления о гелиоцентризме *Аристарха Самосского* (310–250 гг. до н. э.), поверхностно воспринимавших “философские учения ионийской школы”.

Возвращаясь к забытой естествоиспытателями *солнечной традиции*, реконструируя утраченное “эзотерическое знание” древних, А. Л. Чижевский актуализировал не только идеи досократиков. Ему были близки и прозрения, содержащиеся в “Египетской книге мёртвых”, где Солнце изображалось как “творец богов”, “коронованный царь богов”, “повелитель мира и его обитателей”, “властелин земли”, “создатель живущих в высотах и глубинах”, “могущественнейший из богов”, определяющий неизменный ритм бытия вселенной и подпитывающий своей животворящей энергией *Землю как единый организм*²².

*С каким волнующим благоговеньем
Смотрю на вас, папирусы Египта...*²³

Озирис говорит о верховном божестве Ра: “Ты великий самопорождённый бог, ты тот, кто сотворил сам себя!”, “создал род человеческий и тварей земных”. И научное творчество, и поэтизирующее мышление А. Л. Чижевского были откликами на слова гимна Озириса в честь Ра: “Приветствую твой Диск, о повелитель света, поднимающийся на горизонте и дающий жизнь роду человеческому. Да будет на то воля твоя, чтобы я мог лицезреть тебя на рассвете день за днём”. Можно сказать, что Чижевский-солнцеклонник, как “один из угодных” коронованному царю богов — Солнцу, “оказался среди спутников Великого Бога”, а усвоенная им светоносная идея вечного возвращения стала основой для его новаторских разработок — *гелиобиологии, космопсихиатрии, учения о пандемиях, историометрии и психоистории*. Мир представлялся ему, как и почитаемому им “учителю вечного возвращения”²⁴ Фридриху Ницше, “круговоротом, который уже повторялся бесконечное число раз и разыгрывает свою партию in infinitum”²⁵. Это миропредставление и в наше время может служить теоретической предпосылкой для прогнозирования зигзагов и кризисов мировой истории, включая “психические бури” на Земле и “эпидемии массового психоза”²⁶, в которых Чижевский, следуя логике Ницше, видел реализацию

присущего человеку дионисийского “стремления к самоуничтожению”²⁷. Так называемое *ковидобесие* последних двух лет – пример “психоза коллективного самоистребления”²⁸ в эпоху возвращения Диониса, “начальника Смерти”, самого безжалостного и “последнего властителя мира”²⁹.

*Повсюду – тьма. Безгласно все кругом.
Все беспредельности объаты мертвым сном.
О, дух, родись во мраке ночи вечной.
Летят шары по бездне бесконечной.
Ответа нет. Решенья не дано.
Во тьму глядит безумие одно*³⁰.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Чижевский А. Л. На берегу Вселенной. Годы дружбы с Циолковским. Воспоминания. М., 1995. С. 65.
- ² Чижевский А. Л. Аэроионы и жизнь. Беседы с Циолковским. М., 1999. С. 674.
- ³ Там же. С. 660.
- ⁴ Чижевский А. Л. Космический пульс жизни. Земля в объятиях солнца. Гелиотараксия. М., 1995. С. 691.
- ⁵ Чижевский А. Л. На берегу Вселенной. С. 243.
- ⁶ Там же. С. 385.
- ⁷ Чижевский А. Л. Космический пульс жизни. С. 244.
- ⁸ Там же. С. 235.
- ⁹ Там же. С. 81.
- ¹⁰ Там же. С. 135.
- ¹¹ Там же.
- ¹² Чижевский А. Л. На берегу Вселенной. С. 379, 404.
- ¹³ Чижевский А. Л. Космический пульс жизни. С. 232.
- ¹⁴ Подробнее об этом см.: Водолагин А. В. Психопатология всемирной истории. // Космос и мировая история. М., 2002; Водолагин А. В. Русское познание Бога. Философия духа в России. М., 2019. С. 236–246.
- ¹⁵ Чижевский А. Л. Музыка тончайших светотеней. Стихотворения. М., 2013. С. 229.
- ¹⁶ Чижевский А. Л. Аэроионы и жизнь. Беседы с Циолковским. М., 1999. С. 674.
- ¹⁷ Бёме Я. О тройственной жизни человека. Уфа, 2011. С. 9. Выдвинутая Циолковским гипотеза “страдающей материи” была развитием идеи Якоба Бёме.
- ¹⁸ Чижевский А. Л. Космический пульс жизни. Земля в объятиях солнца. Гелиотараксия. М., 1995. С. 672.
- ¹⁹ Nietzsche F. Der Wille zur Macht. Stuttgart, 1996. S. 691.
- ²⁰ Nietzsche F. Der Wille zur Macht. S. 689.
- ²¹ Чижевский А. Л. Физические факторы исторического процесса. Калуга, 1924. С. 33.
- ²² Чижевский А. Л. Космический пульс жизни. С. 673.
- ²³ Чижевский А. Л. Музыка тончайших светотеней. С. 198.
- ²⁴ Ницше Ф. Полн. собр. соч. в тринадцати томах. Т. 11. М., 2012. С. 12.
- ²⁵ Ницше Ф. Полн. собр. соч. в тринадцати томах. Т. 13. М., 2006. С. 344.
- ²⁶ Там же. Т. 7. М., 2007. С. 10.
- ²⁷ Чижевский А. Л. Космический пульс жизни. С. 366.
- ²⁸ Schelling F. W. J. Urfassung der Philosophie der Offenbarung. Hamburg, 1992. S. 286.
- ²⁹ Чижевский А. Л. Космический пульс жизни. С. 366.
- ³⁰ Чижевский А. Л. Музыка тончайших светотеней. С. 218.

ОЛЬГА БЛЮМИНА

ПРЕОДОЛЁННОЕ ВРЕМЯ ВАСИЛИЯ КАЗАНЦЕВА

Василий Казанцев. Взлёт. Избранные стихотворения. — М.: Редакционно-издательский дом “Российский писатель”, 2021.

“Взлёт” — последняя книга Василия Казанцева, которую он готовил. Увидеть её опубликованной поэт не успел. Издание получилось посмертным. В послесловии к сборнику Татьяна Бурдакова, помогавшая Василию Ивановичу в работе над книгой, вспоминает: “Он знал, что книга выйдет, когда его уже не будет, так мне сразу и сказал. Но был счастлив, что она готова...” До последних дней Василий Казанцев чувствовал себя, в первую очередь, творцом. Внутреннее пламя светило ровным, неколеблемым светом, словно и не существует вокруг ледяных ветров времени.

Такое доверие судьбе — оборотная сторона чувства доверия времени, свойственное поэту. Не случайно открывают книгу стихотворения о времени, они идут одно за другим: созданное в 1978 году “Что прекрасно, а что безобразно” и в 2007-м — “Ночь пролетела”. Оба они написаны в форме одного из любимых приёмов Казанцева — диалога. В первом, исключительно философском диалог превращён в разговор с самим собой, лирический герой задаёт вопросы себе, но вопросы эти отнюдь не риторические:

*Что прекрасно, а что безобразно,
Разберёт, не жалеючи сил,
Только время... Но время — пристрастно.
Разве ты не во времени жил?*

*Разве времени вечное время
Ты не слышал, по жизни идя?
...Сам ты разве не вечное время,
Отгремевших времён судия?*

В первом стихотворении герой “взвешивает на руках время”, как сказал когда-то Вадим Кожинов, а взвешивая, словно оценивает степень его тяжести. Во втором — природа спрашивает голосами её обитателей, почему переменчив окружающий пейзаж, и объяснение этому непостоянству может дать тот, кто сам неуловим, как время, и почти так же силен, как оно, — ветер:

*Ночь пролетела. И в утренний лес
Вновь я вошёл. Предо мною*

*Вид неизменный, знакомый исчез.
Всё предо мною — иное.
— Это светлее сверкнула сосна, —
Птица пропела лесная.
— Это пришла, прилетела весна, —
Птица пропела другая.
— Это другой, незнакомый предел, —
Пискнула пеночка-кроха.
...Ветер чуть слышно пропел, прогудел:
— Это*

*Другая
Эпоха.*

Объединяет оба стихотворения уникальное умение поэта брать от времени только необходимое, ровно столько, сколько нужно. Существо вопроса, обращённого к себе: “Разве ты не во времени жил?” — в том, что поэт и сам чувствует непрочность своих связей с эпохой. Как будто бы до конца не уверен, был ли он со временем или время миновало его.

И в самом деле, поэзия Василия Казанцева — надэпохальна. Голос его тих, но это тишина всепроникающая, шёпот мироздания. Художник говорит от имени самого времени, целостной, неделимой субстанции, которая не наступает и не отступает, а пребывает: *И день припомнившийся тот // Вдруг чётко в памяти возникнет. // Как будто кто-то позовёт, // Знакомым голосом окликнет. // И снег, что всё запорошил // Под посветлевшим, низким небом, // Задышит озером, где жил, // И морем, где ни разу не был* (“Я оглянусь — и предо мной...”); *День молодой горит. Солнце плывёт в воде. // В воду идёт весло, ровен и влажен звук. // Это не в дымке лет. И не вчера. Сейчас* (“Быстро бежит река”).

В одном из поздних стихотворений (2008) читатель и поэт говорят о творчестве, однако мысль о том, что разговор этот слышит объект воплощения — природа, не вызывает никаких сомнений. Таким образом, перед нами разговор троих, только один из них, пассивный участник, настолько олицетворённый во второй и четвёртой строфе, что создаётся впечатление абсолютной равновеликости природы и человека и неограниченности творческих возможностей последнего. А образ мира представлен трёхчастной осуществлённой моделью: творец-искусство-природа:

*— Так славно пишешь ты природу,
Так ярко светится она.
А ты чему берёшь в угодую
Лишь только светлые тона?*

*— А чтоб природа увидала,
Как лучезарно может цвести,
И чтоб ещё светлее стала
И веселей она, чем есть.*

*— Но ведь она не вся ж такая.
Есть и несветлые черты.
И почему, стихи слагая,
О них совсем не вспомнишь ты?
— Боюсь, что вдруг природа глянет
На столь несветлые тона —
И вдруг намного хуже станет,
Чем в самом деле есть она.*

Узнаваемый и неузнаваемый мир дарит художнику не более секунды проникновения в свою тайну в стихотворении “Художник плавно кистью водит”. Ведь всю свою жизнь поэт копит впечатления и возможности, чтобы однажды (мы зовём это вдохновением) молнией, соединяющей небо и землю, блеснуть ярким мгновенным светом озарения. Подошедший к художнику пастух

видит, как постепенно возрождается прекрасный реальный мир на холсте, может быть, впервые замечая, “как ярко, солнечно цветёт” он. Но стоит ему перевести взгляд с картины на луг, и тут же становится очевидным разрыв между двумя действительностями. И оценить, в чём же состоит разница, пастух, а вместе с ним и читатель, не может. Молниеносное чувство нераздельности мироздания исчезло.

Желание лирического героя Василия Казанцева дойти “до самой сути” осуществляется в постижении мгновений, когда время утрачивает власть над человеком, потому что оно схвачено и отлито в единственно возможной форме – поэтической: *И от движения такого – // Из глубины на свет высот, // И снова вглубь времён с высот – // От повторения такого // Вновь, вновь идёт на взлёт, на взлёт (“Опять и снова”); Это ясноглазая природа // Из давно светившегося года, // Из давно промчавшегося года // Смотрит просто-душно на меня?.. // Из ещё не сбывшегося дня? (“Солнечный, не низок, не высок”); Лес волнами течёт с горы. // Да зыблется среди жары // Забытое стихотворенье, // Как лёгкий столбик мошкеры (“На пастбище”).* Миг соединения оборванных связей в стихах Василия Казанцева – ещё и своеобразный вызов времени, отрыв от него.

Отношения со временем Василия Казанцева можно определить формулой “здесь и сейчас”. И в этом смысле поэт не то, чтобы вне времени, он просто больше, чем всё, что мы вкладываем в это понятие. Как и автор (участник акта творчества) неизмеримо больше представления о реальной личности: *Шагал своей дорогой он. // И сосны тихо пели. // И был намного больше он, // Чем был // на самом // деле (“Был летний солнечный денёк”).* Принимающий на себя время поэт наделяет его другими, непривычными качествами. В стихотворении “Хлеба пололи. Пела мошкара” даже структурно разделённая временем жизнь сплетается в единый клубок, в котором далёкое и близкое перепуталось, сплелось: в первом шестистишии далёкое представлено глаголами прошедшего времени, а во втором – близкое – глаголами в настоящем времени. Но когда и как мальчик и взрослый поменялись местами, нам не открыто:

*Хлеба пололи. Пела мошкара.
Сгребали сено. Мучила жара.
Дорога прогибалась под возами.
Зелёной ветви колыхалась плеть.
На всё, на всё хотелось посмотреть
Неведомого взрослого глазами.*

*Прносятся, как ветер, поезда.
И годы, и леса, и города.
Восходят и проходят. За годами
Бегут года... С зелёным полем слит,
Далёкий мальчик на меня глядит
Неведомого взрослого глазами.*

Герой Василия Казанцева всегда стоит на пересечении миров, здесь и сейчас удерживая земли и звёздной выси связь (“Сейчас и здесь взлетела песня”), как бы замыкая цепь времён и даже материализуя отвлечённые понятия: вечность, время, о чём он прямо говорит в стихотворении “Как быстро выросла сестрёнка”: *Само таинственное время, // Своей доступностью дразня, // Материальным став на время, // Стоит и смотрит на меня.* И снова – диалог, на сей раз безмолвный, снова взаимность взглядов, таинственное взаимопроникновение. Здесь и сейчас, воспетое Василием Казанцевым, – это узловая космическая станция, где сходятся вечности пути. И он, живущий здесь и сейчас, сам становится точкой отсчёта для дальнейшего хода времён, концы которых держит в своих руках. Оттого-то и вольно дышать ему в своём времени и отзываться “восторга” словами на жизни чудо, дарованное ему. Оттого-то “страха времени нет”, потому что сегодня, сейчас он знает то же, что открылось ему сорок лет назад:

*Принимаю как должное
От стремительных лет*

*Невнимание долгое,
Этот поздний привет.*

*И внимание долгое,
Строгость пристальных лет
Принимаю как должное.
Страха времени нет.*

Смею предположить, что автор “времени вечное бремя” даже не замечал. Не будучи придавлен смыслами времён, он вправе сказать о себе: *сам ты разве не вечное время? // отгремевших времён судия* (“Что прекрасно, а что безобразно”). Только и судейство его неотмирно. Это суд поэта. И продолжение через сорок лет темы стихотворения 78-го года столь же естественно, сколь и удивительно. Поэт улавливает такие сдвиги в пространстве, которые для обыденного сознания даже не существуют. Сквозь одну эпоху проглядывает другая, которая никуда не уходит, но и не остаётся прежней – моделируется сама суть мироздания, изменяется дух естества. Природа, к которой так чуток поэт, смотрит на него немного поменявшими цвет глазами: *Я оглянусь – и предо мной // Вдруг на какое-то мгновение // Предстанет улица иной, // В забытом, странном освещенье* (“Я оглянусь – и предо мной”); *... Лист на деревце, // Судьбы услыша приближенье, // Сейчас изменится в лице* (“Темнеющая высь клубится”); *Кусты над берегом песчаным, // Как изменяетесь вдруг вы, // Вдруг окружённые туманом // Густой, пробившейся листвы* (“Кусты над берегом песчаным”).

Формы поэтического бытия зависимы от времени, как зависимо искусство вообще от исторических условий. Но вместе с тем оно автономно от каких бы то ни было влияний сменяющихся эпох, ибо подлинный творец всегда находится в самой сердцевине мироздания. Его субъективизм обретает черты, воплощающие целостность бытия народа. О дивной связующей силе *воздушно-тонкие слова* шепчет поэту *воздушно-тонкая листва* и то, “какая сила в них была, // Лесная птица разъяснила. // А что и птица не смогла, // Моя душа договорила” (“Воздушно-тонкая листва”). В стихотворениях, написанных тридцатью-сорока годами раньше, – та же равновеликость человека и мироздания: *Это мы отразились в недвижных озёрах // Плоскостях-зеркалах стекленеющих льдов. // В опрокинутых высях – застывших узорах // Светлых, тёмных, к воде подступивших кустов* (“Это мы отразились в недвижных озёрах”); *... Сплю. И, рук моих создание, // Надо мной и подо мной // Кругом ходит мирозданье // С вышиной и глубиной* (“Июль”).

В одном из тончайших и монументальных стихотворений “Холодны, высоки, тяжелы” образ времени слит с традиционным символом течения вод. Речные валы в нём тревожны, неотступны, губительны. Неотвратимость, гибельность эсхатологических времён воплощена в образе человеческой толпы, накопившей за годы и века грехи и влекомой бешеным потоком страстей: человек времён становится толпой. Необыкновенно жизненный ускользающий образ – разрушительность времени заключена в нём самом. Представитель времени, единственная его живая, изменчивая реальность – человеческая масса, в совокупной своей обезличенной силе, – и причина, и следствие неминуемости Нового потопа. Ибо не слышит оглушительного рёва рек – жестоких человеческих времён. Но и в этом водовороте есть Один, который видит и слышит. Поэт – человек в океане людей. Ему даны третий глаз и сила быть неподвластным времени. Он владеет Словом, которое вне времени, – это Вечный Ковчег. Только Слово способно возродить Человека. Владимир Фёдоров считал “поэтическое бытие” высшим “по своему онтологическому статусу” и совпадающим по типу с бытием Слова (в христианстве Бог-Слово), содержанием которого является любовь. Автор сможет овладеть этой высшей онтологической формой только в том случае, когда любовь для него становится высшей ценностью. В таком опыте поэтического бытия происходит преодоление конфликта между человеком жизненным и человеком словесным (созданным Словом). Энергия бытия поэтического высвобождается вовне, помогая человеку (читателю) в восхождении к высшим, надматериальным формам бытийности. По этой же самой причине для Марины Цветаевой важно было родиться в день Иоанна Богослова, а не накануне. Предначертанность пути и мучительное избрничество говорящего

именем народа и повелевающего временем осуществимо только в осознании своей единородности Высшему Слову.

В стихах Василия Казанцева почти нет тоски по ушедшему: “Страху времени нет”. Это не означает, что поэт не видит в жизненной реальности печали. И всё-таки слышит он не простую печаль, а высшую, единую с восторгом бытия. Радость и печаль — два душевных предела, между которыми распределяются все прочие силы человека. Дотянуться до высшей печали — значит воплотить извечное человеческое стремление к чувству целого. Среди многих дорог в мире Василия Казанцева у горя самая короткая, она даже не столько короткая, сколько исчезающая в извилах счастливых дорог и тропок. Одна из важнейших черт поэтического времени Казанцева — для завершенности бытия характерна эмоционально-временная завершенность — начало, слитое с концом, тоска, поглощённая сияющей бесконечностью:

*Глубина и прозрачность в природе.
Успокоился лес, не шумит.
В опустевшем лесу на колоде
Человек, пригорюнясь, сидит.*

*Но кручина его — не кручинна,
А легка и добра. И светла.
И летуча. Она беспричинна.
Неизвестно откуда пришла.*

*Шелест, свет в ней и дальняя сойка,
И блестящая тонкая нить.
И печали в ней ровно настолько,
Чтобы счастьем законченным быть.*

Если всмотреться в структуру образа, то становится очевидным его цикличность. Получается неожиданное — подъём к счастью через печаль, и печаль оказывается замкнутой в кольце из радостных и светлых воплощений. Словно запертой на замок. У Казанцева вообще нет движения назад, вспять. Без горечи, без сожаления говорит он о том, что, возможно, чего-то недополучил от жизни, ибо то, что он получил от неё, неизмеримо выше всех утрат. Редкий дар для “одинокой”, во всём разочарованной современной поэзии.

В далёком 57-м году поэт утверждал: Я сделаю сущее чудо — // Я время разведу, как дым. // Я буду всё тем же, я буду, // Я буду всегда молодым (“...И думать о жизни бродячей”). Василий Казанцев доносит до нас неповреждённый мир, чистый, ясный, ликующий, давая возможность и нам причаститься восторгу бытия:

*Над плотной насыпью привстав,
Напряжена, пряма, отлога,
Как оглушительный состав,
Рванулась вдаль — и ввысь — дорога.*

*Тугой струной, прямой, стальной,
Звенящая затрепетала.
И тут же — всей своей длиной —
Бессильная, к земле припала,*

*Незамирающе светясь
Неугасимой красотой.
...Полуборванная связь
С неотвратимой высотой.*

ВИКТОР МАХАЕВ

ВРЕМЕННОЙ КРУГ КОНСТАНТИНА СМОРОДИНА

Константин Смородин. Одно утешит — красота. Саранск, 2021.

В поэтическом сборнике “Одно утешит — красота” Константин Смородин выступает и автором стихов, и иллюстратором: каждое стихотворение сопровождается фотоснимком. В книге есть прямые иллюстрации стихотворных строк, например, “Картинка из детства” сопровождается снимком: по заснеженному полю тащится лошадка с санями. А другие предстают метафорами духовного ландшафта. Такова уходящая вверх, в глубокую перспективу лестница, требующая духовного восхождения (“Всё это — ремесло...”). Снимки Константина Смородина атмосферные, с приглушённым тёплым цветом, напоминающие пастельные рисунки. На них запечатлена сегодняшняя провинциальная повседневность, без какой бы то ни было экзотики. Но зритель, не найдя ничего эффектного, именно в этой простоте может разглядеть чудо жизни. Поэт останавливает свой взгляд на преображённой повседневности, снимки являются результатом мучительных поисков красоты — в человеческих отношениях, в природе, в слове.

Временной круг задаёт движение всему сборнику. Лирический герой проходит все состояния человеческой жизни, от детства до зрелости. Меняются состояния души, которая то возбуждённо ликует, то тихо замирает и скорбит, то торжественно воскресает. И всегда жаждет гармонии. Поэтому образы времён года переплетаются с личными воспоминаниями, то счастливыми, то горестными. А мерный отсчёт бытию задаёт православный календарь. Круг замыкается. Время, как река, меняет берега жизни: детство лирического героя совпало с советской эпохой, молодость — с её крахом, зрелость — со становлением капитализма.

Детский кругозор ограничен родными людьми и родными стенами, непосредственность свежего и чистого восприятия жизни, какой бы она ни была в действительности, придаёт детству первородную гармонию. Она так сильна, что возмужавший поэт боится потревожить её анализом. Но память не проведёшь. Берedit душу ушедшая советская эпоха, век ослепительных обещаний и кровавых разочарований. Автор сопоставляет облик времени и суть времени, показывая, что за неказистой оболочкой скрываются удивительно одухотворённые, достойные люди: “Мы просто доживаем прошлый век, // осколки удивительной эпохи, // когда был человеком человек, // сквозь тьму глотая света крохи”. И, несмотря на отравляющий атеизм, в те годы “слово жило, а душа рвалась // к прекрасному...”. Как случилось, что всё лучшее было впустую растрачено?

Взвешенное спокойствие автора испаряется, когда речь заходит о рубеже 80–90-х годов, но поэт ограничивается хлёсткой политической карикатурой:

вырождение власти, афганская война, предательство и позор. На фотографии — обглоданные берёзовые стволы, по прекрасной роще прошёл ураган. Кажется, что уже весь “мир не поднять из руин”. Современность так запутана, что автор отказывается её анализировать: “день грядущий непонятен”, “мы заблудились в пластах времени”. Для того чтобы взвесить добро и зло, правду и ложь, надо иметь систему отсчёта: “Всех расставляют по ранжиру // в колонны, обещая рай, // и те, в ком души ещё живы, // те понимают — речи лживы...” Город, “объевшийся народом”, кусает людей большими, грубыми зданиями, заглатывает потоки машин, оставляя после своего пиршества мельтешение рекламы и человеческую суету.

Что остаётся человеку? “Одиночество из каждого двора...” Всё в таком городе бесприютно, пусто, мертвенно: “Мир городской скорее мертв, // в бетонных утонув колодцах”. Вот городской перекрёсток со скопищем машин, продуваемый хлестким ветром, леденящий стылым светом, в котором человек не может опомниться: “мир в движении сумасшедшем”. Современный город с его обманчивой свободой лишает человека душевного спокойствия.

*День отчаянья! Предателей парад!
На билбордах всюду формулы и числа.
Это город твой, весь перешедший в ад,
иль сон разума, заштопанного чисто.
Что поделаешь: теснят со всех сторон,
в чадном дыме растворились храмы,
и былая жизнь вдруг превратилась в сон
на обочине то ль фарса, то ли драмы.*

Поэта охватывает тревожная дисгармония, из которой хочется бежать. Ему хочется вырваться из ловушки каменного лабиринта в свободное пространство духа.

И тогда появляется излюбленный поэтами вокзал — кто только об этом не писал, но Константин Смородин находит свой неповторимый образ:

*Ты смотришь на небо, где розоватые облака,
Сыплешь остатки хлеба голубю на виадуке,
А снизу летят навстречу два товарняка,
Плюя друг в друга непережёванные звуки...*

Вся громада страны — как махина, разрезанная на части поездами. Пространство вокзала очень тревожное, неустойчивое, шаткое. Люди живут в запрограммированном, но зыбком мире железа и копоты, под перестрелкой вагонных колёс. И пассажирам, столпившимся на платформе, уже не кажется диким, мерзким, когда молодая мама непотребно ругает своего ребёнка.

*И что теперь дым вокзальный, чей вкус
до тошноты изведен, — больше не манит дланью.
И лишь пилигрим просмолённый, придорожный куст,
в своей нагоде весенней движется вне расписанья.*

Поэту хочется стать свободным пилигримом. Жить не на переездах, а в скитаниях. Катиться не по железной колее, а плыть своей дорогой. Найти свой путь, а не цепляющие пути. Хочется уехать в столицу, к святыням, к далёким чудесам? Вспомнить юность с её поездами, ленинградскими трамваями, днепровскими “ракетами”? Гульнуть разве что перед дальней дорожкой? “Мы расслабились немножко. // Надо выпить на дорожку. // Что поделаешь? Весна”. Прошлое — это опустевший вокзал, и не надо бежать за ушедшим поездом.

Бежать в “прекрасное далёко” за новыми впечатлениями, искать целебный источник, чтобы излечить душу, прикоснувшись к святыням. Стихотворной строкой и фотоснимком поэт расширяет обжитое пространство и переносится далеко — в Петербург, в Троице-Сергиеву лавру, на Соборную площадь Арзамаса, в Севастополь, Вифлеем, на Афон... Иная открывается здесь красота, а южные самоцветы кажутся картинами авангардистов. Прекрасное, но чужое место, где ты всего лишь гость. Вот вдруг “так захотелось в иные края...”, к южному морю, где красота и открытость сотворены для удовольствия,

расслабленного наслаждения. Но вспомнился наш зимний лес — величественный, уютный, куда надо войти благоговейно. Высокие холодные стволы заставят тебя собраться, стать сильным, закалённым.

На развороте — фотография интерьера: комната в деревянном доме, тёплое дерево стен, домотканый половик, минимум вещей, всё только самое необходимое. В окна сквозь белые занавески льётся “вермееровский” свет, освещая на бревенчатых стенах и двери светящиеся блики. Солнечные лучи не ослепляют, а утешают и поддерживают. Божественный свет заполняет всё пространство — пространство души поэта. И тогда наступает гармония — когда “горит лампады язычок // в углу под образами”, “когда касается крылами благодать”. Лес, речка, деревянный дом приглашают вновь обрести утраченную гармонию, вернуться в милый дом детства. Как в сказке, он “стоит, не низок, не высок, // наш терем меж снегами”. И пришли погреться к печке милые существа — кот, мишка-гамми и волчок улеглись в тепле. Всё, как в детстве.

Как неожиданно может разорваться круг жизни! В 2012 году в расцвете своего таланта ушла из жизни Анна Смородина. Смерть самого близкого человека — огромная беда, но Константин Смородин утратил не только жену, но и верного единомышленника, многолетнего соавтора, поэта, прозаика, публициста. Распалась единая творческая натура, которая жила гармоничной жизнью: “ты была для меня женой и другом”.

Испепеляющее страдание, душераздирающие строки “Милая, начинаю тебя забывать, // и от этого становится невыносимо”. Для оставшегося на земле жизнь кончилась, у него теплится одно желание — воскресить былое в новеллах-воспоминаниях. Наваливается гнетущая опустошённость: “мы хотели с тобой разделить жизнь, // но пуст наш дом // и гол наш холм”. Как объяснить и оправдать личное горе, пережить неизбывную тоску по возлюбленной?

*Всё такая ж нежная, дорогая?
Иль уже не прежняя, а другая?
Нет, наверно, прежняя, только лучше.
Падает надеждою солнца лучик.*

Воспоминания сменяются страстной исповедью. Изменилась и стилистика, от внешне спокойных, элегичных стихов “из прошлой жизни” — к порывистости, разорванности, асимметрии, поэт заговорил белым стихом: “я пишу тебе письма или себе, / пытаюсь понять, уразуметь...”

Осень исстрадалась в ожидании любви. Главное — не заблудиться в чувствах, ведь когда живешь только для наслаждения, трудно остановиться. Даже в старости. Дом стареет, как человек, но в нём ещё можно жить. Яблони стареют, как человек, их мучают недуги, они скрипят своими стволами, но они ещё способны плодоносить. Но от стареющего человека может остаться лишь оболочка:

*Всё идёт по замкнутому кругу,
и однажды, дойдя до точки,
ты ощутишь, протягивая руку,
рукопожатие не человека, а оболочки.*

Закрывается кольцо жизни, но автор не навязывает читателю своё представление о мире и времени. Он лишь говорит, что круг не должен стать обречённостью, что он заставляет каждый раз осмыслять всё глубже и глубже самого себя, перечитывая свою судьбу: “жизнь разомкнула свой круг”. Круг времени всё исцеляет. В эпилоге поэт переходит на прозу, он размышляет о трудном пути к Богу и произносит молитву.

“Этот край небогатый // всем меня одарил: // и женою, и братом, // и крестами могил”. Строчки горькие и в то же время полные восхищения жизнью, если видеть вокруг себя “вечное, дивное, совершенное”. И когда круг жизни человеком ещё не пройден:

*Одно утешит — красота.
Ты присмотришь: она повсюду,
она повсюду разлита
свидетельством, что жизнь есть чудо.*

ДМИТРИЙ ВОЛОДИХИН

ДВИЖЕНИЕ К ИЗНАЧАЛЬЮ

Тарковский М. А. Три урока. Рассказы/повести. Тобольск: ТРОБФ “Возрождение Тобольска”. 2020. 544 с. (Серия “Библиотека альманаха “Тобольск и вся Сибирь”.) Тираж 3000 экз.

Издание это – фундаментальная презентация творчества таёжного писателя Михаила Тарковского. Оно представляет литератора-охотника с обстоятельностью и полнотой почти что академической.

Книга начинается с эссе Тарковского, давшего имя всему сборнику, – “Три урока”.

Это уроки, полученные самим автором, и одновременно уроки, которые следовало бы получить всем его собратьям по перу, поскольку они придают смысл и силу работе литератора. Иначе говоря, то, что составляет творческий багаж Михаила Тарковского, и в то же время тот благой груз, без которого писательское творчество обесмысливается.

Первый необходимый урок несёт в себе русская литература, притом, судя по перечисленным именам, это либо классическая дореволюционная литература России, либо продолжатели классической традиции наших дней (например, В. П. Астафьев). Автор видит смысл урока литературы в том, что она учит верности своей земле, чувству хозяйской причастности к ней и любви к читателю. Можно сделать вывод: подобный урок возможен постольку, поскольку литература-учитель закорена в родном языке, национальной старине и национальной же культуре. Невозможна русская литература, как пишет Тарковский, “без народности и религиозности”. Нет этого – и урок не состоится.

Второй урок – тайга. Притом именно сибирская тайга, а не леса Русского Севера. Для Тарковского тайга важна, поскольку рождает образцы русской жизни, позволяющие писателю “начать с корня”, то есть обратиться к сердцевине народа, к сокровенным погребам его души. Лучшее, что можно воспринять от таёжного урока, – понимание народного монолита, а не суетных верховых расколов (например, между городом и деревней). И ещё тайга даёт уважение к людям, погружённым в древнюю промысловую традицию, уважение, отрицающее всякую дурь, каприз, фанаберию. Тайга учит тому, что писательство – такой же промысел, как и охота, работа по металлу и по дереву; в нём нет никакой привилегии, оно не повод для гордыни, оно лишь может питать достоинство человека труда.

Наконец, третий урок – люди, общение с которыми возвышает душу. Например, писатели сибиряки: Анатолий Байборodin, Михаил Вишняков.

Михаил Тарковский с большим тактом призывает писательскую братию к делам простым, но таким, что из них укладывается фундамент народной жизни: передавать детворе заветы предков, лечить “состраданием и участливым

словом” глухоту народную к древним духовным сокровищам, обходиться с собственным даром “не как с собственностью, а как с Божьей ценностью”, нести его с осторожностью, так, чтоб “ничего дорогого не прижечь, иконки не уронить”. В сущности, по Тарковскому, литературный дар — одновременно промысел и служба, а служить приходится, безо всяких отговорок, тяжело и безотставочно, Богу да своему народу.

За вступительным эссе следует автобиографический текст “Бабушкин внук”. В нём Михаил Тарковский обстоятельно рассказывает, кто он таков и откуда есть пошёл. Можно сказать, задел на будущее — для биографов и литературоведов. Любопытно, что знаменитый родственник его кратко упомянут, да, но Михаил Тарковский ни в малой мере не пытается провести ниточки интеллектуальных и духовных связей между собой и всемирно известным режиссёром. Он показывает совершенно другое: главным человеком, стоящим у истоков его жизни, была Бабушка, везде в тексте почтительно называемая именно так — с большой буквы.

Михаил Тарковский, в частности, пишет: “Створами называют судовые знаки: два щита на берегу — один над другим. По ним судно выдерживает курс. Створы сошлись — значит, идёшь правильно... Пожалуй, самым главным в своей судьбе я обязан Бабушке, под надзором которой прошла главная часть моего детства. Бабушка сыграла определяющую роль в выборе первой профессии, да и весь мой дальнейший жизненный фарватер прошёл в её створе. Речь идёт о Бабушке по матери Марии Ивановне Вишняковой... Бабушка заложила во мне основы, открыв три двери:

- в русскую природу,
- в русскую литературу,
- в православный храм”.

Книга оформлена с барочной роскошью. Она, в сущности, представляет собой аналог драгоценной шкатулки, в которой сокрыты яхонты, лалы и жемчуга Слова, воплощённого через слово автора. Основу оформления составляют чёрно-белые фотографии И. Лукьянова, сделанные... нет, выражение “высокопрофессионально” здесь не подходит. Скорее, сделанные так, что каждая из них представляет собой произведение фотоискусства.

Издатель достоин высочайшей похвалы. Фактически он сделал всё, чтобы отчеканить профиль Михаила Тарковского на благородном металле русской литературы... во имя издательского идеала, прямо противоположного фастбучной индустрии современных корпораций, специализирующихся на массовом чтиве.

Основная часть сборника состоит из семи рассказов и семи повестей.

Проза Михаила Тарковского напоминает картинную галерею: вот портреты — что ни рассказ, то всё чей-нибудь портрет, чаще всего, человека простого, сельского, но цельной личности, а иной раз — очеловеченного пса, кота, иного зверя; а вот пейзажи — победительное величие природы по берегам великого Енисея: снега, деревья, горы, звериные следы, лёд, ломающийся в ту пору, когда река по весне “пошла”...

“Пейзажное письмо” — то, что особенно удаётся Михаилу Тарковскому и представляет собой что-то вроде его визитной карточки. Надо полагать, душа его радуется, когда перо его уходит от людей и приступает к живописанию природы. Так, авторизованный главный герой из рассказа “Таня” словно бы всей грудью вдыхает сибирскую природу: “Впереди лежало серебряное, в насечках ветерка блюдо Енисея. На той стороне, за тёмным забором ельника синела невыразимо осенней глубокой синевой невыразимая даль тайги. Всегда почему-то кажется, что осень не возникает здесь, на месте, а именно *приходит* в виде какого-то голубоватого воздуха особого качества, в котором всё начинает желтеть, жухнуть, табуниться, а у человека, наряду с растущей физической бодростью, открывается вдруг родничок поразительной восприимчивости к природе. И хочется, покоряясь её тихой воле, взобраться на самый высокий яр, встать на колени и, глядя в морскую даль Енисея, благодарить небо за эту посланную Богом тоску, за каждый лист кривой берёзки, скоро требующей столько любви и прощения в своей нищете. И долго будет укладываться в душе поминальная, в желток с луком, пестрота берегов и огненная трещина в базальтово-серой туче, заложившей север...”

Сюжетные извивы и развороты не столь уж сильно интересуют Михаила Тарковского. Ему интереснее приблизиться к человеку, запечатлеть его

крупным планом, дать иной ракурс, отойти подальше, потом выпустить на сцену его соседей, друзей, собеседников, на краткое время сосредоточиться на них, потом вновь вернуться к крупному плану... Так, чтобы та самая жизнь “коренная” была передана со всей точностью и во всём многообразии.

Притом во всяком портрете, даже если в фокус попал совершенно пропащий человек, есть что-то, вызывающее восхищение, любование, ощущение полноты жизни. Вот, например, рассказ “Васька”: центральный персонаж, молодой охотник Васька смотрит на свет лампы и испытывает сложную гамму чувств: “Ровно горела лампа. Чуть покачивалась под чисто вытертой луковкой стекла золотая корона пламени. Всегда есть в подобном свете что-то старинное, торжественное и очень отвечающее атмосфере той непередаваемой праведности, которая сопровождает одинокую жизнь охотника. В эти минуты Ваську охватывала такая волна любви ко всему окружающему, что по сравнению с ней долгие часы усталости, холода и неудач не значили ничего. Он смотрел на смуглые стены избушки и восхищался, как ладно срублен угол, как плотно заходит одно бревно за другое, как просто и красиво висят портянки на затёртой до блеска перекладине под потолком. И росла в нём безотчётная гордость за свою жизнь, за это нескончаемое чередование тяжкого и чудного, за ощущение правоты, которое даётся лишь тем, кто погружён в самую сердцевину бытия”.

Или вот апофеоз радости правильно устроившего свою жизнь человека в рассказе “Замороженное время”: “Ночью лежали накормленные собаки в будках, лодка темнела кверху дном у ограды, оббитый об кедрины “бура-нишко” с измочаленными в наледях гусеницами стоял, как брат, укрытый брезентом. Котя, угнездившись в ногах, тарыхтел смешным кошачьим дизельком, и ровно дышала, положив голову на Гошину грудь, Валя, и сам Гоша спал спокойно и счастливо, потому что всё, без чего нельзя жить, было наконец подтянуто к дому”.

Михаил Тарковский любит выводить на сцену людей, вызывающих восхищение крепостью своей природы, какой-то древней, корнями в Святую Русь уходящей мужицкой полноценностью. Притом весьма часто эта полноценность связана с трудом. Тяжёлый, “промысловый” мужской труд вызывает у писателя почтительное отношение, и он со всей творческой силой своего дара передаёт почву для этого почтения своим читателям, как бы предлагая им: “Врастите в почву исконную, жирную, плодоносную, она есть основа народной жизни”. Всякое искусство, всякую сноровку, сметку и расчёт промысловика он ценит в людях.

Так, в повести “Стройка бани” главный герой, Иваныч, раскрывает свою природу, отшатывающуюся от всякого пренебрежения благим трудом: “...прекрасно знал и то, что дела надо доводить до конца, и то, что скорее умрёт, чем позволит пропасть многовековому мужицкому опыту, и то, что ненавидит всякую времянку, халтуру, лень и презирает того давнишнего мужичка”, у которого он однажды ночевал: в его избушке было полно щелей, но тот вместо того, чтобы их добром проконопатить, каждый вечер затыкал уши ватой, съедая две таблетки аспирина, и, натянув шапку, заваливался спать”.

Даже умирая, этот герой находит утешение не в картинках прежних любовных ощущений, а в переживании достойно прожитой жизни. Трудился, не покладая рук, значит, отвековал свой век честным человеком: “...разочаровавшись в... разовых средствах спасения, он нащупал в себе в общем-то не новое, но единственно прочное ощущение... ощущение достойно прожитой жизни и необходимости такого же достойного конца. Самой смерти Иваныч не боялся, но в некоторые промежуточные моменты между приступами ощущал в себе унижайшую панику расставания со всем этим любимым миром, который, самое досадное, становился с каждым годом всё приятней, родней и благодарней при правильном обращении. А теперь он вдруг как-то очень хорошо почувствовал, что ведь дело-то обычное, ведь не первый он, ведь все те русские люди — плотники, печники, охотники, опыт которых он так берёт, с такой любовью продолжал — все они в конце концов тоже умирали и тоже стояли перед этим вопросом, и что если он видел смысл своей жизни в следовании их опыту, стараясь держать масть мужика с большой буквы, то это опыт-то не только плотницкий, печницкий, охотницкий, а самое главное — человеческий, самый ценный, потому что человеком труднее быть, чем хорошим охотником или плотником — вот оно как... и так покойно

и твёрдо становилось у Иваныча на душе от этой мысли, что больше уже ничего не тревожило...” И хороший, славный этому человеку дарован конец. Болезнь одолевает его, но он всё же строит баню: не для наследников (их таёжная жизнь не интересует), не для радости (всяким его земным радостям уж виден последний край), а потому, что есть недоделанное дело и следует всё же доделать его. Достраивает. Парится в бане один раз, а потом чистым отходит к Небесному Судии на суд, до конца исполнив долг. Хорошая смерть. Светлая смерть.

Михаил Тарковский не из тех писателей, кто наслаждается теменью, смакует её, акцентирует ощущение тупика, безвыходности. Он всегда оставляет надежду. Да, порой он берётся за тему тяжёлую, страшную но, к сожалению, принадлежащую “корневой” жизни народа, а потому необходимо становящаяся предметом для творческого исследования. Например, дикое, беспробудное пьянство в повести “Ложка супа”. Тарковский, описав явление без прикрас, делает необходимый вывод: “Лишь с виду пьянка дело хорошее и весёлое, а внутри нет болезни её страшнее, потому что от радикулита — хребёт, от кашля — лёгкие, а с похмелья душа отнимается”. То есть, в сущности, пьянство безбожно, поскольку губит душу и коверкает образ Божий в человеке. Более того, оно духовно отравляет детей, находящихся в обществе пьяниц и вечно видящих безобразия чуть ли не как норму. Но силён Бог в людях, а потому радость и свет, исходящие от Него, способны спасти от такого отравления. Вот в той же самой повести мальчик, переживший смерть самого близкого существа, бабушки, постоянно видящий пьянство других членов семьи, а потому тоскующий: “Колька лежит, на груди качается кот Васька. И хоть Бабушки нет, и маму с работы выгнали, и Дядька опять прикрикнул, а всё почему-то не замирает в нём, и сама собой нет-нет да и народится радость, и теперь вот не может заснуть, и всё в нём светится, живёт, искрит новая жизнь, и представляются то дяди-Васино весёлое лицо, то удочки налимы непроверенные, то снег и солнце... Долго ещё ждать Кольке, и долго будет томить тоска, изводить снегом и неподвижностью, чёрно-белым контуром снежной деревни, пока не настанет весна, не обтает угор и первая овсянка не перевяжет кровотокающую душу серебряной песенкой... Сидя на столбике, она вяжет свой узелок, но её родниковое ликование умиляет лишь до тех пор, пока не понимаешь, с какой протерозойской отчётливостью и отрешённостью кладёт она в теплеющий воздух свою руладку, звучащую уже не как детский щебет, а как исповедь рода, ни разу не погрешившего перед Богом”. Иначе говоря, и Бог существует, и радость жива в людях, и свет Божий их не покинул, но сколь многое они способны испакостить своими грехами!

Михаил Тарковский — писатель русский, православный, живущий на лоне величественной природы и продолжающий своим творчеством классическую традицию.

Вот и заканчивается в сборнике всё очень хорошо и очень правильно для русского мира, мира Божьего. Последняя повесть, а именно “Фарт”, в финале выходит на примирение двух любящих сердец, монастырь и празднование во имя Рождества Христова. А что может быть лучше, истиннее для Руси, чем сочетание любви и веры?

Рождество, оно для тех, кто любит и верует, — надежда древняя и вечно обновляющаяся. Христос родился! Значит, ещё потягнем, братие, значит, радость из нашей жизни не ушла.

НИКОЛАЙ ПИРОГОВ

доктор экономических наук, профессор

БИОГРАФИЯ СИМЕОНА ПОЛОЦКОГО

Звонарёва Л. У. Открывающий врата учёности: жизнь и творчество Симеона Полоцкого / Монография. Отечественная история. — М.: Academia, Библио ТВ. 2020. 400 с.

Скажу откровенно: до прочтения этой книги я очень мало знал о Симеоне Полоцком. Монографию Лолы Звонарёвой прочитал с большим интересом, восхищён делами героя, включённого ЮНЕСКО в число выдающихся деятелей восточнославянской культуры. Он был поэтом, прозаиком, драматургом, политиком, историком, педагогом, просветителем, книгоиздателем, театральным деятелем, переводчиком, богословом. Симеон Полоцкий получил по тем временам блестящее образование, закончив Киево-Могилянскую коллегию, престижное православное учебное заведение, и католическую Виленскую иезуитскую Академию.

Симеон Полоцкий прожил недолгую жизнь – всего 50 лет (1629–1680), но это время для восточных славян было буквально переполнено судьбоносными событиями, целым рядом узловых противоречий между европейскими державами. Центральным из этих событий, без сомнения, стало воссоединение Украины с Россией в 1654 году, которое оказало определяющее влияние на жизнь и творчество Симеона Полоцкого. В монографии Л. Звонарёвой убедительно показано значение его трудов в направлении идейного объединения восточных славян. “Умеренность, бесконфликтность Симеона Полоцкого, умеющего находить достойные образцы на Западе и в России, служат хорошим примером цивилизованной культурной интеграции”, – пишет Л. Звонарёва. И именно этим взвешенным подходом к оценке российских и западных достижений Симеон Полоцкий отличался, например, от Петра I, чьи реформы были направлены на безоговорочное заимствование.

Монография Л. Звонарёвой писалась, как она сама отмечает в предисловии, 40 лет. Это серьёзная исследовательская работа, в которой даются ссылки на источники, общим числом более 600 (!). Книга предназначена как специалистам, изучающим различные аспекты восточнославянских проблем, так и всем, интересующимся нашей историей, написана хорошим литературным языком. В этом капитальном труде на примере событий из жизни и деятельности Симеона Полоцкого детально исследованы перипетии борьбы предшественников “славянофилов” и “западников” и показаны итоги этой борьбы.

Знание нашей истории – это тот фундамент, на котором мы, сегодняшние, строим образ будущей России. Хотелось бы пожелать автору на основе данной монографии подготовить издание книги о Симеоне Полоцком для массового читателя по стандартам серии ЖЗЛ. Я уверен, что она пользовалась бы большим спросом. Л. У. Звонарёвой, известному учёному и писателю, эта задача вполне по плечу.

ВЗГЛЯД ИЗ ЛИТВЫ

Это письмо в редакцию написал Ярас Валюкенас, сын литовцев, сосланных в 1949 году в Казахстан. Он родился в 1959 году в городе Темиртау Карагандинской области. В Казахстане окончил среднюю школу, потом работал на многих объектах энергетики Советского Союза. Был увлечён работами Михаила Булгакова, Фёдора Достоевского и других классиков. Распад СССР и трагические события, с которыми пришлось столкнуться в Средней Азии с конца восьмидесятых, изменили его жизнь. В 2000 году он получил гражданство Литвы и перевёз в эту республику свою семью, одновременно продолжая оставаться гражданином Казахстана. Автор видеопроекта “Вперёд в прошлое”.

Нам показалось, что свидетельство человека с такой насыщенной биографией будет крайне интересно нашим читателям.

В Литве мне часто задают один вопрос – почему в своих публикациях или видео я так упорно защищаю Советский Союз? Прежде чем ответить, хочу сказать: в те времена я не был сторонником советской номенклатуры, я даже в комсомоле не состоял. Как и многие мои дворовые друзья, не мог терпеть лицемерия, которое во времена моей юности, ближе к середине 70-х, начало заметно возрастать в обществе. Уже в то время начала появляться так называемая золотая молодёжь, спецпайки для партийной элиты и некоторые другие признаки общественно-социальной деградации.

Не скрою, я был и остаюсь сторонником советского образа жизни и тех ценностей, которые отражались в книгах, мультфильмах и фильмах моего детства, юности и молодости. Мы дорожили этими ценностями и даже были готовы многим жертвовать, защищая их. Сторонником коммунистической идеологии я стал уже после распада СССР, когда увидел и прочувствовал на собственном опыте последствия провозглашаемой демократии и свободы человека от всего человеческого. Я благодарен истории за тот урок, который она преподнесла мне в 1991 году, этот урок на многое открыл мои глаза!

Особо ярко это понимание отразилось в моём сознании уже в Литве. Безрассудные действия литовских политиков – перевёртышей из бывших активных коммунистов и комсомольцев – невольно наводили меня на более глубокие размышления. Из воспоминаний многих ссыльных знаю, что литовская политическая элита со времён президента Сметоны всячески избегала любой ответственности, ей предпочтительней было найти могущественного хозяина на стороне и свалить все возникающие проблемы на него. Отец при жизни часто вспоминал слова известного литовского поэта Антанаса Мишкиниса, с которым некоторое время в 1948 году находился на пересылке в Мордовии. Мишкинис называл литовских политиков “проститутками”. “Независимость государства для литовских элит всегда была самым страшным кошмаром, они всеми способами избегали её”, – часто повторял поэт. С тех времён мало что изменилось.

В последние годы я всё чаще анализирую советский период и прихожу к однозначному выводу: рождение СССР не могло быть следствием заранее спланированных и продуманных действий людей. Подобный поворот событий в то время не могли предвидеть ни большевики, ни те, кто в феврале 1917-го планировал развал России. Сама идея коммунизма не нова, принцип коммуны был заложен в основу всего биологического мира от начала его создания, он также присутствует во всех религиозных и философских учениях. В конце концов, человеческий организм как прообраз здоровой социально-общественной системы создан и способен существовать только по его принципу.

Каждая клетка нашего организма – отражение отдельно взятого человека или семьи, сам организм – это государство или община. Все клетки работают на благо общего организма: будет хорошо всему организму – будет хорошо и каждой его клетке. Да, подобная социальная модель напоминает коммунистический строй, в котором на общую цель требуется от каждого по способностям, и даётся каждому по его потребностям. Но так устроен созданный Богом и природой физический организм. Начни клетка потреблять больше, чем ей необходимо, и со временем непременно возникнет раковая опухоль, которая станет уничтожать соседние клетки.

Удивляет то, что люди, находясь веками в поисках справедливой социальной модели, не замечают этого. А может, им просто кто-то не даёт открыть глаза? Невольно задумываешься над тем, что само общество скорее всего находится под влиянием определённых сил и уже не способно объективно осмыслить принцип и смысл своего бытия. Всё напоминает времена Адама и Евы, которые, поддавшись искушению змея, вкусили плод от дерева познания добра и зла, за что лишились вечной жизни и были изгнаны из райского сада. Позже общество, также поддавшись искушению, отвергло Иисуса Христа, который явился к людям на Землю и принёс себя в жертву во искупление их грехов.

Затем через две тысячи лет вышедшая на улицы городов искушенная пороком греха толпа отвергла и предала уже коммунистические идеалы, втоптав в грязь истинных коммунистов, отдавших свои жизни за их же будущее. Многие считают коммунистов той эпохи исключительно материалистами, но вот что-то не вяжется подобная версия с верой того поколения в идеалы. Жертвенность и её значение в сознании многих из них полностью соответствовали духовному уровню избранных.

“Я – беспартийный, но в бой иду коммунистом, и если меня убьют, то прошу считать меня коммунистом”, – такие заявления о приёме в партию писали бойцы Красной армии перед смертельной схваткой с фашистами. Именно Вера в высокие идеалы коммунизма обеспечила победу советского народа в Великой Отечественной войне и сохранила нашу страну.

Анализируя происходящие в мире события, трудно не согласиться с тем, что Христос и коммунисты первого пришествия, назовём их так, выполняли похожие по замыслу задачи. В 1905 году Ленин, сравнив евангельскую “жатву” земли символическим серпом, писал в работе “Что делать?»: *“Наше дело теперь бороться с плевелами... Вырывая плевелы, мы тем самым очищаем почву для возможного произрастания семян пшеницы... Мы должны готовить жнецов, которые сумели бы и косить сегодняшние плевелы, и жать завтрашнюю пшеницу”*. Конец лукавого века знаменовала свершившаяся Великая Октябрьская социалистическая революция. Серп и молот, изображённые на советском гербе, могут иметь совершенно иной глубинный смысл, а наш мир скорее всего уже находится на пороге той самой великой жатвы, о которой сначала говорил Христос, а затем повторил Ленин.

Антисоветские пропагандисты называют советский период безбожным, это лживое утверждение в большей степени повлияло на разрушение единства людей в СССР. Многие просто не осознавали, что историю, как и советский период, нельзя оценивать однозначно, и многое из того, что происходило в то время, трудно себе представить даже сегодня. К примеру, по признанию многих российских священнослужителей и историков, именно 1943–1953 годы были золотым десятилетием отношений Церкви и советского государства. Никогда ни до, ни после в XX–XXI веке таких отношений – взвешенных, понятных обеим сторонам – не было. Иосиф Сталин впервые в новой истории предпринял удачную попытку снизить накал противоречий между материальным и духовным миром.

В наше смутное время, когда ложь становится неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, как никогда востребован универсальный способ определения истины. И такой способ имеется: “по плодам их узнаете их”. Иногда разбирает смех, когда, к примеру, тут, в Литве, видишь безуспешную борьбу литовских консерваторов с советским наследием.

Как ни крути, а получается, что уничтожение этого наследия неизбежно ведёт к потере значительной части территории, а это означает и конец государственности. Если копнуть ещё глубже, то мы увидим и то, что многие новые государства, появившиеся на свет, должны быть благодарны именно большевикам за своё рождение. Безуспешная борьба с советским наследием ведётся буржуями на всем пространстве СССР, даже разворовать его богатство ненасытные капиталисты не могут. Не под силу им поглотить этот громадный плод наследия социализма, на который всем нам также стоит посмотреть внимательней и сделать определённый вывод.

Современные лжепропагандисты, не в силах опровергнуть величину и значение наследия советской эпохи, придумали новую страшилку для масс. Теперь они утверждают, что цена этого плода в людских потерях и страданиях чрезмерно велика. История – это не овощной рынок, в жизни, как правило, цена на худые плоды того или иного исторического периода гораздо выше, чем на хорошие. Катастрофическое падение рождаемости, высокая смертность, деградация науки, культуры, образования, отсутствие экономической стабильности, рост агрессии и недоверия в обществе – это то небольшое, что было утеряно вместе с советской идеологией. Все познаётся в сравнении – это правило никто пока не отменял, как говорится, было бы что сравнивать.

Никто не сможет отрицать того, что любому человеку в современном мире для созидательной и творческой деятельности необходимы четыре базовых условия: первое – это крыша над головой, второе – это работа, третье это – медицинское обслуживание и четвёртое – это образование. Назовите хоть одну страну, кроме СССР, в которой государство обеспечило всеобщую равную доступность для получения этих материальных благ? Именно Советский Союз первым создал и сделал бесплатными все базовые потребности человека. Оплата за жильё была просто мизерной, люди понятия не имели о безработице, медицина была на самом высоком уровне, как и образование. Кроме этих базовых условий, в каждом городе существовали сотни бесплатных спортивных секций, бесплатные пионерские лагеря для детей, для отдыха рабочих существовали дома отдыха и курорты, строились дворцы культуры, кино-театры, столовые, кафе и многое другое.

Большинство того, что необходимо человеку для его жизни и развития, предоставлялось государством бесплатно, именно этот факт несёт самый важный глубинный смысл. Каждый советский человек помнит, как нас с детства учили и в школе, и дома родители всегда безвозмездно помогать людям. Возможно, не все в то время придавали этому большое значение, а ведь это важнейшая деталь советского воспитания и отношения государства к человеку.

Я уже не раз говорил, повторю ещё: за всё время жизни в СССР я никогда не слышал слова ВРАГ, нам никогда не говорили о вражеских государствах даже в период “холодной войны” с Западом. Да, осуждали империализм, капитализм, но никогда не конкретных людей или нации. В самые тяжёлые времена ненависть даже к врагам осуждалась на самом высоком уровне, она была непозволительна и в диалогах между людьми тех лет.

Впервые такие слова “враг” или “вражеские государства” я услышал только в Литве. Также именно тут я впервые понял, как на самом высоком политическом уровне генерируется ненависть к своим историческим соседям.

Хочу ещё раз сказать: в моей семье отец и два его брата в войну были на стороне тех, которых сейчас называют “лесными братьями”, они воевали против советской власти. Со стороны мамы два моих родных дяди воевали в составе Красной армии, один из них погиб в самом начале войны, второй прошёл всю войну. Отец и мама, бывшие враги, живя в одном городе, смогли подружиться и оставались друзьями до самой смерти. Мои родители создали семью и прожили вместе долгую жизнь. По иронии судьбы, одним из первых моих дошкольных друзей был сын немецкого военнопленного. В нашем дворе были дети фронтовиков, репрессированных, ссыльных и военнопленных,

мы жили как одна большая дружная единая семья. Что такое национальность, в наши детские годы практически никто не знал.

Я хорошо помню, как ещё в 60-х годах строились отношения между представителями различных национальных групп, их было в Казахстане много среди сосланных. К примеру, немцы или чеченцы, находясь в обществе, где хотя бы один человек не понимал их языка, автоматически переходили на тот язык, который понимали все. Считалось неприличным говорить при людях на своём родном, если тебя кто-то из них не понимает. Это правило никто не нарушивал насильно, люди из уважения друг к другу сами так решили.

Сегодня наш мир буквально утопает в различных взаимных обвинениях, виноваты Россия, русские, евреи, религии, коммунисты, капиталисты... Перечислять можно до бесконечности. Во всём этом массовом безумии людей есть одна очень важная сторона: нам, как детям, наглядно демонстрируется связь между человеком и окружающей его природой, которая также начала вести себя непредсказуемо с явным отклонением от всех норм.

Даже самые упорные материалисты не могут отрицать того, что разрушительные процессы затрагивают не только самого человека и различные сферы его деятельности, но и окружающую нас природу. Люди ослепли, они ищут причину надвигающейся трагедии в повышении различных выбросов в атмосферу, ищут средства борьбы с пандемией и другими болезнями. Но ведь главная причина кроется внутри нас самих.

Ярас ВАЛЮКЕНАС,
Литва

Исполнилось 90 лет
МАРКУ НИКОЛАЕВИЧУ ЛЮБОМУДРОВУ



Мудрый и ответственный историк театра, точный, непримиримый критик антирусских “новаций” на русской сцене, неистовый публицист — защитник русских идеалов и интересов — таким мы знаем уже много лет нашего автора и друга Марка Николаевича Любомудрова.

Его книги “Судьба традиций”, “Размышления после встречи”, “Противостояние. Театр, век XX: традиции — авангард”, “Моё гражданское служение России”, “Русский рубеж” вошли в золотой фонд отечественного театроведения и отечественной публицистики.

Статью Марка Любомудрова “Великорусский театр” читайте на стр. 261

К 200-летию ЛЬВА АЛЕКСАНДРОВИЧА МЕЯ



Поэт, прозаик, драматург, переводчик, он прожил на этом свете всего 40 лет, но остался в истории отечественной культуры своими стихами, на которые писали романсы корифеи русской музыки — М. Балакирев, М. Мусоргский, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов. Его драмы “Царская невеста” и “Псковитянка” легли в основу либретто опер Николая Римского-Корсакова, которые с триумфом вот уже много десятилетий идут на отечественной и мировых сценах.

*Не верю, Господи, чтоб Ты меня забыл,
Не верю, Господи, чтоб Ты меня отринул:
Я Твой талант в душе лукаво не зарыл,
И хищный тать его из недр моих не вынул.*

*Нет! в лоне у Тебя, художника-творца,
Почует Красота и ныне, и от века,
И Ты простишь грехи раба и человека
За песни Красоте свободного певца.*

(1857)